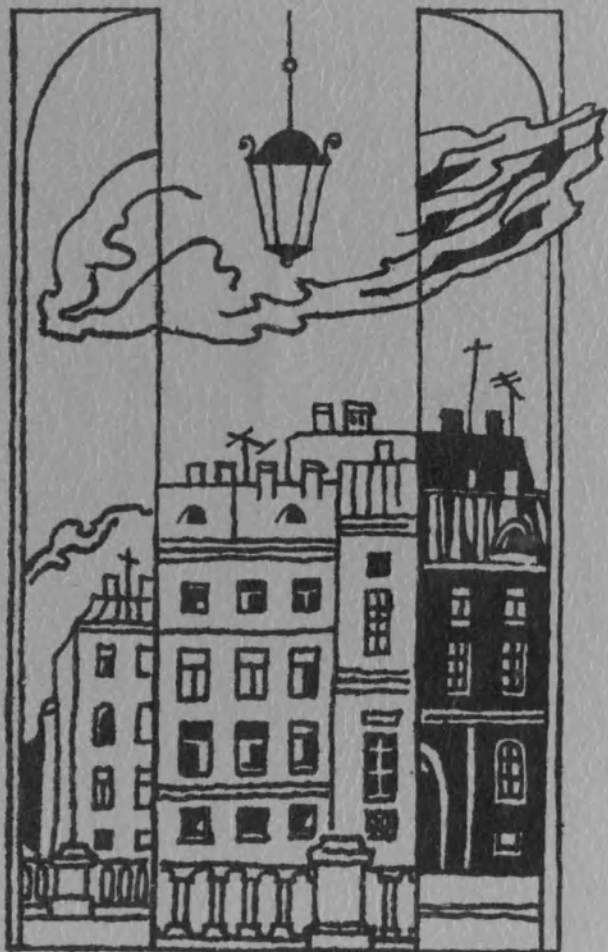


НИНА КАТЕРЛИ

КУРЗАЛ



НИНА КАТЕРЛИ



КУРЗАЛ

ПОВЕСТИ



Советский писатель
Ленинградское отделение
1990

ББК 84.Р7
К29

Редактор Ф. Г. Кацас

Художник Э. Соловьева

Катерли Н.

К 29 Курзал: Повести.— Л.: Сов. писатель, 1990.—
384 с.

ISBN 5-265-01122-6

В новую книгу Нины Катерли входят четыре повести. Перед читателем проходит вереница портретов людей, родившихся в 30—40-е годы. Это не герои и не злодеи — обыкновенные люди, каких миллионы, главным образом — техническая интеллигенция. Что общего между ними, такими, казалось бы, разными — и по судьбе, и по культуре, и по месту, которое они занимают в обществе? Как отразилась на личности каждого его биография и биография общества в целом? Эти проблемы Катерли пытается решить в своей книге.

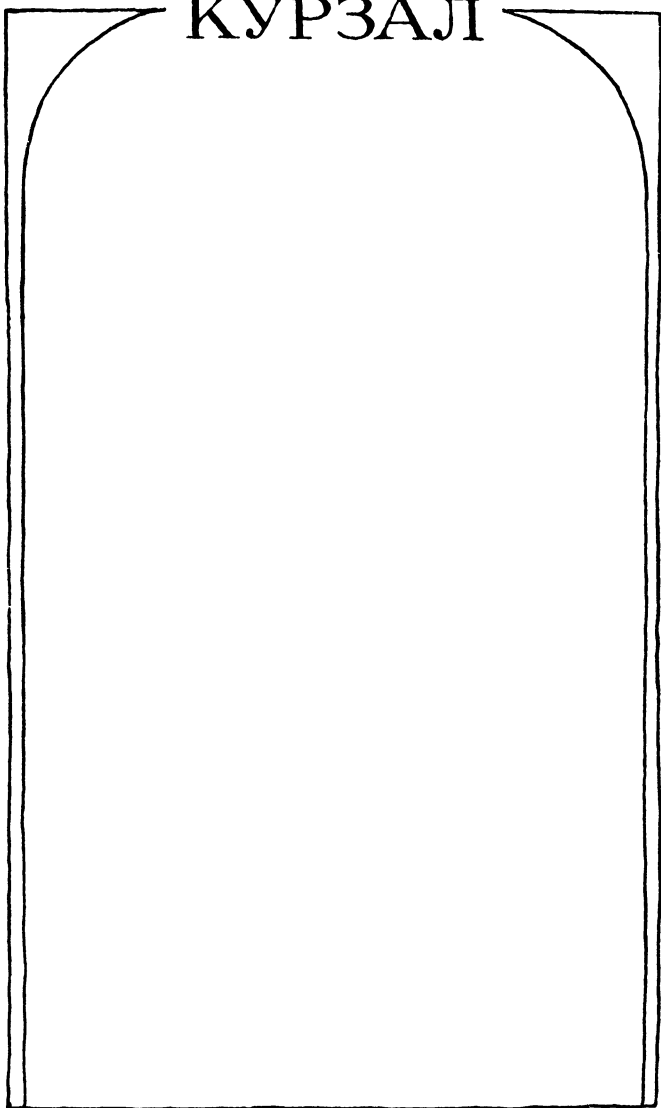
К $\frac{4702010201-287}{083(02)-90}$ 57—90

ББК 84.Р7

ISBN 5-265-01122-6

© Катерли Нина Семеновна, 1990 г.
© Художественное оформление Эвелина Соловьева

КУРЗАЛ





Вот моя лужа. Только тогда было утро. Всю ночь громыхал дождь, водосточная труба у нашего окна захлебывалась, а утром невинно засияло солнце, и я пошел на экзамен в одной рубашке (белый верх, черный низ). Черный низ накануне допоздна утюжила тетя Ина, а тетя Калерия давала ей руководящие указания. Утюжка эта именовалась «отпариванием», целью ее было уничтожить блеск, пузыри на коленях и создать складку на том месте, где положено. До войны имел место печальный случай, когда наша тетя Ина старательно выгладила чьи-то штаны, получив прекрасные складки по бокам, и тетя Калерия это помнила и, когда дело доходило до утюга, задумчиво спрашивала: «Акуля, что шьешь не оттуля?» И еще она ни с того ни с сего говорила, что вот бы забавно посмотреть, как ОН тогда явился домой в таком виде,— а, Георгина? Кто был этот загадочный ОН, я не знаю и, сказать по правде, никогда особенно не интересовался.

А в то утро двадцатого мая я бежал в школу в правильно отпаренных брюках и гремящей накрахмаленной рубашке — воротник ее натирал мне шею. Я торопился на экзамен по русскому письменному за шестой класс. Экзамена я не боялся, настроение было прекрасное, поэтому я и бежал по нашему переулку, как кенгуру. И как раз на этом самом месте оступился и полетел в лужу.

Когда я встал из нее, грязная вода стекала по моим отпаренным штанам, на крахмальной груди, как у голубя, расплывались радужные мазутные пятна, локти были черные. Я стоял не шевелясь и медленно заполнялся безнадежностью, когда вдруг услышал ГОЛОС.

— Так можно и упасть,— чванливо сказал старик.

Он смотрел на меня с осуждением, этот важный, толстый старик в сверкающем пенсне. Одет он был, помнится, в то майское утро так: в зимнее пальто, каракулеву шапку пирожком и белые фетровые бурки. Он держал на поводке маленькую, старую, толстую и тоже какую-то зимнюю собачку, и эта собачонка смотрела на меня с негодованием...

...Сегодняшняя лужа, правнучка той, все же другая.

Она образовалась из тающего, растоптанного снега, под ней затаился лед, здесь в самом деле можно упасть, даже если не мчишься как ненормальный, задрав башку в небеса.

Я не мчусь. Я осторожно ступаю, выбирая относительно сухие и шершавые места. На мне зимняя куртка и каракулевая шапка. Правда, не пирожок, а обыкновенная ушанка.

Вечер. Я возвращаюсь домой. Был здесь неподалеку, читал лекцию от общества «Знание» и решил пройти по своим «детским местам». Это звучит довольно бестолково — «детские места», но уж лучше так, чем «места моего детства». «Места моего детства» похожи на «дни нашей любви» или того хуже — на «путевку в жизнь». От этих наборов меня тошнит, в том числе и потому, что ими меня в детстве, как теперь говорят, «доставала» моя тетя Калерия. «Алексей,— говорила она с вдохновением,— ты должен учиться на «хорошо» и «отлично», только тогда ты сможешь крепко стать на ноги и получить путевку в жизнь».

Тетя Калерия была в нашей семье идеологом и руководителем, тетя Ина (Георгина) — рядовым исполнителем. Я был надеждой, которая, впрочем, вполне может и не сбыться, если не прилагать постоянных и самоотверженных усилий.

— Ты пойми, Георгина,— слышал я, лежа в постели (считалось, что я уже сплю, ибо детям до шестнадцати лет в десять часов положено спать).— Ты пойми, на нас — двойная ответственность, мальчик растет без родителей, а ты всегда упускаешь из виду, что главное — это воспитание души, а не удовлетворение материальных, то есть животных, потребностей. Не забудь, что в здоровом теле — здоровый дух!

Дальше шло очень хитрое логическое построение, согласно которому как-то выходило, что для здоровья тела нужно немедленно записать меня в литературный, драматический и исторический кружки, а главное, приобрести билеты в Театр оперы и балета имени Кирова. В дальнейшей борьбе от кружков я всегда отбивался, а на оперу и балет не было денег, все они уходили как раз на «удовлетворение материальных, то есть животных, потребностей», за которые отвечала тетя Ина. Она покупала продукты, варила обед, стирала и чинила одежду. Работала тетя Ина на заводе, контролером

ОТК. Тетя Калерия выдавала книги в нашей районной библиотеке.

Я не был сиротой. Просто меня воспитывали тетки. Они обе никогда не были замужем, а мои мать с отцом разошлись и разъехались, когда мне было два года. Тогда модно было разъезжаться кто куда: «На Север поедет один из вас, на Дальний Восток другой...» Мать и поехала на Дальний Восток, а куда отец, не знаю. И на мои вопросы никто никогда мне не ответил. Меня мама хотела взять с собой, но насмерть встали тетки: «Сперва устройся, обживись, тогда и бери ребенка». Через полгода мать снова вышла замуж, но меня опять не отдали: «Сперва убедись, что встретила настоящего человека, который способен воспитать мальчика. Откуда ты знаешь, что твой Павел — не мистер Мордстон из «Дэвида Копперфилда»?»

Стоит ли говорить, что этот аргумент принадлежал образованной тете Калерии?

Видимо, мать убедилась в том, что ее избранник — не «настоящий человек, который способен» и т. д., — они расстались. В сороковом году, когда мне было пять лет, мать перебралась на Урал, на какую-то другую стройку. По дороге она заезжала к нам, и тут меня не отдали в третий (и последний) раз. Разговор, во время которого навсегда решила моя судьба, я отлично помню. Воскресным утром я лежал на своем диванчике по имени «оттоманка» (помните эти узкие диванчики, всегда зачем-то в парусиновых чехлах? Там еще были валики, а вместо спинки — три подушки, по бокам пониже, а средняя — повыше). Я лежал и, не помню из каких соображений, притворялся, что сплю. А обе тетки и мать сидели вокруг стола и пили чай. Это меня возмутило! Не потому, что они не дождались меня, нет, — в воскресенье, когда не нужно рано вставать и брести в детский сад, я обычно завтракал после всех. Но они пили чай с м о и м и конфетами! И безобразно, как хулиганы, сминали фантики!

В то время в Ленинграде вдруг появились в огромном количестве латвийские и эстонские конфеты в сказочно прекрасных обертках, и весь наш двор собирал фантики. Но мне казалось интереснее копить их вместе с конфетами. Конфет я и так ел достаточно: тетя Ина, ведавшая здоровым телом, тайно верила, что от шоколада дети особенно быстро растут и крепнут. Но я плебейски любил только ириски и красных, негигиеничных

петухов на палочке, а шоколадные конфеты в красивых бумажках аккуратно складывал в специальную коробку из-под шоколадного набора. Я хорошо ее помню, славную эту шестиугольную коробку. На ее крышке были изображены два серых котенка с голубыми бантами. И вот, едва открыв в то утро глаза, я увидел свою коробку на столе. Открытую! Мать как раз вынула из нее красно-золотую конфету. Тетя Калерия в это время кончила длинную фразу, начало которой я проспал, а конец был такой:

— Повторяю в третий раз, Маруся, ребенка я тебе не отдам. Категорически! Ты еще не перебесилась.

— Ты не расстраивайся, как только перебесишься, сразу же отдадим,— жалостливо глядя на мать, встала тетя Ина. Слово «перебесишься» она произнесла с уважением, будто это — важное задание, которое мать должна выполнить во что бы то ни стало.

— Как хотите,— тихо сказала мать, комкая конфетную бумажку.

И тут с громким криком — «Не надо! Не надо!» — я рванулся с дивана, упал, ударился о ножку стола и громко заревел.

Почему-то мои тетки любили вспоминать этот случай. Как они кинулись ко мне, подняли, стали утешать: «Не плачь, сейчас с мамой нельзя, но будущим летом мы все обязательно к ней поедem, вот увидишь, поедem, не плачь, маленький!» А я никого не слушал, тянулся к столу, а дотянувшись, схватил коробку и принялся собирать, распрямлять и складывать туда свои фантики.

Мать расплакалась: «Он отвык, он меня не любит! Ему конфеты дороже», — а потом вдруг вытерла глаза и засмеялась: «А, может, это к лучшему? Какая я мать, горе одно!»

Мать, наверное, так никогда и не «перебесилась», вот я и вырос у теток, в этом длинном переулке, который начинается нашей школой, а упирается в вокзал.

Сегодня, еще с утра, я решил сразу после лекции пройти по переулку из конца в конец. И заглянуть к нам во двор, где я не был... страшно произнести, лет, наверное, двадцать. С тех пор, как нет на свете теток. А если приходилось бывать поблизости, старался обогнуть, обойти стороной. Почему? Не знаю. Так же как не знаю, почему именно сегодня утром стало ясно: пойду. Но не идетя что-то, вот, застыл возле лужи и разду-

мываю о том и о сем. Видимо, это уже старость — такая ностальгия. Кстати, в луже плавает конфетная бумажка. Она некрасивая, серая какая-то, как и все они сегодня, в моем детстве на такую никто бы и не посмотрел! И названия теперь другие. Раньше, помню, — «Лаккомка», шоколад «Мокко». Сразу хотелось съесть, не смотря на то даже, что — шоколад. А сейчас? Конфеты «Зоологические»! Страшное дело. Какую ассоциацию это вызывает? Что-то про бегемотник, слоновник, террариум.

На моих довоенных фантиках были непонятные, заграничные надписи. В тот день я сидел-сидел у матери на коленях, да вдруг и подарил ей всю коробку с котятками, но мать взяла из нее только две конфеты: «на дорожку».

Следующий раз мы с нею увиделись уже после войны, когда мы вернулись в сорок шестом из Челябинска, куда был эвакуирован тети Инин завод. Мать, как всегда, навестила нас проездом, всего на неделю. Она ехала из Германии в Красноярск.

Вот тогда мне моя мать очень понравилась. Совсем не похожая на теток, которых я всю жизнь считал старухами, она была молодая, веселая и стройная, в новенькой гимнастерке, перетянутой офицерским ремнем. Мать командовала на фронте взводом связисток, имела звание лейтенанта и кучу наград: орден Красной Звезды и множество медалей — «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».

Мы все гордились. Я слышал, как тетя Ина застенчиво просила мать выходить на кухню в военной форме:

— Понимаешь, в халате — не то впечатление. Что такое халат? Понимаешь, Маруся?

Но и в атласном длинном, до полу, халате с невиданными оранжевыми птицами мать тоже была красивая. Еще красивее.

Она заводила патефон. «Уходит вечер, вдали закат погас, и облака, клубясь, бегут на запад...» — пела пластинка вкрадчивым, сладким голосом, а мать медленно кружилась по комнате, обходя стол, и синие ее глаза смотрели куда-то далеко, поверх моей головы, наверное, на закат, и на губах появлялась такая улыбка, как будто она что-то знает, какой-то секрет, больше никому не доступный. Входила тетка Георгина и застывала в дверях с тяжелой продуктовой сумкой в ру-

ках. Выражение лица ее становилось молитвенным, глаза влажнели. Я видел: любит. И мне радостно было, что она любит моей мамой.

...Я слушал пластинку и вспоминал последнее предвоенное лето, дачу в Сестрорецке, теплый вечер, воздух, сладкий, как голос этого певца, потому что цветут душистый табак и шиповник, над заливом взлетают и падают желтые и красные ракеты, на соседнем участке крутят патефон, а вдали тоже музыка — главная, духовой оркестр.

«Курзал», — с придыханием говорят взрослые и смотрят в ту сторону, где музыка. — «Курзал. Вы пойдете в Курзал?..» «Курзал» для меня — это теплый летний вечер, запахи цветов и прекрасная уверенность, что все впереди празднично, надежно и вечно... И мама скоро «перебесится», и ей отдадут ребенка...

Мы с тетками проводили мать на вокзал. Шли пешком, и я нес чемодан. У вагона мать, перецеловавшись с сестрами, крепко обняла меня и спросила, люблю ли я ее. И я сказал, что конечно. В самом деле: кого же и любить, если не такую красивую и храбрую мать, прошедшую с боями от Москвы до Берлина!

Мать нам писала. Сообщала о всех серьезных событиях своей жизни: устроилась на работу, на телефонную станцию; получила хорошую комнату в общежитии, а сперва приходилось снимать, и это было очень тяжело — вечные недоразумения с хозяйками. Может быть, скоро семейное положение изменится, правда... этот человек еще не оформил развод, но...

Тетки следили, чтобы я регулярно отвечал матери (сами они, надо или не надо, писали ей каждую неделю). Я усаживался за обеденный стол, где обычно делал уроки, и на вырванном из середины тетради двойном листке аккуратно выводил: «Дорогая мама! Письмо от тебя получили, спасибо. Как ты поживаешь? Я живу хорошо. По русскому письменному у меня пятерка, по устному тоже, а по арифметике пока три...» Кончал письмо я всегда фразой: «Пиши нам чаще, подробнее и обо всем». Такую фразу я видел как-то в письме тетки Калерии, и она мне показалась очень убедительной и достойной.

«Этот человек» так и не сумел оформить развод, и мама уехала в Иркутск. Тетки ее одобрили: «Надо было давно с ним порвать. Сколько можно крутить женщине голову? Пусть поймет, что потерял, а Маруся с ее внешними данными...»

В конце концов мать вышла замуж за какого-то начальника со своей работы, он был вдовцом, и тетки радовались, что мать не разбила чужую семью. Все вместе это называлось: «Мария встретила человека».

Звали его смешно: Мартын Петрович. Он был старше матери лет на двенадцать. После их женитьбы письма стали приходить редко.

...Я иду дальше, к площади. Нашу школу я уже видел, прошел и дом, где жил мой друг Толик Зайцев. Тетки его терпеть не могли, особенно тетя Ина, утверждавшая, что Толик «как дурной кот — шарит без спросу по кастрюлям, а еще таскает из буфета печенье, ест повидло прямо из банки — и все исподтишка. Попросил бы, неужели отказали бы!» Тетя Калерия осуждать за кастрюли считала неприличным, поэтому возражала, что дело не в этом, просто Толя — плохой товарищ. В первых, он скверно учится, это уже говорит само за себя, а во-вторых, когда в пятом классе все вместе выбили в классе стекло, он спрятался за спину Алексея. «Взять вину на себя — это благородно, Алеша, тебя я одобряю, но он! Промолчать, когда ругают другого? Нет, это не друг, это враг». Тетя Ина при напоминании о стекле только вздыхала: платить за него пришлось из денег, отложенных «на питание».

От дома, где жил Толик со своей матерью Зинаидой Романовной (ее тетки считали аферисткой: «Раз в жизни пришла, сразу взяла в долг пятьдесят рублей, и только ее и видели. Яблочко от яблоньки...»), так вот от их дома всего квартал до площади. Я выхожу к троллейбусной остановке. Сесть сейчас на восьмерку — и домой, скоро «час пик», тогда не протолкнешься. Но надо пройти наш переулочек до конца.

Рядом с остановкой огромная очередь к ларьку «Овощи — фрукты». Просто чудовищная очередь, часа так на полтора, не меньше. Продают бананы, пустые картонные коробки с заграничными наклейками громоздятся на тротуаре рядом с ларьком. Очередь не галдит, не суетится, в ней стоят солидно, спокойно, с чувством собственного достоинства — бананов хватит на всех, вон и полные коробки, их много. Стоят в основном

молодые, лет по тридцать, модные, полные самоуважения люди. Много мужчин. Некоторые читают газеты, журналы, книги. Дисциплинированная очередь. В наше время таких здесь не было. Они не время теряют, а дело делают, серьезное, важное дело: стоят за бананами. Бананы хотят купить. И принести их домой для супруги и ребенка. Это — вроде охоты на мамонта, добыл и принес. И на это не жалко времени, целых полутора часов жизни не жалко. Вот так: бананы дороже жизни... Молодые мужики, не щадя собственной жизни, стоят, чтобы, подойдя наконец к прилавку, степенно взять пять килограммов этих несчастных бананов, аккуратно уложить их в портфель «дипломат» и сумку из «Березки» и переть к себе домой.

Моя жена сейчас бы мне возразила: возмущаться надо не тем, что эти парни убивают жизнь на бананы, а тем, что существуют такие очереди. Она, как обычно, была бы права. И все же...

Площадь я перехожу наискосок, нагло нарушая правила уличного движения, как нарушал их всю мою школьную жизнь. За площадью наш переулок продолжается.

...И чего я, собственно, взъелся? Не видел никогда, что ли, таких очередей? Сколько угодно видел, и за кроссовками, и за «кубиками-рубиками» или, скажем, за японскими трусами, без которых, видно, тоже никак невозможно. Видел я все это и спокойно проходил себе мимо, чего же здесь-то окрысился? Ну, стоят, здоровые, модные, а сам? Сам тоже, заметьте, в финской куртке, в английских (жена «выстояла» в Гостином дворе) ботинках. И с «дипломатом». Раскудахтался, как рамолик: «В наше время! В наше время! В наше время было не так». А кто поклянется, что все, что было в «наше время», — лучше?

Но ведь в «наше время», то есть когда я ходил по этому переулку в школу, очень многое, в самом деле, было иным. И мое раздражение объясняется тем, что я увидел эту сытую очередь именно ЗДЕСЬ. Я пожаловал сюда через двадцать лет, как в заповедник, где кто-то обязан был хранить нетронутым мое детство...

Это и вправду было «мое» время, оно принадлежало мне всем своим битком набитым событиями настоящим, бесконечным будущим и безмятежным прошлым, где

над курзалом взвиваются в небо ракеты, где «уходит вечер, вдали закат погас...». А очереди... Очереди тогда, конечно, были совсем другие, слава Богу, что теперь таких нет в Ленинграде. То были растрепанные, нервные, горластые очереди, все время — на грани скандала. Да они и вспыхивали то и дело, скандалы, то у самого прилавка: «Куда прешь? Не пушу! Не пустим!! Паразит! Граждане, он без очереди!!» — то в середине: «Мало ли что «занимала», нечего было два часа разгуливать, другие стоят, не шляются, а она проболталась, а теперь «занима-а-ла». Не помню я вас, вставайте в конец!» И в самом хвосте: «Больше кило в одни руки не давать!!» Едва затлев, эти скандалы мгновенно вспыхивали и, завиваясь в тугие жгуты, взмывали к визгу, ругани, оскорблениям и угрозам. Нередко все кончалось дракой и милицейскими свистками. Боевая готовность к скандалу все время подогревалась страхом: «кончится и завтра не будет».

Иногда и мне приходилось стоять в таких очередях, тетя Ина брала меня с собой на случай «в одни руки не больше...», однако, честно говоря, я не помню случая, чтобы выстоял очередь до конца. Я начинал томиться, нить, и тетке делалось меня жалко: «Иди, Алеша, ты озяб, весь магазин все равно не купишь». Тетя Калерия за покупками не ходила, после эвакуации у нее стали болеть и опухали ноги, она с трудом добиралась до дому после рабочего дня. Бывало, что с тетей Иной увязывалась Вера Запугина, соседка, ее комната была как раз напротив нашей и окнами на задний двор. То есть это, наверное, только я считал, будто «увязывается», тетя Ина к Запугиной относилась хорошо.

А вот я плохо. Настолько плохо, что за глаза называл ее не иначе как Запукина, и это всегда смешило теток, но они изо всех сил скрывали, что им смешно. Наоборот: кусая губы и педагогически хмуря светлые брови, тетя Калерия восклицала:

— Бессовестный! Чтоб я не слышала!

— Балдес! — с восторгом в голосе ругалась тетя Ина (она всегда говорила «балдес» вместо «балбес»).

Запукина появилась у нас в квартире летом сорок седьмого, кажется, года. Я вернулся из пионерлагеря и в первый же день увидел, что дверь напротив нашей стоит настежь. Из глубины комнаты на меня надвигался чей-то зад, кругло обтянутый неприлично короткой голубой в горошек юбкой. Женщин в этой комнате я не

видел сроду, пол здесь тоже никогда не мыли и мыть не могли. От неожиданности я произнес что-то, женщина крикнула «Ой!», бросила тряпку, выпрямилась и повернулась ко мне. Она была широкоплечая и коротенькая с желтыми, как солома, курчавыми волосами. Я увидел круглые испуганные глаза какого-то серо-мучнистого цвета, толстые красные щеки, круглый нос «картошкой» и приоткрытый рот.

— Здравствуйте, вам кого?— спросила она, одергивая юбку.

— Никого,— ответил я, возмущенный. Что значит «кого»? Я у себя дома, а вот что она делает в нашей квартире, неясно.

— Где Николай Акимович?— я строго нахмурил лоб.

— Не знаю,— она виновато моргала короткими прямыми ресницами.

Николаем Акимовичем водопроводчика Болотина я не называл никогда, назвал сейчас назло этой тетке, хозяйничающей в его комнате и задающей людям глупые вопросы. К Болотину у нас обращались исключительно по имени: «Коля, посмотрите, у меня керосинка опять коптит», «Коля, в коридоре сломался выключатель» и т. д. Болотин у нас в квартире был единственным мужчиной «с руками» (я-то считался безруким, что сулило мне в будущей самостоятельной жизни массу неприятностей). И Коля чинил выключатели и замки, чистил печки, делал «жучков», когда перегорали пробки, ну и, конечно, менял прокладки в водопроводном кране, что было уже работой по специальности. К нему в мастерскую тетя Ина посылала меня за срочно понадобившимся гвоздем или плоскогубцами,— мелкую работу она делала сама.

Николай был худой, высокий, сутуловатый, лицо имел длинное и с впалыми щеками, большим крючковатым носом и торчащим, как у бабы Яги, подбородком. Маленькие узкие глаза остро смотрели из-под косматых нависающих бровей, как из-под козырька. Это если Болотин был «подшофе», как изысканно выражалась тетя Калерия (тетя Ина то же состояние называла «под мухой»). В таких случаях глаза Болотина поблескивали, на губах то и дело сверкала улыбка, очень, надо сказать, красивая из-за удивительно белых, ровных зубов. Тетки не раз удивлялись, как это Коля, не выпускающий изо рта папиросы, а курил он исключительно

«Норд», как он не «прокурил» свои замечательные зубы. И вообще, как они на войне уцелели.

В пьяном виде Болотин очень мне нравился. Он выходил с газетой на кухню, когда там собиралось все население — мои тетки и старуха-соседка Анна Ефимовна, брал табуретку, водружал ее на середину и начинал обстоятельный разговор о политике. Интересовало Болотина исключительно международное положение, он с жаром рассуждал об освобождении колоний и плане Маршалла, а отрывки из газетных статей, где говорилось о событиях, особенно его возмущивших, читал вслух.

— Вот ты мне скажи!— кричал он, обращаясь почему-то всегда к Анне Ефимовне.— Только уж правду, слушай! Вот кинули они свою бомбу на Японию, и будь любезен. Ну, а на немца почему не кидали? Вот ты скажи: почему?

Анна Ефимовна резко поворачивалась и сверкала на Болотина своими живыми темными глазами.

— Почему? Как это почему, что значит?— поражалась она.— У них не было бомбы, хотите знать! Между прочим, еще не изобрели, вот и не кинули. Была бы, так уж кинули бы, можете не сомневаться!

— Х-ха. Ну уж эт-хрен,— Болотин хлопал своей большой ладонью по колену.— Бросили, потому что в Японии — им-пе-ра-тор. Ясно? Вот так.

— Что значит — император? При чем здесь? Это мне нравится!— тотчас вскипала Анна Ефимовна.— И как так можно рассуждать? Бомба — это трагедия, так почему из-за какого-то там императора должен погибнуть народ?!

В дискуссии Анна Ефимовна забывала про свои котлеты, которые тем временем начинали гореть. Но она даже не смотрела на сковородку. Приподняв левую бровь, она бросала красноречивые взгляды на интеллигентного человека — тетю Калерию, и та в ответ выразительно кивала: о чем тут говорить? Спорить с глупым пьяницей никакого смысла. И себе дороже.

Болотин в ответ принимался пугать Анну Ефимовну:

— А вот упадет еще бомба, и всю землю заморозит. И будь любезен!— заявлял он, вставая с табуретки.

— Болтает! Сам не знает, что болтает!— Анна Ефимовна взмахивала худыми руками. А от ее сковородки между тем уже шел дым. Болотин, хмыкнув, уда-

лялся к себе, пробурчав в дверях угрожающим тоном: «Пили-ели, все нормально, обругали всех буквально!» Только тут тетя Ина робко обращала внимание Анны Ефимовны на догорающие котлеты. Та опять стремительно махала рукой:

— А-а, пускай! Мы так любим!.. Это уже надо придумать, «заморозит», — горячилась она, глядя вовсе не на сковородку, а на тетю Калерию. — Какая безграмотность, просто я себе не представляю!

Тетя Калерия категорически соглашалась, она уважала Анну Ефимовну; ее в нашем доме уважали все — за опыт (все-таки восемьдесят лет есть восемьдесят лет) и за медицинские знания. До недавнего времени Анна Ефимовна работала врачом в нашей поликлинике, к ней и сейчас чуть что бегали советоваться.

Чтобы показать, что им наплевать на глупости Болотина, они с теткой сразу после его ухода заводили умный разговор. В отличие от международного-Коли Анна Ефимовна была крупным специалистом в области внутренней политики, ей всегда было известно, какая отрасль на сколько процентов перевыполнила план и когда восстановили какую ГЭС, что она и доводила до всеобщего сведения. Выслушав ее, тетя Калерия многократно кивала и тотчас комментировала, особо упирая на то, что таких успехов могут достигнуть только люди, безупречные в нравственном отношении. Она информировала слушателей, что труд создает личность, честь надо беречь смолоду, настоящая любовь — это любовь к труду, в котором, безусловно, настоящее человеческое счастье. А тот, кто этого не понимает, тот не живет, а существует. «И вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен про вас не споют», — грозно декламировала тетя Калерия явно в расчете на меня, — а я, недостойный, получивший накануне двойку, поднимался и шел вслед за Болотиным, в его комнату, где и было мне место.

Мы садились на койку и играли в шахматы, да что там играли — Болотин меня учил. Сам он играл блестяще. Тогда мне трудно было об этом судить, но все в нашем доме утверждали: если бы Коля не спился, то стал бы вторым Ботвинником. Недаром он однажды три раза подряд обыграл самого Евгения Давыдовича из пятого номера, а Евгений Давыдович, чтоб вы знали, первокатегорник или даже мастер.

— Сделал как пацана, эт-верно. Эт-правильно,— сказал Болотин, когда я спросил его об этом замечательном эпизоде.— Три — ноль. Сухая, понял? И будь любезен!

В трезвом виде Болотин в шахматы не играл. И не разговаривал. Лежал целыми днями на кровати одетый, в ботинках, и тускло глядел в потолок. Глядеть было не на что, потолок в его комнате производил жуткое впечатление — закопченный, весь в трещинах, по углам паутина. Стены, впрочем, выглядели не лучше: довоенные обои полопались, кое-где свисали унылыми клочьями, а где и вообще были сорваны. Это была какая-то бракованная комната, длинная и узкая, точно коридор. И темная — немытое окно выходило на задний двор. Внизу располагались дровяные сараи и помойка — бетонная, с тяжелой крышкой, закрывающейся при помощи противовеса. Удары этой крышки постоянно слышались в комнате Болотина. Из мебели там имелись только стол, табуретка и железная койка, заваленная каким-то тряпьем. Она стояла слева от двери, стол — впритык к окну, так что подойти к окну, чтобы проветрить комнату, было невозможно. Но Болотин к этому и не стремился. Вдоль правой стены, совершенно пустой и голой, на аккуратно вбитых гвоздях висела одежда Болотина, весь его гардероб: матросская шинель, драный ватник и темно-синий бостоновый костюм. Тетки удивлялись, почему он это все до сих пор не пропил. Станный человек, ненормальный какой-то.

И вот он лежал в своей затхлой прокуренной комнате, мрачный и неприступный, и, если я осмеливался заглянуть — спросить, как дела, угрюмо отвечал:

— Дела — сажа бела. Денег нет, а выпить надо.

Но займы ни у кого никогда не брал, во всяком случае у нас в квартире.

— Ну, что там Коля?— спрашивали тетки, когда я возвращался к себе.— Лежит?

— Лежит.

Тетя Ина наливала в тарелку щей и протягивала мне:

— Отнеси.

— Только будь, Бога ради, деликатен,— напутствовала тетя Калерия.

Я стучался к Болотину, ответа не получал, входил и садился ему в ноги. Тарелку я ставил себе на колени. Некоторое время мы оба молчали, потом я начинал:

— Вот тут... от тети Ины... она просила...

В любую минуту Болотин мог вскочить и в бешенстве заорать, что пошли бы вы все... такую-растакую... жить человеку не даете и помереть мешаете... к такой-растакой... Но если этого не случалось, если Болотин продолжал глядеть в потолок, я повторял, что тетя Ина очень просила не отказываться...

Методом проб и ошибок было установлено: надо обязательно подчеркнуть, что суп прислала именно тетя Ина. Трезвый Болотин признавал только ее, а тетю Калерию с Анной Ефимовной презирал. Тетю Калерию он называл почему-то «фик-фок на один бок», а Анну Ефимовну подозревал в сквалыжности. Эт-точно.

— Тут встречаю, слушай, идет бабка из гальяна с пузырьком — мочу собрала на анализ. Пузырек с наперсток. Спрашиваю: «Слушай, а чего так мало?» Она мне: «А нечего их баловать!» Вот так. Баловать, говорит, нечего их, и будь любезен.

Теперь я думаю, что историю с пузырьком Болотин тогда выдумал от начала до конца, он ведь и не то еще мог сочинить, например, будто бы в зоопарк из Германии доставили женщину-зверь, двух метров росту — вся белая, а грива, слушай, черная. И говорит по-немецки: «гутен таг», «битте» и «хенде хох». Тетки возмущенно отмахивались: «Белая горячка», а потом я узнал, что они тайком от меня ездили в зоопарк, искали там эту чудищу.

Вот какой прекрасный человек был Николай Болотин, моряк Балтийского флота, мой друг. А тут вместо него в комнате распоряжается эта белобрысая!

...Николая мы не видели больше никогда. Тетки сказали, что он куда-то переехал, нашел себе работу в другом жакте, и там ему дали комнату. Спорить с ними я не стал, хотя ребята во дворе уже успели сообщить: Болотина забрали, «черный ворон» приезжал. За что забрали? А кто его знает! Может, чего свистнул, но вряд ли, не похоже... Трепался он много, анекдоты травил...

Когда жена спрашивает меня, боялись ли в те годы мои тетки, боялся ли я сам, я искренне отвечаю — нет. То есть за теток ручаться, конечно, не могу, но кажется мне, что считали они себя такими уж мелкими сошками, до которых серьезным Органам просто нет дела. Ну

а чтобы болтать опасные глупости — это никому из них и в голову бы не пришло.

А я?... Я прекрасно знал, например, что Виталька Дунаев из нашего класса живет вдвоем с бабушкой и родителями не помнит, потому что их посадили задолго до войны. Почему посадили, не знает — был маленький, а вот у Федорова отец сидит за растрату.

В семейном альбоме у теток некоторое время хранилась дореволюционная фотография, снимались под Москвой, на даче у каких-то дальних родственников, тетя Калерия с длинной косой, переброшенной на грудь, держит на руках мою трехлетнюю мать, рядом тетя Ина в огромной соломенной шляпе, а по бокам и сзади целая куча незнакомых людей, никогда никого из них я потом не встречал и ничего о них не слышал. Так вот среди них стоял кто-то высокий, широкоплечий, в вышитой рубашке. На месте его головы зияла аккуратная четырехугольная дырка. На мой вопрос, кто этот «всадник без головы», тетя Калерия, помнится, помешкав, ответила: «Владик, сын... тети Жени. Они нам почти и не родня, так — десятая вода...» И добавила, что Владик был студентом, а потом комсомольским вожаком. А потом его посадили... Не знаю. Нет, не за растрату.

Никаких вопросов и недоумений у меня, как сейчас помню, не возникло. Интересы к безголовому Владiku — тоже. А то, что мои тетки, пожалев выкинуть всех родственников, ограничились тем, что с помощью ножниц обезвредили их в целом невиновный коллектив, было, с моей точки зрения, вполне естественно, всегда так делают — видал я старые учебники истории с замазанными чернилами портретами врагов народа. Все это было тогда буднями, частью нашей жизни — мы родились, а оно уже существовало... Бояться? Нет! Мне-то чего бояться или хотя бы теткам с матерью? Мы же не какие-нибудь доисторические троцкисты-зиновьевцы, в оккупации не были и с фашистами в силу этого не сотрудничали. Лично меня эти проблемы не волновали, а печального в жизни хватало без того — не у одного Дунаева не было родителей, чуть не полкласса потеряли отцов на фронте, у многих родные умерли в блокаду. А страшное... Убийцы каждую неделю нападали по пустырям на одиноких женщин и душили их удавкой. Потом, когда выяснилось, что бандит по фамилии Гыбин задержан и всех жертв убил он один, стало по-

чему-то еще страшней — тетки боялись выходить по вечерам из дома. А ужасные истории про людоедов? Анна Ефимовна рассказывала — в блокаду воровали детей и делали из них начинку для пирожков. Вот купит человек за громадные деньги на рынке пирог, откусит — а там детский пальчик. И — что вы думаете? — их сейчас нет среди нас? Да сколько угодно! Вон хоть Донцовы из седьмого номера — как они жили в блокаду? Это что-нибудь особенное. А за счет чего, я знаю?

Это был ужас. А какие-то неизвестные заключенные, сидящие не иначе, как за дело... нет, к нашей жизни это не имело отношения. Вот Болотин... Его мне было очень жалко. До слез. Как если бы я узнал, что он попал под трамвай и его зарезало насмерть.

При Запукиной болотинская берлога преобразилась. Стекла в окне сверкали даже сквозь тюлевую занавеску, на стенах цвели оранжевыми розами новые обои, потолок был выбелен, вместо пыльной лампочки, одиноко висящей на грязном шнуре, появился шелковый абажур. Кроме того, Запукина ухитрилась как-то разместить в комнате пухлую кровать с никелированными шарами, столик, шкаф, три венских стула и комод, сплошь уставленный безделушками. Были там конечно же фарфоровые слоны, были собачки, был глиняный кот-копилка. Над кроватью, как положено, висел коврик с лебедями, красоты необыкновенной, а на горе подушек, укрытых тюлевой накидкой, лежала, раскинув розовые руки, мордастая кукла с закрывающимися глазами. Лицом она как две капли воды была похожа на Запукину. Зачем кукла понадобилась взрослой тете? Лично я считал это последним свидетельством умственной отсталости Запукиной.

Но особенно отчетливо я невзлюбил ее, когда зимой она выпросила у теток наш патефон с пластинками. Сказала — «на денек», а сама все не отдавала и не отдавала. Каждый вечер из ее комнаты доносилось «Утомленное солнце», «Рио-Рита», мамино любимое «Уходит вечер, вдали закат погас...». Как-то, проходя мимо, я заглянул в приоткрытую дверь и увидел, что Запукина, замерев, сидит за столом, на котором играет патефон. Уставилась перед собой, даже рот разинула.

В тот же вечер я решительно сказал теткам, что патефон надо забрать, Запукиной он совершенно не нужен — под музыку все люди танцуют, а не сидят, как статуи, со стеклянными зенками. За статую меня строго предупредили, за зенки, конечно, объявили выговор, но патефон скоро вернулся.

Лучше бы не возвращался — теперь Запукина повадилась к нам. Она приходила каждый вечер, как раз в то время, когда я делал уроки, садилась у стола и начинала заунывный, тягучий, никому в мире не интересный рассказ про то, как «ОН посмотрел, я отвернулась, ОН сказал, я сказала, я позвонила, ОН: «Я вас слушаю», я говорю: «Это Вера», а ОН: «Какая Вера?», я говорю: «Запугина», а ОН: «Понял», я сказала, чтоб ОН мне позвонил, а ОН не позвонил...»

Разложив на обеденном столе, на клеенке, тетради и учебники, поставив чернильницу («Алеша, подстели газету, прольешь, сколько можно?»), я писал сочинение на свободную тему: «Все работы хороши, выбирай на вкус», за окнами, покрытыми морозными цветами, темнел наш двор, где я сегодня вмазал-таки по уху этой лошади-Бородулиной, в углу комнаты, в круглой печке, уютно трещали дрова. Тетки сидели рядом на оттоманке, тетя Ина вязала мне носок, а тетя Калерия время от времени напоминала ей, что надо пойти помешать кочергой в печке, а то до ночи не прогорит. Запукина, ни на кого не обращая внимания, все вела свою нудь: «Я позвонила, ОН сказал, а сам не звонит, я спросила, ОН не сказал, я позвонила, подошла ОНА, я повесила...»

Иногда тетя Калерия произносила что-нибудь исключительное, вроде: «Девушка должна быть гордой, нельзя, чтобы ОН догадался, что нужен вам больше, чем вы — ему...» Запукина ей послушно кивала, но, по моему, она вообще ничего не слушала, не видела и не понимала, в белесых, круглых ее глазах навсегда застыло одно-единственное выражение — тоскливого ожидания. Впрочем, на один звук она реагировала безотказно: на телефонный звонок. Стоило ему раздаться, как она мгновенно срывалась с места и кидалась к дверям. Из коридора слышался топот и истошное «Алё! Алё!!» Потом она возвращалась понурая и говорила, что к телефону позвали, конечно же, Анну Ефимовну и теперь она будет три часа разводить свои глупости. Анна Ефимовна действительно разговаривала подолгу,

но это были вовсе не глупости, а медицинские консультации, которые она давала своей дочери, или взрослой внучке, или знакомым. Каркающим голосом Анна Ефимовна по слогам (для невежд) произносила названия лекарств и объясняла, как их принимать.

— Стрептоцид белый,— диктовала она,— по одной таблетке три раза в день перед едой. Обильно запивать... Водой, водой! Это мне нравится. Она еще хохмы... А на ночь — теплое молоко с содой... Невкусно? Что значит? Я уже не понимаю, что тебе важнее — удовольствие или все-таки здоровье?

Бывало, что Анна Ефимовна вот так, заочно, лечила заболевшую собаку или кота:

— Главное же — своевременное питание. И ритм. Ритм. В питании это все. Для животного, я вам скажу, это имеет не меньшее значение, чем для людей...

Пока Анна Ефимовна разговаривала, Запукина успевала вся известись. То и дело она вскакивала, подходила к двери и выглядывала в коридор, крутила свои толстые пальцы с широкими ногтями, вымазанными багровым лаком, приглаживала волосы, от чего они на зло ей становились дыбом. Кстати, волосы Запукина постоянно перекрашивала в новый цвет. То она была ослепительной блондинкой, то появлялась огненно-рыжая, то какая-то фиолетовая, то черная, как цыганка, но больше всего я помню ее все-таки с волосами цвета соломы, темными у корней. И вот, взъерошив волосы, Запукина металась по нашей комнате и причитала:

— Ну что же это, Господи, ну как же так можно? Я не знаю...— И наконец, со слезами в голосе выкрикнув, что Анне Ефимовне животные дороже человека, она бросалась к двери и выбегала вон. Дверь хлопала.

— Чего она? Ненормальная, да?— спросил я у теток, когда Запукина таким образом покинула нас впервые.

Тетя Калерия сказала только, что называть Веру ненормальной — несправедливо и грубо, а тетя Ина жалостливо пояснила, что Вера беспокоится: Анна Ефимовна долго занимает телефон, а ей могут как раз в это время позвонить.

— Но ей же никогда никто не звонит,— удивился я. Тетки промолчали.

Однажды Запукина вошла, торжественная, и молча положила перед тетей Иной и тетей Калерией фотографию невзрачного пожилого мужчины. По-видимому,

это и был ОН, которому она все звонила, а он не звонил. Под фотографией имелась надпись тушью: «СТОГОВ МИХАИЛ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА».

— Интересный,— с сомнением в голосе сказала тетя Калерия.

— Глаза красивые,— неуверенно поддержала ее тетя Ина и грустно посмотрела на Запукину.

Полюбовавшись на фотографию, Запукина сообщила, что «взяла» ее с цеховой Доски почета.

Я замер в ожидании, когда тетя Калерия ей врежет, что красть нехорошо, повесьте немедленно назад, но та задумчиво произнесла:

— Если вы так серьезно к нему относитесь, Верочка, надо, чтобы у вас возникли общие интересы. Он, конечно, ведет какую-то общественную работу?

— Ага,— тараща глаза, прошептала Запукина.— Ведет. Кружок текущей политики.

— Вот и запишитесь.

— Ага,— от старательности Запукина приоткрыла рот.

Тетя Ина глядела на старшую сестру с восхищением.

Запукина записалась в кружок. Теперь она от корки до корки прочитывала «Ленинградскую правду» и внимательно слушала радио. Радио у нас было включено раз и навсегда, оно начинало говорить в шесть утра и кончало, когда все уже спали, но раньше Запукина, увлеченная своим «ОН-сказал-я-сказала-я-звонила-ОН-не-звонил», и внимания не обращала, что там передают. Теперь же могла, внезапно прервав заунывное повествование, вдруг зашикать на всех и кинуться к динамику, чтобы прибавить звук.

Анна Ефимовна жаловалась: Вера одолевает ее дурацкими разговорами.

— Можете себе представить? Только я в кухню — топ-топ. Бежит. И сразу с разными вопросами, как будто мне делать нечего. Вчера пристала: есть ли жизнь на Марсе,— это я вам скажу! Пара пустяков? Столько насущных проблем у нас тут, а ее волнует какой-то, извиняюсь, Марс-шмарс. Я уж боюсь выйти на кухню, но надо ведь покормить Негодяя, бедное животное никто не кормит!

Зачем понадобились Запукиной сведения о Марсе, неизвестно, но с этим вопросом она обращалась и

к теткам, и даже ко мне. И я ей сказал, что жизнь там точно есть, кто же этого не знает? Живут пауки ростом со слона, нам об этом говорили на географии. Секунды две Запукина смотрела на меня вылупив глаза, а потом, жалобно пробубнив: «Да-а, ты шутишь, ты всегда шутишь», ушла к себе в комнату.

Что касается Негодяя, то Негодяй был наш кот, я поймал его на помойке и принес в квартиру по просьбе тети Ины — нас измучили крысы. Они съедали крупу, прогрызая кульки, из-за чего мы все могли, по словам Анны Ефимовны, угодить в инфекционную больницу с желтухой или другим заразным заболеванием, чуть ли не чумой. Кроме того, они нагло носились по коридору, стучаясь в темноте об ноги проходивших, и тогда тетя Калерия с криком: «Пасюка!» — буквально падала в комнату, вся бледная:

— Следующий раз будет разрыв сердца, эта проклятая Пасюка вгонит меня в гроб, увидите!

Тетка была уверена, что серая крыса-пасюк (кличка «Пасюка») у нас в квартире всего одна, но зато очень активная, злобная и вездесущая.

Пасюке была объявлена тотальная война. Яд не помог. В ход пошли кошки. До Негодяя я притаскивал со двора двух других котов. Ночью из коридора доносились звуки боя — писк, шипенье, какой-то стук и кошачьи вопли. Утром мы находили кота на шкафу. Шерсть на нем стояла дыбом, ухо было разорвано и кровоточило. В руки кот не давался, царапался и шипел, а вырвавшись, бежал к двери на лестницу, где сразу начинал скрестись, громко при этом завывая.

Негодяй справился с Пасюкой в первую же ночь. Шум в коридре был страшный, продолжалось это несколько часов, я, помнится, так и заснул, не дождавшись конца сражения. А проснулся от пронзительного крика. Кричала тетя Калерия. В длинной ночной рубашке она стояла на обеденном столе и тонко, на одной ноте, кричала: «А-а-а-а!»

Вокруг стола бегала растрепанная тетя Ина, протягивала к старшей сестре руки, все время повторяя: «Каля, ну Каля, она же дохлая, дохлая, ну Каля же!»

Потом выяснилось: проснувшись, тетя Калерия почувствовала босой ногой что-то меховое и решила, что это кот, дрыхнувший у нее на кровати вместо того, чтоб ловить крыс. Она протянула руку — согнать — и наткнулась на дохлую Пасюку.

«Пасюк» у нас оказалось много, за неделю Негодяй передушил штук шесть. И всех до одной принес тете Калерии, которую почему-то назначил своей хозяйкой. Каждый раз вручение трофея сопровождалось воплями и залезанием на стол или диван, но кота тетки безоговорочно признали и зауважали. Негодяй был абсолютно черный, длинный, с обломанным (или обрубленным, а может, и откушенным) у кончика хвостом. Тетки считали, что для повышения боеспособности кормить его надо поменьше, а то заестся и охладает к крысам. Анну Ефимовну это возмущало: взяли животное, обеспечьте полноценное питание. Ласковым «кыс-кыс-кыс» она вызывала Негодяя на кухню, и оттуда слышалось нарочито громкое:

— Нá уже! Ешь уже! Тебя же никто не кормит!

Тетя Ина как-то сказала, что эта кормежка — одна видимость, педагогическая хитрость, — куски супового мяса, которые Анна Ефимовна бросала Негодяю, были, по мнению тетки, видны только в микроскоп. Думаю, что тетя Ина была не права, животных Анна Ефимовна любила и всегда подкармливала, особенно бездомных. Последние годы своей жизни (умерла Анна Ефимовна за девяносто) она, как рассказывали тетки, «просто помешалась на этих котах» — собирала все объедки, какие оставались в квартире, складывала в сумку и ходила по соседним дворам, скликая кошек из подвалов. В одном из дворов она и умерла — упала и сразу умерла, мгновенно. Тетки завидовали: всем бы так. И говорили — это справедливо, хороший человек должен умирать легкой смертью в глубокой старости. В тот последний день Анна Ефимовна приколотла к своей двери записку: «Ушла кормить кошек».

— Как чувствовала, раньше — никогда никаких записок, — вздыхали тетки.

С тех пор, говоря о смерти, они всегда называли ЭТО — «уйти кормить кошек». Тетя Калерия так и написала мне в Петрозаводск: «Алеша, приезжай почаще, а то уйду кормить кошек, не повидав тебя. Я ведь должна уйти первая, я старше, а ты уж тогда не оставляй Георгину».

...Они ушли в один год — сперва тетя Ина, а за ней — тетя Калерия. Оба раза меня вызывали телеграммой, и я успевал только проводить. Обе скончались внезапно, были хорошими людьми, а хороший человек должен жить долго и умирать легко...

А в те далекие времена им было немногим больше, чем мне сейчас. Но вот какого же возраста была Вера Запугина? Тогда-то я не видел между нею и тетками принципиальной разницы, но сейчас думаю — было ей лет двадцать семь — двадцать восемь, не больше. Выросла она в детдоме, во время войны была на оборонных работах под Ленинградом, потом пошла на завод. Жила в общежитии, а летом сорок седьмого переехала к нам.

Вскоре после того, как Запукина поступила в кружок текущей политики, мне совсем не стало житья. Мало того, что своим «ОН-не-звонил» меня доводили до бешенства, мешая заниматься, теперь добавились еще просьбы. По вечерам Запукина ловила меня в коридоре (при тетках стеснялась) и, косясь на нашу дверь, шептала:

— Алеша, пойдем, а? Набери номер, а? Набери, и если женщина, позови Михаила Терентьевича, а если ОН, дай трубку мне.

Как правило, к телефону подходил мужчина. Говорил: «Алло. У аппарата». Я совал трубку Запукиной, и она начинала бляеть:

— Михал Терентьевич, это я, Запугина Вера. Да. Я только спросить... Я говорю — спросить хотела. Про положение в Китае.

Этот Михаил Терентьевич, как дурак, принимался объяснять. Трубка гудела, Запукина тарщила глаза, приговаривая: «Ага. Ага. Понятно», а сама все делала мне знаки, чтоб я ушел. А я не уходил, еще чего.

— Какой же ты вредный,— жаловалась она, вся красная, положив, наконец, трубку после того, как в сотый раз попросила своего Терентьевича «звонить, если что».

— Не будет он тебе звонить, чего ему звонить, у него жена есть!— мстил я Запукиной за «вредного» и уходил, дав себе слово больше ее просьб не выполнять. Но на следующий же день она подлавливала меня опять, и я не мог отказаться.

Если в трубке звучал женский голос, я всегда говорил:

— Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Михаила Терентьевича, это с работы звонят.

— Спасибо, сейчас он подойдет,— вежливо отвечала женщина. Она шла звать мужа, а я с осуждением

смотрел на Запукину, корову этакую, топчущуюся рядом.

Накануне майских праздников Запукина влетела к нам в комнату, вся пылая, и объявила, что ОН придет! ОН обещал!

— Я сказала: «Зайдите после демонстрации, посмотрите, как я живу». А ОН: «Спасибо». Я ему адрес на бумажке написала и дала.

Тетки почему-то ей поверили и очень воодушевились. Тетя Ина даже слезла с открытого окна, которое как раз мыла, они уселись втроем, как всегда: тетки на диване, Запукина у стола. И стали обсуждать, что купить и сготовить и в какое платье Верочка должна нарядиться. И как причесаться.

Во дворе орала радиола — Левка, сын Евгения Давыдовича, как обычно, выставил ее на подоконник, чтобы все знали про его богатство; время от времени доносились крики «штандер» и взлетал мяч, это играли маленькие девочки во главе с дылдой Бородулиной, которой я сегодня совершенно случайно попал из рогатки в лоб. Я не хотел в нее попасть и даже извинился, но Нинка все равно обещала, что сегодня же придет и все честно расскажет моим теткам, какой я расту хулиган и что меня надо сдать в ремесленное училище. А завтра она специально пойдет ко мне в школу и тоже честно все про меня расскажет, и про рогатку и про то, как я врал, будто мой отец летчик и погиб в Испании, когда она, Нинка, точно знает: отца у меня нет и не было, я незаконный, и мать меня тоже бросила. Вот тут я и дал ей по башке, не сильно дал, больше для порядка, а она заорала, что — все, теперь уж — все! И вот я весь вечер ждал, что сейчас раздастся звонок в дверь, и Нинка явится вместе со своей мамашей тетей Клавой, та начнет орать, а Нинка притворяться, что ревет, а сама станет исподтишка корчить мне рожи.

Но Нинка преспокойно играла в «штандер», а тетки с Запукиной взахлеб болтали про винегрет и студень из каких-то ножек, про голубое платье с рюшками, буфочками и вытачками, пироги, скатерть и хрустальные рюмки, которые тетя Калерия даст Запукиной, если та постарается их не разбить.

— Это мамино приданое,— строго сказала тетя Калерия,— но вы все равно возьмите. Сервировка стола очень и очень много значит. Она создает атмосферу.

— А патефон? Можно, я патефон возьму?— пискнула Запукина и посмотрела на меня испуганными глазами.— Я сразу отдам, правда-правда. У меня пластинка есть новая «Вам возвращая ваш портрет», очень хорошая. До того задушевная, что прямо...

Я не успел разозлиться — позвонил телефон, и я пулей вылетел в коридор. Это могла быть тетя Клава — захотела удостовериться, что тетки дома, чтобы потом прийти скандалить. Я схватил трубку, и незнакомый мужской голос попросил Веру Петровну.

— Нет таких!— заорал я радостно, нажал на рычаг, повернулся и увидел рядом Запукину.

— Кто это?— она была бледная и, как всегда, испуганно тарасилась.— Кого звали?

— Не туда попали. Веру Петровну какую-то.

— Как — «не туда»?! Что ты наделал! Я же Вера, это меня!!— Лицо Запукиной пошло пятнами, на глазах выступили слезы.— Зачем ты?.. Вредитель!— Она закрыла лицо руками и принялась громко всхлипывать.

Примчались тетки, схватили ее под руки и повели к нам в комнату, где отпаивали водой и уговаривали, что это был не ОН, что, правда, кто-то просто ошибся.

— Вы же не Петровна, вы же Ивановна, Ивановна,— повторяла тетя Ина и, сама чуть не плача, гладила Запукину по плечу.

— Мало ли что,— рыдала та,— ОН по отчеству не знает, все «Запугина» да «Запугина», редко, если «Вера» скажет. Это ОН конечно же...

— Если это был ОН, позвонит еще раз,— сказала рассудительная тетя Калерия.

— А вдруг ОН завтра не может прийти, заболел, хочет предупредить?— не унималась Запугина.

Кое-как теткам все же удалось ее успокоить. Весь вечер они вместе готовились к завтрашнему приему, тетя Ина пекла пирог, тетя Калерия зачем-то выставила на буфете всю посуду, разглядывала и умилялась: «Это мамина чашка, это папин подстаканник, а это — Марусина первая тарелка, видишь, Алеша?.. А где же хрустальные рюмки, стояли тут, на верхней полке. Алеша, ты не трогал? Точно?» В конце концов я сбежал. Зашел за Толиком, и мы отправились бродить по городу. Было тепло, окна открыты, люди без пальто. Мы с Толькой зашли в кино — в Доме культуры рядом с нашей школой шла «Расплата», а я как раз недавно прочитал «Графа Монте-Кристо». Домой я вернулся

поздно, тетя Ина уже два раза выходила меня встречать. Я увидел ее в переулке около арки наших ворот и, пока мы с ней поднимались к нам на второй этаж, успел в двух словах рассказать содержание фильма. А дома нас ждала неотвратимая тетя Калерия.

ОН так и не пришел. Все утро Запукина, свежеевыкрашенная в рыжегато-коричневый цвет и мелко завитая, с пунцовыми губами и выщипанными бровями, поверх которых черным карандашом были нарисованы новые, роскошные, весь день она, наряженная в голубое крепдешинное платье с буфами и вытачками, просидела у нас на подоконнике. Из нашего окна виден был двор, который ОН должен был пересечь, прежде чем подойдет к нашей парадной. Тетки ушли на демонстрацию, на окне, рядом с Запукиной, играл наш патефон, перекликаясь с нахальной радиолой Евгения Давыдовича. Запукина без конца заводила свою новую пластинку «Вам возвращая ваш портрет». Мне надоело, и я ушел — мы договорились с Толиком попытаться сегодня еще раз попасть на «Расплату». Дура Запукина про этот фильм сказала, что он «пустой, но музыкальный».

Когда я бежал через двор, она меня окликнула и стала звать обратно, мол, надо тут сделать одну вещь. Я сразу догадался, какую, и крикнул ей, что опаздываю. Я знал, чего ей надо: чтобы я позвонил ЕМУ. Фиг ей.

Когда я вечером пришел домой, Запукиной у нас не было. Тетя Ина накрывала на стол, готовилась к праздничному ужину, тетя Калерия убирала в буфет хрустальные рюмки из приданого моей бабушки. Запукина сидела в своей комнате, дверь туда была плотно закрыта, патефон пел «Я о любви вас не молю, в моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю». Вздохнув, тетя Ина сказала, что мужчины часто бывают удивительно слепы и жестоки, и я понял, что Запукина ЕГО окончательно не дождалась.

Патефон заиграл «Уходит вечер», тетки все вздыхали, а я думал про мать, от которой очень давно не было писем, думал безо всякого беспокойства и без обиды — она иногда не писала по несколько месяцев, — просто пытался представить себе, как она там. Но видел ее не где-то, а здесь, в нашей комнате, как она танцует под патефон в атласном халате с птицами и смотрит куда-то синими глазами, а на губах улыбка. В окно светит

солнце, и кажется, что волосы у матери совсем золотые...

Мы сели за стол. Пластинка кончилась, и Запукина сразу завела «Утомленное солнце». А я стал думать про курзал, то есть не про сам курзал, а про летний вечер в Сестрорецке, про дачу, желтую, двухэтажную, со множеством веранд и башенкой. Одна из веранд — наша, в первый и последний раз в моем детстве я провожу лето не с детским садом и не в пионерлагере, а на даче с тетками. Тетя Калерия в отпуске, тетя Ина каждое утро (я еще сплю) приносит от молочницы банку парного молока, а потом уезжает в город. Возвращается она вечером с полной «авоськой» — мы с тетей Калерией встречаем ее на станции. Каждый раз происходит сцена с вырыванием «авоськи» друг у друга:

— Калерия, отстань, я донесу.

— Нет, ты устала.

— Не морочь голову, тебе нельзя тяжести.

— Алеша, что ты делаешь? Прольешь сметану! Отдай сию же минуту, у тебя будет грыжа! — это кричат уже обе, хором, и сразу тетя Калерия заводит опять:

— Георгина, перестань валять дурака, я тебе сказала: дай сумку, я старше, ты должна слушаться. И — видишь? Ребенок уже нервничает.

Кончалось тем, что они несли сумку вдвоем — тетя Ина за одну ручку, тетя Калерия за другую, и обменялись по дороге свежими новостями про хозяйку дачи и соседку Зинку. Я плелся рядом и нудил насчет мороженого, а меня пугали ангиной, при которой две недели не позволят купаться...

— Алексей, почему ты не ешь? Закрой рот, муха влетит! — прервала мои воспоминания тетя Ина.

— О чем задумался, детина? — спросила тетя Калерия.

— О Сестрорецке, — ответил я честно. — Помнишь, как ты ходила в курзал?

Тетки переглянулись:

— Неужели и ты помнишь? Совсем ведь был маленький!

Я помнил. И до сих пор очень даже хорошо помню вечер выходного дня, очень теплый, в то лето все вечера были теплые, а дни — жаркие. Солнце уже село, небо над заливом лиловатое. На всех участках играют пате-

фоны и качаются гамаки. Я тоже качаюсь в гамаке, а неподалеку от меня, на крыльце, тетя Зина, соседка, заводит патефон. Мне тетя Зина очень нравится, чем-то она даже походит на мою маму, кроме того, у нее есть коралловые бусы. Тайком от моих теток она иногда покупает мне мороженое — эскимо на палочке, поэтому я всегда прошусь, чтобы меня отпускали с тетей Зиной на базар.

Сегодня к тете Зине должен приехать из города ухажер, и они пойдут в курзал — это я слышал утром, тетя Калерия сказала тете Ине за завтраком. И вот ухажер наконец приезжает, но не один, а с товарищем. Товарищу для курзала нужна дама. Тетя Зина прибегает к нам на веранду, и там происходит совещание. Из гамака я все вижу и слышу — окна в сад открыты настежь.

— Глупости! — возбужденно говорит тетя Зина. — Он тоже старый, ему больше тридцати!

Она уходит, а через несколько минут на крыльце появляются тетя Калерия с тетей Иной. Тетя Ина в своем всегдашнем сарафане, а вот тетю Калерию не узнать: на ней светлое платье и брошка в виде паука с зеленым брюхом и золотыми лапами. На голове — берет, сдвинутый набок. Обута тетя Калерия в парусиновые туфли, ослепительно намазанные зубным порошком. Тетки проходят мимо меня по дорожке, и я чувствую сильный запах «Красной Москвы», я его хорошо знаю, тетки признают только эти духи.

У калитки тетю Калерию поджидает нарядная тетя Зина. С ней двое мужчин, высокий и маленький, они в одинаковых белых штанах, темных пиджаках, без галстуков, в белых рубашках «апаш», это слово я тоже знаю от теток. Я высовываюсь из гамака и пытаюсь угадать, кто из этих двоих тети Зинин ухажер, а кто — товарищ. Конечно, лучше бы товарищ был тот, что повыше!

Шагах в пяти от калитки тетя Ина поворачивается и деловито семенит назад, шепча себе под нос, что надо было надеть «лодочки».

Тетя Калерия идет к калитке одна. Я наблюдаю, как она подходит и знакомится, по очереди протягивая руку — сперва высокому, потом маленькому. Ура! Ясно — товарищ ухажера все-таки высокий. Я радуюсь. Но длинный вдруг берет под ручку тетю Зину, а маленький — тетю Калерию. И вот они уже за калиткой.

Я вылезаю из гамака, подбегаю к забору и смотрю им вслед. Они удаляются вдоль улицы. Тетя Калерия с товарищем ухажера идут сзади, товарищ ухажера чуть повыше плеча тети Калерии, кажется, он не ведет свою даму, а висит у нее на руке. Тетя Зина со своим дылдой их обогнали, идут, прижавшись друг к другу плечами, ухо к уху — ноги врозь, ничего красивого в этом нет!

Темнеет. Играют патефоны. «Уходит вечер, вдали закат погас». От курзала доносится духовой оркестр. Я ненавижу товарища ухажера.

...Да, я ничего не забыл. Я узнаю каждый дом в нашем длинном переулке. Я прошел еще только половину, нет, чуть больше: половиной пути от дома до школы всегда считалась поликлиника, а наш дом и вообще в самом конце, недалеко от вокзала.

В юности, гуляя здесь с девушками, я хвастался, что наш переулочек уникальный, можно прожить целую жизнь, ни разу никуда не выходя. В самом деле — у нас есть все, во всяком случае, тогда было. Вот в этом роддоме я, например, родился. А рядом — детская больница, там же была и поликлиника... Здесь я один раз пытался получить освобождение от школы — боялся идти на зоологию, по которой мне накануне вlepили двойку. Двойка — это пусть, но злоехидный Емельян еще записал в дневнике: «Безобразничал на уроке: вел себя вызывающе. Прошу родителей явиться в школу». Тете Калерии я дневник не показал, показал по секрету тете Ине, она и пошла. А что я такого сделал, в конце концов?! Емельян спросил меня с места, какая температура у дождевого червя, и я сказал, что 36,6°. А он посмотрел на меня, как на какого-нибудь Риббентропа, и тихонько так спросил: «А при гриппозном состоянии?» И не стал дожидаться, что я скажу, вкатил пару, и будь любезен. И замечание — само собой. Слава Богу, тетя Калерия не узнала, сестра у нее настоящий человек.

Не помню, получил я тогда освобождение или нет. Кажется, получил — уж очень кряхтел и жаловался на живот, докторша даже хотела направить меня в больницу насчет аппендицита... Впрочем, может быть, история с аппендицитом была в другой раз.

Иду дальше. Через два дома от больницы детский сад, я перехожу улицу, чтобы подойти к нему и постоять

у входа. Сюда меня водила тетя Калерия, а домой всегда забирала тетя Ина, она освобождалась раньше. За зданием детсада был тогда маленький дворик, куда нас выпускали гулять. Там росли два больших дерева. Я обхожу здание. Дворик на месте, и деревья тоже. Деревья, вопреки художественным произведениям, не меньше, чем были. Под одним из них тогда стояли качели и барабан. Если встать на него и ухватиться за перекладину над головой, можно бежать на месте — барабан вращается под ногами. Мне это очень нравилось, пока я однажды не свалился с этого чертова барабана прямо на глазах у Нинки Бородулиной. Она, конечно, отвратительно хохотала, а я разбил колено, но не мог из-за нее зареветь, что еще обиднее. Потом мне делали укол от столбняка. Сейчас барабана нет, они сразу после войны куда-то все подевались, может, признаны особо вредными из-за бессмысленности? На том месте, где он стоял, теперь длинный, низкий бум. Он покрашен в черную и оранжевую полосы и кончается тигриной башкой. В наше время таких изысков не было. Рядом с бумом скамейка, подвешенная на цепях. Я сажусь на нее и медленно раскачиваюсь.

Небо над домами все-таки еще довольно светлое, потому что скоро весна. Я уже чувствую ее, хотя сейчас только февраль. Через двор идет невысокая, плотная женщина, издали похожая на нашу Запукину. То есть это мне хочется думать, будто — похожая, и, когда женщина проходит мимо меня, я нарочно отвожу взгляд, чтобы не разочаровываться. А что? Может быть, это Запукина и есть! Я, во всяком случае, никогда уже не смогу твердо сказать, она это была или не она, я не видел лица.

А тогда, второго мая сорок седьмого года, она не вышла утром на кухню. Тетя Калерия с тетей Иной стучались к ней в комнату. Она не ответила.

— Верочка! — кричала тетя Калерия. — Откройте сию же минуту, это нетактично — так пугать людей!

Верочка наконец открыла, тетки вошли и долго у нее оставались. Вернулись они озабоченные и во время завтрака все спорили, правильно или нет поступила Вера, что разорвала какое-то письмо. Я понял, что письмо было ЕМУ и тетки его все-таки прочли, достав

и сложив с разрешения Запукиной обрывки, которые она запихнула в печь.

— Жалко девчонку. Какое письмо, вся душа вылилась. Да-а...— задумчиво говорила тетя Ина, размешивая ложечкой сахар в чашке с чаем.

— Прекрасное, поэтическое письмо. Оно растрогало бы даже каменное сердце,— горестно соглашалась тетя Калерия.— А посылать все равно было нельзя! Как это так? Он ее не любит, это ясно без слов, зачем же себя унижать? Верочка — интересная девушка...

Это кто это интересный? Запукина?! Я фыркнул и облил чаем праздничную скатерть. К большому моему удивлению, взыскания не последовало, тетя Калерия только посмотрела на меня, подняв брови, но тотчас повернулась к тете Ине и сообщила той, что девушку украшает гордость. Чем кончился их разговор, не знаю, я очень торопился во двор и в темпе ушел, прихватив с собой кусок пирога. Тетки что-то неизвестное кричали мне вслед. Наверное — чтобы я не смел бегать по крышам и лазать по чердакам, а как раз именно это мы с ребятами сегодня и собирались делать, очень ведь интересное дело, в самом деле интересное, я и сегодня так думаю.

В этот же день Запукина вернула наш патефон и больше по вечерам не приходила. Она сидела и сидела одна до поздней ночи, мы уже ложились спать, а из-под ее двери все еще виден был свет. На кухне она ни с кем не разговаривала, но была очень вежлива, если к ней обратятся. На вопрос Анны Ефимовны: «Что же это вы, деточка, такая бледненькая? Вам-таки необходимо проверить г э м о г л о б и н» — сказала: «Большое спасибо за внимание, Анна Ефимовна, я здорова».

Выглядела Запукина плохо, это даже я заметил — щеки обвисли, как у Ивася, боксера Нинки Бородулиной (ее родители недавно взяли собаку), глаза смотрели жалобно, волосы, которые Запукина перестала завивать и красить, болтались пегими сосульками. В конце мая стало известно: «Вера просто сошла с ума, вы подумайте,— подала на расчет и завербовалась куда-то на Север, чуть ли не в Воркуту».

Теперь она стала иногда заходить к нам опять. Сидела, пила чай, наливая его в блюдечко, разговаривала с тетками о том, что сегодня в трикотажном давали дешевые кофточки и во Фрунзенском выбросили «танкетки», но она не стала стоять, ей теперь кофточки и туфли

не нужны! Тетки переглядывались, но не возражали. Выражение лица Запукиной не располагало к возражениям, оно было какое-то непреклонно-отрешенное. В ответ на тети Инины «охи», что ей трудно будет на Севере, горделиво отчеканила: трудности ее не пугают, и не то видала, зато там — ЛЮДИ. Однажды тетя Ина не выдержала и поинтересовалась, как же все-таки относится ОН к предстоящему отъезду Веры? Запукина посмотрела на тетю Ину долгим взглядом и сказала, что не хочет об этом говорить. Потом отодвинула чашку, буркнула «спасибо», встала и ушла к себе. В тот вечер тетя Калерия долго пилила младшую сестру за поразительную бестактность. А Запукина после этого не появлялась у нас целую неделю...

— Совести нет ни на копейку! Сейчас милицию позову! — раздается над моей головой. Я вздрагиваю и вижу рядом высокого старика. У него багровое лицо, он весь дребезжит от ярости. — Нашли место, где собираться, подонки: у детского учреждения! Каждый вечер сидят, а утром — бутылки, и качели сломаны!

Откуда ни возьмись, рядом со стариком возникает маленькая, коротконогая собачонка и залиvisto лает на меня. Мне вдруг делается очень обидно, и я, как дурак, собираюсь обстоятельно и гневно объяснить этому мху, что ничего дурного здесь не делаю и вообще имею право сидеть в этом дворе, это мой двор, я сюда в детский сад ходил... А сколько лет назад я сюда ходил? Сорок с лишним. Не слабо, как выражается мой шестнадцатилетний сын. Старик продолжает орать и грозиться, собака на грани инсульта, мне хочется сказать что-нибудь особенно злобное, но я молча встаю и ухожу, уговаривая себя, что, может быть, это как раз тот самый старикан, который некогда наблюдал мое падение в лужу, и собачонка — та же. И им обоим по сто лет.

Склочный старик чуть не испортил мне настроение, но как только я снова оказываюсь в переулке, тут же о нем забываю. Все-таки удивительно, как здесь ничто не изменилось. Вот аптека. Тут накануне денежной реформы в сорок седьмом году я приобрел шприц, йод, бинты, клюшку для хромых, а также эластичный пояс от грыжи. Незадолго до этого мать вдруг прислала мне перевод: «Купи себе на эти деньги, Лешенька, что хо-

чешь. Это не на хозяйство и вообще не на нужные вещи, а на удовольствие». Хозяйственных денег у нас всегда не хватало, но тетки не взяли из моих ни копейки, хоть я и предлагал. И я решил начать копить на велосипед. А тут как раз слухи о реформе, везде очереди, скупают всё подряд. А моя огромная сумма, лежа без движения, должна завтра, как мне растолковал хваткий Толик Зайцев, уменьшиться ровно в десять раз. Из-за очередей войти ни в один магазин было невозможно, а в аптеке — ни души. И вот я пошел туда и накупил всякой всячины. За йод, бинты, шприц и пояс тетки меня похвалили — пригодится. Но при виде клюшки тетя Ина сказала: «Балдес!»

В следующем за аптекой доме — продуктовый магазин. Нет, в самом деле, и сегодня в нашем переулке можно спокойно прожить с рождения до смерти, никуда из него не отлучаясь! Вон и овощной «низок» — так называли его тетки. Вход в «низок» — через дорогу с угла, здесь наш тихий переулок пересекает улица, по которой ходят трамваи. Это из-за них меня водили в детский сад за ручку, а потом, отправляя в школу, каждый раз предупреждали, чтобы при переходе смотрел сперва налево, а дойдя до середины — направо. На этой улице рядом с «низком» был судостроительный техникум, я хотел туда поступить после седьмого класса, но тетки запретили: ты должен получить высшее образование, первый в нашей семье. Сейчас на том здании тоже висит какая-то вывеска, но мне не видно, что на ней написано.

Итак, я родился в нашем переулке, в роддоме, ходил в детсад, от которого меня сейчас прогнали старик с собачонкой, лечился тут же в поликлинике, а если надо, мог лечь и в больницу, кончил, не покидая переулку, школу и уехал с того вокзала, который виден с крыши нашего дома. Вот такие дела.

Я перехожу «трамвайную» улицу. Рядом с «низком» — будка телефона-автомата. Она всегда была здесь, из нее я звонил тете Калерии в библиотеку, когда мы собирались с ребятами сразу после школы в Стрельну за трофеями, и надо было наврать, что у нас сбор или экскурсия в музей. «Трофеи» — это, если кому не понятно, детонаторы, патроны, куски бикфордова шнура и другие полезные вещи. Лично мне посчастливилось найти однажды прекрасную финку, а Толька нашел немецкий штык, и главное, всегда

оставалась надежда, что попадется настоящий пистолет.

Сейчас я позвоню из этой будки домой, жена, должно быть, уже вернулась с работы и ждет меня, я обещал, что буду пораньше, а сам устроил вместо этого ностальгическую прогулку. Звоню. Подходит сын. Голос его кажется мне каким-то расслабленным, и я с ходу начинаю злиться. Вместо того чтобы сказать «позови маму», въедливо расспрашиваю, сделал ли он уроки, чем сейчас занимается, и, узнав, что слушает магнитофон, раздраженно говорю, что неплохо бы побольше читать. Эх меня! — парень кончает школу, а ему нудят про уроки! Я это все понимаю, но как-то с опозданием на три фразы. Сын спокойно и вежливо отвечает и со всем соглашается. Голос у него по-прежнему вялый. По-моему, он слушает не меня, а музыку. Черт побери, не умею я с ним разговаривать, да и все! Довольно сухо я прошу позвать к телефону мать.

— Хорошо, — отвечает он кротко.

В трубке песня, какой-то модный ансамбль, итальянский кажется, сын что-то такое говорил. Симпатичная музыка, ничем она не хуже моего «Уходит вечер», не хуже и того джаза, полулегальные записи которого, сделанные на рентгеновских пленках, мы выклянчивали друг у друга на один вечер. Вообще его образ жизни ничем не хуже того, что вел я в его возрасте. Так чего я лезу со скрипучими призывами больше читать? Их же, призывы, никто никогда не принимал и не принимает всерьез, во веки веков, аминь. Это шум, помехи, не более того. Нет, мои тетки были мудрее, даже тетя Карлория не была так чудовищно многословна и назидательна, как бываю иногда я.

Наконец подходит жена: она там жарит блины, где я? Скоро? Я говорю, где я. Говорю, что двигаюсь по своему переулку и все никак не могу решиться подойти к дому и войти во двор, видимо, одолела старческая сентиментальность.

— Не выдумывай! — возмущается жена. — Я вот тебе покажу «старческая»! Пятьдесят лет сейчас считается средним возрастом. Официально. На государственном уровне, а ты-то у нас вообще парень хоть куда. Плейбой!

Потом она замолкает, я тоже молчу, и она тихо спрашивает, про что я думаю. В трубке играет музыка.

— Про курзал, — отвечаю я наконец.

— Про... что?

— Неважно... Я скоро приду. Целую.— И я вешаю трубку. Не понимает.

...Я сдал экзамены за седьмой класс и получил аттестат: «окончил семилетку». Отметки, в общем, были хорошие, только Емельян вывел тройку — не простил хулигана, который «устроил в классе балаган» с использованием дождевого червя. А я ничего не устраивал, я честно читал «Трех мушкетеров» под партой, а он взял и вызвал.

После выпускного вечера я несколько дней ругался с тетками, не пускавшими меня в судостроительный техникум. И, хотя туда поступала Нинка Бородулина, в конце концов сдался.

Через несколько дней я уезжал в лагерь, в Петергоф, я уже был там прошлым и позапрошлым летом, и мне понравилось. Это был лагерь от тети Ининого завода, у меня уже завелась там целая куча приятелей. Целые дни мы проводили в парках, и с тех пор я куда больше парадного Нижнего парка с фонтанами люблю Верхние, особенно Пролетарский. Там и сейчас по будням пусто и тихо, а тогда это был просто лес с заросшими прудами — мы их называли «кикиморячьи болота» и ловили там головастиков и тритонов. Кстати, куда делись нынче тритоны? В общем, я ждал отъезда с нетерпением, тем более что очень противно было смотреть на Нинку Бородулину, которая уже воображала себя студенткой и как-то заявила мне, что разговаривать со мной одна тоска, потому что у меня — еще отрочество, а у нее, видите ли, уже юность. Зато, прогуливая своего Ивася по переулку, она всю кривлялась перед взрослыми парнями. В качестве девушки. На моих глазах пижон с палашом из «Дзержинки» спросил ее: «Девушка, как зовут вашего бобика?», а она: «Вы сами бобик!» — и глазами хлопает, чтобы ему было лучше видно, какие у нее замечательные ресницы.

Накануне отъезда я складывал чемодан, вернее, сложили его тетки, а я конспиративно помещал там трофейную финку, ту самую, из Стрельны. Кстати, для полной роскошности можно было выменять у Тольки еще штык, он просил за него мои довоенные фантики — уж не знаю, для кого. Но я их еще раньше, год назад, сваяв дурака, зачем-то подарил Бородулиной.

В общем, я копался в чемодане, вынимал финку из носков и маек, дотошно завертывал ее в полотенце, и тут в нашу дверь постучали. Я сразу захлопнул крышку, схватил со стола газету, сел на оттоманку и только тогда рассеянно сказал: «Войдите». Вошла Запукина. Лицо у нее было бледное и даже показалось мне худым, волосы коротко, почти как у меня, пострижены, в светлых глазах решимость. В руке Запукина держала большой конверт.

— Вот,— сказала она почему-то приказным тоном и протянула мне конверт.— Тут адрес. И местный телефон. Поедешь и отдашь. Понял? Скажешь: «Просили вручить лично в руки». И больше ничего, ни одного слова. Ты понял? Отдашь и сразу уходи. А на вопросы не отвечай.

Я взглянул на конверт. Он был адресован: «Стогову Михаилу Терентьевичу (лично в руки)»— и адрес. Адрес мне ни о чем не говорил, я не знал такой улицы.

— А где это?— спросил я.— И почему нету номера квартиры? Это что, в деревне?

— Не в деревне,— строго сказала Запукина.— Это завод. Ехать надо на четвертом автобусе до Уткиной Заводи. Запомнил? А там, как выйдешь, сразу спросишь. Войдешь в проходную, справа местный телефон. Номер 369, тут написано. Вызовешь... его. И все. Ты понял?

Не дожидаясь ответа, она сурово повернулась и вышла. А я поехал в Уткину Заводь. Почему-то мне даже в голову не пришло отказаться, хотя дел перед отъездом было, конечно, полно.

Автобус тащился целый час, он был пустой и очень трясся по брусчатке. За окнами тянулся бесконечный проспект Обуховской обороны (а может, в то время он еще назывался Шлиссельбургским шоссе, не помню), я смотрел на кирпичные, потемневшие от копоти старые здания заводов, а потом пошли уж совсем незнакомые места, точно я попал в другой город. На остановках входили люди, автобус завывал и трогался, а мне казалось, что и люди тут — другие, не такие, как у нас в центре, а как в Челябинске, где мы жили в эвакуации.

Я вышел там, где сказала Запукина, и сразу увидел завод. Проходная оказалась маленьким деревянным домиком, там сидел пожилой вахтер в гимнастерке, с наганом, и пил чай из кружки. Рядом на газете лежала сайка. Вахтер спросил:

— Тебе что, парень?

Я сказал, что мне нужен Стогов Михаил Терентьевич, я его должен вызвать по телефону номер триста шестьдесят девять.

— Зачем — по телефону? Вон он стоит! — Вахтер высунул голову в окошко и позвал:

— Стогов! Тебя тут пацан спрашивает!

И вот передо мной стоит ОН, тот, кому я столько раз звонил, из-за кого наша Запукина всю зиму мешала мне делать уроки, а теперь уезжает в Воркуту. Он стоит и смотрит на меня, а я на него. Эх, было бы ради чего красить волосы и писать по ночам письма, чтобы потом разрывать! Старый дядька, лет сорок, волосы редкие, нос длинный. В очках. И не видны знаменитые глаза. На портрете, который Запукина показывала теткам, очков не было.

Я молча подал конверт. Он молча вскрыл его и вынул оттуда свою фотокарточку, ту самую, и еще две бумажки. Лицо у него сделалось изумленным и каким-то дурацким. Он долго вертел фотографию, потом перевернул ее и стал разглядывать обратную сторону. Ничего там не было кроме остатков клея. Потом он медленно прочитал одну за другой бумажки.

Я должен был уйти — так велела Запукина, но я стоял и ждал, что будет. Дочитав, он поднял голову. Теперь в его глазах суетилась уже полная растерянность.

— Это... это чего? — спросил он, заглядывая мне в глаза с таким выражением, точно я псих.

Вахтер перестал чавкать своей сайкой и тоже бдительно смотрел на меня.

— Что это? От кого? Что это?! — Стогов совал записки мне под нос и при этом кричал, будто я не только псих, но еще к тому же и глухой псих.

Отвечать на вопросы Запукина запретила. Я был обязан молчать. И я молча взял у него из рук бумажки. На одной из них было написано: «Тов. Запугина. Прошу Вас отработать завтра в вечер за т. Парамонову. М. Стогов». Вторая вообще была непонятная, без обращения. Там говорилось, что занятия кружка переносятся на четверг.

Не говоря ни слова, я вернул обе записки вытращенному Стогову и вышел из проходной.

— Мальчик! Мальчик! Куда? Стой! — послышалось за моей спиной. Кричали оба — Стогов и вахтер. Пусть

кричат! Я помчался к остановке. Пусть хоть разорвутся! Подумаешь, тоже мне еще тип! Лысый очкарик. Жалко, я финку упаковал. Плоха ему, паразиту, видите ли, наша Вера Запугина!

Вера ждала меня во дворе.

— Отдал?— спросила.

— Отдал,— кивнул я и собрался рассказать, как все было. Почему-то мне очень хотелось приврать, будто Стогов ломал руки.

— Я прихожу...— начал я с подъемом, но она меня остановила:

— Не надо. Я не хочу ничего знать.

Назавтра я уехал в лагерь, а когда вернулся в августе, на двери в комнату Запугиной висел замок.

Потом там сменилось еще несколько жильцов, но подолгу не задерживался никто. Сварщик с Балтийского завода, получивший эту комнату первым, только мы успели подружиться, вдруг женился и переехал к жене на Петроградскую сторону. Комната долго стояла пустой, а примерно через год там поселилась Танька, штукатур с какого-то строительства. К ней каждый день ходили кавалеры, и все разные. Некоторые из них оставались ночевать. Вели они себя тихо, на кухне не появлялись, в коридоре здоровались, но мои тетки и Анна Ефимовна были возмущены до последней крайности. Они даже пробовали вести с Танькой воспитательную работу, тетя Калерия нарочно выходила на кухню, когда Танька там стирала или готовила, чтобы громко порассуждать с Анной Ефимовной о девичьей гордости и мужском достоинстве. В ответ на «Чернышевский сказал: умри...»— Танька начинала петь арию Эдвина «Сильва, ты меня не любишь» или «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?». Голос у Таньки был сильный, она легко забивала тетю Калерию, так никогда и не узнав, что лучше умереть, чем дать поцелуй без любви. Отчаявшись, тетки просто перестали обращать на Таньку внимание, но истово следили, чтобы между нею и мной не возникали контакты. Стоило мне оказаться в кухне или коридоре наедине с Танькой, как тотчас по крайне неотложному делу являлась тетя Калерия лично или ее разведчик тетя Ина. Беспokoились они не зря — Танька интересовала меня чрезвычайно, хоть и была грубая и бесстыжая, жуткие ругательства произносила буднично, как «стол» или «стул», могла ни с того ни с сего задрать подол и начать деловито при-

стеги́вать чулок или что-то там такое поправлять, так что приходилось нехотя отворачиваться.

Каково же было всеобщее изумление, когда в конце концов (и довольно скоро) она торжественно вышла замуж. Была свадьба, правда, не у нас в квартире, а в общежитии, где жил Танькин жених. Мои тетки, я и Анна Ефимовна получили приглашение, но тетя Калерия отказалась за всех: «Спасибо, Таня, но мы, к сожалению, очень заняты, желаем вам большого человеческого счастья». Мы подарили ей в складчину радиоприемник.

Вскоре после свадьбы Танька с мужем получили жилье в новом доме. Тетя Ина говорила, что Татьяна повезло, а ее супругу не очень, тетя Калерия возражала, что каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Комната между тем стояла пустая. До самого моего отъезда,— Танька вышла замуж, когда я кончал десятый класс.

А Вера уехала уже почти три года назад. За все это время от нее пришла одна открытка — какое-то поздравление с праздником, и понять из этой открытки, как она там живет, было невозможно. А мы с тетками жили по-прежнему, только никто теперь не приходил мешать мне дурацкими «ОН-СКАЗАЛ-Я-ПОЗВОНИЛА...» Зимой в углу топилась наша печка, под розовым абажуром над обеденным столом, покрытым клеенкой, горела шестидесятисвечовая лампочка, я писал сочинение про «образ лишнего человека», тетя Ина, сидя на оттоманке рядом с тетей Калерией, штопала или вязала, а тетя Калерия шепотом, чтобы не мешать мне (и этим жутко отвлекая), читала ей новый лауреатский производственный роман, который принесла из своей библиотеки.

Весной делали генеральную уборку, тетя Ина, стоя на табуретке, водруженной на подоконник, тянулась к фрамуге, тетя Калерия держала табуретку, все время повторяя «Георгина, не упади!». Потом они вместе разбирали платяной шкаф и буфет, и тетя Калерия тужила, что накопилось полным-полно ненужного хлама, и его надо немедленно, тут же, выбросить. Но у нас никто ничего никогда не выбрасывал.

Перед Восьмым марта, дня так за три-четыре, тетки, трепеща, отправлялись покупать себе шляпы. Еще несколько дней до этого они готовились к этому торжеству — листали журнал «Работница» и журналы мод,—

их у тети Калерии в библиотеке было полно; обсуждали, что будут носить в этом сезоне, какие фасоны подходят женщинам среднего и старше среднего возраста, прикидывали, какой расход не окончательно нас разорит. И наконец уходили, возбужденные, робеющие, помолодевшие.

А возвращались в конце дня, усталые и огорченные. И тетя Ина обязательно прямо с порога объявляла:

— Я так расстроилась!

И выяснялось: шляпы они купили. Но купили они шляпы никудышные. Хотя и дорогие. Носить их категорически нельзя.

Каждый раз я с серьезным видом допытывался, почему нельзя, и всегда слышал негодующие возгласы обеих: как же носить вещь, если она тебя уродует?!

Чтобы доказать мне, а заодно еще раз и себе, что в самом деле уродует, тетки по очереди примеряли шляпы перед зеркалом, стоящим на этажерке.

— Ужас!— возмущалась тетя Ина, срывая с головы фетровый малиновый горшок с розовым бантом.

— Нет, это немыслимо, это... какой-то страшный сон в летнюю ночь...— мрачно рекла тетя Калерия, внимательно глядя на свое отражение и двигая с затылка на лоб, а со лба на ухо темно-зеленую шляпу с короткими изогнутыми полями и вуалеткой. Потом шурилась и выносила окончательный приговор: кошмар.

— Обидно,— объясняла тетя Ина,— в магазине мне сперва даже показалось, что ничего. А потом, смотрю, бр-р... но неудобно же целый час торчать перед зеркалом, когда кругом народ и все смотрят. И смеются... Как «почему»? Как это «почему»? Да потому что две старые дуры примеряют шляпки!

Всю весну и следующую осень тетки ходили в козынках, а новой весной опять шли за шляпами.

— Понимаешь, Алексей,— оправдывалась однажды тетя Калерия, с отвращением разглядывая ужасающий головной убор, похожий на походный котелок нерадивого солдата-обозника, украшенный пером,— все-таки хочется прилично выглядеть. Хорошо твоей маме, она красавица, такой, как она, какая шляпка не пристала?..

Я считал, не имеет никакого значения, носят мои тетки шляпы, платки или наденут мужской малахай, влияния на их внешний вид это не окажет, они же, дей-

ствительно, не молоды. Мягко выражаясь... А вот моя мама... Да, с годами я начал понимать, что она и вправду красавица, любил смотреть на ее портрет, военный, в гимнастерке с погонями и орденом, радовался, когда говорили, что лицом я — вылитая мать, прямо копия.

А теток жалко, не повезло им, они ни капли не похожи на сестру. И я, как мог, старался убедить их, что купленные шляпы совсем даже ничего и им к лицу.

А вот для кого головной убор значил очень даже много, так это для студентки-девушки Н. Бородулиной. В пуховом белом берете зимой она была, между нами говоря, похожа на Снегурочку, в красной шапочке-«менингитке» напоминала, даже не знаю — чем, мою любимую Дину Дурбин, но больше всего ей шло ходить без шапки, тогда было видно, какие у Нинки красивые, прямо золотые волосы. Раньше, в школе, она заплетала их в две косы, а теперь распускала по плечам локонами, над лбом завивались колечки, а одна прядь все время падала на глаза, и Нинка на нее дула. Щурясь...

После восьмого класса я опять ездил в лагерь, все тот же, в Петергофе. И после девятого поехал туда, но уже — пионервожатым. И всего на один месяц, на август, а июль провел в городе. Это было прекрасное время: я просыпался в первом часу, долго «расчухивался», лежа в постели, в открытые окна с нагретого двора врывалась жара, из переулка доносился уже дневной уличный шум. Потом я не спеша одевался и шел на кухню — там в это время никого не было, и я делал себе яичницу из четырех яиц, одновременно заглядывая в книгу, положенную на кухонный стол. Читал я и потом, за едой, у нас в комнате. Почему-то в то лето я изучал Писемского и Вас. Ив. Немировича-Данченко. Позавтракав, я сразу сбегал из дому, ибо в два часа на обед приходила из библиотеки тетя Калерия, а мне совсем не хотелось подробно и аргументированно объяснять, почему я до сих пор не на воздухе, в то время как солнце, воздух и вода.

Я заходил за Толькой, и мы отправлялись в кино. Обычно мы шли в кинотеатр, где работала его мать, она была билетершей (что называлось: работаю в кинофикации) и пускала нас бесплатно. В жаркий летний день зал бывал почти пустым, и мы усаживались на лучшие места. Выйдя после сеанса в теплый, кажущийся очень

светлым двор, решали, что делать дальше. Если в кино по соседству шла интересная вещь, шли туда. Иногда просто болтались по Невскому, посматривая на девушек и обмениваясь компетентными замечаниями на их счет. От площади Восстания до Адмиралтейства мы обычно двигались по правой стороне Невского, а назад шли по левой.

Вечером я рассказывал теткам, какой прекрасный день мы с Толей провели в Парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова, как мы катались на лодках — нет, нет! — по прудам! По прудам! Там утонуть и кошка замучается! Да, а потом мы зашли в диетическую столовую и диетически пообедали, после чего гуляли по аллеям и дышали морским воздухом от залива и разговаривали.

— Воздух там прекрасный, азот, — сияла тетя Ина.

— А о чем это вы могли столько времени разговаривать? — интересовалась проницательная тетя Калерия, и я начинал воодушевленно врать, будто мы обсуждали какую-то книгу, которую нам надо прочесть за лето, — на будущий год мы ее будем проходить по литературе. Название книги, автора, да и сюжет заодно я выдумывал тут же.

— Странно. К нам в библиотеку эта книга не поступала... Но книги книгами, а надо больше двигаться, в лодке вы сидели, потом фланировали, точно вам по сорок лет. Это ненормально. Молодым людям нужен спорт, игры на воздухе.

Я тотчас соглашался и убегал во двор играть в волейбол, вслед мне звучали предостережения ни в коем случае, сохрани Боже, не разбить опять стекло у Евгения Давыдовича.

...Ночью со стороны вокзала доносились паровозные гудки, пахло гарью, и мне хотелось куда-то ехать, далеко, в неизвестные города. И я отлично понимал свою мать, всю жизнь колесившую по стране...

Когда я кончал школу, мать с отчимом жили на Урале, под Свердловском, отчим вышел на пенсию, и они купили дом. «...Но мой Мартин Иден не хочет останавливаться на достигнутом, наверное, мы переберемся на Украину», — писали мать. Этого своего Мартына Петровича она называла Мартином Иденом! Я съездил к ним в конце прошлого лета между лагерем и школой и узнал от него, что копейка рубль бережет, что сани надо готовить летом, а телегу... и что свой гла-

зок — смотрок. И что тетки совершенно не приучили меня к физическому полезному труду, а это очень плохо для жизни, и я непременно пропаду, как последний босяк, неприспособленный и халатный. Вот, пожалуйста, сам напросился окапывать деревья, а ухитрился изрубить корни буквально в капусту!

«...Очень жалко, прямо до слез, что Лешенька не приехал к нам на зимние каникулы, — читал я, — может, он на что-нибудь обиделся? Напишите, я волнуюсь, я же все-таки мать, а вы, по-моему, иногда об этом забываете. Хотела я выслать денег Леше на новый костюм, ведь он кончает школу, но тут как раз...»

В тот же вечер я написал ответ, где сообщал, что все хорошо и костюм у меня есть, купили тетки. А, главное, чтобы мать не волновалась — вовсе я ни на кого не обижен — с чего бы? И дяде Мартыну большой привет.

Внизу тетя Калерия приписала, что с деньгами у нас все в порядке, Георгине с нового года прибавили, у Алексея есть все, что нужно, думай лучше о себе, у тебя слабое здоровье.

Вскоре мать с мужем перебрались на Украину.

Я учился в Московском университете, почему-то с девятого класса вбил себе в голову, что должен поступать только туда. Тетки не возражали — МГУ это МГУ! Они очень мужественно помогли мне собраться и проводили на вокзал. Мы шли пешком по нашему переулку. Я тащил свой чемодан, тетки — сумку с продуктами: тетя Ина за одну ручку, тетя Калерия — за другую. На прощанье тетя Калерия пожелала мне хранить честь семьи и высоко держать голову, как бы ни было трудно. И скорее вернуться.

— Перебесится, тогда и приедет. Не раньше, — с непонятной и неожиданной обидой вдруг заявила кроткая тетя Ина.

На то, чтобы перебеситься, у меня ушло пятнадцать лет, и, когда я вернулся в Ленинград навсегда, моих теток уже не было на свете. После университета я работал школьным учителем в Калининской области, потом несколько лет в Петрозаводске. Там я окончил аспирантуру, защитился и стал читать лекции в пединституте.

К теткам я приезжал часто, каждый праздник, а две недели из отпуска обязательно проводил с ними. Они старели, но как-то не менялись. Прежней оставалась

и наша комната, только печку больше не топили, появилось паровое отопление. Самое почетное место, то, где раньше стояла этажерка, теперь отодвинутая в угол, занимал телевизор. Его теткам подарил я, несмотря на протесты: «Зачем это, Алеша? Мы прекрасно могли бы купить сами, у тети Ины отложены деньги, а твое зимнее пальто оставляет желать много лучшего». Перед телевизором тетки и проводили свои вечера — тетя Ина при этом, как обычно, за рукоделием. В комнате Анны Ефимовны жила семья из трех человек, Егоровы — муж, жена и маленький сын, Славик. Этот Славик постоянно околачивался у моих теток.

А напротив нашей двери была теперь ванная — окно на задний двор заложили кирпичами, установили ванну, газовую колонку, и тетки радовались: не надо больше ходить в баню, с годами это стало тяжеловато. А мне почему-то было грустно...

Они очень огорчились, что я долго не женюсь: здоровенный вымахал балдес, и ни одна девушка не нравится!

А кто мне мог понравиться? Нинка Бородулина давно была замужем, выскочила на последнем курсе своего техникума, и как раз в том году я догнал и наконец перегнал ее по росту. А раньше был на полголовы ниже. Как я мог при таком положении вещей пригласить Бородулину, скажем, в кино или в театр? Товарищ ухажера тети Зины из Сестрорецка навсегда засел в моей памяти.

Я женился в тридцать два года, незадолго до того, как умерли тетки. И женился, — пусть меня осуждают, — на своей студентке, ленинградке, занесенной в Петрозаводск собственными обстоятельствами. Вскоре после женитьбы мы приехали на несколько дней в Ленинград, остановились у родителей жены и нанесли теткам официальный визит. С первого взгляда жена моя им не понравилась, я это понял сразу, хотя они худого слова не сказали, напротив — устроили парадный обед, преподнесли нам подарки: постельное белье и сервиз — и вообще были изысканны — все время помнили, что невестка из профессорской семьи, в силу чего наверняка избалована и высокого о себе мнения, и надо показать, что «кто честной бедности своей стыдится и все прочее...» За обедом тетя Калерия, слегка приподняв бровь, учтиво осведомилась, как так получилось, милочка, что вы поехали учиться в Петрозаводск, когда

и в Ленинграде достаточно прекрасных вузов? Университет, скажем, Москва — это было бы еще понятно, — столица, но почему именно Петрозаводск? (Подтекст: в Петрозаводске, надо полагать, более низкие требования при приеме.) Жена с улыбкой ответила, что для нее главное — качество преподавания, а таких лекторов, как ваш племянник, не найдешь днем с огнем ни в Москве, ни в Ленинграде, ни хоть в Париже, в Сорбонне. (На Сорбонну тетка подняла бровь еще выше.)

— В общем, мне повезло, — сияя, закончила жена, и тетя Калерия величественно кивнула, сказав, что совершенно согласна, ей повезло. (Подтекст: еще неизвестно, повезло ли мне.) Жена, к счастью, ничего этого не поняла, а заулыбалась еще радостнее, ей очень нравилось, что вот она, замужняя женщина, сидит в гостях у родных мужа и обсуждает с ними серьезные проблемы, и с ней, девятнадцатилетней, разговаривают, как со взрослой. Не то что дома, у родителей.

Под конец обеда тетя Ина, до того молчавшая, вдруг печально заявила, что я плохо выгляжу, похудел, побледнел и мне просто необходимо сходить к врачу «провериться». Моя жена доверчиво всполошилась, стала расспрашивать теток, какими болезнями болел я в детстве, чем меня лучше кормить и какому врачу завтра же показать, завтра же, прямо с утра, откладывать — ни в коем случае! Кончилось тем, что тетки ее же и успокаивали: ничего страшного, деточка, просто при случае неплохо сделать анализ крови на гемоглобин. (Анна Ефимовна, если бы стояла за дверью, захлопала бы в ладоши.) Когда мы уже прощались, тетя Калерия отозвала меня в сторону и сказала, что Светлана — очень милая девочка. И добрая. А возраст... Что ж, это как раз тот недостаток, который с годами всегда исчезает.

Больше я с тетками не виделся. (Встреча с тетей Калерией на похоронах тети Ины не в счет.) Но мы довольно часто говорили по телефону. Они повадились раз-два в неделю звонить мне по междугородной. Я ругался: переводы вы не принимаете, деньги транжирите, говорил, что позвоню сам, но проходило три дня, и меня опять вызывал Ленинград. Голосом наставника тетя Калерия спрашивала, как дела на работе, есть ли у моих студентов хвосты, как сдала сессию Светочка.

— Ты балдес! Ей надо больше бывать на воздухе

и лучше питаться,— вырывала трубку тетя Ина,— подорвать молодой организм — раз плюнуть!

Однажды тетя Калерия вот так, по телефону, долго (и дорого) уговаривала меня не заниматься Достоевским: «Очень уж он мрачный, Алеша, упаднический. Живя в атмосфере его произведений, ты сам станешь мизантропом. Вообще сейчас нужна другая литература, жизнеутверждающая. Бодрая».

— Хорошо. Займусь Маяковским, устроит?— спрашивал я.

— Нет! Он идейный, но грубый! — кричала тетя Калерия в трубку.— Пушкин и Лермонтов — вот это вечно и прекрасно. Ну, и еще... Николай Островский.

Тетя Ина звонила реже и всегда по конкретному делу: она сварила яблочное повидло, как лучше послать — почтой или через проводника? Или — пусть Света смеряет объем груди, тетя Ина вяжет ей теплый свитер, в Петрозаводске же — сказали по радио — двадцать шесть градусов ниже нуля и ожидается похолодание! Страшный кошмар. А носки для меня готовы, их она пришлет вместе с повидлом.

Когда тетя Ина внезапно скончалась, мы хотели забрать тетю Калерию к себе, но она отказалась: у вас одна комната, о чем ты говоришь, Алексей? А я пока что на своих ногах. Вот переберетесь в Ленинград окончательно, будем видеться чаще, у вас пойдут дети... Только не надо с этим торопиться, Светлана должна сперва закончить институт.

Потом звонки прекратились.

Мы окончательно перебрались в Ленинград, когда комнату теток уже заняли чужие люди. Из родных у меня теперь была в живых только мать, но и ее вскоре не стало. Сообщение о ее смерти я услышал тоже по междугородному телефону: телефон вообще всегда играл в моей жизни большую роль. И вот он зазвонил в четыре утра, я схватил трубку, и сразу за телефонисткой, тускло пробубнившей наш номер, послышался голос Мартына Петровича. Голос был громкий, точно Мартын Петрович звонит не с Украины, а из соседней комнаты, и звучало в этом голосе что-то похожее на злорадство.

— Мать умерла. Внезапно,— сказал Мартын. И добавил:— Если тебя, конечно, интересует.

После этого он разрыдался в трубку.

Когда я прилетел на похороны, Мартын Петрович встретил меня на крыльце, обнял, расплакался, повел в комнату и, усадив на диван, сообщил: свою половину дома и сберкнижку мать завещала ему.

— Все оформлено нотариально,— хлюпал он, вытирая слезы,— и заверено гербовой печатью.

Меня не интересовало завещание, но Мартын Петрович много раз возвращался к нему, даже заставил меня его прочесть. На поминках, куда пришла масса народу, он произнес речь, где рассказал, как отдал моей покойной матери все силы, а можно считать, и саму жизнь. В то время как родной сын никогда не сочувствовал и не прислал ни разу ни копейки.

— Нам не надо, мы ни в чем не нуждаемся!— задушевно говорил он.— Но тут дело в принципе, сын есть сын. Сиди, Алексей, я тебя не виню, раз о н и тебя так воспитали!

Из дальнейшего я понял, что во всем виноваты мои бедные тетки. Это они, воспользовавшись, как выразился Мартын, «временными трудностями в жизни матери в сложный восстановительный период», обманом грубо отобрали у нее ребенка и растили «волчонком, который всегда готов смотреть к себе в лес». Под конец своего выступления Мартын Петрович сообщил, что был для матери всем:

— И сыном, и отцом, и духом святым, вот так!

Нарушая правила, он обошел стол и чокнулся со всеми присутствующими. Это заняло довольно много времени, так как, приблизившись к очередному гостю, Мартын сперва долго и хмуро смотрел тому в лицо, как бы решая, стоит с ним чокнуться или нет, потом, так и быть, чокался. Но по-разному: одного сперва обнимал и похлопывал по спине, от другого отходил, скаречно поджав губы, едва коснувшись его рюмки своею. При этом Мартына Петровича заметно поводило. Подойдя ко мне, он всхлипнул и сказал, что я очень похож на мать и вообще неплохой парень, хотя у меня и есть недостатки.

— И значительные!— твердо заключил он.— Но не все потеряно. Если человек осознал, он искупит.

На следующее утро, сидя напротив меня за столом,— мы завтракали перед моим отъездом,— Мартын Петрович веско сказал, что как бывший руководитель

и воспитатель (кто эти несчастные, кого он воспитывал, Бог весть!) он меня (руководителя и воспитателя) прекрасно понимает: сложностей много, это безусловно. Задачи стоят большие, и надо стремиться. Но все же уверен: сорок рублей в месяц я могу для него выделить без особого для себя ущерба. Поскольку память о матери — это святое.

Я ничего не ответил и денег ему, разумеется, не послал. Больше мы не виделись.

И вот я стою у наших ворот. Я не был здесь много лет — с тех пор, как не стало тети Калерии. Она пережила сестру всего на полгода и часто горевала: «Живу чужой век, я старшая и уйти должна была первой».

Тетя Калерия была старше тети Ины на сорок минут, но обе совершенно серьезно считали, что она — намного опытнее, а значит, умнее. Тетя Ина безоговорочно признавала сестру главной. Говорят, так бывает у близнецов.

Я на мгновение закрываю глаза, чтобы представить себе их, но не вижу ничего. Тогда я пытаюсь вспомнить хотя бы голоса, и они начинают звучать, но не так, как звучали в жизни, в моем детстве, а так, как в последние годы — в телефонной трубке, тихие и далекие.

— Здравствуй, Алеша,— спокойно говорит тетя Калерия.

— Это Алексей Юрьевич? — испуганно спрашивает тетя Ина. Она всегда так спрашивала, и только когда я подтверждал, что — да, это я, а кто же? — сразу начинала тоненьким голоском излагать свое дело.

...А телефонного голоса Бородулиной я не помню, у них телефона не было, а сама она, ясное дело, мне никогда не звонила. Вообще-то в детстве Нинка говорила басом, это точно, а до шестого класса, пока ей не вырезали аденоиды,— в нос: «баба» вместо «мама», «дет» вместо «нет». Мне это казалось очень элегантным, и я, помнится, пытался даже перекрестить тетю Ину в тетю Иду, к всеобщему большому переполоху.

Я вхожу во двор. Здесь ничто не изменилось, разве что запах: раньше в такую погоду, как сегодня, у нас во дворе пахло сыростью и древесиной — в подвалах сложены были дрова. Стемнело, почти все окна уже горят,

только наши, на втором этаже, еще черные. И окно в кухне тоже. Зато над нами, у Бородулиных, полная иллюминация. Интересно, кто там сейчас живет? Занавески не задернуты, движутся какие-то фигуры, я пытаюсь вообразить, что это тетя Клава с Нинкиным отцом дядей Федором накрывают на стол к обеду, а в глубине комнаты сидит сама Нинка и решает задачи по арифметике. Ничего такого я представить себе не могу, тем более что прекрасно знаю: Бородулины поменялись и уехали в новый район еще при жизни теток. Вообще литературные изыски и штучки из серии «на него нахлынули воспоминания — все прошлое ожило и встало перед его мысленным взором» как-то не проходят. Нету там ни тети Клавы с дядей Федором, ни Нинки.

Зато я слышу музыку. Очень тихая, почти неразличимая, настолько, что на мгновение я даже начинаю сомневаться, а уж не выдумал ли я ее, она доносится из открытой форточки в первом этаже, из форточки того самого окна, на которое Левка, сын Евгения Давыдовича, вечно выставлял свою радиолу. Окно завешено плотными шторами. В щель между ними пробивается голубоватый свет включенного телевизора — вот откуда эта музыка. И вдруг я слышу... нет, не слышу — знаю: «Уходит вечер, вдали закат погас, и облака...». Взмывают над водой разноцветные ракеты, пахнет душистым табаком и шиповником, очень поздно, я сижу на крыльце и жду тетю Калерию. Тетя Ина тоже ждет ее, вот она — прохаживается взад-вперед возле калитки. Время от времени она останавливается и подолгу смотрит в ту сторону, где курзал. И вдруг появляется тетя Калерия, проходит мимо тети Ины, точно не видит, и направляется прямо к крыльцу. Я весь сжимаюсь: сейчас она меня заметит, и мало мне не будет за то, что не сплю. Но тетя Калерия не видит и меня, проходит мимо, задев подолом своего шелкового платья. Я чувствую запах «Красной Москвы». Тетя Ина бежит следом за сестрой и тоже не обращает на меня никакого внимания. Некоторое время они о чем-то шепчутся у нас на веранде, и мне вдруг делается тревожно и неуютно. Но вот я слышу смех. Они хохочут обе, громко и весело, и тетя Калерия говорит: «Нет, ты подумай, какой дурак, какой клинический дурак!» И мне уже опять легко и счастливо, а ракеты все взлетают, и духовой оркестр в курзале играет про то, что вечер ухо-

дит, — пусть уходит, мне не жалко, подумаешь, завтра утром будет еще лучше!..

...В комнате Евгения Давыдовича поет с экрана Алла Пугачева, поет про какой-то пошлый айсберг в океане, и мотив у этой песни ни капли не похож на «Уходит вечер», и голос, само собой, не похож на голос того певца — и вообще теперь никто не поет такими сладкими голосами.

Не знаю, для чего я иду на задний двор. Окно Запукиной все равно заложено кирпичами. На том месте, где была помойка, теперь навес для мусорных бачков. На одном из них сидит худой черный кот — один к одному наш Негодяй. Может, это его потомок? Все-таки я поднимаю голову и смотрю на бывшее окно Запукиной. Там стена, стена и все.

...Помнится, когда мы с ней прощались в день моего отъезда в лагерь, она вдруг вылупила глаза и важно заявила:

— Прощай, Алеша, не поминай лихом. Ты будешь счастлив, мне, во всяком случае, так кажется. — И добавила голосом тети Калерии: — Человек создан для счастья, а птица для полета.

...Счастлив я или нет? Можно ли считать удавшейся жизнь конкретного меня — со всем тем, что подарила мне природа, от физических данных до умственных и прочих способностей, меня, помещенного ею в конкретную точку времени и пространства, в мое «здесь» и «сейчас»? Можно ли сказать, что моя жизнь в общем хороша, благодаря (или вопреки?) всему этому?.. Но ведь тогда речь пойдет об удаче. А счастье... Есть ли, было ли оно у меня?

Много раз в жизни задавал я себе этот вопрос и никогда не мог найти однозначного ответа. Все хотелось сказать: «Вообще-то жаловаться грех, хотя...» Или: «Был бы безусловно счастлив, если бы...» Или: «Как же можно быть полностью счастливым, когда...» Наверное, в те мгновения, когда я действительно чувствовал себя счастливым, безо всяких «если бы», «хотя» и «когда», я ни о чем таком себя не спрашивал.

Я медленно возвращаюсь в наш двор. Вдруг начинает падать снег, крупный и влажный, уже весенний — завтра выйдет солнце, и он весь растает. Вот когда моя лужа займет подобающее ей место — разольется от одного тротуара до другого!

Из-под арки ворот появляется и идет мне навстречу парень лет шестнадцати. Именно таких боится по вечерам на безлюдной улице моя жена. Такие, считает она, способны на безмотивное членовредительство. Из-за бездуховности. А в самом деле: в сонно-агрессивном выражении лица молодого человека, который сейчас приближается ко мне, ничего особенно духовного я не замечаю. Близко посаженные пустоватые глаза, толстые разлапистые губы. Одет парень «по форме», так они все сейчас одеваются (так одевается и наш сын) — в белую нейлоновую куртку «дутыш» и красную вязаную шапочку с надписью «SKI». Штаны заправлены в толстые сапоги серебряного цвета.

Парень идет прямо на меня, приходится посторониться, не то зацепит локтем. Он проходит мимо и скрывается в нашей парадной.

Что-то мешает мне уйти. Я жду одну минуту, и вот в наших двух окнах вспыхивает свет. Я знаю — это он, этот парень. Вот сейчас он снял свою фирменную куртку, повесил на вешалку в углу и направляется к столу. На столе в высокой синей чашке, прикрытой блюдечком, для него оставлен компот. Подразумевается, что сперва он, конечно, пойдет на кухню и разогреет обед, а компот выпьет потом, на третье. Но окно в кухне темное.

Черта с два он будет разогревать обед!.. И вообще, с чего это я взял, будто он какой-то хулиган? Никакой он не хулиган, тем более склонный к безмотивным поступкам. Парень как парень.. Просто у него сегодня почему-то неважное настроение. Он уже выпил компот, залпом выпил, не почувствовав вкуса. И сел на оттоманку, не отрывая взгляда от стола. Там, на самой середине, лежит распечатанное письмо.

...Это было первое письмо матери за полгода после моей единственной поездки на Урал. Сам накопил денег, сам купил билет и только тогда порадовал теток. А они почему-то растерялись, тетя Калерия побледнела, а тетя Ина заплакала, беспомощно повторяя:

— А может, не надо, а? В другой раз? Вот споемся с мамой, все обговорим, а?..

Смешно — чего там списываться! И вот я еду. Целыми днями смотрю в окно, а ночью, лежа на своей верхней боковой полке, представляю себе, как ранним утром выйду на незнакомой маленькой станции, не доезжая Свердловска. И увижу мать.

Но встретила меня не мать, а топорный, уверенный мужчина с прицеливающимся взглядом. Это — Мартын Петрович, а мать нехорошо себя чувствует. Сюрпризы, понимаешь, тоже — не всегда... И надо входить в положение, а ты как думал?

От станции до дома мы шли минут сорок, в основном молча. Я тащил тяжеленный чемодан, в котором лежали подарки, в том числе старая патефонная пластинка, та самая — «Уходит вечер». Я тащил чемодан, перекладывая из одной руки в другую, а Мартын Петрович шагал рядом, сторожко поглядывая на него, и редко, но весомо задавал мне непонятные вопросы. Например: привез ли я зимнее пальто.

Ночью я никак не мог заснуть, потому что за стеной шептались. И хотел только одного — домой. Потом они заговорили громче, я отчетливо услышал голос матери, тонкий, дребезжащий: «...Чужой, совершенно чужой... меня никогда не любил, он — не мой... Даже лицом... Я не привыкну... Кого могли воспитать две старые девы? Такой же лицемер, как они...» — «И эти копеечные подарки...» — а вот это уже Мартын. И снова мать: «Конечно, с деньгами у них не густо... И вообще понять их можно — надоело, но...»

Утром, прямо глядя в ее жесткое лицо, я сказал, что хочу сегодня же уехать. И сразу началось: «Что с тобой, Лешенька? Почему?! Разве ты меня совсем не любишь? Ну, погости хотя бы до субботы, о большем я уж не прошу, насильно мил не будешь, но — до субботы. И не будь эгоистом, у нас так трудно с билетами, дядя Мартын достал тебе на субботу, прекрасный поезд, нижнее место...»

...И вот через полгода, это письмо: «...Очень жалко, прямо до слез, что Лешенька не приехал к нам на зимние каникулы, может, он на что-нибудь обиделся? Напишите, я волнуюсь, я же все-таки мать, а вы, по-моему, иногда об этом забываете...»

Парень, сидящий в данный момент на оттоманке, не берет в руки письма... да и нету там никакого письма. Выпив компот, он... Что? Листает книгу? Возможно. Но скорее всего, ставит кассету на магнитофон, чтобы успеть спокойно, по-человечески послушать, пока не явились... взрослые с нудными проповедями и советами де-

лать лучше то, а не се. Будто им известно, что лучше, а что хуже. Старым девам!

Пора возвращаться домой. Светлана, конечно, беспокоится, хоть я и предупредил. Она всегда волнуется, когда меня долго нет дома, бегаёт встречать на автобусную остановку.

Я очень люблю свою жену и горжусь ею, она добрый, умный и смелый человек, верный товарищ. И красивая женщина.

Но у нее есть один серьезный недостаток: она не знает, что такое курзал.

1985

ДОЛГ





До двадцати шести лет Тамара не беспокоилась о замужестве. Работала на заводе в конструкторском бюро копировщицей, по вечерам занималась в техникуме. А жила в общежитии. От родителей никакой помощи, сидят у себя в деревне, по уши в навозе, ну, пришлют в год два раза грибов сушеных или там брусники — на том спасибо. Знала: всем, что имеет, обязана одной себе,— и образованием, и комнатой, что дали в конце концов от завода. И тем, как выглядит,— а получше многих городских. Потому что сама и сошьет, и свяжет, все по моде, по современным журналам, не хуже фирмы. А вот чтобы мужикам в глаза заглядывать да трястись, как собачка, а вдруг да замуж не возьмут, такого унижения никто не дождался. Кстати, и мужчины этого не переваривают, заметил — и в сторону. Девчонки — дуры, обратили внимание, она уж и готова, засуетилась. И, само собой, бутылку по первому требованию. А бугай походил, походил, попользовался — и с общим приветом, Кузькой звали. И молодец.

Ну, а если и уломают его, женится, так будьте спокойны — сразу сядет на шею и ножки свесит. Получишь тунейдца с доставкой на дом. Нет уж...

Тамаре, между прочим, заманивать парней бутылками не требовалось, сами, бывало, тащат. Ну и: «Ты куда явился? Здесь тебе не распивочная. Торт или фрукты купить не дотюмкал? О цветах не говорю. Скобарь!»

А уж позволить ему что-нибудь лишнее, тут сразу: за дверь. Коленом.

Андрея Мартьянова сама выбрала, потому что казался культурным, симпатичным и воспитанным. Не знала по молодости, что внешней культуры для жизни мало. А он в самом деле вел себя тогда — не придерешься: и букеты, и подарки, и дверь откроет, и стул подвинет, в общем, полное уважение.

Работал Андрей на том же заводе, что Тамара, ин-

женером в отделе главного механика. Интересный, это верно, и одет со вкусом, хоть складки настоящей на брюках никогда не увидишь, да что требовать с неженатого? Зато образование, конечно, высшее и семья интеллигентная: отец кандидат наук, мать преподаватель математики...

Подали заявление. Из Дворца бракосочетаний зашли к Тамаре выпить шампанского. Тут Тамара и сказала: «Пусть это считается несовременно, но я себя привыкла уважать и хочу, чтобы будущий муж уважал, имел на это право. Так что — прими руки, слышишь?!» Андрей сразу: «Конечно, конечно, я же тебя люблю!» Тамара обрадовалась: покладистый...

Свадьбу справляли перед Новым годом. Сняли зал в кафе. Родителей Тамара выписывать не стала, — только деньги выкинут на дорогу да на ненужные подарки, а придут — наряжены, как у них там ходят, стыда не оберешься.

Мать потом, конечно, обижалась прямо до слез. Много лет все поминала: «Хороша дочушка, без родных отца с матерью обошлась, погребовала».

С Тамариной стороны во Дворце были только Люда с Аленой — девочки с работы, ну и, ясно, Раиса Федоровна. Подарили три комплекта постельного белья, не говоря о мелочах. Мартьяновы явились мало того что в полном составе: мамуля с папулей, тети, дяди, племянники, да еще привели зачем-то соседку Олечку... Знать бы тогда, летела б эта Олечка на легком катере... куда положено...

С родителями жениха Юрием Михайловичем и Татьяной Андреевной Тамара к этому времени была уже знакома; Андрей затащил на семейный обед. Тогда-то уж Тамара с ходу просекла: смотрины. Ладно, дорогуши, смотрите, есть на что: и рост, и фигура — точный стандарт, сама проверяла пропорции, получилось — хоть завтра в манекенщицы. Да и на лицо, слава Богу, жаловаться грех. Нарядиться не стала, хороша и так, пришла в том, в чем всегда на работу ходила, в юбке и свитере собственной вязки, свитер, правда, последний крик. Французская модель. Виктор, сосед, журнал привез, он в загранку ходит и Тамаре всегда

привозит журналы, хоть «Бурду», хоть что по заказу. А Тамара за него убирает места общего пользования, так что все по-честному.

Вела себя Тамара на званом том обеде спокойно, не поддакивала и не юлила, ей бояться нечего: понравится будущим свекру со свекровью — хорошо, не понравится — им же хуже, сына потеряют.

Нет, Тамара не волновалась, а вот свекровка будущая, точно, нервничала, и разговор от этого плохо ладился... Ну, Тамара нашла повод и к слову доложила родственникам, что характер у нее такой — где сядешь, там слезешь. Андрюшина мамуля только бровками задергала, но смолчала.

Пока сидели, беседовали, Тамара всю обстановку разглядела: ремонта не было лет пять, окна вымыты — страх смотреть, мебель — с бору по сосенке. А электропроводка вообще — конец света, у всех уже сто лет как скрытая, а у этих шнуры по стенам, красота! Да... Интеллигенция в самом худшем смысле. И ведь не бедные! Не умеете — наймите человека, главное, и сына не учили, инженер, не народный артист. Ничего, даже интересно: взять человека и вылепить из него что-то стоящее, Андрей — натура мягкая, Тамару обожает, а мы не можем ждать милостей от природы...

А мамуля-то, аристократка, такой обед сварила, в заводской столовой за шестьдесят копеек — не отличишь. А ведь старалась, поди, изо всех сил.

Разговор между тем все тянулся, тянулся, о чем попало: как в совхозе работали, про погоду, что вот, декабрь на дворе, а зимы не видать. Потом перешли на политику, Андрей нарочно завел, приготовил родителям сюрприз, и уж тут Тамара показала, что почем: как-никак просматривает три газеты в день, это раз, и лекции на заводе — обязательно. Даже папуля-кандидат ожил, заспорил, щеками затряс, а до того сидел над тарелкой, как сонная муха. А свекровка послушала-послушала, ушами похлопала-похлопала да и спрашивает: «А читали вы, Тамарочка, в последнем «Новом мире»?.. Нет? Жаль, прекрасная вещь. А в «Иностранной литературе»?.. И тэ дэ. Проверка культурного уровня! Другая на Тамарином месте стала бы выкручиваться или вообще соврала: «Как же! Как же! Исключительно! Читала!» Тамара ответила как есть: на газеты еле времени хватает, а надо ведь и дом в порядке держать, каждый день что-нибудь, то окна протереть, то убрать

общее пользование, то занавески освежить. Короче, дала понять, что культура не в одних книжках. Правда, потом добавила, что вообще-то читать, конечно, любит, но предпочитает в основном про войну и остросюжетное, потому что там — люди, а не хлюпики.

Мамуля опять бровками задергала, это у нее такая противная привычка, если схлопочет и не знает, как ответить. У Тамары даже настроение поднялось — навела шороху в курятнике.

Андрей, когда провожал ее в тот вечер, несколько раз повторил, что теперь окончательно понял: Тамара — личность.

До рождения Юрика жили — кто угодно позавидует, муж с Тамары буквально пылинки сдувал. Другие мужики вечно тянутся к приятелям, Андрею — лучше жены друга нет.

А как начались трудности, из личности Тамара у мужа сразу превратилась в хамку и даже в надсмотрщика. Вот так. А потому, что с детства все только о себе да о себе. И вечно-то он устал, не выспался, вечно у него что-нибудь болит, то голова, то поясница — зла не хватает!

Обязанности Тамара распределила сразу и по справедливости. Весь день с мальчиком, само собой, она. На всю катушку: встает в шесть часов, кормит, два раза в день гуляет, а в промежутках надо, между прочим, еще обед приготовить, комнату убрать, погладить Андрею рубашки, отпарить брюки. Вот, хоть и хамка, и надсмотрщица, а мятым да грязным у нее не ходил никогда! Словом, крутилась, как взбесившаяся белка, о себе подумать некогда, а еще, бывало, явится вечером бабка и — сразу к кровати: «У-ти, масенький, какой же ты у нас холёсенький, глазки голубенькие, как у папки...» Тьфу! И — нет помочь; посидит, поквохчет и — домой, задачи ей пора проверять.

У Андрея было всего три обязанности: купить продукты, перестирать вечером в машине пеленки и встать ночью, если Юрик заплачет. Кажется, и не такая нагрузка для мужчины. Ведь и Тамара человек, ей тоже отдых нужен.

Первый настоящий скандал получился, когда свекровь, явившись в очередной раз посюсюкаться, вдруг ни

с того ни с сего пошла давать советы: «Маленькому надо больше бывать на воздухе, не то разовьется рахит. И Андрюшенька ужасно плохо выглядит, больно смотреть, раньше был такой крепыш, а теперь похудел и лицо серое. От недосыпания. Поскольку все же это чрезмерная нагрузка — днем работать на производстве, а по ночам не спать».

...Красиво выходит? Он, значит, на производстве, а Тамара тут круглый день мается дурью! «Крепыш», главное...

Но Тамара в ответ ни звука, сдержала себя, та и выкатилась. А тут как раз зашли Раиса Федоровна, начальница, с Людкой, были рядом в местной командировке. Тамара им насчет собственных дел, конечно, ни слова, не привыкла жаловаться, зато Раиса, как всегда, завела бодягу про свою Таньку, невестку. У нее, с чего ни начни, кончится обязательно Танькой. Это просто удивительно, чтоб так человека ненавидеть. Ну и конечно: «Танька меня не уважает, хочет взять надо мной верх, а я ее — носом в дерьмо! Она поставит молоко, а я возьму и огонь прибавлю, сожгу кастрюлю. Я женщина больших страстей! Я себе слово дала за пять лет превратить ее в старуху... У Вадима есть женщина, это точно, я — мать, я чувствую. И радуюсь! Если бы Танька со мной по-хорошему, я бы ее мигом научила, как с ним быть. Она сексуально бездарна! Но она не меня слушает, а свою мамочку...»

Тамара молчала, гладила распашонки, а сама думала — ведь никаких гарантий, и Андрюшина мамуля ее, Тамару, наверняка вот так же несет за глаза, спит и видит, как бы сын другую завел.

Вечером, только Андрей в дверь, она ему: «Стучишь своей мамуле, как я тебя на износ эксплуатирую? Тут целый день не знаешь, куда бросаться, а еще приходят и нервы треплют! Передай там: пускай больше не является, толку все равно ноль, а без советов ядовитых как-нибудь обойдемся! Между прочим, чтобы другим советы давать, надо самой быть на высоте, а у твоей, извини, мамулечки, не руки, а крюки, посмотри хотя бы на их квартиру!» И так далее...

Не в первый раз Тамара говорила мужу правду про его родителей, и ничего, слушал, понимал, что правда. А тут вдруг начал выступать: «Не позволю так о моей матери! И запретить ей навещать внука не могу, она его любит, в нем ее жизнь!»—«Ох-ох! «Жизнь!» «Любит!»

Да что же это за любовь такая, интересно знать? Любовь — это дело, а не полоумное тютюшканье! И кто бы говорил?!»

Он и стал весь белый, повернулся и ушел. А объявился ведь, паразит, только через сутки, когда Тамара успела уже все милиции обзвонить, а это не просто, надо в автомат бежать и ребенка запираить в пустой квартире. Тут уж одной было не справиться, пришлось подключать Раису с девчонками, те с работы целый день по больницам да по моргам названивали, потом примчалась Людка, доложила — нигде нет. Еще сказала: все на Тамариной стороне, и Алена, и все. Раиса привела пример, что когда ее муж, полковник, один раз не явился ночевать, она у него на голове тарелку разбила на четыре части. Зашивали потом в травмпункте. А Тамара в самом деле беспокоилась — мало ли что может случиться с человеком? И даже мысли не допускала, что Андрей способен дойти до такой наглости — отправиться спокойненько к мамуле с папулей и разлечься спать. А он ведь так и сделал, ни с чем не посчитался! На следующий день пришел после работы как ни в чем не бывало, с продуктами. Тамара: «Где был, если не секрет?» А он, прямо при Людмиле, ни стыда ни совести: «Да вот, решил вчера навестить стариков, засиделся, оставили ночевать». От этого «навестить» да «оставили» у Тамары аж горло перехватило. Не будь Людки, не сдержалась бы, врезала ему по роже... В общем... вспоминать неохота.

И пошло-поехало. Вот что значит — человек повернулся другой стороной. Что ни попросишь, делает изпод палки, вечно надутый, целыми вечерами молчит. Только с ребенком разговаривает, и точь-в-точь мамуля: «У-гу-гусеньки» да «у-тю-тюсеньки». И так жалостно, будто старается подчеркнуть: бедный ты мальчик, мать у тебя ведьма, никто тебя не приласкает, нежных слов не поговорит... А Тамаре и хочется взять сына, походить, покачать для собственного удовольствия, а когда? Ведь не десять рук, не разорвешься! Вот он и не заслуживленный с ног до головы, зато всегда чистый, в убранной комнате, в свежих ползунках.

В Андрее Тамару злило уже абсолютно все: как ест, как ходит, как пеленки стирает — усядется у машины,

и нос в книгу, из работы делает себе развлечение. По выходным нет-нет да и сбежит к мамуле, а потом еще оскорбляется: «С тобой как в тюрьме, за каждым шагом следишь, и все не так. Все-то видишь, все заметишь, тебе бы в уголовный розыск. Надзиратель! И не нужен я тебе. Только как рабочая скотина».

А и правда, на черта он, такой мужик? Для постели? Женщина и без того с ног падает, а ему подавай. Интеллигент называется! Людка тоже вон стонет, устает как собака, а у нее девчонке второй год, не грудная уже. Говорит: «Я до Коли своего всегда десять сантиметров не доползаю. Думаю, хоть обниму его, руку положу. И уже сплю. Десяти сантиметров не хватает!» А Тамаре не надо обниматься да руки класть, сам лезет, как животное.

И все же она не ожидала, что муж осмелится на такую подлость, чтобы изменить. Главное, на него не похоже, какой из него бабник? А потом, это ведь еще надо найти такую, чтобы хотя приблизительно сравнить с Тамарой. Он, оказывается, такую как раз и не искал. Взял, что валялось.

Что у мужа кто-то есть, Тамара догадалась быстро, глаз — алмаз, куда денешься? Раз задержался после работы, спросила — где, стал мямлить, мол, заходил к родителям, а сам красный, в глаза не смотрит. В тот же вечер Тамара его и подловила, сказала что-то про отца, мол, со здоровьем, наверное, лучше? А он: «Откуда я знаю, я же его с воскресенья не видел». Хорошо. Через неделю явился поздно вечером после того, как ходил в очередной раз «навещать стариков», она и говорит, спокойно так, даже мирно: «Ты бы посоветовал своей любовнице скромнее духами пользоваться. Больно уж паршивые духи, дешевка, меня от них тошнит». А он стоит в дверях, глаза вылупил, рот приоткрыл. Идиот идиотом. А Тамара: «Ну чего уставился? Пиджак у тебя провонял этой гадостью! Пойди, вынеси на лоджию, пусть проветрится. А заодно лицо вымой, весь в губной помаде». Никакой помады у него на лице, ясное дело, нет, а он поверил, давай под носом тереть.

Тамара дальше: «И с чего бы это Ольге понадобилось красить губы? Не такой они у нее формы, чтобы подчеркивать». Сказала и замерла, Ольгу-то, соседку мамулину, просто так назвала, наобум.

...А ведь вполне возможно, что зря она тогда му-

жа — в лоб. Потому что он сразу же во всем признался, а после этого Тамаре ничего другого не оставалось, как выставить его вон...

Нет, нельзя быть такой прямой и открытой, надо похитрей. Виновата перед сыном, не смогла сохранить ему отца. Виновата.

А на следующий день явилась бывшая мамуля. Тамара уже с утра знала — придет часов в двенадцать. Рассчитала: воскресенье, пока они там встанут, пока объяснятся с сыночком, да ведь еще и с духом надо собраться, знает, куда идет. Так что особо торопиться не станет, но и надолго откладывать тоже не хватит терпения. Тамара на всякий случай нарядила Юрика в новую кофточку и стала наводить в комнате блеск.

В десять минут первого звонок. Тамара вышла в переднюю, глянула в зеркало — порядок: белая блузка — то, что надо, волосы по плечам, прямо мадонна. В лице спокойствие и ирония. Дверь в комнату оставила полуоткрытой, чтобы видно было, как Юрик в кровати погремешкой играет.

Бабка вошла, остановилась на пороге, вся бледная, губы трясутся. И сразу давай ныть: «Тамарочка! Зачем же так резко? Нельзя лишать малыша нормальной семьи! Андрей, конечно, виноват, мы с отцом его ругали...»

Ругали?! Но перебивать Тамара не стала, пусть выскажется.

А та: «Я понимаю, у вас с Андрюшей не сложилось, но ради ребенка...» Ну просто нет слов, одни буквы. То есть это значит: оба хороши... Оба! Теперь-то Тамара убеждена: найди тогда свекровь другие слова, скажи по-честному — мой сын поступил грязно, как подлец, и мы с отцом клянемся, что в нашем доме ноги его не будет до тех самых пор, пока вы, Тамара, не простите. И с Ольгой, безусловно, все наши отношения с этого дня прерваны, мы приносим свои глубокие извинения... и в этом роде. Вот скажи она так, и, может, все получилось бы по-другому. Но ведь она же крутить начала! «Не сложилось», «понимаю», выходит, не в том дело, что ее сын при жене и ребенке другую бабу завел, а в том, что Тамара с ним, оказывается, отношения наладить не сумела!

Значит, так. Дверь из передней в комнату, где Юрик, Тамара прикрыла: полюбовалась внучком, хватит. А потом спокойно так, вежливо, без крика: «Прошу очистить помещение. Посторонним тут делать нечего. Это моя квартира. Моя и Юрика. К вашему сведению. Внука у вас больше нет, а тишину нарушать перестаньте (это потому, что бабка вдруг заревела в голос и запричитала) — напугаете ребенка, к тому же мешаете отдыхать соседу». Никакого соседа, конечно, в тот раз дома не было, плавал, но мамуле это знать обязательно.

Одним словом, выпроводила бабку и вдогонку еще предупредила: «Мартьянову передайте: к сыну не пуцу, ребенку грязь не нужна. И развода не дам, потакать разврату не намерена».

Таким вот образом...

И в самом деле, Тамаре одной поднимать сына, а кобелю — новую семью? Перетопчется. Пускай там Олечка подергается, нерасписанная. А мы уж и без алиментов как-нибудь.

Бабы с работы одобрили. Раиса сказала: «Зло должно быть наказано. Прощать измену — себя не уважать! Надо к его начальству сходить, а то висит на Доске почета, как порядочный. Это только такая тряпка, как моя Танька, может все терпеть, ей — пусть шляется, лишь бы совсем из дому не уходил. Я этого не понимаю, я зла не прощаю никому. Мне Вадим тут нагрубил, так я не постеснялась — решила, позвоню его директору и все расскажу — и как жене изменяет, и над матерью издевается, испорчу ему карьеру!»—«Родному-то сыну?!»— ужаснулись Людка с Аленой. Тамара, наоборот, одобрила: если бы у ее Мартьянова была такая принципиальная мать, может, и семья бы сохранилась.

Мартьянов с завода вскоре уволился. Еще до того, как Тамара вышла на работу. А она вышла сразу, как Юрику исполнился год и его взяли в заводские ясли, без очереди взяли, пошли навстречу, и не почему-либо, а знали, какой Тамара работник; Раиса спала — видела, денечки считала, скорей бы наконец Тамара Ивановна села за кульман. Тем более, Алена ушла в декрет. Приняли двух новеньких, а у тех — руки-крюки.

Чтобы ребенок ни в чем не нуждался, выбила себе,

во-первых, повышение. Не любительница таких мероприятий, а взяла Раису за жабры, припугнула — мол, нашла место конструктора первой категории, хоть завтра оформят. Раиса заняла: «Как же? Без диплома о высшем образовании? Да я всей душой, кадры будут возражать...» Тамара четко: «Ваши проблемы. Устраивает, как я работаю, — пробьете». И Раиса как миленькая бодро подняла свою тушу со стула, побежала туда, сюда, к директору на прием. И добилась. Между прочим, для себя в первую очередь. Где она еще найдет такого конструктора, чтобы работал быстро, точно, самостоятельно, без единой ошибки?

Но на зарплату с ребенком все равно не прожить. Тамара, еще пока сидела с Юриком дома, выучилась по самоучителю машинной вязке. Машину купила в долг, Раиса дала денег в рассрочку. И сразу появились заказчики — не отбиться! Потому что у Тамары художественный вкус и чувство линии, она лучше самой заказчицы знает, какой фасон той нужен. А кроме того, «Бурда» под рукой. Виктор привозит, соблюдает договоренность. А еще он привозит шерсть всех цветов, у нас в продаже такой не найдешь. Конечно, и дерет будьте-нате, уж тут одной уборкой не рассчитаешься, но Тамара и ему самому, и его девицам все вязала в срочном порядке, без очереди. А вообще в отношениях с Витькой у Тамары всегда была полная строгость: пьяному в кухне и передней не шуметь и не свинячить, девок в дом не таскать. Все это Тамара раз и навсегда ему объяснила, когда трезвый был, и он согласился. К Тамаре приставать с глупостями — этого себе начисто не позволял. После одного случая. Распустил как-то по пьянке руки, ну и получил. Пока смывал под раковиной кровь с разбитой губы, Тамара стояла рядом, отчитывала: «Запомни до смерти, я для сына живу, не для б...ва. Запомнил?»

А Юрик рос, вот уже и в садик перевели из яслей. На работе удивлялись: как это? Тамара — молодая, интересная женщина, — и совсем одна. Людка так прямо и говорила: «Я бы не смогла». Ну, Людка — ладно, Людка — кошка, обожаешь своего супруга и обожай на здоровье, млей! Так ведь и Раиса туда же! У бабы скоро пенсионный возраст, а все романы на уме. Приехала из отпуска, отдыхала в Репино, так всем прожужжала уши про какого-то Валентина. Он там, видишь ли, в спецсанатории проходил реабилитацию по-

сле инфаркта, и теперь вместо разговоров про Таньку с утра до вечера: «Мне на закате так повезло, так повезло! Это мужчина с большой буквы! Но он в Москве, он там занимает высокий пост... Мне бы надо менять комнату на Москву. Вот разделю ордер, перееду, и напляшутся Вадим с Танькой в коммуналке! Остаток жизни надо прожить с блеском! А вы, Тамара, себя губите... Что значит — «все ради сына»?! Вы думаете, он вырастет — спасибо скажет? Ошибаетесь. Вам надо устраивать жизнь». Тамара отшучивалась: «Не с кем устраивать, порядочных мужчин мало, да и те женатые».

Про ее личную жизнь не знал никто, ни один человек.

Когда Юрику шел пятый год, пришлось Тамаре все-таки развестись с Мартьяновым. Опять пожаловала мамуля, с подарком явилась, притащила целую корзину клубники: «У нас теперь садовый участок, муж на пенсии, сам сажал, сам ухаживал. Очень скучаем по малышу, может быть, хоть иногда... изредка?.. Мы ведь вам раньше не надоедали, не хотели травмировать, а теперь уж время прошло...» Бормочет, а сама глаза в сторону, зато Тамара на нее очень внимательно смотрит. И видит: старая стала, одета кое-как, раньше куда приличней выглядела, а это значит, и сама на пенсии, — пока работала в школе, следила за собой. А еще — руки. Ногти обломаны, кожа грубая, следовательно, запрягли тебя, матушка, новая-то невестка спуска, видать, не дает... А идти сюда тебе — ух, не хотелось! — как могла оттягивала, все магазины по дороге обошла, сумка-то полная...

Тамара спокойненько ей и говорит: «Ягоды заберите, Юрика сейчас все равно нет, гостит в деревне у дедушки с бабушкой. Да и вообще, с в о е м у сыну я, если нужно, все куплю сама. С этим ясно?» Бабка в слезы: «Зачем же так? Мы ведь от чистого сердца. Покушайте. Дед — своими руками...» Сказала и молчит, всхлипывает. И Тамара молчит. Вроде бы мамуле пора уходить — нет, сидит, съежилась, и выражение, как у кошки перед тем, как гадить сесть. Тамара мысленно: «Ну, телись, давай!» А сама уже знает, зачем гостя пожаловала. Наконец та не выдержала: «Тамарочка, — говорит, — просьба к вам. Ольга на седьмом месяце...»

И опять язык прикусила. А ведь не «Оля» сказала, раньше все Олей звала... Нет, не вышло там дружбы, точно! Не вышло... Тамара усмехнулась: «Сразу бы и сказали, а то — «малыш», «своими руками»... Ладно. Передайте Мартьянову: дам развод. Не ради него, предателя, и, конечно, не ради Ольги тем более. А ребенок не виноват, ради него и дам. А вам, Татьяна Андреевна, скажу вот что: сын с невесткой вас не берегут и не уважают, нервов ваших не пожалели, послали сюда, а должны были прийти сами. Помяните мое слово: старость вас ожидает самая печальная, собачья старость. Тот человек, который смог бросить родного сына, он и родителей бросит». Спорить старуха не стала, то ли согласна была, то ли боялась разозлить Тамару. Вздохнула только.

Потом Тамара подписала бумагу, что не возражает против развода, и старуха ушла... А про Юрика-то больше ни слова, — ну скажи?.. Когда Тамара, закрыв за ней, вернулась в комнату, смотрит — между сервантом и стеной засунута корзинка с клубникой. Ладно, леший с ней, пришлось бежать в бакалею за песком, варить варенье. Часть ягод, что посуше, отсыпала, отнесла назавтра в КБ, угостила своих. Заодно обсудили мамулин визит. Людка сказала: «Тома, ты — святая женщина, лично я своему Кольке никогда бы развода не дала, меня бы всю от ревности пожгло!» — «Глупая ты! — засмеялась Тамара. — Да он бы и без согласия обошелся, у нас разводы не запрещены — особенно если новый ребенок. И Мартьянов обошелся бы. Это он из трусости, понимает, что если — без согласия, я могу алименты потребовать. Назло. За все годы, понимаешь? А это сумма будь здоров!» — «Тут я с вами в корне не согласна, Тамарочка, — вмешалась Раиса. — Какая-то вы, извините, не от мира. Сумма всегда пригодится, вы не миллионерша. Мужиков надо наказывать! Они же сволочи! Причем все поголовно. Вот мой Вадим, сыночек. Я ему жизнь отдала. Десять раз могла выйти замуж, могла заниматься наукой — все бросила! У меня к нему привязанность какая-то животная, как у самки к детенышу, а как человека я его не люблю, он для меня объект для дела — сготовить, зашить. А как человек — нет! Танька и та лучше!»

Люда с Тамарой только посмотрели друг на друга, но промолчали. Со смеху помрешь с этой Раисой! Раздухарилась, всех мужиков проклиняет, включая Вален-

тина из Репино, только один ее покойный муж был, оказывается, святой. «Он умел красиво любить, вот что главное! Помню, раз в день моего рождения просыпаюсь от взрыва. Вскочила: «Ах! Что? Война?» А это он, можете себе представить? — ровно в четыре часа утра (я в четыре родилась, он знал!) откупорил у меня над головой бутылку шампанского! Он был человек гигантского сердца!»

Вечером, возвращаясь с работы, Тамара с Людой единогласно решили: все Раиса врет. И про шампанское, и про любовника Валентина. Вот про склоки с невесткой и сыном — тут все правда, суровая, как на войне, такое не выдумаешь.

«А знаешь, Том,— безо всякого перехода вдруг заявила Людмила,— тебе теперь, и верно, надо бы замуж. Разведешься и присматривай себе». — «Ну уж нет! — сказала Тамара. — Юрику — отнима?! Да какая же я мать после этого?» — «А я — какая? — вскинулась Людмила. — Мой к Наташке, хочешь знать, очень даже хорошо относится, а не родной». Тамара только отмахнулась. Знала, как «замечательно» относится Николай к Людкиной дочке, хоть и женились, когда Наташке месяца не было, и удочерил, дал свою фамилию, а толку? Ладно... В чужие дела соваться хуже нет!

...Что же касается Тамариной личной жизни, то, по правде говоря, привыкла она жить вдвоем с Юриком и ничуть этим не тяготилась. Ну... а чтобы совсем не забыть, что пока еще женщина, и так, для тонуса... Что ж... Когда Юрик уезжал на дачу с детсадом или в Калининскую область к деду-бабке, Тамара оформляла отпуск, брала в профкоме путевку тридцатипроцентную и отправлялась в дом отдыха. И там, если повезет и встретится приличный человек, проводила с ним время. Знакомилась, конечно, с умом, не кидалась, как бешеная, на кого попало.

Знакомились на танцах. Там, если понаблюдать за человеком, многое можно узнать за один вечер: не нахал ли, как следит за собой, потому что, например, неряха для Тамары не существует. Еще танца с ними не станцевав, слова не услышав, можно понять главное: холостые или женатые, но бабники (которых и за миллион не надо), на танцах так и шныряют туда-сюда, а порядочный человек стоит в сторонке, приглядывается, думает. Ведь в этот вечер для него все определит-

ся — проведет он двадцать четыре дня верным супругом или наоборот. Потому что уже завтра будет поздно; всех приличных женщин расхватывают. Ну... и одеты семейные не так, как холостяки, скромнее, зато опрятнее.

Вот Тамара приглядит такого, дождется, когда объявят «белый танец», подойдет и пригласит. И почти всегда во время первого танца все и решалось: ясно ведь, понравились люди друг другу или нет. Если да, будет и следующий танец, и еще, а потом — прогулка в парке или вдоль моря, и тут кавалер наверняка робко попытается полезть с поцелуями. Но получит от ворот поворот: «Это за кого же вы меня принимаете? Полчаса знакомы и — уже?!» Будет просить прощения и с завтрашнего дня прилипнет, как смола, а еще через день можно и поцеловаться, а там уж и все остальное... Сезонные эти кавалеры влюблялись обычно в Тамару до сумасшествия. Compliments говорили, заслушаешься: и красавица, интересней всех в доме отдыха, и умница, и человек. Но Тамара понимала: хоть и произносится это все искренне, от души, но самое главное, конечно, не в красоте и уме, а в том, что она ничего не хочет, ни на что не претендует. А еще умеет слушать. Мужики ведь только считается, что молчаливые да суровые, болтать любят не меньше баб. А то и больше. И все о себе. Чаще всего, Тамара заметила, бывают они двух видов: те, что хвастаются, и те, что жалуются. И Тамара слушала, вникала, давала советы, восхищалась, жалела. Только одного не терпела — когда ругают жен. Тут — сразу отпор. И строгий выговор: предательство, не терплю. За это они ее еще больше уважали.

О своей жизни, как правило, не рассказывала. Им неинтересно, а просто так душу выворачивать да унижаться?.. Тем более, скоро наступит день, и прости-прощай... Насовсем. И нечего давать лишнюю информацию. Она и адреса-то своего никогда не давала, предупреждала по-честному: все, что есть между нами, только до конца срока, а там — у тебя своя жизнь, у меня — своя. Разрушать семью — на это не пойду никогда, — ни свою, ни твою. Про себя, само собой, всегда говорила, что замужня. И возлюбленных такая постановка вопроса вполне устраивала, хоть и случалось иногда, что в последний момент заест самолюбие: как так? — женщина навсегда прощается, и не с кем-

либо, с ним! — а у самой улыбка до ушей и никакой печали. И вот накануне вел себя человек спокойно, вместе покупали на рынке фрукты для дома — для семьи, и вдруг, уже на вокзале: «Дай адрес, и все! Не могу так! Напишу! Приеду! У меня это серьезно! Большое чувство!» Тамара в ответ: «Писать ни к чему, а если и правда чувство, приезжай на будущий год сюда же, в то же время». Один раз — дура! — и сама поверила, ждала лета, дни считала, отпуск еле вырвала, путевку — с боем! А он не появился... И потом уж Тамара, даже если и договорится о новой встрече, равнодушно ехала в другое место — кому нужны эти игры? Да и забывались они, сезонные-то любви, пройдет месяц, два от силы, и будто не было ничего, приснилось или по телевизору видела. А по-настоящему есть только Юрик. Он один, для которого — всё! Чем дальше, тем больше понимала Тамара, как виновата перед сыном. Ведь не только в том дело, что не сумела, не захотела удержать Мартьянова, он, положим, подлецом оказался, променял сына на чужую бабу. Но именно его, такого, как есть, Тамара сама выбрала Юрику в папашу. И если Юрик унаследует его недостатки, тут ее вина, Тамарина, больше ничья! А недостатков у Мартьянова полно — расхлябанность, неприспособленность, под любое влияние может попасть. И Тамара поклялась себе великой клятвой — жизнь положить, а сына вырастить полной противоположностью.

Когда Юрик уже учился в школе, начала готовить его в военное училище, чтобы стал офицером. Армия — это армия, любые гены перешибет, там ни разгильдяйства, ни лени, ни — чтобы самого себя жалеть. Там — долг. Долг! Вот что главное в жизни. А склонность к мартьяновской расхлябанности уже и сейчас заметна: утром не поднимешь, так и норовит поспать лишнее. Вообще не активный, а ведь приучен — с постели под холодный душ, но сперва зарядка, да не какая попало, с эспандером, на снарядах; у Тамары поперек дверного проема приколочена перекладина (кто первый раз приходит, если высокий, обязательно стукнется лбом). На перекладине этой она и сама, вместе с Юркой, подтягивалась. Первое время — смех и грех — оба висели, как тряпки, к шестому классу Юрик мог до двадцати пяти

раз. Но азарта, спортивной злости — нисколько! Отвернешься, он тут же: «Все! Отстрелялся!»—«Что значит — все? Сколько раз?..»—«...Двадцать... три...» А по времени ясно, там и пятнадцати нет. «Двадцать три, говоришь? Молодец. А ну, давай еще восемь!» Покраснеет, засопит, а слушается. Потому что мать для него не просто мать — товарищ, вместе телевизор смотрят про десантников, вместе ходят на стадион, на футбол. А еще Тамара придумала военную игру, такую, что сама готова в нее все вечера играть: берется лист ватмана, наносится рельеф местности, горы там, реки, населенные пункты, лес. И вот, на одной стороне, допустим, реки — наши, на другой — противник. У нас — самолеты, артиллерия, пехота, и у них тоже. Все это вырезано из картона в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур и обклеено разноцветной бумагой с условными обозначениями. Надо разработать стратегический план и тактические действия: куда послать разведку, как расположить орудия, когда начать артподготовку, в каком направлении потом пойдет техника, как переправится через реку и ударит царица полей. Ну и так далее. Иногда играли с Юркой друг против друга, иногда — оба и за наших, и за тех. Тамаре игра очень нравилась, Юрику, пока был помладше, тоже. Но в седьмом классе Тамара его, бывало, даже уговаривала: «Ну сына, давай в войну!» А он не хочет, ему интересней — во двор...

Выглядела Тамара всегда — залюбуешься. На работе прямо поражались, откуда силы берутся? И верно — до двух часов ночи просидит над костюмом для Раисы (той в голову ударило — на каждый день недели — новый наряд), утром глаз не разлепить, а надо встать, сделать вместе с сыном гимнастику, проследить, чтобы не увильнул от душа («Не пудри мозги, не обливался ты, вон — кончики волос сухие, а ну, марш в ванную!»), а потом привести себя в порядок и — на работу. И там, пока Людмила чухается за соседним кульманом, доделывает вчерашний лист, у Тамары уж новый готов — чистенький, без единой ошибки. Вот так. Ей даже физическое удовольствие доставляло взять новый ватман, наколоть на доску, проверить рейсшиной, что все ровненько, а на столе, рядом — карандаши заточены, готовальня раскрыта, резинка мягкая, любимая — никому не давала пользоваться!— и тут же справочники, ГОСТы — и пошла работа! Что ни ли-

ния — блеск. Окружности могла так от руки провести, что лучше любого циркуля. О технической грамотности не говорим, Раиса Тамирины чертежи даже не проверяла, подписывала не глядя.

В обед успевала еще подхалтурить, чертила балбесам-заочникам дипломные проекты. Платили прилично. Лодырь, он что хочешь отдаст, лишь бы самому не делать. И еще в ногах повалывается: «Тамарочка Ивановна, ну выручите, полный зарез, только вы можете, ну дорогая!» Выручать Тамара выручала, но уж не могла не высказать, что думает: «Зачем получаешь специальность, которую не любишь? Вы же все надеетесь, что вкалывать не придется, в руководители стремитесь, руками водить, в начальники на чужом горбу!» Сама думала: а ведь и она спокойно могла закончить институт, хотя бы заочно, села бы на Раисино место, когда та уйдет на пенсию... Но тогда пришлось бы отнимать время у Юрика, а он с каждым годом требовал его все больше. Была бы дочка, может, и проще бы, а с парнем... Легко ли без отцовской руки вырастить настоящего мужчину? А надо. Долг. Чтобы вырос сильным, честным, не вруном, не исподтишником! А для этого должен привыкнуть: скрыть ничего никогда не удастся. Когда Юрик был еще маленьким, знал — есть у Тамары такой особый глаз, которым она все видит, где бы он ни был. Придет с гулянья, мать сразу: «Зачем ел снег?» Скажет так, наугад, и Юрик, если правда ел, тут же и признается. Ну, а не ел — обидится: «Не ел я, чего ты?» Тамара: «Как — «чего»? Да! Сегодня не ел, но... хотел ведь?..» Ну что ты будешь делать? Верно, хотел... кажется... Но как же она-то узнала?!

А уж сообразить, что опять брал на руки помойную кошку или катался с горки на животе — и вообще проще простого: на рукаве-то кошачья шерсть или снег забился под пуговицы — чистил пальтишко перед тем, как домой идти, а про пуговицы и не догадался.

Когда стал побольше, в колдовской глаз уже не верил, зато прозвал мать Шерлоком Холмсом: «От тебя ничего не скроешь, тебе бы в милиции работать». Ох, и резануло это тогда Тамару! Вот точно таким тоном Мартьянов как-то сказал: «Надзиратель!»

Но так или иначе, а до поры до времени за сына Тамара была спокойна — особо безобразничать не будет, ее побоится, а это уже кое-что. А Юрик, верно, боялся

матери. Потому, конечно, боялся, что уважал. Руки на мальчишку, слава Богу, не подняла ни разу. Да строго-то говоря, и не за что было. А это вот, как ни смешно, Тамару иногда беспокоило: все-таки парень растет, должен хотя бы слегка похулиганить, подраться. Нет! Осталось в нем что-то от Мартьянова, вялость какая-то, никак не вытравить! И учителя, бывало, говорят: на уроке как сонная тетеря, вызовешь — не с первого раза и услышит. Все делает будто нехотя, странный мальчик.

Правда, учился Юрик прилично, в первых классах и вообще был отличником, но опять не потому, что стремился чего-то добиться, а потому, что мать часами рядом высидивала и чуть что заставляла переписывать с самого начала. Кряхтит, слез полные глаза, а делает. В шестом-седьмом классах такого контроля обеспечить уже не могла, многого, чему их теперь учат, сама не знала, восьмилетку кончала дома, в деревне... да и когда это было! Но все равно тетрадки просматривала, и уж чего-чего, а грязи там не водилось. И все же сполз на четверочки да троечки. Говорят, возраст такой, вон и Людкина Наталья еле тянет, но там — дело другое, там интернат, а родители — хоть и считается, что оба есть, на самом деле отец, как ни говори, не родной, а мамаша... Да и вообще, с детьми что главное? Учет и контроль. А какой в интернате может быть контроль?

При помощи контроля, то есть наблюдая из окна кухни, как ее тринадцатилетний Юрик гоняет с ребятами во дворе, Тамара установила: в возникающих по ходу дела драках ее сын участия не принимает, стоит себе в сторонке и ждет, пока «победит дружба». Заметив это впервые, выводов делать не стала, решила: может, единственный случай. Тем более, раньше, маленьким, Юрик давал отпор, если у него, к примеру, пытались отнять игрушку. Но там и драки были другие, вырвал игрушку — и в сторону, а чтобы здоровый лоб, который ежедневно подтягивается на турнике, стоял руки — в брюки, пока бьют его товарищей?.. Через неделю повторилось то же самое. На этот раз сцепились уже не кучей, дрались один на один Славка Шестопалов из седьмой квартиры, главный Юркин дружок, и амбал-переросток Ухов. Ухов подмял Славку, колотит — страх смотреть, а наш фон-барон хоть бы хны. Отошел, будто не его дело, даже смотрит в другую сторону.

Когда Юрик вернулся домой, Тамара все ему высказала. И про трусов, которые умирают тысячу раз, и в особенности — про предателей, и — что сам погибай, а товарища выручай. Весь скривился, засопел и сказал, что выручать надо, когда человек прав, а они — из-за ерунды, лишь бы кулаками махать, и Шестопал сам, первый полез, любит драться, ну и схлопотал! Но Тамара, разволновавшись, ничего уже не слушала, крикнула, что когда бьют своего, нечего разбираться, кто прав, кто не прав. «Увижу еще раз — все, ты не мужчина и мне не сын! Живо отправлю на Васильевский к папаше Мартьянову!» Про папашу Мартьянова Юрик слышал уже не впервые и, конечно, заревел, как ясельный: «Мамочка, не буду, мамочка, не отправляй!» А тут шла Тамара как-то с работы через двор, видит: мальчишки опять дерутся, прямо куча мала, кто кого — не поймешь. Наш принц — в сторонке, притворяется, будто разглядывает голубей. Заметил мать, и пулей туда, в драку, в самую гущу. Через полчаса явился — новый свитер в грязи, под носом кровь, на скуле синяк, сам зареванный. Тамара промолчала — не хвалить же, нормальное дело. Но и ругать за свитер тоже не стала. А он весь вечер посматривал, видно, ждал чего-то. Неужто ордена?

Еще одно беспокоило: подвержен влияниям. Закадычный этот Шестопалов из них двоих явно был главным. Юрик чуть что: «А Славка сказал... А Славка считает...» Тамара: «Ну, а своя-то голова у тебя есть? А если Славка тебе скажет — в люк вонючий залезть и крышкой закрыться?»

Но Славка — ладно, хуже другое: Виктор, сосед, с недавних пор больше не плавал, списали за что-то. Устроился в соседний гастроном грузчиком, опустился, каждый вечер поддатый. Хулиганства в квартире, правда, себе не позволял, Тамара пригрозила — если что, вылетишь из Ленинграда на сто первый километр, я буду не я. Верил и вел себя тихо. Но что опасно? Юрик вдруг стал к нему тянуться. Мать весь день на работе, а у этого алкаша при магазине свободное расписание. Как-то забежала днем; сидят с Юркой на кухне, чай распивают. На столе батон, сыр, колбаса полукопченая, Юрик наворачивает за милую душу, ему без разницы, куплена эта колбаса на честные деньги или,

может, украдена. Тамара увидела, в глазах потемнело. Допрыгалась! Парень без отца — с алкоголиком, с воругой связался! Сегодня краденую колбасу кушает, завтра выпивать начнет с этим бандитом! Дала обоим звону. Витьке отдельно: «Ты что, поганец, к ребенку прилип? Компания он тебе? Не трогай мальчишку, не то загремишь отсюда к чертовой матери! Сегодня же схожу куда надо!» Вдруг слышит сзади Юрик всхлипывает: «Мамочка, зачем ты? Дядя Витя хороший, мы же ничего такого...» А Витька встал, да так зло, сквозь зубы: «Ну и зараза же ты, Тамарка! Никому от тебя жизни нет, родного сына затравить готова. Эсэсовка!»

С тех пор Тамара ни разу больше не заставляла сына с Виктором. Но видела: плохое влияние на мальчика тот все равно оказал, потому что Юрик стал грубить. Не то что словами, за слова Тамара ему показала бы, — тоном. Даже не объяснишь, в чем хамство, а есть. Спросишь: «Как в школе?» Он: «Нормально». Но так ответит, что слышишь: «Ну, чего тебе? Отвяжись». Но вообще-то он теперь больше молчал, прямо как папаша Мартьянов. За вечер: «Дай поесть», «Спасибо», «Я пошел». Все разговоры.

Тамара очень расстраивалась, плакала даже. Бабы на работе утешали каждая по-своему. Людка: «Переходный возраст, не бери в голову, подумаешь — молчит! Лишь бы не хулиганил!»

У нее другие мерки, ее Наталья уже и покуривает, и по-матерному запросто — интернатская, но ведь Тамара-то в Юрку душу вложила!

...Переходный возраст переходным возрастом, и все бы можно стерпеть, тем более, по сравнению с другими своими ровесниками Юрик вел себя еще очень прилично, грустно другое: собственная Тамарина жизнь вдруг стала какой-то тусклой и пустой. Вернее, даже не пустой — загромождена она была делами и хлопотами по-прежнему, а вроде как безрадостной. Выкладываешься на всю катушку, а иногда такая вдруг возьмет тоска — ну кому это нужно все? Раньше спешила, выкраивала свободные минутки, чтобы побыть с Юркой, в шашки поиграть, или в «Эрудит», или, конечно, в военную игру. По воскресеньям — вместе в кино. А теперь ему в кино интересней с Шестопаловым, а играть?.. «Не, неохота...» Ну, хорошо, ну, допустим, это и правда, как все кругом твердят, переходный возраст. А дальше-то что? Кончит школу, там — училище; для него, ко-

нечно, польза, а Тамаре как жить? Близких подруг не завела, родные все в деревне. А он ведь, Юрик-то, потом, когда повзрослеет, поумнеет, все равно к матери не вернется, женится, и будет у него своя жизнь. И хорошо. Радоваться надо! Тамара ведь не Раиса и не мартьяновская мамуля, чтобы сыну семью разбивать... Ну, а сама, сама-то все-таки как?.. Дотянуть сына до училища, а там — в срочном порядке замуж? Найти себе приличного старичка, вдовца?.. Смешно.

Иногда Тамара думала: как же могло получиться, что, расставшись четырнадцать лет назад с Мартьяновым, никого она не смогла полюбить по-настоящему. Чтобы только о нем и думать, мечтать, с ума сходить, жить от встречи до встречи. Что она, Тамара, каменная, что ли?

Было ясно: приличных мужчин, достойных, чтоб их полюбить, в наше время ничтожные единицы, и лично ей, к несчастью, ни один из таких ни разу не попался. Те, с кем проводила время в отпуске, для жизни, для настоящей любви не годились. Изменяли женам? Изменяли! А разводиться, между прочим, не собирались, хоть и врали каждый раз, что — хоть завтра, да жалко детей. Полюби такого, а он тебе через год — козью рожу. Нет уж.

Тамара и не надеялась, что встретит человека, который будет достоин любви. И, может, это к лучшему? Любовь — зависимость, а она привыкла во всем зависеть от одной себя. А еще, как бы ни отдалялся от нее сын, в конце концов, его дело. А у Тамары — свое, долг перед ребенком, долг на всю жизнь, до последнего дня.

Седьмой класс Юрик закончил прилично, без троек. В июле Тамара съездила с ним вместе в деревню к своим, уже третий год проводила там отпуск, надоели казенные развлечения. Погода весь месяц стояла хорошая, купались. Юрик научился вполне сносно плавать, правда, долго не решался прыгнуть в воду с обрыва, пришлось прыгать самой и пристыдить: «Ты ж мужчина! В десантных ведь войсках с парашютом придется!» А он хладнокровно: «Да не собираюсь я в твое училище». — «Вот как? А куда же ты, интересно, собираешься».

ся?» Буркнул что-то, пожал плечами и отошел. Сперва Тамара расстроилась, а потом сама себя и успокоила: маленький еще, сто раз передумает... Вообще-то в деревне было хорошо, с сыном почти восстановились прежние отношения. Шестопалов, дружок, слава Богу, далеко, а с местными ребятами Юрик как-то не сдружился.

Уезжала Тамара второго августа, а Юра еще три недели пробыл у стариков. К его возвращению сделала в комнате ремонт, намыла пол, испекла пироги, его любимые, с капустой и с яблоками. А еще купила подарок. Дорогой, на работе не сказала, заключит. Но решила: надо, чтобы парень понимал: матери для него никаких денег не жалко. Все-таки большой, в восьмой класс пойдет, у многих ребят, которые с отцами, и одежда фирменная и магнитофоны. У некоторых даже мотоциклы есть. Юрик одет не хуже других, все по моде Тамарой сшито да связано, но пусть даже красивей покупного, а ребята сразу отличат — фирмá или самодельное. Купила японский магнитофон — плэйер, тот, что с наушниками, и можно хоть весь день слушать свой рок, а другим не мешать. Магнитофон и пару кассет привез Виктор. Его весной опять взяли на флот, плавал теперь, как прежде. Денег этот магнитофон по Тамариным заработкам стоил конечно жутких, пришлось даже снести в ломбард кое-что. И то Витька сказал: делаю скидку, не для тебя, тебе бы копейки не уступил, Юрку жалко.

Юрик приехал двадцать девятого августа. Загорелый и какой-то совсем взрослый. На ремонт внимания, конечно, не обратил, а от магнитофона аж взвизгнул. Сел за стол, умял половину пирогов — и во двор, хвастаться. Тут Тамара ничего не сказала, можно понять.

Начался учебный год, и все вроде тихо-спокойно, но Юрик теперь каждый день на улице допоздна, и опять чужой какой-то. Явится наконец, лицо уже наперед злое. Спросишь: «Где был?» — «С ребятами». — Я спрашиваю: где?!» — «Хватит. Где надо!» Или еще хуже, издевается: «Ты же Шерлок Холмс, давай определяй по косвенный уликам. Ищи криминал».

Как-то вечером Тамара сидела одна дома, вязала, и вдруг звонок. Открыла — стоит мужчина, худощавый,

средних лет, в плаще. «Вы Тамара Ивановна Мартьянова?»—«Я». А он: «Разрешите войти, я инспектор районного УВД капитан милиции Дерюнин Борис Федосеевич». И протягивает Тамаре какое-то удостоверение. А она и прочесть не может, все внутри трясется. Потом опомнилась, засуетилась: «Проходите, пожалуйста, вот сюда, пожалуйста, в комнату, садитесь...» А у самой ноги дрожат, губы онемели, голос даже изменился, тоненький стал, противный. Потому что с первого взгляда, с первого слова почувствовала: что-то с Юркой! Прямо крик из горла рвется: «Что с ним?!»— а выговорить страшно. Борис Федосеевич снял плащ, повесил, прошел не торопясь в комнату, сел и огляделся. Потом спрашивает: «Тамара Ивановна, вы знаете, где сейчас ваш сын?» Ну точно — беда! Попал под машину, или гопники какие-нибудь покалечили... Борис Федосеевич посмотрел внимательно, говорит: «Не надо так волноваться, сын ваш, Мартьянов Юрий, жив и здоров. Но... Короче, сегодня около девятнадцати часов возле вашего дома совершено ограбление личной автомашины. Преступники взломали дверь, проникли в салон и взяли импортный переносной магнитофон, аптечку, блок сигарет «ВТ» и сувенирную кошку».— «Как это — кошку?!»—«Специальную. Помещаются в автомобилях у заднего стекла для украшения. Тоже импортная». И замолчал. А у Тамары Ивановны уже отлегло от сердца, потому что Юрик здесь ни при чем. Конечно, мальчик он сложный, но чтобы украсть?! И зачем ему магнитофон, Господи! У него же свой есть! А кошка... И вообще смешно. Ошибка это! А инспектор размеренным тоном поясняет, что нападение видели из окна жильцы третьего этажа и в одном из подростков, совершивших кражу, узнали ее сына, Мартьянова Юрия.

Теперь Тамара успокоилась: вранье! Во-первых, из окна, да с третьего этажа, да в семь часов вечера много не разглядишь, хоть и светлые сейчас вечера. Ну как они узнали Юрика? По одежде? Так в куртках, как у него, полрайона ходит. Во-вторых...

Додумать не успела, потому что услышала: открывается входная дверь — Юрик! Вот сейчас все и разъяснится, и этому инспектору будет стыдно — явился к приличной женщине обвинять ее сына в воровстве!

Через минуту Юра вошел в комнату, и надеяться

Тамаре Ивановне сразу стало не на что, потому что в руках ее сын держал рыжую игрушечную кошку из искусственного меха.

— Куда? Стой на месте!— низким голосом сказала она, видя, как Юрий шархнул назад, к двери.— Говори, где магнитофон из той машины. Ну? Живо!

— У... у него... Ухова...— пролепетал Юрий.

— Остальное где?

Почему-то Тамаре казалось, если сын вот сейчас, именно ей, не инспектору, сам, честно скажет, где вещи, все обойдется. И она торопила его:

— Ну же! Быстрее! Быстрей!..

— Аптечку — Шестопал...

Тут инспектор взял-таки инициативу в свои руки, пригласил Юру к столу, велел сесть и сам стал спрашивать его обо всем подробно: кто первый предложил вскрыть дверь чужого автомобиля, как это было, когда, кто именно ломал замок, кому пришло в голову взять самую дорогую вещь в салоне — магнитофон. Юра полушепотом на все почти вопросы отвечал «Ухов», инспектор записывал, потом дал прочесть Юре, и тот расписался. Тамара Ивановна тоже.

Когда Борис Федосеевич собирался уходить, убрав бумаги в портфель и прихватив кошку, Тамара вышла за ним в переднюю, прикрыла за собой дверь и растерянно спросила:

— Что же теперь?..

Инспектор только руками развел.

— Будут решать.

— Кто?

— Следователь. Возможно, суд. А как вы думаете?

Это ведь уголовное преступление, кража со взломом.

— И... и... могут?..

— Все может быть, мамаша.

— А скажите... тот... ну, хозяин машины... он — из нашего дома?

— Нет, не из вашего. И вообще не советую предпринимать что-либо в этом отношении.

И ушел.

А Тамара Ивановна вернулась в комнату, сняла с платья кушак, узенький, пластмассовый, и отстегала

сына. Первый раз в жизни. За все! За неблагодарность! За бессовестность! Что свою жизнь загубил, а значит, и ее! Для чего ей теперь жить? Для чего?! Для чего?! — Кошки... кошки поганой тебе не хватало?! Паршивец!

Хлестала по чему ни попадя, а он только отворачивался, лицо ладонями закрывал. Вдруг устала — ноги не держат. Пошла в ванную, умылась холодной водой, тут же, прямо из-под крана, попила. Вернулась в комнату. За стенку держалась, шаркала ногами по полу, как старуха. Открыла дверь — Юрик у окна, молчит, только спина вздрагивает.

Тамара села на стул. Нельзя жалеть! Начнешь жалеть — совсем загубишь. Спросила безразличным голосом:

— Ну, что думаешь делать? Ведь посадят. В колонию для малолетних. Лет пять дадут.

Заревел, бросился к матери, за руки хватает:

— Мамочка! Миленькая! Никогда больше!.. Сделай что-нибудь! Я не хотел, это они! Они! Ухов с Шестопалом!

— Милиционеру все по правде сказал?

— Все-о...

— Молодец.

...Молодец-то молодец, а что же получается? Только припугнули, и готово? Выдал товарищей? А-а, до того ли!..

Две недели Тамара Ивановна жила как сумасшедшая. Все ждала — придут, заберут Юрку... С завода домой — бегом, по лестнице, если кабины внизу нет, — бегом. На работе никому ни слова, но такое состояние разве скроешь?

...А Юрка теперь зато целыми вечерами дома. В школу — из школы, сделал уроки и сидит часами перед телевизором. Как-то вдруг сам предложил:

— Мам, сыграем в игру, а? В ту, военную, а?

Тамаре бы радоваться, так нет, еще сильнее болит сердце, ведь ребенок же, совсем еще ребенок... Как представит себе, что уведут Юрку под конвоем, так бы и завывала на весь дом. А ведь и ему виду нельзя показывать. Он, видно, тоже про это думает. Однажды спросил:

— Тебя... куда не вызывали?

— Куда это? — не поняла Тамара.

— Ну... К этому... в милицию.

Господи, губы дрожат у мальчишки! Взяла себя в руки, сказала твердо:

— Вызовут, так не меня, тебя. Я в чужие машины не лазила.

Отвернулся.

Однажды пришла Тамара домой, смотрит, а у Юрки глаз подбит, весь запух, и вокруг чернота. Спокойно спросила, в чем дело. Всхлипнул.

— Ухов с Шестопалом... Говорят: «Стукач, всех заложил. Молчал бы, ни черта бы этот мент не нашел».

— Как это — «не нашел»? Он же своими глазами видел кошку, ту самую.

— Они не про кошку. Говорят, надо было сказать, что кошку на дворе подобрал, валялась. Кошка — ерунда, она дешевая. А про магнитофон и все другое, что у них, надо было молчать, они говорят.

— Но ведь вас же видели!

— Ухов сказал — туфта все это, мусор — лапшу на уши, на понт тебя брал!

— Куда-куда?

— На понт.

— Это еще что за бандитские словечки?! Да чтоб я больше... И нечего тут нюни распускать! Что, сдачи не мог дать? Всю рожу расквасили!

Юрка опять всхлипнул, вытер ладонью глаза.

— Ухов сказал: Бога моли, чтоб мой папаша замял дело. А то, говорит, не жить тебе... Мам, я в школу больше не пойду.

— Я вот тебе не пойду! Струсил! Мало ли что твой Ухов наболтает!

Но самой вдруг стало тревожно. Собралась, будто в магазин, сумку взяла, а сама — в милицию. И повезло ведь, хоть и поздно, а нашла, застала Дерюнина

Ее он узнал сразу, предложил сесть, выслушал очень внимательно — про все: что Ухов угрожает, парень в школу боится ходить, и как сама не спит ни одной ночи, извелась вконец. Только вот про подбитый глаз не сказала, язык не повернулся.

В конце пожаловалась:

— Ну сколько же можно терпеть неизвестность эту? Все нервы вымотала, так — и с ума недолго...

Борис Федосеевич посмотрел как-то неофициально, по-человечески, покачал головой.

— Жалко вас. С лица совсем похудали. Постараюсь помочь, зайдите через пару дней. В среду.

Еле вытерпела Тамара эти два дня.

В среду капитан Дерюнин сказал, что следственные органы готовы пойти Тамаре Ивановне навстречу, учитывая, что одна растит сына, а также тот факт, что отдел кадров завода, где она работает, дал о ней исключительно положительные сведения. В голове мелькнуло: теперь на работе, конечно, обо всем узнают — у девок из отдела кадров языки без костей, дойдет и до КБ... ладно, не до того сейчас.

А инспектор продолжал. Объяснил, что замять такое происшествие, разумеется, невозможно, но уголовного дела возбуждать, видимо, не будут. По просьбе потерпевшего. Были бы взломщики совершеннолетними — дело другое, а тут, как ни говори, пацаны. И вот, учитывая чистосердечное признание Юрика и то, что он из них троих — самый младший и был вовлечен, и опять же — мать заслуживает доверия, предварительно пока так: пусть кончает восьмилетку... ну и словом, если ничего подобного не повторится, на первый раз можно простить... то есть ограничиться внушением. Пока, значит, так...

Он говорит, а Тамара Ивановна и слова вымолвить не может. Чувствует, как только откроет рот, сразу расплчется. И он это понял, Борис Федосеевич, тактичный человек.

— Идите домой и не нервничайте. Благодарить меня не надо, все мы советские люди, и у нас человек человеку, слава Богу, не волк.

Тамара шла домой и всю дорогу плакала. Первый раз в жизни не от обиды и не со злости — от стыда. Вот сорок лет на свете отжила и привыкла думать — каждый только о своем заботится. А что получилось? Борис Федосеевич, инспектор этот, чужой, посторонний, а ведь все понял, отнесся по-человечески, хочет помочь. Как отблагодарить? Что сделать? С подарками не подъедешь, не такой человек, настоящий человек в полном смысле слова.

Легла в тот вечер рано. Лежала, смотрела на окно,

за которым долго горели фонари, слушала, как грохочут вдоль улицы тяжеленные дальнобойные грузовики. Потом начался дождь, сперва мелкий, тихий, едва шуршал по карнизу, а потом как загремело, пошло. Что ж, середина сентября, осень... Юрик, как всегда, спал неслышно, он всегда так спал, даже если болел. Подошла, поправила одеяло. Плечико-то худенькое, острое!..

И опять слезы сами из глаз поползли. Вот, неполных четырнадцать лет, а едва не угодил за решетку. Почему? По глупости, больше нет причин... Нет, есть. Есть! Безотцовщина. Конечно, на этот раз можно возразить, что у главного хулигана и заводилы Ухова как раз имеется родной папаша, и такой, видать, разворотливый, что даже с хозяином той машины как-то сторговался. Но к добру ли? Сегодня — машина, завтра сыночек человека убьет. А надо, чтобы ничего такого даже в мыслях!.. А ведь у Шестопала тоже нет отца, пил сильно, всю семью изводил. В позапрошлом году посадили. За драку. Так что неизвестно еще, что лучше — такие папаши или — как у Юрика. Другое дело, что она, Тамара, ни на секунду не должна забывать, в каком долгу перед сыном. Думать о каждом шаге и все делать не как попало, тьяп-ляп, а будто ты на фронте, и от тебя зависит жизнь товарищей. Только так!

Во-первых, надо усилить контроль за свободным временем сына. Во-вторых... а во-вторых, возможно, следует встретиться с Мартьяновым. Все же ум хорошо, два лучше. Самолюбие придется придержать. Просто посоветоваться, мужчина в мальчишеской психологии должен разбираться лучше. Материальной помощи просить она, конечно, не станет. А поговорить нужно. Все в один голос: мальчишки отцов слушаются. Может, и нужно было разрешить Мартьянову видеться с сыном?.. Да, тут допущена ошибка, и, видать, серьезная.

Пока после работы добиралась в метро да двумя автобусами, уже устала. Да еще дождь. Как заладил с ночи, так на целые сутки. Мелкий такой, вьедливый, холодный. А зонтик — это уж как нарочно! — забыла дома. Волновалась, вот и забыла. Пока стояла с Людмилой у завода на остановке, вся намокла. Еще пришлось свой автобус пропустить — Людка пристала как

банный лист: «Посоветуй, да посоветуй, что делать с Натальей, совсем отбилась от рук, раньше, в интерна-те, хоть поскромней была, а в этом ПТУ — уж и вообще. Домой является после часу ночи, красится — ужас, а ведет себя — ну прямо как проститутка. Вчера спрашиваю: «Где болталась?», а она: «Ну, мамашка, ты прямо, как в анекдоте». — «В каком таком анекдоте?» — «А где папочка тоже пристал к дочке — где была да где была, а дочка ему: «Батя, так ведь меня изнасиловали!» А он: «Насиловать — это десять минут, а остальное время где шлялась?» Нет, Томка, ты представляешь?! Да если б я посмела так — своей матери, она бы мне — всю рожу...»

Хотела Тамара Ивановна ответить подруге, что при таком отношении к дочери, какое у нее всю жизнь было, другого требовать смешно. Да осеклась вовремя. Люд-кина Наталья пока еще всего-навсего хамит да таскается, а ее собственный сын чуть в тюрьму не загремел. Только и сказала:

— Какой я тебе советчик, Людмила? Сама-то... — договорить, слава Богу, не успела, автобус пришел.

К мартьяновскому дому подходила, уже и туфли насквозь, вода хлюпает и с волос течет за шиворот, да еще напал озноб, зубы так и стучат. То ли от холода, а скорее всего, от волнения. Все же не хвалиться идет, мол, полюбуйте, бывшие родственнички, какого я без вашей помощи, исключительно сама, вырастила парня...

Завернула со Среднего за угол, дождь как раз опять надал, да еще с ветром, так и хлещет в лицо. Подбежала к дому, и только когда уж совсем рядом была, дошло — пустой ведь дом, на капремонте! Могла бы и раньше заметить, ни одно окно не светится, да разве об этом думала?!

Вот так. Куда теперь? Идти в справочное, узнавать новый адрес? Где тут справочное, один Бог знает. Да и скажут адрес, так ведь это небось у черта на рогах, в Веселом поселке, еще два часа пилить. А сил уже совсем нет, непонятно, как до своего-то дома добраться?

Ноги кое-как сами вывели к автобусу, где опять простояла двадцать минут. Стояла одна, а пришел автобус, набежало человек пятнадцать. И тут Тамара Ивановна поняла, что нормальные-то люди — кто в парадной, кто под аркой стоял, она одна под ливнем,

ноги — в луже. Доехали до метро, там хоть тепло и сухо!

От Тамары все шарахаются, еще бы! — точно вот сейчас из Невы бабу вытащили. Села в поезд и только через три остановки спохватилась — проехала ведь пересадку! И так все время — не одно, так другое. А мысли в голове, как машины в кинохронике про западный мир, — несутся, обгоняют одна другую, сталкиваются и, слетев с дороги на полной скорости, взрываются белыми вспышками. Ни одну не остановишь, только рев в ушах. И единственное желание — скорей, скорей домой, укрыться. Тогда и в голове должно стать тихо. Тамара даже уши зажала руками, чтоб не слышать воя и скрежета.

От метро до дома решила пешком, сил не было стоять на дожде, ждать трамвая, и только отошла от остановки, как он ее обогнал, весь освещенный, праздничный, наверняка теплый.

Тамара шла по краю тротуара, несущиеся мимо грузовики хлестко обдавали ее грязью. А рев в голове не стихал, мысли все мчались, мчались как бешеные, сливаясь в серые полосы. А одно слово нет-нет да и выскакивало, точно реклама, крупным планом. Так бывает, когда смотришь по телевизору хоккей, летишь вместе с хоккеистами прямо на борт, и слово это вдруг вырастает перед тобой: какая-нибудь марка импортных сигарет или просто название фирмы. У Тамары это слово было «ПРЕДАТЕЛЬ». Главное, кто предатель? Почему? Мартьянов, что ли? Уехал куда-то, не предупредил, а у нее ведь сын, его сын... Или это Юрка — предатель? Она для него — все, всю жизнь, а он... А может, она сама? Не сумела сохранить семью, не смогла воспитать сына, довела до того, что связался с гопниками!

Вошла наконец в квартиру — с плаща течет, по полу мокрые следы. Юрка увидел — испугался, забежал, помогал плащ снимать, подал тапки. Тамара подумала: «Надо бы в ванну, в горячую воду». Где там! Еле хватило сил разобрать постель. Легла, а озноб все бьет, не отпускает. Юрик чаю принес, напоил — самой чашку в руках не удержать. Выпила — и сразу в жар. Тут Юрик и говорит:

— Мама, к тебе твой мент приходил. Велел, чтобы завтра после работы явилась к нему.

Сказал и смотрит. Боится.

Тамара отвернулась к стене и заплакала. А потом вдруг сама не заметила, как забылась. И то ли сон это был, а может, бред, но вот ясно-ясно увидела: она удит рыбу, не на речке, а у себя дома, в комнате. Паркет разобран, и на самой середине, возле стола, дырка. Черная, глубокая. Тамара опускает туда леску с крючком, и там кто-то сразу — дерг! Она тянет удочку вверх и вытаскивает огромную рыбину. Белую, всю какую-то дряблую, как разварную. И без глаз. Так страшно!

Села на кровати, вся мокрая — лоб, шея, спина. И тошнит. А затылок прямо каменный. Кое-как все же уснула и уж проспала до будильника, но сон был плохой, душный и тяжелый. Утром еле встала. На работу решила не ходить, сразу в милицию. Весь день ждать, околеешь!

Но сыну опять ничего не сказала, приготовила завтрак, вскипятила чай. А ноги, спину, руки и плечи — все ломит. Есть не смогла, даже противно было смотреть на еду. А Юрка лебезит, в глаза заглядывает:

— Мам, ну ты — как? Может, сбежать в поликлинику, вызвать врача?

— Ничего не надо, позвоню, отпрошусь, у меня отгул есть.

Юрик покрутился, покрутился, хотел, видно, еще что-то спросить, да не посмел. Ушел в школу, весь понурый какой-то... Неужели опять?..

А Тамара Ивановна собралась в милицию. По дороге позвонила Раисе, попросила отгул, та захохла:

— Только уж вы не разболейтесь, работы много!

Стерва... Нет о человеке подумать, она — о себе. Все люди такие! Сидит квашней, могла бы и сама пару листов начертить. Так ведь не умеет же ни фига! Давно пора бабе на пенсию, нет, сидит, занимает место!

Нарочно думала Тамара Ивановна о Раисе, отвлекала себя, чтобы не волноваться, — ведь не просто так вызывает ее капитан Дерюнин. Господи, а ноги-то совсем не идут, волокутся, точно у паралитика!

Инспектор был на месте, встал, подал стул.

— Садитесь, располагайтесь, Тамара Ивановна. Вот теперь вижу: пришли в себя, вид отдохнувший, ру-

мянец на щеках. Слов нет, интересная женщина, это безусловно.

— Что стряслось, Борис Федосеевич? Если плохое, сразу скажите.

Заулыбался:

— Вот вы какая! Милиция,— значит, обязательно плохое. Не переживайте, с вашим сыном все хорошо. Даже в школу решили не сообщать, а то ведь у нас везде, сами знаете, перестраховщики. Не захотят брать в девятый класс, будут спихивать в ПТУ, на чужие руки.

— Я его в военное хочу, в артиллерийское,— зачем-то сказала Тамара и прикусила язык.

— И прекрасно!— Дерюгин вроде даже обрадовался.— Если будет надо — поможем. А пока что... Значит так. Пока просьба к вам у нас. Обращаемся как к сознательному и... уже своему человеку.

— Я... Можете на меня рассчитывать,— голос Тамары Ивановны сразу стал твердым.

— Да тут, понимаете, такое деликатное дело... Надо помочь нашему правопорядку, государству, можно сказать.

...Даже смешно! Как это Тамара Мартьянова откажется помочь своему государству?!

А дело оказалось вот какое: в районе действовал опасный и дерзкий преступник. Были случаи разбойных нападений, избита женщина, а почерк везде один. Недавно бандит с целью грабежа набросился на старого человека, ветерана, свалил его на землю, зверски топтал ногами, а когда на помощь подоспел работник милиции, оказал ему сопротивление. Но милиционеру удалось задержать бандита, и он узнал его, того, которого так долго разыскивали. По ряду примет. Представляете, какие есть еще скоты? И это на шестьдесят седьмом году Советской власти! Короче, теперь предстоит суд, и вот здесь-то и получается закавыка. Наше гуманное законодательство не позволяет осудить преступника только на основании одних лишь показаний милиционера. А других свидетелей не было.

— А как же ветеран? И те, другие, ну, на кого он еще раньше нападал и грабил?— спросила Тамара Ивановна.— Можно ведь устроить очную ставку. Опознание...

— А вы человек грамотный, Тамара Ивановна,—

похвалил Дерюнин.— Только все, к сожалению, не так просто. Ветеран не найден. Пока работник милиции задерживал бандита, ветеран исчез. Вероятно, как-то сумел подняться, ушел домой. В общем, искали, но не объявился. Старый же человек, мог и умереть... В результате побоев. А те, прежние... Тут сложность: на всех преступник нападал в темноте, никто как следует его не запомнил, так, отдельные детали. Но настоящего, крепкого свидетеля нет. И очная ставка не может.

— Ужас,— вставила Тамара.

— То-то и оно. А преступник очень хитрый, ведет себя на следствии неискренне, от всего отпирается, а тут и вообще отказался давать показания. Наглый, мерзавец. И еще на сотрудника милиции наговаривает, будто бы тот задержал его на улице просто так, ни за что. И чуть ли не ударил. Как вам нравится?

— Нахальство! Где это видано, чтобы в наше время ни за что хватали!

— Сейчас наша задача... я считаю, общая задача, верно?

— Верно,— кивнула Тамара.

— Наша задача: изобличить! Избавить общество от бандита, от подонка. Ведь вот такие и втягивают ребятшек в преступления. Не исключено, что Ухов даже знаком с преступником, нет, это я к слову, все бывает. И необходимо добиться, чтобы бандит получил сейчас срок и не смог больше совершать преступлений. Это наш долг.

— А... следователь?

— Следователь там хороший, хотя и молодой. Делает все, что нужно. Нам с вами надо ему помочь. На вашей кандидатуре остановились по моей рекомендации...

— Я все сделаю, Борис Федосеевич.

— Верю.

На Тамару Ивановну опять напал озноб, пришлось стиснуть зубы. Она молча кивнула головой, и тогда Дерюнин объяснил, что делать ей, по сути, ничего особенного и не придется, надо просто сказать, что в тот момент, когда случилось происшествие, она находилась поблизости и все видела. Неправды тут не будет никакой, потому что, в конце концов, не важно, видела она

это собственными глазами или просто точно знает, что все было именно так. А видели другие, которым она верит.

— Ведь вы же мне верите?— тихо спросил Борис Федосеевич, придвигаясь к Тамаре.

Она опять кивнула. Смешно: как это ей — ей!— не верить человеку, который так честно выполнил все, что обещал сделать для Юры? Который охраняет нас от всей этой мрази, идя даже под бандитские пули! Да разве посмела бы она ему отказать?.. И, с другой стороны, почему бандит должен разгуливать на свободе, убивать и калечить людей только потому, что у нас такие мягкие законы, что из-за одного свидетеля возможен неправильный приговор? Да этих выродков и вообще — стрелять без суда и следствия, а не то что!.. На месте!

— Я согласна,— сказала Тамара Ивановна хрипло.

Еще полдня она провела в милиции, познакомилась со следователем товарищем Косенко, подписала какой-то протокол. Читать не стала, не могла — голова прямо разламывалась, то в жар кидало, то в холод. Каждый час приходилось незаметно глотать аспирин... Мартьянов — сволочь, ничего не сделал для сына, ни разу, но у Юры есть мать, она понимает, что такое долг перед ребенком!..

Было уже около четырех часов, Тамара еле держалась на ногах, когда следователь подвел ее к закрытой двери. Сказал:

— Войдете, увидите вдоль стены на стульях троих мужчин. Осмотрите всех внимательно. А потом покажите того, что в центре. Подтвердите, что видели именно его. И все.

Тамара Ивановна вошла. Сидят. Все одинаковые, серые... Преступные. В ватниках и кепках. По сторонам два милиционера. Господи, только бы не перепутать! Остальные-то двое не виноваты, еще покажешь на кого из них! Косенко сказал, что бандит этот, Дмитриев, в середине.

Она повернулась к следователю и громко произнесла:

— В середине. Этот человек Дмитриев. Который зверски избивал пенсионера и напал на милицейского работника. Его надо судить нашим судом...

— Довольно, довольно...— прервал следователь,— вот, подпишите здесь. Спасибо.

Лица бандита она так и не запомнила.

Ночью стало совсем плохо: температура, дышать нечем, бред. Наверно, перепугала Юрку до полусмерти — кинулся в автомат, вызвал «Скорую». Приехали, хотели сразу в больницу. Отказалась. Сделали укол, сказали — пневмония. Днем пришел врач из поликлиники, подтвердил. И тоже — необходима госпитализация. Тамара Ивановна твердо: «Нет!» Еще чего, оставишь сына дома одного, потом век не расхлебать, по улицам вон бандиты шляются...

Пять суток было очень тяжело, как вечер — на градуснике под сорок, врач чуть не каждый день, и сестру присылали с уколами. А Юрик — просто другой человек, не нарадуешься! Ухаживал, в магазин бегал, в аптеку, сам варил куриный бульон. И все: «Мамочка, мамуля...»

Приходили, конечно, и с работы. Людмила. Через день бегала, и каждый раз с полной сумкой. Тамара ругалась:

— Для чего столько натащила, мне же на еду смотреть противно!

— Через силу ешь, не то совсем загнешься, и так глядеть жутко. А что не съешь, Юрка слопают. Вот яблоки тертые, в них железо, кровь укрепляет. А в банке паровые биточки, Том, ты не думай, не из готового фарша, сама вертела... Раиса привет передает, прийти не может, давление замучило, еле ноги тянет. Сказала: «До нового года доработаю, и все. На пенсию. Но Танька, говорит, пускай не надеется насчет бесплатной рабсилы: с ребенком сидеть не стану, ходит в садик и пускай себе ходит. Для себя поживу, запишусь в группу «Здоровье», куплю абонемент в Дом офицеров на вечера романсов. А Ирка — пускай в садике. А то, говорит, не рожали, теперь спохватились, вот и трясутся, что поздний ребенок...»

Людка трещит, трещит без остановки, а Тамара уже отключилась, слово слышит, два — мимо.

...Потом внезапно сделалось легче, упала температура, появился аппетит, да не какой-нибудь, а прямо

как у волка. Тамара встанет, доплетется, держась за стенку, до кухни, пожарит себе картошки на постном масле — любимая еда, — поест и опять в постель. Спать могла хоть полдня подряд. А проснется, лежит, думает. И мирно так, медленно. Обо всем. О Людмиле — что-то скрывает, глаза каждый раз красные; о Юрике — надо бы проверить дневник, а то говорит, что все хорошо, вдруг врет? И про милицию вспоминает, где давала показания на того хулигана. Юрка вчера спросил:

— Мам, а зачем тебя тогда вызывали?

— К тебе отношения не имеет.

Теперь-то уж можно сказать правду, парень осознал, по всему видно — и как дома себя ведет, над уроками все вечера сидит, и вообще изменился, ни хамства, ничего. На улицу идет, спросит разрешения. И возвращается всегда до десяти: «Мам, чай поставить?» Сядет к Тамаре на постель, играют в «Эрудит».

С Шестопаловым, говорил, опять дружат. Но без Ухова. Ладно, Шестопал неплохой мальчишка, а дурь в голове в этом возрасте у них у всех... Ох, слава Богу, все обошлось, спасибо Борису Федосеевичу, до конца жизни Тамара его не забудет.

На больничном продержали ровно месяц. За это время на работе произошли изменения. Раису Федоровну разбил паралич. Оказывается, уже давно, вот сразу после того, как Людка тогда рассказывала, мол, Раиса решила — на пенсию. Теперь лежит. В больницу почему-то не взяли, а ведь половина тела отнялась. Людмила от Тамары нарочно все скрывала, не хотела больную расстраивать. А накануне того, как Тамаре на работу выйти, сказала.

— Кто же теперь будет ведущим?— спросила Тамара.

И опять подумала: вот дура, не получила высшего образования!.. Кого еще теперь поставят, может, такого, что придется увольняться или переходить в другую группу.

— Хоть бы мужичка взяли!— заявила Людка.— Все же будет стимул выглядеть! А, Том? Девчонки из кадров говорят — оформляют кого-то. Интересно, молодой?

— Молчала бы! Ты же своего Колюню обожаешь, как не знаю...

— То — свой...

Когда Тамара Ивановна впервые после болезни шла на работу, кончался октябрь. Шла рано утром знакомой дорогой от остановки через садик, по сторонам аллеи фонари горят, листья шуршат под ногами. Пахнет настоящей лесной осенью, сладко и как-то грустно. Но хорошо. Последние годы Тамара больше всех времен любила осень, потому что осень — это покой. Раньше, когда была помоложе, всегда радовалась весне — каждый раз ждешь чего-то, будто праздника, кажется, вот придет лето, отпуск, что-то случится, переменится. Что? Да неважно!.. Но это было давно, еще до Юрика, при нем больше потому радовалась весне, что тяжелое пальто можно снять, мальчишку на солнце выпустить, опять же съездить в дом отдыха. Уже без глупых надежд на какие-то перемены.

А теперь вот полюбила осень. Летом непрерывные заморочки, да еще на работе — сплошной совхоз, а в промежутках — подыхай от жары на рабочем месте, здание-то новое, сплошное стекло, и какой дурак выдумал? Люди мучаются, не знают, как спрятаться от солнца. Вот, слава Богу, догадался кто-то завешивать окна фольгой, хоть частично отражает лучи.

Зимой тоже мало радости, зиму Тамара с детства не могла терпеть, росла-то в деревне и на всю жизнь запомнила, что рукам всегда холодно, а валенки рвутся и туда залезает снег. И главное, попробуй-ка утром, вьюга — не вьюга, мороз — не мороз, беги за четыре километра в школу. А идти-то по полю, от ветра не спрячешься, так и сечет, с ног валит. Некоторых ребят родители, если уж очень холодно или метель, оставляли дома. У Тамары отец — фронтовик, себя никогда не жалеет, и дочке: «Ничего, Томка, добежишь! Вот мы, бывало...» Ну, ладно, это в детстве. А сейчас? По утрам темно, в транспорте давка, все толстые, как кули, пуговицы рвут. И сапог никогда не достать, а найдешь, так цена — будь здоров! А тут, глядишь, Юрик вырос из очередной куртки, тоже ведь что попало не станет носить, хуже, чем у ребят.

А теперь и вообще будет проблем — вагон с тележкой: зимой вечно грипп, а Тамаре врач сказал — легкие слабые, надо беречься.

Нет, осень лучше всего, тихо, мирно... Так бывает, когда вернешься домой из гостей, где весь вечер орал

магнитофон или, того хуже, пели за столом. И всё одновременно — ели в три горла, пели, курили — не продохнешь, а тут еще кушак, конечно, врезался, и новые туфли жмут... И вот, наконец, ты дома, в чистоте, в прохладе, надела шлёпки, халат, форточку — настежь, дыши, сколько влезет. А если еще завтра воскресенье и на работу не идти... Вот осень — вроде этого. Ничего не надо, никуда не надо. Живи, и все. А вокруг медленно-медленно падают листья...

Шла Тамара Ивановна к проходной после болезни, и на душе у нее было тихо и уютно. Шла и не подозревала, что это не обычное рядовое утро, каких были тысячи в ее жизни...

Миновав проходную, где знакомая вахтерша, тщательно проверив пропуск, спросила: «Что давно не видно, болела?» — Тамара привычно зашагала двором. Тут, на заводской территории, она сразу делалась другой, даже походка менялась, шаги — шире, и руками свободней размахивала, словом, производственник, свой здесь человек.

Мимо длинных, закопченных цехов, выстроенных, наверное, лет сто назад из красного кирпича, через площадку, где трибуна и Доска почета, вышла к своему КБ, новенькому, современному, будь он неладен, этот архитектор, враг народа! Еще внизу, в гардеробе, удивилась: вешалка-то почти пустая. А уж когда вошла в чертежный зал и двинулась по проходу между кульманами в дальний левый угол, где размещалась их группа механизации, задумалась: а где же весь народ? Времени-то восемь десять, пять минут до начала дня. Но тут же и вспомнила — Людка вчера два раза повторила: «Повезло тебе, Томка, на завтра всех забрили на овощебазу. Кроме, конечно, калек, вроде тебя. Придешь, покрутишься до обеда и мотай, а я с базы к Раисе, там помощь нужна... да и домой идти неохота». Вчера Тамара все эти слова пропустила мимо ушей, начиная с базы и кончая тем, что Людмиле не хочется домой. Сегодня подумала: что еще за новости? Всегда несется, как нахлестанная, — как же! — любимый муж придет, а ее вдруг нету...

Добравшись до своего места среди чертежных досок, на которых сиротливо белели листы с незаконченными чертежами, Тамара Ивановна решила для начала навести порядок в собственном хозяйстве. Кульман об-

терла тряпкой, разобралась в ящиках стола, проверила, на месте ли инструмент. А то ведь у нас как? Нет человека — и с общим приветом, собирай потом с бору по сосенке — у одного циркуль, у другого резинка, третий все кнопки растаскал. Разобравшись, стала готовиться к завтрашнему дню — на сегодня-то работы все равно нет. Очинила карандаши, наколола чистый лист на доску... Кто у них тут распределяет работу, раз нет непосредственного начальника?.. В общем, Людмила права, до обеда прокантуемся, а там... Устала с непривычки-то... да и дома еще полно дел.

И только Тамара так подумала, неторопливо расчесывая волосы перед зеркалом, висящим на стене как раз за ее доской, как услышала шаги. И сразу — незнакомый голос:

— Есть тут живая душа?

Голос низкий, красивый. Тамара обернулась и увидела громадину — рост, наверное, под два метра, сам широкоплечий, даже массивный. С рыжей бородой. Ну, бугай и бугай. И одет, будто в турпоход собрался, — в мятый джинсовый костюм, сейчас такие вообще не в моде. К тому же штаны сильно ношенные, да и обувь... «Скородох» — как Людка выражается. Юрик бы и то побрезговал надеть. А вот лицо как раз ничего. Веселое лицо, нос торчит, глаза с юмором... Только все же чересчур огромный! Такому бы Дедом Морозом быть на елке! По возрасту — не старый, лет сорок, от силы — сорок два.

Все эти наблюдения Тамара Ивановна сделала за долю секунды. И поняла: а это ведь новый начальник!

И спросила:

— Вы наш новый ведущий?

— Если не возражаете, — ответил он, тяжело опускаясь на Раисин стул. — А вы, судя по всему, одна из тех несчастных, кому придется терпеть мою диктатуру? Примите и прочее.

Почему-то Тамаре вдруг стало легко, ну просто слов нет! Незнакомый человек, начальник, а ведет себя безо всякой официальнойщины. Представился, сказал, что зовут Антоном Егоровичем. Фамилия Волков. Женат, имеет троих детей... Теперь-то ясно, откуда поношенные штаны и кошмарные туфли. На такую семью поди работай. Да еще если жена без рук. А тут, видать, именно так дела и обстоят — ворот у рубашки мятый.

Антон Егорович прижился в группе быстро. Людка и новая чертежница Катерина, конечно, окрестили его Волком: «Волк велел, Волк сказал, Волк Тамарку любит...» Дурь какая, не Тамару он любит, а хорошую работу. Делали бы дело, и их бы полюбил! А то Катька карандаша в руки взять не умеет, хоть и закончила ПТУ, а у Людмилы одно на уме: ее Наталья-то, оказывается, беременная. Вот уж в самом деле, гаси свет, сливай воду! Главное, от кого — не говорит и аборт делать отказывается. А девчонке пятнадцать! Жалко Людку, Наташку и того больше, а что тут посоветовать, непонятно. Еще и Колька Людмилин ото всей этой бабьей канители, как нарочно, запил. В общем, горе. И с Раисой тоже плохо, пластом лежит, — Людка рассказывала, — языком не ворочает, ходит под себя. А Татьяна, эта злодейка-то, на которую столько грязи было вылито, все безропотно убирает, стирает, и — хоть бы словечко. Пойми таких людей! Людмила прямо сказала: «Да я на ее месте и близко бы не подошла! А она: «Мама, попить хотите? Мама, судно подать?» Недоделанная какая-то». Тамара молчала, хотя в общем-то была согласна. Господи, сколько горя вокруг! Вот и надо радоваться, ценить, пока у самой все хорошо, и здоровье — тьфу-тьфу! — и с Юрой обошлось, спасибо добрым людям из милиции и... и начальник попался, кажется, хороший. Нет, в самом деле, хороший, а не потому что хвалит Тамарину работу! Мягкий, деликатный. По мнению Тамары, так даже чересчур, все же Катерине халтуру спускать не следовало бы, да и Людка каждый день отпрашивается... Раиса бы удавилась, хоть там дочь беременна, хоть что. Тамаре отпрашиваться, слава Богу, не требовалось, да она и не хотела, нравилось работать. И чем дальше, тем больше.

Волков был, абсолютно ясно, специалист высокого класса. В чертеже все видел с одного взгляда, и не ошибки выискивал, ерунду всякую, а мог подсказать принципиальное решение. Какое тебе самой даже в голову бы не пришло. А потом, в отличие от Раисы, не только проверял чужое, но и сам чертил, да побольше, чем Тамара с Людкой вместе взятые (Катерина не в счет). Чертил, сразу видно, с удовольствием, красиво. Тамаре очень нравились его руки, сильные, ловкие, такие, наверное, бывают у хирургов.

Однажды Тамара сказала об этом Антону Егоровичу. А он:

— Вы очень наблюдательны. У меня отец был хирургом, а я, говорят, похож.

Еще сказал как-то:

— Конструкция обязательно должна быть красивой, только тогда она правильная. Так везде. И в математике. Красивая формула почти всегда верная... А красивая женщина всегда права. Ведь вы всегда правы?— и засмеялся.

Если зайдет разговор о постороннем, Тамара просто поражалась, сколько он всего знает, читал, слышал! И как такой человек, такой специалист с большой буквы согласился на жалкую, в общем, должность в их КБ? Что-то тут не так, он достоин лучшего, много лучшего, и надо выяснить...

Тогда Тамара Ивановна и не подозревала, что влюблена в своего начальника. Потому что любовь — это совсем другое. Например, ты приходишь к выводу, что этот человек намного лучше всех остальных потому-то и потому-то. Как в молодости было с Мартьяновым. Или тянет, хочется, чтобы обнял, поцеловал, как бывало в домах отдыха... Впрочем, то — не любовь, так... А сейчас и вообще все было очень странно, ни на что не похоже. Просто с некоторых пор жизнь сделалась... ну, теплей, что ли? Будто держишь ладонями кружку с парным молоком, и несильное, но прочное это тепло медленно растекается от ладоней к пальцам, и дальше, дальше к плечам и по всему телу. И вот уже тело какое-то легкое, теплое. И до того внутри радостно, тихо! Ничего не надо, только бы оно никуда не девалось, это тепло. А оно постоянно тут, если поблизости Антон Егорович, можно сидеть, работать, а самой нет-нет да и взглянуть, как движутся над чертежом его руки. А посмотришь в лицо, в груди что-то ёкнет и оборвется. Как в лифте, когда нажмешь кнопку «вниз». Главное, удивительно: ничего же особенного нет в человеке, да и выискивать не хочется, а вот не оторвать глаз, да и все!

Этого тепла, что появлялось в присутствии Антона Егоровича, хватало Тамаре не только на то время, что он рядом. И вечером, придешь домой, с сыном чем-нибудь займешься, а оно тут, греет. А утром, только откроешь глаза, сразу: «Антон Егорович!»

Спать стала плохо — лежит и прокручивает в памяти весь день: как он поздоровался, улыбнулся, да что сказал про Тамирину работу, да как в обед все вместе пили чай.

Выяснилось, что с прежнего места, где Волков занимал должность заведующего большим отделом, его уволили со скандалом. «Чуть ли не по статье, представляешь? Месяц потом сидел без работы, а ведь трое детей как-никак. Потом устроился к нам на завод. С таким понижением! В чем было дело, точно неизвестно, вроде бы руководство на прежнем месте творило какие-то махинации, хапали, одним словом, а он — принципиальный, больше всех надо, ну и пошел в бой. Не один, их там целая группа собралась. Но мафия есть мафия, живо расправились, выкинули кого куда. А одного, говорили, самого горластого, чуть не в тюрьму, они, если надо, все могут». Это Людмила узнала, и что тут правда, а что преувеличено — сказать трудно. Но Тамаре было ясно одно: должность, которую сейчас занимает Волков, намного ниже его способностей и квалификации. То есть абсолютно. Правда, его самого это, похоже, вовсе не тяготило. И Тамара, после того, как узнала всю историю, стала еще больше уважать своего начальника и еще больше старалась, чтобы ему от руководства — одни похвалы. Ничего, оценят! Такой работник в КБ — клад!

...И вот лежит она ночью, вспоминает, как прошел день, слышит его голос, и засыпать неохота... а с другой стороны — скорей бы утро...

А утром собираться, причесываться, одеваться — все теперь интересно. Тамара все свои тряпки переберет, шарфики перемеряет, кофточки, пока решит, что сегодня надеть. Вязала последнее время не для продажи, себе самой. За три недели — два новых джемпера, голубой и малиновый... Оказывается, всего-то три недели и прошло с того дня, как она впервые увидела Антона Егоровича! Всего три...

По выходным хуже, на субботу еще как-то хватало настроения, а утром в воскресенье все уже не так, все раздражает, и время ташится как полумертвое. Будто стоишь в очереди, а продавщица каждые пять минут — то начнет принимать товар, то вообще уйдет на полчаса, а вернувшись, как положено: «Я — тоже человек!»

Смешно, дома столько работы, а Тамара слоняется, не знает, как убить время. Сядет перед телевизором, смотрит все подряд. Юрик спросит: «Мам, чего такая смурная?» Тамара только отмахнется. Ну и, конечно, результат: стал опять пропадать по вечерам во дворе. Вел себя, правда, нормально, если задерживался, предупреждал заранее, а опоздает — извинится. И все-таки Тамара понимала: не дело это, скучает парень дома. А с другой стороны, сколько же он может сидеть возле маминой юбки? Тут ведь тоже перегнуть недолго, вырастет, как Мартьянов, ни в чем своего мнения.

На работе Людка нет-нет да и ляпнет: «А наша Тамарочка Ивановна к Волку неровно дышит». Людка опять развеселилась, ходит спокойная — сделали Наталье аборт, обошлось.

А Тамара... Нет, Тамара вовсе не была еще уверена, как называется то, что она чувствует к Антону Егоровичу. Главное, Волков совсем не похож на идеального мужчину, каким она его себе представляла. Тот был вроде артиста Тихонова в роли Штирлица — твердое лицо, умные грустные глаза, грустные, даже если улыбается... Штирлиц — всегда подтянутый, худощавый, если не в форме, одет со вкусом. А Волкову, громадине, на то, как он одет, похоже, наплевать, вечно в своих джинсах, в свитере. Но с некоторых пор его небрежность Тамаре стала... ну, не то чтобы нравиться, а как бы сказать? — человек выше этого, другие интересы.

Или еще — раньше непременно бы возмутилась: что за мужик? Никогда с собой десятки лишней нет, да еще после работы — с сумкой по магазинам, все-таки не мальчик, ведущий конструктор. Теперь — наоборот, умиляется. Все так, но при чем же здесь любовь? Просто хорошее человеческое отношение, и на душе оттого тепло, что отношение это бескорыстное, чистое, ничего Тамаре от Волкова не нужно.

Но однажды ей приснился сон. Будто они с Антоном Егоровичем одни в какой-то незнакомой тесной комнате, и вдруг он подходит к ней близко-близко... И так у нее заколотилось сердце, что весь сон моментально слетел, а она нарочно лежала, не открывала глаз, хотела увидеть, что будет дальше. И увидела...

На следующий день, во вторник, Антон Егорович объявил, что со среды и до конца недели его не будет.

— Так что, если есть у кого-нибудь вопросы, давайте сейчас.

А Тамара и так после давешнего сна сама не своя, а тут и вообще все внутри застыло; это же получается, что с субботой и воскресеньем пять дней! Надо думать про выталкиватель к прессу, чертеж которого обещала завтра кончить, а в голове звон, да еще руки обмякли, карандаша не заточить, грифель ломается.

— Кто же мне выталкиватель подпишет?— хмуро спросила Тамара, не поднимая головы от листа.

— Сама и подпишешь. Первый раз, что ли?— всунулась Людка.

— Не собираюсь,— отрезала Тамара.— У нас ведущий есть, права не имею.

— Сегодня к концу дня никак?— Антон Егорович встал и подошел к Тамариной доске.— Да-а... Тут работенки еще...

— Я... доделаю сегодня. Без обеда. В крайнем случае, задержусь,— хрипло сказала Тамара, чувствуя, что вот он, совсем рядом.

— А я вас подожду и подпишу лист,— сразу откликнулся он.— Хорошо?

В пять пятнадцать зал мгновенно опустел. Раньше Тамара Ивановна, и сама обычно торопясь, не замечала, как быстро это происходит. А сейчас подумала: будто на пляже, когда вдруг хлынет дождь — вмиг похватали вещи — и никого. Только ветер пронесся. Тихо.

Сидя спиной к пустому залу, она всем телом ощущала густую горячую тишину, в которой они были одни с Антоном Егоровичем. Вдруг захотелось пить, но она не двинулась, чертила, то и дело облизывая сохнувшие губы и стараясь не смотреть в ту сторону, где он.

Неожиданно Тамара заметила, что неверно выбрала посадку. Само по себе ничего страшного, исправить — одна секунда, но ведь таких ошибок она не делала лет уже, наверное, пятнадцать. Тамара взгляделась в чертеж и нашла еще ошибку. А багровая тишина давила на барабанные перепонки, жгла затылок и шею, что-то делала с сердцем. Линии на чертеже бессмысленно тянулись, пересекались, образуя непонятные фигу-

ры. Тамара Ивановна покосилась на Волкова. Сидит неподвижно над пустым столом, смотрит в окно.

Она встала, громко отодвинула стул. Антон Егорович тотчас повернулся, в спокойных глазах его был вопрос.

— Пойду... домой,— сказала Тамара, откашлявшись,— что-то неважно... неважно чувствую. Извините.

— Ну вот! Вы больны, а я вас тут эксплуатирую, как последний...— Волков поднялся тоже.— Конечно, идите. Мир не рухнет, даже если мы сдадим этот выталкиватель через неделю.

— Нет, зачем?— испуганно возразила Тамара.— Я завтра же...

— Ну, смотрите. А я попытаюсь забежать. Часам к пяти, годится? И подпишу.

Он протянул ей руку. Впервые за все время. Ладонь была твердой и теплой.

По лестнице Тамара бежала через ступеньку, будто сзади огонь. Только на улице пришла в себя.

Тонкие прозрачные снежинки неподвижно стояли в морозном воздухе, газон побелел, и от этого вечер казался светлым... Что он сказал? Завтра к пяти? Работы еще много, но и времени полно, можно не спешить, сделать все, как следует.

Юрика дома не оказалось, но поел, молодец. На плите горячая кастрюля с супом. Разогреть еду для себя Тамара не стала, съела несколько ложек прямо из кастрюли, видел бы Юрка,— воспитательница!

В комнате порядочный хлев. Пыль не вытерта, а на серванте горой нечитанные газеты. А ведь раньше каждый день просматривала и «Ленинградскую правду», и «Комсомолку»— выписала специально для Юры, некоторые заметки вместе читали, вслух. Теперь, видите ли, некогда, не до того — копят, пока Юрик не сдаст в макулатуру. Надо хотя бы сложить аккуратно, вынести в переднюю.

Тамара вдруг почувствовала в себе такую энергию, что могла бы, не присев, вымыть полы во всей квартире, перестирать белье, по-новому расставить мебель. Двигаясь по комнате, кинула взгляд в зеркало — все

в ажуре, смотрите, завидуйте!.. А неплохо бы сейчас пойти куда-нибудь в гости. Только куда? По делу, так надо бы к Раисе, не красоваться, а навестить человека. Людка и та целых три раза была. Вчера в КБ заходила Раисина невестка, принесла больничный лист. Положение, говорит, критическое. Речь не восстанавливается, остальное тоже. И врачи дают понять: может так и остаться.

— Ну... и как же?— спросила Тамара.

Татьяна всхлипнула:

— Вадик сказал, если так будет, сдадим в дом хроников. А я считаю — это зверство. Родную мать... Пусть бы хоть кто-нибудь от коллектива зашел, пристыдили его. Главное, она же такой человек...

— Какой?— не выдержала Людка.

— Крупный работник,— гордо заявила Татьяна.— И в личном плане. Для меня — так ближе мамы. Что вы! Я же была — кто? Чурка неотесанная! А Раиса Федоровна всему научила, человеком сделала.

Людмила потом десять раз повторила: она всегда была уверена, что Танька ненормальная. Да и Раиса так считала. Все точно.

Разбирая старые газеты, Тамара решила: сегодня поздно, а в ближайший выходной надо обязательно сходить к Раисе Федоровне. Свинство все же, столько лет вместе проработали.

В этот момент из вороха газет выскользнул и упал на пол какой-то конверт с адресом, напечатанным на машинке. Подняла — заклеен, адресовано Мартьяновой Т. И. Внизу вместо обратного адреса прямоугольная фиолетовая печать, буквы оттиснуты слабо, еле разобрала: «Нарсуд... района...» Господи! Да неужели же опять что-то с Юркой?

Она так рванула конверт, что вместе с ним почти пополам разорвала вложенный туда листок. Повестка. Вызывают на завтра к одиннадцати часам... «Явиться в качестве свидетеля...» И сразу отпустило, потому что какой же она свидетель, если речь о ее сыне? Теперь можно было вздохнуть, сесть на стул и еще раз внимательно прочитать повестку. Та история с хулиганом?.. Дмитриев, что ли? Ладно, тут — не смертельно, следовательно твердо сказал: чистая формальность, пять минут. Придете, подтвердите показания... Только она ведь уже позабыла... Кого-то он там избил, старика вро-

де... Ничего, на месте разберемся. Не задержали бы надолго! А все-таки безобразие посылать человеку повестку накануне суда! Другая взяла бы да и не явилась, чтобы проучить. Да... А как же Борис Федосеевич? Никуда тут не денешься, они спасли сына от колонии... где ж его носит, паршивца? Одиннадцатый час!

Юрик пришел в начале двенадцатого, и Тамара на него так накинулась, что парень даже оторопел: «Хамство! Эгоизм! Тебе известно, который час? Говори, известно или нет?» Сказал, что был в кино с Шестопалом. Думали, одна серия, а оказалось — две. И еще упрекнул — мол, тебя же не было, я ждал, беспокоился даже, а потом поел и пошел. Все верно. И, между прочим, задержалась, его не предупредила. Так-то вот... А Юрик заметил в руках матери повестку и конверт на полу, покраснел.

— Ой, мам, извини! Я ведь позабыл, это еще позавчера принесли, велели передать тебе лично, в руки. Я расписывался. Извини!

...Как вам нравится? «Извини». Вот легкомыслие! Нет бы испугаться, из суда ведь повестка, вдруг да к нему имеет отношение, к той кошке украденной?! Все уже забыто, сошло с рук, можно больше не волноваться. «Извини...»

— Кто принес?

— Парень какой-то. С усиками.

И все. Побежал умыться. А Тамара, поставив чайник, накинула пальто — и на улицу, в автомат. Объяснять Людке ничего не стала, попросила оформить полдня за свой счет. Сама подумала: на работу наверняка можно успеть к часу. Антон Егорович обещал зайти в конце дня. Значит, если чертить, ни на что не отвлекаясь, не слушать Людкину болтовню и стоны Катерины, что — ужас! — скоро двадцать лет, а до сих пор замуж не взяли, — словом, если сидеть не поднимая головы, к четырем будет готово.

Людмила обещала все оформить, но, конечно, не утерпела:

— Волка не будет, так и ты сразу отпрашиваешься? Свидание назначили?

Тамара вдруг вспомнила, увидела, как они сидели вдвоем в пустом чертежном зале... Вообще-то она не вспомнила, потому что и не забывала, все время это

было с ней. Даже когда испугалась в первую минуту, обнаружив письмо из суда.

— Точно, свидание. В баре!— сказала и повесила трубку.

Вчера зима еще только намечалась, а за ночь город засыпало тяжелым чистым снегом. Утром снег все падал и падал, воздух казался голубым, улица — новогодней. Может быть, потому, что шла Тамара Ивановна по улице в неурочное время, когда все давно на работе, сидят там, как мыши, и не видят эту красоту.

В некоторых домах зачем-то еще горят окна, а для чего в такое утро искусственный свет, если на небе среди розоватых снеговых туч нет-нет да и прорвется оранжевым краем солнце?

В честь начала зимы Тамара Ивановна надела зимнее пальто с голубым песком, белую вязаную шапочку, пушистый шарф. Ступала по тротуару как снежная королева, жаль, поглядеть некому, чувствовала — есть на что. Щеки горят, глаза, наверняка, блестят... Но пусто в этот час на улице, одни старухи с кошелками... Нет, вон, пожалуйста, все в порядке — водитель снегоуборочной машины высунулся в окошко своего красного чудища чуть не по пояс. Не любила вообще-то Тамара Ивановна этих машин, некрасивые. Раз некрасивые, значит, что-то не так в конструкции, верно? Но сегодня даже снегоуборочные машины делали улицу новой и праздничной, потому что означали приход зимы.

Тамара удивилась: что это она радуется? Никогда не любила зиму, это первое, а второе: идет, между прочим, не на свидание, а в народный суд. Ничего! Через час все будет кончено, и забудет она про этот суд, вернется на завод, а в конце рабочего дня... Вот оно откуда — чувство, будто сегодня праздник!.. А все же интересно, почему именно — он? Тамара Ивановна стала перебирать все положительные качества, которые делали ее начальника Антона Егоровича Волкова достойным любви. Ум, внешность, культура, талант инженера. А еще принципиальность и мужество, из-за которых ему пришлось уйти с прежней работы. И справедливость. И одновременно мягкость.

Шла Тамара Ивановна по зимней улице, с удовольствием наступала на сверкающий свежий снег и вспоминала все новые и новые достоинства Волкова. Между тем она уже давно миновала здание суда, благо улица однообразно тянулась, уставленная одинаковыми домами. И вдруг Тамара спохватилась, взглянула на часы: батюшки! Ровно одиннадцать.

В результате в суд она вошла на десять минут позже срока, указанного в повестке. Пока раздевалась, причесывалась да искала зал заседаний, еще набежало время. Обнаружила наконец нужную дверь, заглянула внутрь — началось уже, и народу полно. Что делать? Тут откуда-то сбоку появилась молоденькая девчонка с кожаной папкой, каблуки длиннее ног, сама тощая и очень важная.

— Вы,— спрашивает,— свидетель Мартьянова?

Тамара кивнула. Бог знает, почему вдруг оробела перед этой пигалицей.

Та забрала Тамарину повестку, открыла свою папку, что-то там отметила, «ждите!»— и пошла.

Тамара Ивановна окликнула:

— Девушка!

Повернулась, смотрит. Вид такой: ну, что еще?

— Девушка,— сказала Тамара Ивановна.— А сколько ждать-то? Я, между прочим, опаздываю на работу.

А она:

— Ждите, вызовут. А для работы выдадим оправдательный документ,— и зацокала дальше... А ноги-то для таких каблучищ кривоваты, могла бы и сообразить, матушка, да и юбочку бы не мешало подлинней.

Но ждать Тамаре почти не пришлось. Из зала вышел мужчина и вполне любезно пригласил:

— Свидетель Мартьянова? Тамара Ивановна? Пройдите.

Вообще-то робкой Тамара Ивановна себя никогда не считала, а тут вдруг растерялась, все так официально, даже торжественно. Главное, полно людей, и не поймешь, кто здесь судья, кто прокурор, где подсудимый, и куда от двери идти самой. Но путаться ей не дали, процедура, сразу видно, налаженная. Показали, где встать, подали листок — расписаться, что предупреждена об ответственности за дачу ложных показаний. Тамара Ивановна аккуратно расписалась, все время за

спиной чувствуя зал. Но вот женщина, сидящая за столом на стуле с высокой спинкой, велела соблюдать тишину. И замолчали.

А Тамара уже пришла в себя, стала осматриваться. И поняла: та, что призвала всех к порядку, конечно, судья. Молодая, лет тридцать шесть, тридцать восемь от силы. В строгом костюме, за собой следит: губы накрашены сердечком, брови подведены, глаза тоже. Прическа. А вот голос неприятный, жестяной. И вообще лицо нервное. Справа и слева от нее — заседатели. Две женщины, одна пожилая, интеллигентная, чем-то похожа на мартьяновскую мамулю, тоже небось училка; вторая помоложе — и сразу видать — дура дурой. Толстощекая, вроде Людки, глазки пустенькие, любопытные, туда-сюда.

За отдельным столом двое мужчин. Это значит, прокурор с адвокатом. Прокурор, скорей всего, тот, что слева, — чернявый, маленький, очень энергичный. А тот, который адвокат, вообще старик — зачем только в защитники наняли? Сидит колодой, сопит, глаза прикрыты. А еще левей... Вот налево Тамаре Ивановне смотреть не хотелось. Но все же она посмотрела, ей, между прочим, бояться тут нечего! И увидела за деревянной загородкой парня, сидит на скамейке, по обе стороны милиционеры. А он поднял голову, глядит на Тамару. Надо же! Совсем ведь мальчишка! Шея тощая... а вроде тогда, на этом... на опознании, был бандит бандитом. Ватник, кепка... А тут в коричневом костюмчике, белая рубашка, воротник выпущен. Как у Юрика.

Тамара Ивановна отвела глаза, нечего тут расслабляться. Пришла выполнить долг, выполняй! Это легче всего быть добренькой за счет того старика, которого бандит покалечил. Надо быть честной, вот главное! И по отношению к людям, которые спасли сына, и к тем, кого еще изуродует этот... Изуродует, а то и вообще лишит жизни, если суд сейчас примет неправильное решение!

Долго раздумывать Тамаре не пришлось. Судья своим неприятным голосом велела рассказать все, что ей известно по данному делу. А у Тамары Ивановны вдруг точно мозги отшибло. Не знает, с чего начать, и вместо того чтобы сосредоточиться, вспомнить, чему учил тогда следователь, думает, что зря судья так намазала губы — сердечком, надо было по контуру.

Она молчит. И зал за спиной молчит. Тихо.

Поднялся этот чернявенький, что все вертелся в разные стороны (точно, прокурор!), и так медленно, вдумчиво, будто слабоумной:

— Помните, товарищ Мартьянова: десятого сентября в двадцать два часа тридцать минут вы возвращались домой...

Тут адвокат сказал, не открывая глаз, что он заявляет протест — прокурор дает показания за свидетеля.

Судья:

— Протест принят.

А сама вроде недовольна — посмотрела на часы (тоже торопится куда-то, а защитник-надоеда задерживает).

Судья опять:

— Свидетель, рассказывайте, что видели.

Тамара Ивановна не успела собраться с духом, как вылезла заседательница, что похожа на училку:

— Как же это вы, свидетель, безответственно себя ведете? Отмалчиваетесь. Ведь от ваших показаний зависит судьба человека! Вот он,— и показывает на парнишку, что сидит на скамье подсудимых,— избил старого человека, проливавшего кровь за всех нас...

А адвокат совсем проснулся, повертел головой, будто шея чешется, и опять:

— Протест! Вина Дмитриева еще не доказана!

Судья ему, как настойчивой мухе:

— Протест принят.— И снова смотрит на часы, а сама — Тамаре Ивановне ласковым таким голоском:

— Свидетельница, вы ведь расписывались во время предварительного следствия, что несете ответственность за дачу ложных показаний?

Больно Тамара помнит, за что она там расписывалась сто лет назад! К тому же, была с температурой. Но с ними спорить себе дороже.

Она кивнула.

— А тогда,— судья говорит,— подойдите, пожалуйста, сюда, к столу. И прочтите вслух, что показали на предварительном следствии.

...Парнишка все смотрит, смотрит на Тамару, вытянул шею... Ведь и Юрик мог бы так же... если бы тогда... Сидел бы на этой же скамейке под охраной, а после суда — в тюрьму...

Тамара решительно приблизилась к столу, и судья пододвинула к ней какую-то толстую книгу.

— Вот отсюда читайте.

И Тамара внятно прочла, как десятого сентября в двадцать два часа тридцать минут вечера, она, возвращаясь домой, услышала крик. Он доносился от подъезда дома восемь. Она побежала на крик и увидела... — тут Тамара запнулась, но судья нервно потропила:

— Дальше, дальше!

А у Тамары зажало горло, слова не сказать.

Прокурор задергался, смотрит быстрыми глазами, а голос тихий. Тихий-тихий, но угроза есть:

— Вы понимаете, свидетель, что если на следствии дали заведомо ложные показания, это приведет к весьма серьезным последствиям?..

И замолчал. А Тамара слышит: «...для вашего сына»... которого последнее время совсем забросила, все «Антон Егорович, Антон Егорович», а Юрик вечерами дома сидит, голодный, вот хотя бы вчера — ушел, ее не дождавшись, и мог опять влипнуть в какую-нибудь историю... А она тут — ради кого? Ради уголовного! Пускай его мать беспокоится, что сын попал за решетку!

А пожилая заседательница будто угадала Тамарины мысли:

— Товарищ Мартьянова, не надо так переживать, жалости тут не место, добро должно быть с кулаками, вы выполните свой гражданский долг. Ведь из-за таких, как Дмитриев...

Адвокат тут как тут:

— Протест. Давление на свидетеля.

Тамара глядит на судью — та просто извелась, что заседание затягивается: кусает губы и все смотрит на часы. И ведь самой Тамаре тоже нельзя рассусоливать! В пять часов он придет, а чертеж... И основное-то, что жалко или там не жалко, а этот парень преступник! Мало ли что: другие-то видели, инспектор Дерюнин Борис Федосеевич врать не будет! Кому, в конце концов, она должна больше верить — человеку, который ей сына сохранил, или... какому-то подонку? Притворяться бедными они все умеют...

— Я увидела, что Дмитриев зверски избивает старого человека, — сказала Тамара Ивановна судье, и та

сразу одобряюще закивала, а за спиной, в зале поднялся сдержанный шум.

— А тут,— продолжала Тамара, поглядывая в книгу, где были записаны ее показания,— тут появился работник милиции, он пытался задержать преступника...

— Подсудимого,— поправил адвокат, сокрушенно покачав головой.

— ...подсудимого. И он...— Тамара теперь читала все подряд, быстрее и быстрее, не поднимая головы от листа. Хоть бы скорее все кончилось! Уйти и никогда никого из них не видеть — ни нетерпеливого лица судьи, ни... глаз адвоката, смотрит, как старая собака, аж белки желтые! — ...Он, то есть подсудимый, оказал сопротивление работнику милиции, бросился на него, завязалась борьба. Но потом работник милиции его задержал.

Все. Тамара Ивановна перевела дух. В зале опять было тихо.

— У вас есть вопросы к свидетелю?— судья обратилась к прокурору.

— Нет,— быстро ответил тот.

— А у защиты?— спросила она адвоката.

Адвокат медленно покачал головой.

...Ну, слава Богу! Похоже, дело к концу. Тамара перевела дух.

— У подсудимого?— спросила судья.

— Есть,— негромко ответили слева.

От неожиданности Тамара повернулась всем корпусом и встретила взгляд парня, встававшего со скамьи за барьером. Уж очень худой, в чем душа держится! Но смотрел спокойно и внимательно, будто даже с жалостью. Тамара отвела глаза.

— Спрашивайте,— разрешила судья, и по голосу Тамара поняла, что та опять нервничает.

— Скажите, пожалуйста... свидетель! Вот когда я бросился на милиционера, где в это время был пострадавший?

— Кто?

— Ветеран. Которого я зверски искалечил.

В зале снова поднялся гул, и судья пригрозила: не прекратится, все будут удалены.

— Ветеран?..— переспросила Тамара Ивановна, беспомощно глядя на прокурора.— Он... я не... не помню... кажется... он ушел...

— Искалеченный,— негромко произнес адвокат.

В зале кто-то засмеялся, судья постучала шариковой ручкой о графин, и адвокат заявил, что он тоже не может понять, что делал полумертвый от побоев старик-инвалид, пока подсудимый дрался с милиционером, сильным, заметьте, и тренированным человеком. Неужели пострадавший действительно убежал?

Тамара Ивановна подавленно молчала. Они совсем сбили ее с толку. Формальность, называется! Знала бы — ни за что бы не согласилась! Она взглянула на судью и увидела, что та все понимает и сочувствует.

— Мартьянова, вы подтверждаете показания, данные вами на предварительном следствии?— мягко спросила судья.

— Подтверждаю.

— Больше к свидетелю нет вопросов?

— Есть.

Господи, опять он, мальчишка этот! А Тамара его еще жалела! Правильно Дерюнин говорил: хитрый и изворотливый. Как гадюка. Тянет время, теперь к обеду уже не успеть...

— Скажите, пожалуйста,— начал он,— скажите, а почему вы во время опознания сразу назвали меня по фамилии?

Зал опять заворошился. Адвокат открыл глаза и, не мигая, уставился на Тамару Ивановну.

— Вот вы вошли и сказали,— продолжал парень:— «В середине — Дмитриев». Верно?

— Верно,— недоуменно подтвердила Тамара и по недовольной гримасе прокурора поняла: что-то не так.

— Откуда же вы могли тогда знать мою фамилию?— тихо, с непонятым торжеством спросил Дмитриев.

— Что значит «откуда»?— разозлилась Тамара. Он ей тут будет еще ловушки подстраивать. Сопляк!— Знала и всё. Следователь сказал: в центре Дмитриев.

Зал гудел. Прокурор качал головой, а подсудимый молча сел на место.

Тамара чувствовала: еще минута, и она не выдержит, пошлет их всех подальше с ихними хитростями и уловками. Выставили на посмешище, дурочку нашли! Не могли как следует проинструктировать!

— Ни стыда ни совести,— вдруг, со злобой взгля-

нув на Дмитриева, сказала вторая заседательница, щекастая.— Сам отказывался отвечать на вопросы суда, а к человеку... к свидетелю пристал.

Тамара взглянула на нее с благодарностью. Потом перевела глаза на судью, а у той на щеках пятна, губа закушена, сама ломает пальцы и все — на часы, на часы... А ему, бандиту этому, наплевать, что из-за него тут люди мучаются! Встал, повернулся к залу и, как докладчик на трибуне, громким голосом:

— На вопросы не отвечал и отвечать не буду. Преступления я не совершал. Это не суд, а балаган с целью сведения счетов. Расправа за то...

— Дмитриев!— одернула его судья.— Сядьте. Вам будет предоставлено последнее слово, тогда и выскажетесь. Свидетель,— она повернулась к Тамаре Ивановне.— Суд благодарит вас. Вы свободны.

Все. Больше Тамара никому ничего не должна, рассчиталась. Можно наконец повернуться спиной к судье, к прокурору и... ко всем остальным. Кончено.

Но она не двигалась, и судья уже с напором повторила:

— Вы свободны, свидетель.

Слышала, не глухая. Не глядя в зал, Тамара бочком-бочком добралась до пустого первого ряда и тяжело опустилась на стул. Ноги гудели, будто восемь часов за кульманом... Свободна... Надо идти. Или придется ждать, пока они объявят перерыв?.. Повестка у них... да гори она синим огнем! Убраться отсюда и все забыть...

А судья между тем вызвала нового свидетеля, опять начнется говорильня, выйти, что ли, потихоньку? Тамара привстала, повернулась к двери, да тут же и села опять.

В дверь входил человек. И в первое мгновение Тамара узнала только свитер, успела еще подумать, что — вот, сколько их в городе, таких свитеров, и чтобы из-за каждого обмирать, как девчонка... Но вдруг дошло: это же ОН! Сам на себя не похож, лицо темное, замученное. И плечи опущены. Вытащили человека из дому, может больного, ни с чем не считаются! И... зачем?!

Пока Волков расписывался за дачу ложных показаний, Тамара медленно приходила в себя. А судья, по-

шептавшись зачем-то с прокурором, уже начала свои подходы:

— Свидетель! Вы работали в конструкторском бюро «Гриф», были начальником отдела, так?

— Так,— сразу ответил Антон Егорович.

Господи! И голос хриплый. Простуда? Ведь и вчера был какой-то... Наверняка плохо себя чувствовал. В этом все и дело... А может, знал уже, что сюда идти? Мотают людям нервы, а для чего? Для видимости. Ведь самим лучше всех известно, что как было, на то следствие. Ну какое он-то имеет отношение к этой драке? Даже смешно!

Судья спрашивает:

— Охарактеризуйте Дмитриева как работника и как человека.

— По работе?.. Да, в общем, по работе я с ним мало сталкивался, я ведь был заведующим отделом, а Дмитриев инженер, молодой специалист. Отдел большой, под сто человек...

...Вот так. А теперь назначили тремя бабами командовать! Называется: расстановка кадров...

— И вы, значит, ничего не знали о своих подчиненных, не интересовались?— вдруг влез прокурор. Голос как у змеи-гюрзы. Хоть бы разрешения спросил задать вопрос! Ведет себя, точно он тут хозяин...

— С работой Дмитриев справлялся, претензий у меня к нему не было,— сказал Антон Егорович.

Тамара обрадовалась: молодец, не боится, не виляет. А им бы, ясное дело, лучше, чтобы парень заодно и лодырем был.

— ...А как человек?.. Могу только сказать, что человек он, в общем, твердый, принципиальный...

...Ага! Съели? Вы что думали — если один раз подрался, так уж и вообще подонок общества? Конечно, если каждый станет стариков бить... только эти пенсионеры и сами хороши, другой так доведет... А парнишка-то как смотрит на Антона Егоровича! Шею вытянул, гусенок гусенком... Вот так же и Юрка смотрит на Тамару, если что: «Мама, выручи!»

— Волков!— судья наморщила свои выщипанные бровки.— Вы же прекрасно осведомлены: Дмитриев уволен из КБ за систематическое нарушение трудовой дисциплины, а сами разводите демагогию. «Принципиальный»! Вы сознаете, что дача ложных показаний на

суде приведет к весьма печальным последствиям? Лично для вас?

...Вот они как. «Систематическое нарушение». Знаем, как у нас, — не угодил, и за ворота. Начнут следить: опоздал на десять минут с обеда — выговор, вышел по телефону позвонить — второй... Не дождетесь, не такой это человек, чтобы вам по заказу товарища гробить, тут ведь не про пятнадцать суток речь, тут, может, про все десять лет... Людку бы, не дай Бог, стали судить, неужто Тамара или даже Раиса — хоть одно плохое слово?..

Волков стоит, молчит. А судья — зырк на часики и скривилась. Некогда ей, в парикмахерскую небось записана, очередь проходит... Ну, бесстыдство, зла не хватает! Вот опять:

— Свидетель, отвечайте на вопрос без демагогии. У нас есть сведения, что ваши контакты с подсудимым выходили далеко за рамки служебных отношений. Особенно когда возник конфликт с администрацией...

...Ясно. Теперь все ясно — история, из-за которой Антон Егорович вылетел с работы!.. При чем это здесь? Давят на человека, а защитник — хоть бы слово, сидит, как куча... Деньги-то, поди, содрал...

— Во время того... конфликта... мы... ну, в общем, мы все были... не на высоте, — хмуро сказал Волков. — Что касается Дмитриева... ну конечно... он тоже проявлял некоторую... излишнюю агрессивность, резкость...

За Тамариной спиной кто-то охнул, судья тут же застучала по графину. Да что же он? А может, специально? Чтобы уж слишком не озлоблять их против парня? Мол — сговор... Или просто не умеет врать?

— У него вообще... довольно тяжелый характер, — вдруг сказал Волков.

...Да замолчи ты! Ответил и молчи, за язык не дергают! Ведь им же только того и надо!

Тамара почувствовала, что по спине липко ползет пот. А руки окоченели. Волков что-то там еще говорил — прорвало его! Парень, мол, неуступчивый, упрямый. Господи! Как же это? Вот тебе: «Сам погибай — товарища выручай!» Парнишка вон побледнел весь. Побледнеешь. Верил человеку, уважал, а тот... А вчерато? Сидела с ним, дура, раскиселилась, ждала невесть чего. Дождалась. Да ему до тебя — как до лампочки! Если уж своего, товарища... Выдумала себе героя, дура, тряпка! Сомлела, как кошка... Не вернешь. Ничего теперь не вернешь, не изменишь! И не забудешь.

— ...проявлял нетерпимость... склонен к конфликтам...

Тьфу! А судьяха, ясное дело, кивает, довольна. Добились своего. Упрячут теперь мальчишку, посадят к бандюгам.

Тамара рванулась к двери, наступила на чьи-то ноги, оттолкнула мужика, что прилип к косяку,— и вон.

На улице с ледяного неба пристально и зло светило маленькое солнце. Стены домов заиндевели. На земле, на газонах, снег не таял, даже на проезжей части, где асфальт. Машины оставляли жирные черные полосы, прохожие — черные отпечатки подошв. Все вокруг было белым и черным.

1988

**ЖАРА
НА СЕБЕРЕ**



Уже минут пятнадцать Александр Николаевич Губин смотрел на старуху, удившую рыбу в канале рядом со шлюзом. В чугунного вида плащ-палатке и громоздких резиновых сапогах старуха напоминала жука. Поправив очки на толстом носу, она прицельно насаживала червя, с чувством плевала на него и закидывала удочку. Шевелились при этом только руки, тело оставалось хитиново неподвижным. Течение, схватив поплавок, тотчас сносило его вправо, он застревал в осоке и начинал мелко подрагивать — червяка обгрызала густера. В такую жару уважающая себя рыба, само собой, и думать не могла о жратве, валялась, поди, высуня язык, на глубине... да и старухе устроиться бы где-нибудь в холодке — подремать — нет же! Торчит на солнцепеке, упакованная в душную броню. Страшно смотреть. Рядом застыл, как положено — с пальцем во рту, угрюмый черноволосый мальчик лет шести-семи. Уж это-му-то самое место в воде, и чтоб до посинения.

Александр Николаевич вынул платок, промокнул лоб и шею.

...Лиза осталась в каюте. Еще утром сказала: на этой стоянке на берег не пойдет, устала вчера, все ноги сбила, а Ветров — город самый обыкновенный, знает, была здесь на практике. Что смотреть? Разве краеведческий музей, так музеев она и так нагляделась: сплошные доисторические человеки и лося волк грызет. К тому же погода — одно пекло.

— А вы... ты... непременно надень фуражку, да? — запнувшись, как всегда, на обращении, попросила она Александра Николаевича. — И лекарство, хорошо?

«Забота о старшем поколении», — усмехнулся он про себя, но белую шапку с козырьком надел, а валидол положил в задний карман...

Дождаться, пока клюнет по-настоящему, старому жуку было невтерпеж. Стоило поплавку дрогнуть, старуха суетливо дергала удилище. При виде пустого крючка мальчишка заливался смехом, широко разевая рот, что не делало его физиономию менее угрюмой.

Выпостав из-под панциря заскорузлые, плохо гнущиеся руки, старуха поправляла обглоданного червяка,

а если он был съеден начисто, насаживала нового. И опять плевала, поднося крючок к самому рту, и опять размахивалась, и опять все обреченно повторялось сначала.

Горячий воздух бесчеловечно слоился над берегом, пахло водой и полынью. Низкое, добела прокаленное небо расплющивало все живое. Александр Николаевич взглянул на часы — до отплытия целых сорок пять минут, чистое наказание! Надо бы пойти на теплоход, постоять под холодным душем, потом прилечь. В каюте свежо — кондиционер. В каюте ждет Лиза...

...А ведь никто не заставлял столько времени болтаться по улицам этого унылого, оставленного Богом северного городишки! Непонятно, из каких стратегических соображений экскурсионное бюро запланировало стоянку здесь, а не устроило ее, скажем, в Елабуге или хоть в Чистополе. Ни природы, ни архитектурных памятников, ни какой-то там особой истории! Дома, похожие на бараки, деревянные мостки вместо тротуаров (и грязища же тут, надо думать, весной да осенью!), вдоль мостков — пересохшие канавы с растрескавшимся глинистым дном. В городском парке, где Губин кое-как убил полчаса, сидя в тени на скамейке, только и красоты, что затянутый ряской пруд. На берегу пасется коза, рядом под музыку натужно вращается пустое и пыльное «колесо обозрения», с дощатых мостков разбежавшись сигают в воду дочерна загоревшие мальчишки. Тут же толстая баба, подоткнув юбку, полощет белье. Неподдалеку от этого парка — рыночная площадь. Совершенно безлюдная, если не считать двух одинаковых старух в низко, до бровей, повязанных платках. Старухи продают семечки. В полусотне шагов от рынка — почта, откуда Губин совсем уже было собрался позвонить жене, да передумал: через три дня Ленинград. Всего через три дня... Нет, не «всего», а целых три, и они будут тянуться бесконечно долго, поскольку туристские радости успели надоесть до оскомины и хочется только одного — домой. Очень похоже на ожидание выписки из больницы. Прошлой зимой Губин лежал две недели на обследовании и весь извелся, но, когда врач наконец сказал: через три дня отпустим, Маша обрадовалась, а он скис. Три дня, шутка ли! Сегодня весь нудный день, за ним пустой вечер, длиннющая, наверняка бессонная ночь, завтра —

опять... И послезавтра! Только в четверг... Да наступит ли он вообще, этот четверг?

Больница была совсем не плохая, ведомственная, палата на двоих, симпатичный сосед. Даже собственный телевизор, Маша специально купила для такого случая маленький и привезла. Нет!— считал часы до выписки, метался, если какое-нибудь исследование вдруг откладывалось. Еще и кормили там отвратительно, бедной Маше приходилось возить обеды из дому, но разве дело в этом!

А теперь, пожалуй, оставшиеся три дня Александр Николаевич предпочел бы провести в больнице... В больницу ежедневно приходила Маша, в любую минуту можно было позвонить домой по телефону. Да что там! Вообще тогда не было проблем! А сейчас дом, жена, вся прежняя жизнь кажутся далекими и нереальными. Реальность — вот она, этот край земли, теплоход... Лиза в каюте. И пахнувший пыльной травой берег, где Губин стоит, точно навек приговоренный наблюдать за слабоумной старухой, в которой, похоже, все и сосредоточено: его тоска по дому, чувство сиротства и неотвратимость объяснения с Лизой.

Хорошо, что она хоть в город не пошла, дала ему побыть одному... Губин вдруг вспомнил, как неделю назад в Перми Лиза ходила с ним вместе как пришитая, только у переговорного пункта проявила неожиданный такт, осталась ждать на улице. Черта ли с того, если, разговаривая с женой, он все равно видел через сплошную стеклянную стену почтамта, как она прохаживается по тротуару взад-вперед своей неестественной походкой — шея по-куриному вытянута, шаги напряженные, мелкие. Все из-за высоких каблуков, из-за новых туфель, которые она надевает специально для него! Когда вечером она сбросит туфли, пальцы окажутся красными и сплюсненными, а на мизинце — лопнувший пузырь.

Александр Николаевич говорил в тот раз с женой, а сам представлял Лизины пальцы, про которые ему не полагалось думать и знать, и оттого, что он все-таки знает, как будут выглядеть эти пальцы, когда Лиза вечером разуется, ему было неловко и тошно. И он вдруг поймал себя на том, что злится на Машу, силком вытолкнувшую его в это путешествие.

Ни разу за двадцать семь лет супружества Губин не проводил отпуска без жены, и в этом году все было распланировано заранее — в июле путешествие по Волге и Каме: Ленинград — Пермь и назад. Путевки Губину достали, как всегда, на заводе, и профсоюзная Валечка очень гордилась: «Мне девочки из Бюро путешествий так и сказали: твой Главный тебя на руках должен носить! Теплоход чудесный, новенький, гедеэровской постройки, каюта первого класса, удобства, кондишен, бар...»

Путевки получили еще в мае. И Маша сразу начала готовиться: сшила два платья и сарафан, купила карту, проспекты, взялась перечитывать стихи Цветаевой — «мы же мимо Елабуги поплывем, наверняка там будем стоять». Маша была счастлива, она всегда умела радоваться и тому, что предстоит, и тому, что уже прошло. Наслаждаться воспоминаниями — это нормально, это Губин понимал, но загадывать вперед! Он был суеверным, и, когда жена начинала вслух мечтать, как они будут купаться в Волге, или расхваливала Бюро путешествий за то, что в маршрут включено посещение Кижей, ему делалось не по себе: «Зачем искушать судьбу? Помнишь, у Толстого в дневнике всегда «ЕБЖ» — «если буду жив»?»

— Вот зануда! — восклицала жена. — Ладно, если мы... ЕБЖ, ЕБЖ!.. если случайно мы все-таки поедem, тебе и будет хорошо всего-то три недели. А мне — уже! До конца мая, июнь и... ЕБЖ! — июль. А потом август, сентябрь и так далее, если, конечно, не случится холеры, извержения Пулковского вулкана, цунами в Маркизовой луже и прочих стихийных бедствий и катастроф.

Да, ей было хорошо уже тогда, ей было бы хорошо и теперь, здесь, в жалком неведомом миру городишке, где имеются всего две достопримечательности: дикая жара, которой наверняка не упомнят самые дряхлые старожилы, да вот эта старуха в плащ-палатке. Впрочем, Маша, конечно, обошла бы все, включая краеведческий музей, куда Губин, слоняясь безо всякой цели по городу, забрел только затем, чтобы укрыться от жары. Понравиться в музее не могло никому, даже проживающему там неандертальцу, но Маша добросовестно осмотрела бы музей и, разумеется, собор, изнутри и снаружи, и, наверное, сказала бы (как не раз говорила), что полуразрушенные, доживающие век, но дей-

ствующие церквушки похожи на всеми позабытых древних старух, в которых несмотря ни на что теплится жизнь, а такие вот напоказ отреставрированные, заполненные туристами храмы — на розовощеких манекенов с витрины универмага. Но зато она восхищалась бы деревянной часоушкой неподалеку от собора и, разумеется, большим валуном, на котором Губин просидел минут десять, мрачно взирая на город, расположенный внизу, под холмом. А в данный момент они оба, вместо того чтобы бессмысленно торчать на жаре, уютно сидели бы в каюте и с наслаждением пили лимонад.

Никаких стихийных бедствий не произошло перед началом их отпуска. Просто за три дня до отплытия, когда Маша уже составила список вещей и спорила с Губиным, доказывая ему, что нужно взять с собой его любимую чашку, скатерть, термос и другие вещи, необходимые для создания уюта, дочь, Юльку, забрали в больницу с аппендицитом. Осталась внучка, полугодовалая Женька, которую срочно перевезли с дачи, кроме того, в наличии был совершенно растерявшийся зять Юра — его не удалось вытащить из вестибюля больницы даже после того, как Юлю благополучно прооперировали, бродил там с фарфоровыми от перепуга глазами и всего боялся.

— Ты ведь понимаешь, я не могу их бросить,— сказала Маша, глядя мужу в лицо.

Тогда Александр Николаевич заявил, что все усвоил и сейчас же позвонит в профком.

— Такие путевки и за час до отплытия с руками оторвут, я пока поработаю, а там посмотрим.

— А вот это фигушки!— Маша даже покраснела от негодования.— Уж этого не будет! Опять в больницу захотел? Хватит с меня Юлькиного аппендицита. Тебе необходим отдых, это я как врач говорю. Не веришь, спроси Володю Алферова.

— Много вы понимаете со своим Алферовым!— огрызнулся Губин.— Тоже мне врачи! Вы психиатры, психов и лечите, а я нормальный. Пока еще. А зашлешь одного черт-те куда, могу и того... Ладно. Не буду работать. Возьмем Женьку, поедem на дачу. Буду ходить с ней на залив, а ты станешь мотаться в город, возить Юльке обеды и обихаживать нервного зятя. Кстати, вот кого не забудь показать своему Алферову.

Но Маша стала насмерть. Никуда она из города не поедет, между внучкой и больницей ей не разорваться,

а Губину тут делать совершенно нечего. И не надо жалких слов. Что значит — «неуютно, слова не с кем сказать»? Мы уже старые, Саша, пора привыкать. То есть... отвыкать... Нельзя так — ни шагу друг без друга, иначе потом... Ладно, не буду, все! Но вот как раз для того, чтобы всего этого как можно дольше не было, тебе и нужно сейчас поехать и отдохнуть. Ясно? А я обещаю: вернешься, попрошу у Алферова десять дней за свой счет и поеду с тобой на эту твою конференцию в Ереван. Хочешь? А мою путевку сдавать не будем. Ни в каком случае! Зачем тебе храпящий сосед? Жалко, Алферов отпуск уже отгулял, поехали бы вдвоем. Ничего, будешь один в двухместной комфортабельной каюте, за полноценный отдых не жалко и вдвойне заплатить. А я пока переберусь к ребятам, от них до больницы ближе, да и Жене там лучше — все приспособлено.

«И Юрочке, бедному малютке, обедыки, полные калорий!» — ядовито продолжил про себя Александр Николаевич.

Он и сам не ожидал, что без жены ему будет плохо до такой степени. Странно — ездил же, в конце концов, по командировкам. И часто, и надолго: не так давно целый месяц проторчал в Бирме, скучал как собака, это верно, старался все, что видел, запоминать, чтобы потом в подробностях рассказать Машке, но ведь пережил, с тоски не помер! Правда, командировка дело другое, там работа, а здесь точь-в-точь как в больнице — круглые сутки ничем не заполненного безделья, да еще в полном одиночестве. Впечатления? В больнице тоже были впечатления: то рентген, то кардиограмма. То, опять же, — телевизор. Хоть волком вой.

Почему-то Губин всю жизнь был уверен, что, будучи сильным человеком, не боится, даже любит одиночество. Но то одиночество, видно, было другого свойства — когда Маши нет дома, но она вот-вот вернется, а он сидит себе в своем любимом кресле с книгой. Здесь одиночество было иным, каким-то бесприютным. И, оказывается, это просто страх Божий, если не с кем слова сказать. С чужими Губин общаться не любил, новых знакомств всегда по возможности избегал. Кру́гом их общения заведовала Маша, и это было правильно. Лет десять назад Александр Николаевич окончательно понял: определять, кого звать в дом, право хозяйки.

В дружных семьях так оно и бывает — общими друзьями, как правило, становятся друзья жены. Этими соображениями он как-то поделился с Машей, но та возразила:

— Кабы не моя общительность, к нам бы вообще никто не ходил. Тебе, бирюку, ведь никто не нужен, правда?

— Ты мне нужна,— уверенно заявил Губин.— Необходима и достаточна.

Первые двое суток теплоход шел без остановок. Александр Николаевич много спал или пытался читать, сидя в основном в своей каюте, которая в самом деле оказалась роскошной.

Время от времени он выбирался на палубу, стоял у борта или уныло курсировал, круг за кругом обходя теплоход по периметру.

Попутчики ему не нравились. Больше всего в них поражали стадный инстинкт и непреодолимая жажда подчинения. «Изнемогают от свободы, ждут не дождутся, чтобы кто-то пришел и распорядился, что делать, куда смотреть, чему радоваться»,— думал Губин с раздражением.

Жизнь за окнами кают, мимо которых он проходил, совершая свои круги, его возмущала. Немедленно по отбытии из Ленинграда состоялся завтрак, после чего все разошлись по местам и почему-то снова взялись за еду. Губин видел за окнами выложенные на столы помидоры, яйца, колбасу, стеклянные банки, набитые маслом, пиво, пепси-колу, кефир. Толстые женщины в цветастых халатах деловито резали хлеб, мужчины в майках откупоривали бутылки. Это были, конечно, супружеские пары, чтоб они лопнули от обжорства! Глядя на них, Губин проклинал свою покорность. Послушался, привели за ручку в эту плавучую тюрьму, вот и терпи, совершай прогулку, как и положено: руки за спину и кругами, кругами! Потом назад, в свою одиночку с душем и кондиционером. А через три недели — на свободу с чистой совестью.

Следующие два дня он злился, наблюдая, как решительно никто не умеет самостоятельно смотреть вокруг, а не только в ту сторону, куда в данный момент направлен указующий перст. В самом деле, перед шлюзованием (нуднейшим процессом) радио сообщило, что шлюз — весьма сложное и интересное гидротехническое сооружение, а главное, его ни в коем случае не-

льзя фотографировать. Для устрашения тут же был приведен эпизод: в прошлом рейсе некая особа (фамилию не называем!) изловчилась-таки пару раз шелкнуть аппаратом, запечатлев открытие, а может, и закрытие шлюза. И что же? На обратном пути, в Ленинграде, прямо на пирсе, ее встречали люди из... органов! Так что давайте, товарищи, лучше не будем. Договорились?

После этого зловещего предупреждения теплоход вошел в первый по пути следования шлюз, и путешественники, все до единого, высыпали из кают, заполнив палубы. Замерли, вперившись в секретное сооружение, кто с биноклем, кто просто так, а кто и с подозрительной трубой. А один подозрительного вида тип — аж с блокнотом и карандашом. Все поедали шлюз жадными взорами, будто решили если уж не сфотографировать, так хоть запомнить. Александр Николаевич тоже стоял у борта, стиснутый со всех сторон. Ну, стадо и стадо!

Это был вечный их с Машей спор: Александр Николаевич утверждал, что люди все в общем одинаковы и особо приятного в них мало. Маша говорила, что он за лесом не видит деревьев, в толпе (которая, конечно, противная!) не различает отдельных людей. Губин возражал: вглядываться в деревья он, пожалуй, согласен, а вот в людей — увольте! Чем ближе подходишь да внимательнее смотришь, тем больше видишь... всякого-разного, так что пусть они уж сами по себе.

— Слава Богу, что я в тебя за двадцать с лишним лет успела как следует всмотреться. Не то сейчас решила бы, что передо мной бездушное, злобное существо, — вздыхала Маша, и Губин тотчас охотно подтверждал: да, бездушное. И злобное, когда лезут! И к человечеству относится посредственно! А в том, что Маша всех якобы видит насквозь, — никакой доблести, это ее профессия — разглядывать человеческие души в микроскоп. Простым же людям это делать не положено, даже бестактно. И неприлично. А главное, смертельно скучно.

Сейчас Губин вспоминал эти споры и думал, что, возможно, судьба чем-то его обидела... Ладно. Допустим. Только что, ну что интересного хотя бы в том бледном, рыхлом мужчине, что едет в соседней каюте вместе с низенькой плотной женой, сплошь унизанной золотыми цацками? Оба явно не прочь познакомиться с Губиным — улыбаются при встрече, но он, неопре-

деленно кивнув, проходит мимо. Правда, как раз про эту пару еще в Ленинграде, на причале, Маша сказала:

— Вот с теми не водись, усадят за преферанс, и будешь круглые сутки проводить в прокуренной каюте.

— Почему именно за преферанс?— удивился тогда Губин.

— А таким всякая ерунда вроде природы обычно без надобности,— уверенно заявила она,— им подавай серьезные занятия. Нет, не водись.

Приглядевшись к этой паре, Губин быстро пришел к выводу, что, судя по заграничному бараклу, томному виду самого и драгоценностям мадам, здесь мы имеем, скорее всего, большого торгового деятеля, да не какого-нибудь пошлого директора гастронома, а заведующего крупной базой. Отсюда и томность — денно и ночью помнит о тюрьме, может быть, знает, что это его последнее путешествие... и зря перед поездкой не переписал дачу с машиной на шурина...

Для себя Александр Николаевич нарек бледнолицего Базой.

Промаявшись первые дни, Губин дождался наконец стоянки в Ярославле и, едва теплоход причалил, отправился на почту — звонить жене.

Шел холодный мелкий дождь, но город все равно казался приветливым, даже родным каким-то,— несколько лет назад Александр Николаевич побывал здесь вместе с Машей. Как всегда, они много ходили, и теперь Губин легко нашел дорогу к переговорному пункту. Туристы-оптимисты остались на площади, переминались под зонтами в ожидании, когда их скопом поведут показывать историко-революционные достопримечательности. Бог с ними. Александр Николаевич легко и скоро шагал по главной улице, с удовольствием, как на старых знакомых, посматривая на старинные здания. Даже заглянул в пару магазинов, надо ведь и о подарках подумать. Вон симпатичная кофточка с блестками — кто ее знает, может, последний крик? Приближаясь к почте, Александр Николаевич повторил про себя: кофточка — раз, каюта отличная, кормят сносно, погода тоже ничего — это два. А скука ужасная, и больше он один никогда, ни в жисть не поедет, увольте. И вообще пусть-ка Мария Дмитриевна срочно берет билет на самолет и догоняет его... ну, хоть в Пер-

ми. А что? Юля за это время вполне успеет выписаться и прийти в себя... Подумав, что идея не так плоха и жена вполне может согласиться, Губин припустил чуть не бегом.

Но телефон в Ленинграде не отвечал. Ни у дочери, ни дома. Конечно, если у них там ясный день, Маша могла выйти погулять с внучкой, но, с другой стороны, он же четко предупредил: из Ярославля будет звонить! И время стоянки Маша знает, вместе смотрели расписание!

Решив, что через час позвонит снова, Александр Николаевич, теперь уже не спеша, двинулся в Спасо-Преображенский монастырь, чтобы совершить самостоятельную экскурсию, держась подальше от познавательно галдящих оптимистов. Но последнее ему не удалось — уже в воротах столкнулся с Базой и его золотоносной супругой, прижимающей к обтянутому шелком крутому животу гигантский пакет — успела уже и монастырь обойти и посильно где-то отовариться. От растерянности Губин поздоровался, и База в ответ обрадованно произнес вдохновенную фразу: дескать, с погодой чудовищная непруха, теплоход — плавучая дыра для увеселения матерей-одиночек, зато монастырь, конечно, блеск, именины сердца, пир духа...

Губин вежливо улыбнулся и торопливо зашагал прочь.

И тотчас услышал знакомый голос:

— Какой прогресс! Девочки, наш сосед умеет улыбаться!

Преградив ему путь, на дорожке, взявшись за руки, стояли Ирина, Катя и Лиза. Это они — к счастью, они, а не База! — сидели с Губиным за столиком. За прошедшие дни он успел обменяться с ними хорошо если десятью фразами. (И надеялся, что так оно будет и впредь.) Хоть тут повезло, неразговорчивые и нефамильярные молодые женщины, каждой лет по тридцать — тридцать пять. Ирина с Катей сидели напротив Александра Николаевича, их он успел рассмотреть как следует. Белокурая, светлоглазая, с решительным подбородком и тонкими губами Ирина похожа была на финку или эстонку, а скуластая, смешливая Катя чем-то напоминала Машу в молодости. Такая же темноволосяя, и глаза карие. Хорошие девочки, скромные, некоклетливые. Ирина и Катя в первый день представились: обе из Ленинграда, инженеры, работают... Алек-

сандр Николаевич тут же и забыл, где они работают, а про себя скупое сообщил, что, дескать, тоже инженер. Лиза, сказав, что она Лиза, ничего больше не добавила. Лиза сидела справа от Александра Николаевича, вела она себя тихо, во время первого их совместного завтрака только и произнесла еле слышно: «Приятного аппетита», и в дальнейшем, вызывая у Губина кое-какие воспоминания, каждый раз желала им с Катей и Ириной того же. Зато предупредительно передавала всем хлеб, горчицу или стаканы с компотом, поставленные официанткой на край стола. Она быстро съедала все, что приносили, и сразу уходила, сказав «до свидания».

В монастыре, когда Ирина, Катя и Лиза стояли перед Губиным на дорожке все трое, Александр Николаевич разглядел и Лизу. Оказалось — ничего, курносенькая, длинные черные глаза, темные вьющиеся волосы, розовые щеки. И сложена хорошо. Только уж больно провинциальная — Катя с Ириной выглядят с ней рядом столичными штучками в своих джинсах и ярких курточках. Эта же вырядилась в габардиновый неликвидный плащ (такие в прежние времена назывались, помнится, мантиями), на голову повязала капроновую косынку. При этом жеманилась — округляла глаза, кусала ярко покрашенные губы и хлопала ресницами.

«Дурочка, небось, потому и хлопает,— беззлобно подумал Губин.— Деревенская, простодушная дурочка».

Однако в тот же вечер на вопрос Ирины, откуда она приехала, Лиза, вскинув голову, сказала, что из Москвы.

...Старуха в сотый, наверное, раз насаживала червяка, так и не поймав ни единой рыбы. Мальчик, ошалев от перегрева, тупо смотрел в воду. А солнце, перед тем как пойти на закат, взялось за дело всерьез: полный ад, и ни единого ведь деревца на этом берегу! Все. Пора в каюту.

Но Александр Николаевич не двигался.

...Безусловно, в том, что произошло между ним и Лизой и тянется до сих пор, есть, как ни парадоксально, и Машина вина. Может, оно и подло вот так рассуждать: раз в жизни поехал в отпуск без жены, тут же ей изменил и на нее же сваливает! Но он ведь не хо-

тел ехать! А главное, Маша, умница, убежденная, что знает человеческую душу вдоль и поперек, могла, должна была предвидеть, что так получится. Могла! Губин нормальный, здоровый, по нынешним меркам еще не старый мужчина... А впрочем, какая это измена! Сто раз говорил себе... Если бы он перестал любить Машу, не рвался домой — другое дело, а он дни считает. Маше от этой истории нет и никогда не будет никакого ущерба, а вот ему...

Однажды Утехин, главный технолог и зам Александра Николаевича, образцово-показательный обыватель, эталон, высказывания которого они с Машей особенно ценили за их концентрированность, поделился со своим шефом:

— Вот вы, Александр Николаевич, тык ска-ать, образцовый муж, жене, стал-быть, не изменяете, это невооруженно видно и ясно, как говорится, суду без слов. А я вот — гуляю! Да! И не стыжусь. Но Таньку свою никогда не брошу, потому что семья есть семья. И зарплату, между прочим, отдаю до копейки. А шуры-муры и трали-вали к семье никакого отношения не имеют, а потому и вреда не приносят. Даже, если хотите, на пользу. Нет, серьезно! Больше чем уверен! У нас с Татьяной скандалов меньше, чем... хотя бы и у... всех, кто такой вот шибко моральный. Этот моральный с жены, если что не так — ну, по дому там, с хозяйством, — три шкуры спустит, занудит вусмерть. А если у самого рыльце в пуху, тут из-за того, кому, к примеру, помойное ведро выносить, спорить ни за что не станешь. Почему? Да потому что наблудил, вот и стараешься. Это точно. Железный факт жизни. И... в постели, если на то пошло... так ска-ать, изыскиваешь резервы. Чтоб ей чего лишнего в голову не лезло. Вот так вот!

Тогда Александр Николаевич, помнится, только хмыкнул. Смешно и противно. Всегда был убежден: мужик, бегающий на сторону, — грязная непорядочная скотина. Взял на себя определенные обязательства, изволь выполнять. Не можешь — уйди. А второй аспект тот, что бабники вообще люди ненадежные, потому что слабые, постоянно в рабстве у собственных желаний и по уши во вранье. А тогда и друга предать ничего не стоит, и сподличать. Поскольку — сопля!

Так думал Губин всегда. Ну, а теперь?..

...А как он, двадцатилетний эгоистичный идиот, осуждал собственного отца, когда отец вдруг женился

полгода спустя после смерти матери! «Ты маму не любил, раз смог променять!» И понурый ответ: «Нет, Саша, до сих пор люблю и забыть не могу. Никогда, наверное, не смогу. И от тоски этой ужасной, от пустоты избавиться не могу... У тебя своя жизнь, а я... Страшно одному...»

Бабушка, мамина мать, и та заступилась: «Ты его просто не понимаешь, не способен понять по молодости. Так пожалел бы хоть!» Жалеть?! Еще чего! Родителей надо уважать, а не жалеть. Он что, дряхлый старик? Каждый обязан сам, без посторонней помощи одолевать собственные несчастья!

Так считал Губин тридцать с лишним лет назад, так думал всю жизнь. Каждому на роду написано перенести энное количество бед, от которых никуда не деться. Все теряют близких, хоронят родителей, мучаются с детьми, всем так или иначе треплют нервы на работе, все стареют, все болеют и в конце концов обречены умереть сами. Сами — никто за них этого не сделает! Довольно тяжкий груз, и природа так рассчитала, что на все на это у среднего человека должно хватить сил. На эту собственную его ношу. Запас прочности ограничен, так почему, спрашивается, кто-то все время норовит спихнуть ее, эту ношу, на другого? А я, представь, не желаю. Свои неприятности держу при себе, и чужих мне не требуется...

...Нет, конечно, если Губин перед кем сейчас и виноват, так именно перед собой.

О том, что́ будет, когда поездка кончится, Александр Николаевич с Лизой не говорил. Вроде бы ясно было (обоим)... он — в Ленинград, она — к себе в Москву или куда там, тут была какая-то странность: объявив однажды, что приехала из Москвы, Лиза в дальнейшем обнаруживала полное незнание города. Бог с ней, обитает где-нибудь в Серпухове, тоже как бы столица, прихвастнула, а признаться не хочет. Ладно. В гости к Лизе он не собирался, да она и не звала... Но вот вчера вечером, не отрывая глаз от вязания, вдруг сказала, что зимой, наверное, приедет в Ленинград. По делу. И замолчала. Губин тоже промолчал. А уже поздно ночью, когда она сидела в своем прозрачном одеянии, расчесывая волосы, как бы между прочим попросила: «Если вдруг соберешься в командировку в Москву, пришли телеграмму. Просто: Москва, главпочтамт, до

востребования. Только заранее, за... несколько дней. Я сразу соберусь... Только заранее. Я приду».

— Куда?

— Ну... туда. Где мы встретимся. Вы... ты в телеграмме укажи — где. И время. Вот и встретимся.

«Ага. А потом поедем в номера, в «Славянский базар». Будем там видаться раз в три месяца. И так всю жизнь до гробовой доски. Как две перелетные птицы».

Губин ничего не сказал, решив перенести разговор на завтра, сухогато пожелал Лизе спокойной ночи и отвернулся к стене,— и что это она не гасит ночник, хватит уж демонстрировать свои прелести!..

— Наш теплоход отходит в рейс. Прошу туристов и личный состав занять свои места, провожающих — сойти на берег.— Голос радиста был торжественным и немного грустным. На берег с теплохода никто, разумеется, не сошел — какие здесь, к лешему, провожающие?

Александр Николаевич поднялся на свою третью палубу и встал у борта неподалеку от окна в свою каюту. Окно было закрыто, занавески задернуты.

На второй палубе, слегка фальшивя, заиграл аккордеон и женские голоса дружно запели: «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом...» Жестяной тембр культурницы Аллы Сергеевны прорезал общий хор. Теплоход, медленно разворачиваясь, отодвигался от пристани. Возле приземистого одноэтажного здания речного вокзала ворошились бабки, собирали свои мешки и ведра с нераспроданным товаром: солеными огурцами, вяленой рыбой, смородиной. Темноволосый пацан, только что топтавшийся возле старухи с удочкой, уже был тут, исподлобья глядел на теплоход, стоя у самой кромки воды.

— «Мы желаем счастья вам!..»— в последний раз выкрикнул хор и смолк. Тотчас же из репродуктора вырвалась и поплыла над рекой знакомая печальная мелодия,— именно ее радист запускал всякий раз, как теплоход отваливал от очередной пристани.

Стоять на палубе было приятно — дул ветерок, да и вообще жара, по-видимому, начинала сдавать. Город, удаляясь, распластывался, раскрывался, перед глазами Губина возник новый микрорайон — привычно унылые пятиэтажки, из тех, что уродуют сейчас каждый

населенный пункт. Конечно, жить в них удобнее, чем в деревенских домах, а все же насколько уютнее и естественней выглядит хотя бы вон та улица, что тянется и тянется вдоль берега канала. Все-таки у каждого дома какое-нибудь дерево, палисадник с мальвами или «золотыми шарами».

Улица внезапно кончилась. И сразу пошли заболоченные луга, иссеченные канавами. Потерявшее за день силу солнце бельмом висело над ними, почти неразличимое на низком белесом небе.

В Ярославле дозвониться жене так и не удалось, Губин послал домой телеграмму, что беспокоится и просит срочно телеграфировать, как дела, в Кострому или Горький, где теплоход будет завтра и послезавтра. О себе он нарочно ничего не сообщил, пусть поволнуются... Все-таки ничего страшного случиться дома не могло — когда случается, находят.

Не заходя в магазины — подарки подождут, — Александр Николаевич отправился прямо на теплоход. Переоделся и лег отдохнуть на «Машин» диван, то есть на тот, где она спала бы, если бы... Для себя он, войдя в каюту в первый раз, сразу, как обычно, выбрал место справа от двери, чтобы на правом боку и лицом от стены. Неизбалованной Маше всегда было безразлично, куда головой, куда лицом, лишь бы не душно, а тут кондиционер как раз дул в ноги ее дивана.

Стоило Александру Николаевичу задремать, как из репродуктора — чтоб он сгорел синим огнем! — послышался хриловатый голос Аллы Сергеевны. Наряду с привычной игриво-бодрой интонацией в нем звучала еще и торжественная сладость. Алла Сергеевна сообщила, что сейчас туристов-оптимистов пригласят на обед, после которого будет «хы, заслуженный отдых», а вот потом, ровно в семнадцать ноль-ноль в помещении кинозала на верхней палубе состоится «Вечер-сюрприз» для всех желающих, но в обязательном порядке должны присутствовать следующие туристы... дальше шел перечень незнакомых имен-отчеств и номеров кают. Губин привстал, чтобы вырубить звук, но вдруг услышал: «Александр Николаевич, каюта триста пятнадцать», — и замер от неожиданности. Так, стоя на диване на коленях, он и слушал весь список до конца. Всего там было человек двадцать. По какому принципу Алла Серге-

евна выбрала себе в жертву именно этих лиц, Губин сообразить, естественно, не мог, так как никого из них не знал. Повторив, что явка приглашенных строго обязательна и форма одежды, хы, парадная, культурница отключилась, а из репродуктора патокой потекла история про миллион алых роз.

Губин заглушил репродуктор. Вот этого как раз и не хватало! Влип.

Сказав вслух, на всю каюту, что он думает о плавающих сумасшедших домах, Губин лег опять, перебирая про себя причины, по которым мог очутиться в проклятом списке. «Клуб интересных встреч»? Но он ведь не ветеран восьмьсот двенадцатого года, не поэт и не артист эстрады. Разве уж у них тут такое безрыбье, что главный инженер завода — персона? Интересно все же, кто остальные? База? Вот он-то, в самом деле, мог бы такого порассказать в детективном жанре, что оптимисты попадали бы со стульев. Но позвали, небось, не его, а величественного старика, занимающего одноступенчатый люкс. Очень знакомое лицо у этого старика, где-то Губин его видел. Может, у Машки в клинике? Какой-нибудь консультант. Вид у него, во всяком случае, профессорский. Вот теперь Алла Сергеевна его «расколет», и будет он, бедняга, весь рейс давать консультации по спазмам мозговых сосудов или депрессивным состояниям на базе стрессовых ситуаций.

За обедом выяснилось, что соседки уже знают и о надвигающемся вечере, и что Губин приглашен туда персонально. «Как — откуда? Она же назвала имя-отчество», — это сказала Катя, а Лиза, округлив глаза, чуть слышным голосом добавила: «И номер каюты. У вас триста пятнадцатая, я вас сколько раз за окном видела — сидите один, сами такой грустный...»

Пришлось объяснять, что вот — собирались вместе с женой, а тут дочь заболела, а сдавать ее путевку не стал.

— Но это же деньги! — ужаснулась Ирина. А Лиза только вздохнула:

— Хорошо вам.

— Чего ж хорошего? Один, как собака.

— Мужчина один никогда не будет. Если сам сильно не захочет, — убежденно возразила Ирина. — Мужчины класс привилегированный, хозяева жизни. Независимо от возраста, семейного положения. И здоровья. Потому что — дефицит.

Катя молча ела рассольник. Александр Николаевич тоже взялся за ложку, таких разговоров он терпеть не мог.

— Мне бы так...— ни с того ни с сего, прервав затянувшуюся паузу, сказала Лиза.— Совсем одна! Это же сказка! Я одна никогда не бываю, ни дома... никогда. А здесь уж вообще...

Оказалось, Лиза едет в трюме, в трехместной каюте.

— Думала, будут две девушки, подружимся. А тут — муж с женой. Они, конечно, недовольны, можно понять, но я же не виновата. Особенно она... Он мне нижнюю полку уступил, так она — вообще...— Лиза замолчала, быстро допила компот и ушла, прошептав свое обычное «до свидания».

— Жалко ее,— медленно проговорила Катя, проводив Лизу взглядом.— Они ее там жутко травят. То не сюда поставила, это не так положила... Противные такие, особенно тетка. Главное, на лицо даже ничего, а присмотришься: толстая, выражение тупое, того гляди замычит и давай бодать.

— А он-то! Копия — козел!— хихикнула Ирина.— Важный такой, все башкой трясет и глядит в упор.

— Может, нам с ними каютами поменяться, Ирка, а?— предложила вдруг Катя.— Мы туда, к Лизе, а они...

— Ага. Разбежалась. Еле выбили путевки, отпуска год ждали, а теперь — в трюм? Там духотища и окно с пятак,— Ирина поджала губы и еще больше выдвинула подбородок.— Нет, как хочешь, я не согласна.

— Лизу жалко! Разве это отдых? Надо же, чтоб такие соседи достались.— Катя вздохнула.— Вы их не видели?— Она повернулась к Губину.— Увидите, сразу узнаете. Точно: козел с коровой.

— Да вы видели! Она за него ухватится, мертвой хваткой держит, чтоб не увели, вышагивают по палубе, как... по ферме.— Ирина опять развеселилась.— А тут — представляете?— рядом молодая-интересная. И днем и ночью.

— Думаю, все можно уладить,— рассеянно заметил Губин.— Пойти к здешнему начальству, сказать... Помоему, это против правил — селить чужих мужчину и женщину в одной каюте.

Во время «тихого часа», пока все остервенело отдыхали, Александр Николаевич писал жене. Сообщил, как выглядит его каюта, даже план начертил, указав, где его место, а где Машино. Особо подчеркнул, что на теплоходе есть бар, но подают там только соки, мороженое и кофе. А жаль, иначе он бы непременно запил и, пойдя вразнос, закрутил роман. С одной роковой красоткой по прозвищу Корова. «Самый мой идеал, я ее, правда, ни разу не видел, но сегодня непременно увижу, сегодня у нас тут серьезное мероприятие, «Вечер-сюрприз», и я приглашен почетным гостем. Буду, возможно, петь и читать стихи. В общем, втравила ты меня. А теперь еще, кстати, заставляешь волноваться. Если в ближайшие день-два от вас не будет вестей, ей-Богу, брошу к чертовой матери эту баржу и прилечу домой».

Больше подробных писем Александр Николаевич жене не писал ни разу. Посылал радиogramмы и открытки с видами, где умещалось несколько фраз. Еще звонил.

«Сюрприз» заключался в том, что из корешков путевок старательная Алла Сергеевна выписала даты рождения тех своих туристов-оптимистов, кому повезло появиться на свет в июле, вернее, в те три недели июля, которые им предстояло провести на теплоходе, и собрала народ в кинозале, дабы торжественно поздравить именинников. Александр Николаевичу Губину двадцать восьмого числа исполнялось пятьдесят три года, вот он и влип в эту историю вместе с массой народа — с какими-то грузинскими девушками, величественным стариком, похожим на профессора; с семилетним Аликом, а также хмурым мужиком, наряженным в черную пару и в любое время производящим впечатление круто пьяного... Накануне Губин стал свидетелем принципиального пари: База с каким-то молодым пижоном спорили на бутылку коньяка.

— Ни в одном глазу,— вельможно цедил База,— я нарочно вплотную подходил и вдыхал. Ни малейшего амбре, в чем и распишусь.

— Эка хитрость,— кипятился пижон.— А мускатный орех? Или просто чаю пожевать? Нет, выкушал пол-литра бормотухи, пари, ставлю бутылку конины.

— Не жалко? Я, милый мой, только армянский прихожую.

— А хоть «Наполеон», покупать-то не мне, вам. Да вы только на него взгляните, на красавчика, рожа сияющая, глаза мутные... Ну! Спорим?

— Спорим,— кивнул База.

— А истину как будем устанавливать?

— Опросом клиента.

— Ага. Так он вам и раскололся. Читали — возле ресторана? Приказ: «За нахождение на судне в нетрезвом виде турист незамедлительно списывается на берег».

Тем не менее спорщики двинулись к мужику в черном, подошли с двух сторон и взяли того «в клещи». О чем они там говорили, Губин не слышал, но вдруг вздрогнул от хриплого хохота, похожего на ржание носорога (если, конечно, носороги ржут).

— Ну ты, парень, и залетел!— гоготал предмет спора.— Заложился, да? На коньяк, да? Ну — спец... Папаша!— обратился он к Базе, выглядевшему моложе его по крайней мере лет на десять.— Прими поздравления, папаша, повезло тебе, понял? Подшитый я, а не поддатый. Меня уж тут, конечно дело, и к капитану водили, и в медпункт на проверку. А как же? У нас народ сознательный — враз настучат. А хрен им! Не пил ни грамма, скоро уже два месяца будет. За что и путевку дали. А ты, папаша, этому фрайеру своему тоже ни грамма не давай, понял? И п-привет...

На «Вечере-сюрпризе» «подшитый» владелец черной пары чинно восседал в президиуме вместе с остальными именинниками. Вид у него был по обыкновению смурной. Рядом с ним расположился старик профессор. Александра Николаевича усадили с краю — «вместе с молодежью», то есть с двумя девицами из серии «бледная немочь». Президиум и битком набитый, радостно улыбающийся зал с любопытством разглядывали друг друга.

Сперва Алла Сергеевна своим кровельным голосом поздравила «всех наших юбиляров, хы, целиком и полностью» и, бодро дирижируя небольшим, но горластым хором добровольцев, исполнила вместе с ним уже полюбившееся (Губин — не в счет!) «Мы желаем счастья вам». В зале зарокотали аплодисменты, и тут начавший различать лица Александр Николаевич увидел на многих из них искреннее умиление. Да, да, черт побери,

растроганы были и гости, и сами именинники, а больше всех Алла Сергеевна. В первом ряду Губин вдруг заметил сидящих рядом Катю, Ирину и Лизу, принаряженных, сияющих, точно на зависть всем в стране присутствуют на юбилее родного дяди-академика.

Алла Сергеевна между тем приступила к персональному чествованию. Каждому имениннику вручала открытку и подарок. Получив подарок, поздравленный должен был произнести ответную речь и сообщить в ней краткие сведения о себе.

Губин, когда очередь дошла до него, честно признался, что работает главным инженером завода, живет в Ленинграде, семейное положение — дед, отсюда и год рождения — 1933-й.

— Не верим! Приписка! — в три голоса крикнули из первого ряда. Громче всех звучал голос Кати, мгновенно подхваченный восторженной Аллой Сергеевной: «Да. Каждый имеет тот возраст, которого, хы, заслуживает, а товарищ — такой интересный, что заслуживает вечной молодости!»

В зале аплодировали. Все доброжелательно смотрели на Александра Николаевича, он чувствовал себя довольно глупо, но тоже улыбался, облегченно понимая: с ним покончено, сейчас возьмутся за следующего.

Следующий — гражданин в черной паре — выглядел как обычно, вдрабадан пьяным. Встав, обвел присутствующих мутным взором, ударил себя в грудь, чуть не промахнулся и зычно произнес:

— Конов Георгий Васильевич, Гоша. Его величество рабочий класс. Тружусь на стройке в этом... городе Архангельске. Не судим. Возраст средний: полбанки, то есть, виноват — полста. Жены нет и не дай Бог, чтоб была. Извините за внимание.

Зал аж взревел от восторга. Его величество озабоченно поклонился и рухнул на стул. Весь вечер его поводило в разные стороны от еле сдерживаемого чувства юмора.

Потом поздравили подряд нескольких девушек, одна из которых попросила разрешения прочесть свои любимые стихи. И полемическим тоном произнесла:

— «Одна половинка окна растворилась, одна половинка души показалась, давайте раскроем и ту половинку, и ту половинку окна». Марина Цветаева. Спасибо.

Тут Губин обнаружил, что у девушки вполне интеллигентное лицо, а он-то воображал о себе, что на этом теплоходе — чуть ли не единственный представитель данной прослойки. Ну, еще, конечно, профессор.

Алла Сергеевна неумоимо выкликнула новых именинников, и вот перед столом президиума появилась ранее Губиным не замеченная, разодетая в пух и прах широкозадая особа. Волоокое лицо ее, изумительно розовое, с нежно-голубыми веками, синими ресницами и соболиными бровями, поражало резким контрастом: правильные, красивые даже черты и упрямое, недоброжелательное выражение. «Точно ей чего-то недодали», — отметил про себя Губин.

В своем выступлении: «Профессия — нужная людям, место жительства — город на Неве, возраст — на сколько выгляжу, семейное положение — отличное», — дама эта все время будто что-то отстаивала, за сладкими нотами полязгивала истерическая скандальность. В конце ею было строго объявлено, что главное не то, кем, где и как работает она лично, главное то, что собой представляет ее муж — «поскольку всем, чего мужчина достиг в жизни, он обязан жене. Если, конечно, он — настоящий мужчина, а она — настоящая женщина. С большой буквы». И под добродушные хлопки добавила, что ее муж преподаватель вуза, доцент, кандидат технических наук. Пишет докторскую.

Тут Губин увидел, что Катя с Ириной делают ему какие-то знаки, а Лиза, потупясь, сидит рядом, вся красная. Он развел руками, и тогда Катя недвусмысленно показала двумя пальцами надо лбом рожки. Александр Николаевич взглянул в ту сторону, куда унесла свой круп Настоящая Женщина. Та, покинув президиум, размещалась в третьем ряду, рядом с противноватым субъектом, имеющим низкий лоб, бородку и близко посаженные, выпуклые, какие-то бешеные глаза желтого цвета. Ну конечно же, Корова с Козлом! Лизины соседи по каюте! Доцент... Сохрани Бог попасться такому на экзамене, забодает насмерть. Губин усмехнулся и кивнул девушкам, те в ответ просияли и стали шептаться, давась от смеха.

Последним получать поздравление величественно вышел профессор. Вышел, пожевал губами и долго молчал, вертя в руках подарок. И вдруг с большим раздражением заявил:

— Представляюсь: пенсионер. Живу в Москве. Из достижений имеется правнук. Возраст? Мой возраст... Вполне подходящий. Для прадеда.

Зал снисходительно зашумел, отпуская его, но до тошная Алла Сергеевна сказала, что, как поется в песне, «старикам везде у нас почет» — это раз, а второе — пенсионерами не рождаются, ими, хы, становятся. Заслужив покой доблестным трудом. Поэтому очень бы хотелось, чтобы уважаемый Константин Андреевич поделился с нами своим бесценным опытом, коротенечко, хы, рассказал, кем он был и чего добился в своей прежней жизни. Молодежи это полезно: как говорится в пословице — «кто не знает своего прошлого, тот не построи́т будущего».

При этих ее словах Константин Андреевич апоплексически побагровел и отчеканил, что человек, который был, сам о себе рассказать уже ничего не способен. И вообще — для пенсионеров, как и для всех, кто был, никакого значения не имеет, чего они там добились в своей прежней жизни. На могильных памятниках, как известно, пишут «Сидоров Иван Иванович. 1905—1985», а не «Уважаемый тов. Сидоров — ударник труда, заместитель главного бухгалтера треста, завоевавшего первое место в соревновании за прошлый квартал».

Произнеся все это при полном молчании зала, Константин Андреевич повернулся и, держась очень прямо, прошествовал к выходу мимо распахнутого рта Аллы Сергеевны.

— Склеротик! Совсем уже... — внятно сказала Корова, но тут очнувшаяся Алла Сергеевна взмахнула рукой, грянул аккордеон, и в зал вбежали «пионеры» — трое дюжих парней и две девицы. «Наверняка из команды», — подумал Губин. Одеты «пионеры» были по всей форме: белые рубашки, галстуки, пилотки. Расторопно выстроившись, «пионеры» приветствовали всех салютом, после чего одна из девиц, наиболее грудастая, в устрашающе коротенькой юбочке, сделала шаг вперед и пропищала поздравительные стихи, снабженные самой древней рифмой на земле: «поздравляем — желаем».

Зал облегченно залился смехом, вскипели аплодисменты, грянуло дружное «Мо-лод-цы!».

Алла Сергеевна объявила, что вечер окончен... Именно. Потому что после ужина в баре состоится «Го-

лубой огонек». Именинникам предоставляется преимущественное право приобретения билетов. Для себя самих, а также для родственников и друзей. В баре играет диксиленд, будут танцы и, открою страшный секрет,— в порядке исключения разрешено заказать по бокалу шампанского.

Возвращаясь к себе в каюту, Александр Николаевич опять подумал, что все не так примитивно, как ему, зануде, кажется. Люди нуждаются в радости, не так уж много ее у каждого в повседневной жизни, и тут не до жиру; голодный человек не ковыряется в тарелке, ему картошка с постным маслом — настоящий пир... И ведь большинство из тех, кто сегодня хохотал и аплодировал, были всерьез растроганы. И «пионеры» из поваров и матросов, вдохновенно певшие и топавшие мощными ногами, старались от всей души.

Губин вдруг решил, что просто обязан сегодня вечером пригласить на «Огонек» своих соседей по столу. Ходят модные, нарядные, подкрашенные, притащили, поди, весь свой гардероб, а красоваться-то не перед кем! Нету здесь кавалеров, куда ни посмотришь — то База, то «подшитый»... Губин пошел и купил у бармена четыре билета.

«Бойтесь первого движения души,— как правило, оно бывает благородным». Эти слова, сказанные, кажется, Талейраном, Губин вспомнил, когда собирался в бар, на «Огонек». Но Талейран Талейраном, а вел он себя весь этот вечер, по собственному объективному мнению, исключительно галантно; ухаживал за тремя своими дамами, никого не выделяя, для каждой придумал правдоподобный комплимент и был просто поражен, с какой полнейшей серьезностью его нехитрая лесть была встречена. Все трое оживились, стали разговорчивее, закокетничали. Лиза и та, когда он строго сказал, что ее белое платье с вышивкой выглядит так, словно куплено в Париже у месье Диора, мгновенно перестала ежиться и сутулить плечи и откинулась на спинку кресла, изящно, двумя пальцами, держа перед собой бокал с шампанским, даже глаза забыла таращить. Губин расчувствовался и, придав своему лицу значительное выражение, объявил:

— Внимание. Пьем за самое главное желание каждой из вас. Задумывайте. Готово? Теперь, если пить маленькими глотками и все время повторять про себя

то, что задумано, желание непременно сбудется. И не через сто лет, а в течение года. Гарантирую. Глаз у меня верный, рука легкая, хотя и крепкая.— Мысленно поморщившись, Губин выпил и наблюдал, как они с одинаковыми, истово-сосредоточенными лицами сделали по нескольку глотков. Лиза, впрочем, только пригубила, сказав, что вообще не пьет, совсем, но за желание надо. А желание-то у всех троих наверняка было одно и то же...

Еще минуту назад Губин решил для себя, что хорошенького понемножку, но теперь, вздохнув, пустился во все тяжкие, а для начала заказал всем по безалкогольному коктейлю «Снежный шар». Означенный напиток обладал резким запахом мужского одеколона, зато все остальное было на высоте: соломинка, шарик мороженого, кубик льда. То есть полный о'кей, как выразилась Ирина. Катя согласно кивнула. А Лиза покраснела и сказала, что очень, очень вкусно, большое спасибо, она в жизни такого не пробовала, и здесь в баре красиво, ну прямо как... И вообще! И музыка изумительная... И всё, всё...

Это была, пожалуй, самая длинная фраза, какую Губин слышал от нее за все время знакомства. И он решил, что обязан честно отсидеть тут до самого закрытия.

Потом, когда они мирно ели мороженое (музыканты, слава Богу, взяли тайм-аут), Катя задумчиво сказала:

— Жалко, выпить больше нечего, а то у меня есть тост. За Александра Николаевича и вообще за его поколение. Только мужчины вашего возраста — настоящие джентльмены, я уж давно заметила.

— Не то что наши — одно хамство и самомнение. Уверены, что женщина должна за ними, как бобик, — поддержала ее Ирина.— Женщины, конечно, тоже виноваты. Раньше девушка умела себя поставить... а сейчас — только бутылку поставить. Вот моя мама: я, говорит, в молодости королевой была, три раза замуж выходила, и ни один сам не ушел, всех я бросила, а вы, говорит... никакой гордости!

— Кто уж очень шибко гордый, один и кукует... — глядя прямо перед собой, сказала Катя.

Губин вздохнул, а потом улыбнулся и сказал девушкам, что в двадцать лет был таким же неотесанным балбесом, как их нынешние приятели, и только теперь,

прожив целую жизнь, достиг высочайших вершин воспитанности: умеет подавать даме пальто, уступать ей дорогу и даже дарить цветы.

— Боюсь,— закончил он,— что галантными способны быть только старики, это дело наживное. Повзрослеют ваши кавалеры, станут и они внимательнее. Никуда, негодяи, не денутся.

Тут Лиза покачала головой, посмотрела Губину в глаза и, опять покраснев, заявила:

— Вы никакой не старик... Вы... Ну какой же вы старик?

— Да и наши знакомые вовсе не мальчики,— заметила Катя.— Мы-то ведь тоже... Вот вы все говорите: «девочки», а нам с Ириной по тридцать пять уже... Ладно. А вообще замечательный получился вечер. Все благодаря вам. Спасибо. Давно так не было — чтобы с умным человеком посидеть, поговорить... И... спасибо!

Александр Николаевич очень устал, хотелось лечь. Но когда светильники в баре настырно замигали, давая понять, что веселье окончено, у него язык не повернулся сразу распрощаться. Кроме того, перспектива опять оказаться одному в пустой каюте... И девчонки такие славные, и так не хотят расходиться...

— Зайдем ко мне, выпьем чаю?— предложил Губин.— В «титане» наверняка еще есть кипяток, а у меня — заварка. И пироги домашние черствеют.

Предложение было встречено с восторгом. Ирина и Катя сразу побежали к себе: «Во-первых, за тарой, а то стаканов не хватит, а во-вторых, у нас тоже есть один сюрпризик. Праздник так праздник».

Отсутствовали они минут десять. Это время Александр Николаевич провел вдвоем с Лизой, которая молчала, а на вопросы отвечала односложно, чем создала бы тягостную атмосферу, не будь Губину безразлично, говорит она или нет. А смотреть на Лизу было приятно — как она плавно движется по каюте, как ловко протирает казенные стаканы и очень осторожно, боясь разбить, ставит на стол его чашку. «Да ведь она красивая! — удивленно подумал Губин.— А красивой женщине и не обязательно говорить. Даже лучше молчать. Красота — самостоятельная ценность, ей не требуется приправы в виде остроумия или интеллектуальных изысков, и природа это учитывает».

Появились Катя с Ириной. Кроме обещанной «тары» принесли бутылку коньяка. И магнитофон.

— Мы сказали: праздник — и вот вам! — радостно объявила Катя.

— Это вы его... это все... из дома тащили?! — только и нашелся Губин.

— А откуда же?

...Н-да. Ведь не для того же, чтобы веселиться в обществе старого дядьки, перли они тяжелый этот магнитофон, и платья, и дорогой коньяк...

— Оставили бы вы, братцы-девушки, свою бутылку для более ответственного случая, — решительно сказал Губин. — Хватит с нас и чаю, тем более, заварка английская, с цветком. А потом, скажу окончательно и бесповоротно, не привык я, чтобы меня дамы поили.

Но Ирина с непреклонным видом откупорила бутылку, налила всем и подняла свой стакан.

— За вас, Александр Николаевич. За то, что вы — человек.

— Потому что все понимаете, — объяснила Катя. — А того случая, на который вы... намекаете, здесь, на теплоходе, не будет. Уже не будет, это ясно. И знакомство с таким человеком, как вы, — не менее важный повод. А ты, Лиза, что молчишь? Не согласна?

— Я? — От испуга она немедленно вытаращила глаза и начала по обыкновению краснеть. — Да я... я, наоборот, очень согласна. Только вина не буду, не могу. Ладно?

— Ладно. Всем спасибо, хоть и зря вы это, — великодушно сдался Губин. И выпил до дна.

Катя включила магнитофон.

— Соседей разбудим, — предупредила Лиза, — поздно, ругаться начнут.

— А мы тихонечко, только для настроения, — Катя убавила звук.

Губину вдруг стало хорошо и легко. Раньше так никогда не бывало с малознакомыми. Магнитофон пел на итальянском языке что-то вкрадчивое, пахнущее югом, магнолией, девушки смотрели влюбленными глазами и приходили в восторг от каждой шутки, а он говорил и говорил, нес, что в голову придет, точно брал реванш за прежнее свое одиночное заключение.

...Они ушли в половине первого, убрав со стола и перемыв посуду. Очень благодарили: было так интересно, огромное спасибо, вечер просто замечательный!

Оставшись один, Губин сразу сел писать Маше. Он собирался рассказать ей про сегодняшний вечер, про

Катю, Ирину... И про Лизу тоже. Невезучие они все трое, одинокие. Пока убирали каюту, выяснилось, что Катя никогда не была замужем, но пережила трагическую любовь. Ирина разведенная и жалеет только об одном, что нет детей. «А мужики... Найти порядочного ноль целых, одна тысячная шансов из ста, а какого попало — спасибо, нажглась». Лиза? Та про свою личную жизнь говорить не захотела, ничего, мол, особенного. Зато уже в дверях с загадочным видом сообщила, что Губин, наверное, волшебник. Почему? А потому, что она в этом только что убедилась. И сделала круглые глаза.

...Губин вдруг решил отложить письмо на завтра, а сейчас выйти на палубу и сделать перед сном положенные три круга. Заодно и хмель улетучится, а то голова тяжелая... А неуютно все же в пустой каюте... Нет, не должна была Маша отправлять его одного. Юлькины проблемы можно было решить как-то иначе, а он, Губин, тоже человек, в конце концов! И отпуск у него бывает раз в году!

Он быстрыми шагами двинулся вперед по ходу судна. Палуба была пустой, окна кают — темными, влажный ветер туго упирался в грудь. Несколько огоньков слабо мерцали на высоком берегу, неразличимом в плотной сырой мгле. Поворачивая на нос, Губин встретил Базу с супругой. Обтянутые спортивными костюмами, они бодро шли «гуськом», пузатая жена горделиво тряслась впереди, мелко переставляя короткие ноги в свехимпортных кроссовках, База снисходительно вышагивал следом, отстав шагов на пять. Губин посторонился, давая ему дорогу, и тот вдруг приветственно поднял руку жестом римского кесаря. Присущее ему обычно выражение человека, занятого тем, что выковыривает языком мясо, застрявшее между зубами, внезапно сменилось лихим и заговорщицким.

На левом, подветренном борту Губин увидел Лизу: стояла, вся съезжившись в своем легком белом платье.

— Что это вы полуночничаете?— Губин остановился.

Она, как водится, молчала. Губин чувствовал, надо бы уйти, но почему-то не двигался.

— Они не открывают. Заперлись, и все,— вдруг тихо сказала Лиза.

— Кто не открывает?

— Соседи. Да пускай, я спать несколько не хочу.

— Что значит — «не хочу»?! — вскинулся Губин. — Как так не открывают? Ну-ка, пойдите вместе, живо откроют.

При этом он не двинулся с места. Лиза тоже продолжала стоять, обхватив плечи руками. Чувствуя непонятную злость, Губин повторил:

— Пойдемте. Я им покажу, как... — и, не договорив, решительно зашагал вперед, а Лиза пошла за ним, что-то бормоча про распорядок и отбой, который в двадцать три часа, а сейчас сорок минут второго.

Губин непреклонно шел вперед. Никого не встретив, они спустились в трюм; бесшумно ступая по ковровой дорожке, прошли по коридору и остановились у двери, которую Лиза указала Александру Николаевичу, повторив, что в такое время соседи, наверное, имеют право не открыть.

Он постучал. Тишина. Постучал еще раз — ни звука.

— Вот видите, я ж говорила, — прошептала Лиза. Она стояла совсем близко, касаясь Губина плечом. Не глядя в ее сторону, он громко сказал:

— Отопрут как миленькие. А не отопрут, пойдём к вахтенной, у нее должны быть запасные ключи.

Дверь распахнулась мгновенно, ударил душный запах постелей. Лиза сразу отпрянула от Губина, а на пороге в длинной, совсем прозрачной ночной рубашке возникла Корова. Волосы ее были накручены на бигуди, щеки и лоб жирно блестели, выпученные глаза пылали, и Губину вдруг вспомнилась андерсеновская собака из «Огнива».

— К вахтенной? — прошипела Корова, надвигаясь на Лизу. — Жаловаться! Это значит, порядочным людям отдыхать нельзя, а до двух часов заниматься проституцией можно? У моего мужа — нервы, ему покой нужен. Не пушу. Так и знай, не пушу из принципа! Или являйся к отбою, как положено, или ночуй там, где полночи таскалась. Ясно?! А будешь скандалить, имей в виду, все про тебя расскажу, про моральный облик, как к чужим мужьям в постель, как пионерка, — всегда готова! Прости-господи! И свидетелей найду, не беспокойся! В два часа ночи является, это надо! Спишут тебя на первой же стоянке, я буду не я! И по месту работы...

— Послушайте, как вам не стыдно?! — Наконец

опомнившись, Губин шагнул вперед, заслонив собой Лизу.

— Ах, так они еще и выпивши!— Корова повысила голос.— Молчал бы уж, кобель бессовестный! Получил свое и заглохни! Дедушка... Совести ни грамма! Не пу-
щу, и точка! — и захлопнула дверь.

Растерянный Губин обернулся. Лизы рядом не было — белое платье мелькнуло в конце коридора у лестницы и пропало.

Десять минут спустя, облазив все палубы, он нашел ее на самом верху, на корме. Сидела в шезлонге, поджав ноги.

— Ну вот что,— сказал Александр Николаевич строго,— пошли, разбудим девочек, приютят до утра. В какой они каюте?

— Не знаю,— помедлив, ответила Лиза.— Кажется, в двести двадцать четвертой, а может, в двадцать шестой. Я не была.— Она встала с шезлонга.— Вы только за меня не переживайте, это ерунда все. Подумаешь! Вы... мне так стыдно, что она... из-за меня — такие вам слова... А вы... Я даже не знаю, как вам... благодарна!

— Перестаньте! Глупости!..— оборвал ее Губин.— Давайте лучше думать, как теперь быть.

— Да ерунда, никак не быть! Я и тут могу, а замрзну, пойду в музыкальный салон.

— Не валяйте дурака!— прикрикнул на нее Губин.— Ишь, выдумала. Вы что, не знаете — музыкальный салон на ночь запирают? Вот что, сейчас мы пойдем ко мне, у меня свободный диван, ляжете и выспитесь, а завтра я сам поговорю с капитаном, и вас переведут от этих... ничтожеств. Что вы так смотрите? Ездят же люди в двухместных купе, и ничего страшного.

— Я и не боюсь,— сказала Лиза, продолжая смотреть ему прямо в глаза.

Не произнося больше ни слова, они спустились на третью палубу и подошли к двери губинской каюты. Александр Николаевич вынул ключ, но не смог сразу попасть в скважину, замрз на ветру, пальцы не гнулись.

Когда на другое утро Губин проснулся, Лизы в каюте не было. Постель, аккуратно свернутая, лежала в ногах его дивана,— вчера он постелил ей свежее белье на своем, а сам лег на Машин. Сквозь плотно за-

дернутые шторы всюду светило солнце, часы показывали половину седьмого. Странно — Губин чувствовал себя бодрым, будто мирно проспал целую ночь, а ведь еще в пять часов смотрел на циферблат и подумал, что, наверное, уже не заснет...

На душе, что тоже удивительно, было спокойно. Александр Николаевич лежал, боясь пошевелиться, точно от малейшего движения внутри что-то рухнет — загремит, разваливаясь, причиняя стыд, боль или еще какие-нибудь ранее не испытанные, скверные ощущения. Но все было тихо, только очень не хотелось вставать. Мысли плыли медленно, каждая отдельно, сама по себе. Как облака, идущие друг за другом. Он изменил Маше. Он. Изменил Маше. И — ничего. Ни жгучих угрызений, ни страха. Ничего. Это, выходит, что же? Он — бессовестный подлец? Но и от этих слов ничто в душе не дрогнуло. Ну, не чувствовал он себя подлецом, хоть убейте! А... этого больше никогда не будет. Уже ничего нет, все.

Губин встал и сделал зарядку. Тело было легким, дышалось свободно. И это после бессонной ночи. В пятьдесят-то три года. Вот вам и Губин! Дедушка... гад паршивый. А с Лизой теперь надо так, чтобы она сразу поняла: ничего не произошло. Лиза странная. Вела себя, будто перед ней прекрасный принц, который ее невероятно осчастливил. Смешно: красивая женщина, а точно золушка какая-то. Господи, что она там только не шептала! Стоп. Об этом не надо, нельзя. Было и прошло, к тому же, мало ли что болтают в такой момент. И вообще, в эту сторону проезд закрыт. Ясно? «Кирпич». Да, было и прошло, с кем не бывает, в конце-то концов? И — спокойно. «В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно...» Это еще что за идиотизм?.. Интересно, а как она будет держаться при встрече?..

...Две недели спустя, стоя на палубе и провожая глазами навсегда уплывающий в прошлое северный город Ветров, Александр Николаевич думал, что бывают иногда такие места или события, которые стираются из памяти, почти не оставив следа. Городишко как раз из таких... Вот если бы так же могло навсегда забыться, исчезнуть, как только он вернется домой, все, что до сих пор тянется между ним и Лизой... По его вине тянется! Если бы после «вечера-сюрприза» и той ночи он выполнил свое твердое решение... Но он его нарушил. А нару-

шив, махнул рукой. И... да что себе-то врать? Губин отлично помнил (а хорошо бы забыть!), как волновался следующим вечером, высматривая Лизу на палубе, замерз, а все не уходил, убеждал себя,— мол, гуляет тут исключительно для здоровья, и погода отличная, чего ради торчать в каюте, верно?..

Весь тот день Лиза против его опасений держалась так, будто ровно ничего не случилось. И Губин был этому рад. Они ходили по Костроме все вчетвером, Ирина и Катя справа и слева от Александра Николаевича, Лиза — чуть в стороне. Сразу отстав от экскурсии, шли куда глаза глядят, и Губин с большим красноречием разглагольствовал про быт и нравы губернских городов в прошлом веке. Обойдя старую часть города и музей, Катя с Ириной решительно объявили: теперь-то уж — в магазины! Лиза искоса вопросительно взглянула на Губина, и он сказал, что вернется, пожалуй, на теплоход, хватит, нагулялся.

— Устали?— сочувственно спросила Лиза.

— С какой стати? Просто... нужно.

Губин повернулся и быстро зашагал к пристани. «Устали?» Скажите на милость, какая чуткость. Инвалида нашла. Отойдя метров на двадцать, обернулся. Ирина и Катя дружно удалялись в направлении универмага. С ними Лиза. Молодец! Все поняла и... молодец. Возле почты Губин остановился — хотел было заглянуть, нет ли междугородного автомата, да раздумал: в конце концов, он послал домой телеграмму, Маша должна ответить. Ведь не для того, в самом-то деле, силком выпроводила его в это путешествие, чтобы он каждую стоянку убивал на бесконечное (и бесполезное!) ожидание в очередях!

Старика «из бывших», так он назвал про себя вчерашнего пенсионера, учинившего скандал, Александр Николаевич увидел в парке неподалеку от пристани. Сидя на скамейке, тот внимательно рассматривал памятник Ленину.

Губин хотел пройти мимо, но старик поздоровался, так что пришлось ответить, улыбаться и в конце концов сесть рядом.

— Как вам нравится сей монумент?— спросил старик, показывая на памятник.

— А в чем дело?— не понял Губин.— По-моему, такой же, как везде.

— Ну нет, не как везде. Обратите внимание на пьедестал.

— Начало века, стиль... национально-исторический,— попытался продемонстрировать свою эрудицию Губин.

— То-то и оно, что начало и тем более стиль... А сама фигура?

— Фигура?— Губин задумался.— Примерно двадцатые годы... А вообще, вы правы, тут с пропорциями что-то не то.

— Ага, заметили. Только главное не в этом. Вы, я смотрю, экскурсиями дерзко манкируете, а милейшая дама из местного экскурсионного бюро все нам объяснила. Что, вы думаете, это за постамент? Почему такой? Ну! Смелее!

Губин пожал плечами.

— Теряюсь в догадках.

— Так вот,— старик назидательно поднял длинный бледный палец,— это постамент в стиле русский модерн, или, как выражается моя дочь-художница,—«рашенок», был предназначен для памятника трехсотлетию дома Романовых. А употребили вот сюда. Не пропадать же добру.

— Ничего себе...— только и нашелся Губин.— Какому болвану в голову пришло?

— Вот и я говорю.— Старик сглотнул, полез в карман, вынул трубочку с нитроглицерином и начал сосредоточенно вытряхивать горошинку себе на ладонь.— Полная антихудожественность и кощунство. Памятник-то ведь — кому?!— и замолчал.

— Вам нехорошо?— обеспокоенно спросил Губин, сразу пожалев, что встрял в этот разговор.

— Да. Мне нехорошо. Вы правы.— Старик медленно положил горошинку в рот и спрятал трубочку.— Но не в том смысле, что пора бежать за «скорой». Просто — вообще. И давно. А в частности, вот из-за этой красоты. И других, ей подобных. Установить фигуру основателя рабочего государства на этот монархический шкаф! Ладно, сделали глупость в двадцатые годы, тогда и не то еще вытворяли... Так ведь с тех пор, слава Богу, больше полувека прошло. И хоть бы что! Стоит! Экскурсоводша, так та, по-моему, даже гордится.

— Да... вкус. А сегодня, вы думаете, лучше? Видели, у нас в Ленинграде, памятник Победы? Фигуры...—

осторожно начал Губин. Кто его знает, на что еще может разозлиться этот старикан? Нет, видел его Губин, видел! Только когда? Где?

— Сегодняшняя красота?..— медленно выговорил старик и задумался.— А черт ее знает... Моя вон дочка таких мурлов малюет, страх глядеть, а их на выставки берут, даже за рубеж возили... Впрочем, за рубежом-то как раз это и любят... Да. Наворотили, конечно.— Он опять смотрел на памятник.— Но только и мы, те, что позднее пришли, тоже в долгу не остались. Я, знаете, уж и не рад, что поплыл на этом пароходе,— то лес загубленный, верхушки черные из воды торчат, то целые города затоплены. Читал про все это, конечно, а только читать — одно, а самому видеть...

— А церкви?— подхватил Губин.— Сколько разрушенных, обезглавленных.

— Церкви — ладно.— Старик махнул рукой.— Это уж сейчас модно стало — церкви, иконы. Моя дочка — тоже... А города? Деревень сколько под воду загнали? Это ведь наше дело, я в том смысле, что моего поколения... Нарботали, ничего не скажешь. Но и вы, молодые, не лучше. Вы, если на то пошло, даже хуже! Вы же ни в черта, ни в Бога... Эх-ма... Я вон, старый дурак, воображал: пользу приношу, из кожи лез. Такой уж спец — ого-го! Умри завтра — и вся отрасль станет. Ничего! Дали коленом под зад, и полетел как миленький.

— Вы Ярославцев?— сорвалось у Губина. Уж больно был этот старик похож на замминистра смежной отрасли. Губин видел его раза три на конференциях, толковые делал доклады. А года два назад неожиданно с треском вылетел на пенсию... Сколько же ему лет?

— Что, здорово изменился?— угадал Ярославцев.— А это, знаете ли, от безделья и злости. Я ж теперь как брошенная жена — тем только и живу, что узнаю да выведываю, как он там, бывший муж, подлец. И если у него неудачи — не могу удержаться, радуюсь. Хоть и делаю вид. А от таких скверных эмоций не молодеют. Да.

А Губин уже вспомнил историю этого Ярославцева, о нем много говорили в свое время. Когда-то был он начальником главка в одном весьма серьезном и привилегированном министерстве. Про Ярославцева знали: мужик крутой, грубый. Спуску — никому. Но если надо,

сумеет защитить. И «наверху» с ним считались, а потому и лауреат, и куча орденов, словом, все что положено. И вот... года три назад это было?.. или раньше?—спрашивать сейчас не стоит,— Ярославцева переводят в другую отрасль с повышением: замминистра. Отрасль, всем известно, важнейшая, и не для каких-то конкретных заказчиков — для всей промышленности. Ну, а когда для всех — получается, что ни для кого. В результате вот уже лет двадцать развалена вдрызг. Жалели тогда Ярославцева, а кто и ругал: дурак, ради карьеры полез к черту в зубы. В общем, как там было, никто толком не знал, только вскоре Ярославцева сняли. Шумно, сплетни пошли: будто вызывали его «наверх», «на ковер», стали фитили вставлять, он: «Что же это? Вы нашу отрасль двадцать лет общими усилиями разваливали, а я за три года должен поднять? Нереально!» Ну, а дальше как положено: он заявление на стол, а начальство: «Не возражаю!» И конец. Губин считал — зря, такими руководителями не разбрасываются, а с другой стороны — возраст... Но ведь молодого, нового тоже пока вырастишь, сколько времени пройдет... А этот был еще крепкий, железо-мужик.

Надо было идти на теплоход, а то в голову полезут всякие вредные сейчас мысли. О собственной работе, например. У Губина было заведено: в отпуске отключаться полностью... Да и не только в отпуске. Раньше, еще лет пять назад, придя с работы, не мог выбросить из головы то, чем занимался весь день. Теперь дома у него находились другие занятия и поводы для волнений и раздумий. И как раз они-то с годами постепенно делались все более и более важными.

Губин взглянул на часы и поднялся.

— Пора. Пойдемте, Константин Андреевич, а то опоздаем, придется вплавь теплоход догонять.

Ярославцев встал, и они молча зашагали по аллее.

— Зря я, наверное, на нашу звонкую даму так вчера набросился,— задумчиво проговорил Ярославцев, когда уже подходили к пристани.— Психом становлюсь. Ну, подумашь, сказала «был». Она ведь не со зла, так, сдуру. А я и вправду «был», если уж на то пошло. Только вот чем? Два года голову ломаю, все понять не могу... Ну, честь имею. Будет желание, заходите, потолкуем. Я в одноместной. Номер четыреста пять. Верно, заходите, буду рад.

Письмо Маше так и не получилось. Губин принялся было подробно описывать «Вечер-сюрприз», но вскоре бросил, выходило тускло, как протокол совещания. Тогда он пошел в сувенирный киоск и приобрел набор ярких открыток с золотой фирменной надписью «Реч-флот». У киоска опять встретил Ярославцева, тот купал пасьянсные карты.

Вернувшись к себе, Губин сел на диван и стал глядеть в окно на волжский берег. До обеда оставалось еще целых полчаса. Интересно, что она сейчас делает?.. Господи, да какое ему дело до этого? Кто она ему? Посторонняя женщина, случайно оказавшаяся за одним с ним столиком; а то, что было вчера,— обычное отпусковое приключение. «Случилось по пьянке»— так, кажется, принято говорить? И... она, конечно, тоже только так все восприняла, попросту. Довольно. Хватит о ней. Она — человек совершенно другого мира и пусть в нем остается.

За обедом и ужином Лиза вела себя как обычно: молча съедала все, что подавали, и, вставая, традиционно прощалась. Когда она ушла, окончив ужин, Катя сказала, что они с Ириной только что были у начальника маршрута, просили перевести Лизу в другую каюту, но без толку.

— А?— Губин вздрогнул. Он не сразу понял, о чем речь,— смотрел вслед Лизе и вдруг отчетливо представил себе ее лицо, каким оно было сегодня под утро.

— Они говорят,— продолжала Катя,— сейчас уже ничего нельзя сделать, свободных мест нет, надо было сказать сразу, потому что вообще-то они стараются не подселять посторонних к семейной паре.

— Интересно, а как же, если трехместная каюта?— спросила Ирина. Они с Катей начали о чем-то спорить. Губин опять не слушал. Ему хотелось встать и выйти на палубу. Любопытно, ушла Лиза к себе или...

За столом замолчали. Катя вопросительно смотрела на Губина, видимо, задала ему какой-то вопрос.

— А с соседями у Лизы по-прежнему? Не наладилось?— спросил он.

— Что вы! Они, козлищи-то, ее просто по стене размазывают. Вчера поздно пришла — скандал, пускать не хотели. Корова чуть не в драку. Надо что-то делать. Мы уж думали попросить кого-нибудь из другой каюты по-

меняться, так к ним же никто не идет, представляете? Знают уже, как облупленных: Корова тут из-за «титана» чуть вахтенную не излупила, та обогрев раньше на пять минут выключила.

— Ну, и что вы решили?

— Начнут опять выступать, возьмем Лизу к себе. Попросим раскладушку, тут дали некоторым, кто с детьми. А что сделаешь? Правда, Ира?

Губин шел не по коридору, а палубой, рассудив, что надо на сто процентов пользоваться хорошей погодой. Вообще-то пора было спать, поздно и холодно. Вот только еще один круг, последний... И еще по верхней палубе...

Лиза сидела там же, где вчера: на корме. На этот раз на ней была пушистая вязаная кофточка, волосы повязаны легкой косынкой. Губину она радостно сообщила, что спать совершенно не хочет, решила сидеть здесь до утра.

— Посмотрите, какие звезды. Все-таки чувствуется, что мы плывем на юг, верно? И теплее, и небо такое... как бархат.

Сейчас, когда они были одни, Лиза вела себя совершенно иначе, чем днем. Губин молчал, пораженный ее внезапной речистостью и тем, как она смотрит на него, вся подавшись вперед.

— Мои-то соседи,— говорила она, улыбаясь,— весь день тихие, как мыши. Злятся, а сами помалкивают. Но я... мне все равно противно с ними рядом. Главное, с ней — за то, что она посмела с вами... вот так... Нет, вы не думайте, я не из-за них спать не иду, просто...

Тут Лиза запнулась, а потом посмотрела Губину прямо в глаза и сказала, что сегодня самый счастливый день в ее жизни и ей даже минуточку на сон жалко потратить.

— Какой же сейчас день? Ночь давно, скоро двенадцать,— неуверенно улыбнулся Губин. Ему очень хотелось дотронуться до пушистого рукава Лизиной кофточки.

— Ночь, день... мне теперь без разницы...— Она на мгновение прижалась лицом к руке Губина.

Эту ночь Лиза тоже провела у него, а назавтра Александр Николаевич настоял, чтобы она перенесла свои вещи в его каюту.

— Невозможно так. Соседи тебя на весь теплоход ославят, а уйдешь, будут только рады. А потому любезны и молчаливы.

(...Насчет любезности он попал пальцем в небо — после того, как Лиза ушла от них, Козел с Коровай не просто перестали с ней здороваться, а, встречаясь, меряли гневно-брезгливыми взглядами. Правда, молчали...)

Пока Лиза ходила за вещами, Губин договорился с вахтенной, немолодой мосластой теткой с лицом выпивохи, — мол, к нему в каюту перебирается из трюма родственница, ей там неудобно, а у него пусто место.

— Все будет в о'кее, — деловито кивнула вахтенная, пряча в кармане четвертную бумажку. — Главное, не переживайте, а девок я сама предупрежу.

«Девки» — это были, конечно, ее сменщицы, две совсем молоденькие девочки, к ним Губин, пожалуй, не рискнул бы обратиться с подобной просьбой. А для этой различные «родственницы» явно были делом привычным и доходным.

Появилась Лиза с чемоданом и сумкой, робко вошла, постучавшись, и сообщила, что Корова напоследок обозвала ее по-матерному. Ну и ладно, пусть завидует.

— Кто завидует? — удивился Губин.

— Она, кто ж еще? У самой — такое сокровище. — Лиза выпучила глаза и затрясла головой.

«А она, похоже, в самом деле счастлива, воображает, что я Бог вещь какой подарок», — подумал Губин. На мгновение ему сделалось зябко от мысли, что вся эта история может впоследствии оказаться чем-то громоздким и тягостным...

В Горьком, сразу как причалили, Губин получил телеграмму. Выяснилось, что оболтусы забыли вовремя заплатить за телефон, и его отключили. «Включат восемнадцатого, — сообщала Маша, — не волнуйся отдыхай веселись нас все порядке Юля выписывается понедельник».

Перечитав телеграмму, Александр Николаевич испытал громадное облегчение: «У них хорошо, и у меня хорошо, и это никому не в ущерб, и я всех люблю, даже больше, чем раньше». Почему «больше», он додумывать

не стал, пора было идти на берег, Лиза уже нарядилась в свое белое платье с вышивкой — с тех пор, как Александр Николаевич тогда, в баре, похвалил это платье, она носила его постоянно.

Да... Жизнь на теплоходе казалась теперь как бы... не совсем настоящей, что ли. Точно Губин вдруг перенесся из своего ленинградского дома на страницы романа, который читал, сидя в кресле, пока Маша готовит ужин. Перенесся, слился на время с главным героем, участвует в каких-то невероятных событиях. А кончится книга, и он спокойненько пойдет себе на кухню пить чай, не имея больше никакого отношения к тем персонажам, что остались на бумаге...

Было бездумно и легко. Весь день они с Лизой бродили по городу. Александр Николаевич прекрасно знал Горький, не раз бывал здесь в командировках, и теперь с удовольствием показывал ей центр: Свердловку — главную улицу со старинными купеческими домами, Кремль, где в маленьком кафе они пили горячий шоколад, а главное, вид на Заволжье со знаменитого Откоса. Потом они отправились к домику Каширина, и Губин в подробностях изложил Лизе все, что знал о жизни Алеши Пешкова в Нижнем. Из какого-то Лизиного замечания понял, что ей об этом кое-что известно, и удивился: до сих пор молчала, дичилась и оттого производила впечатление деревенской дурочки, впервые приведенной на салют, сплошные «ахи» да «охи». Нарядная, в туфлях на высоких каблуках, от которых, как потом выяснилось, у нее болят ноги, ходила рядом, тихо светясь, и поражалась: Откос такой высокий, Кремль такой старинный, а шоколад такой вкусный.

Так оно и пошло день за днем, ночь за ночью. Лиза оставалась тихой и неразговорчивой, вечерами уютно вязала, а Губин мог сколько угодно отсутствовать, играл на палубе в шахматы с Ярославцевым, вел с ним длинные беседы, в сумерках прогуливался от кормы до носа. Зато возвращаться в каюту теперь было приятно: бросив спицы, Лиза бежала за кипятком, заваривала чай, накрывала на стол. Потом долго сидели друг против друга, неторопливо перебрасывались словами. Потом обычно возникала пауза. Тогда Губин поднимался и пересаживался к Лизе...

На стоянках они всегда ходили вдвоем, решительно отказавшись от экскурсий. Толпа есть толпа, — объяснил Губин. С обязанностями гида он вполне справлял-

ся, помогли еще весной купленные Машей проспекты и путеводители. Лиза чинно выступала рядом, послушно смотрела в указанную сторону. На традиционный вопрос, понравился ли ей город, неизбежно отвечала, что очень! Оч-чень! И — кто ее знает? — говорилось это вроде искренно.

Губин удивлялся, что Лиза совсем не читает. Вяжет или просто сидит, глядя на него. Вот что оказалось неожиданно трудным, так это специально изобретать темы для разговоров! Рассказывать о себе она явно не хотела, и хорошо: ее прошлая жизнь, равно как и будущая, Губина не касалась. Не должна была касаться. Не должна!

В Казани решили в виде исключения пойти на экскурсию. Во-первых, город далеко от пристани, неизвестно, как добраться самим, а экскурсию везли на автобусе, во-вторых, Губин никогда здесь не бывал, а сведения в путеводителе оказались скудными. Словом, поехали. И вот, стоя посреди Кремля и внимая маленькой, верткой и очень зычной экскурсоводше, Александр Николаевич услышал, что именно здесь, в Казани, «происходило долгожданное воссоединение русских князей и братской орды с помощью войск Ивана Грозного» (?!).

— Блестяще,— вполголоса сказал он Лизе, стоящей рядом.

— Что?— Она ответила ясным взглядом.

— Так. Ничего.— Губин высвободил руку и отошел. И Лиза, конечно, экскурсовода больше не слушала, кидала на Губина тревожные взгляды и по дороге к автобусу попросила:

— Давай уйдем? Походим сами. Ты мне расскажешь... А потом — в универмаг...

— Вот и прекрасно,— тотчас перебил ее Губин,— иди в универмаг. Встретимся на теплоходе. Найдешь дорогу?

— А может, лучше по городу? Я, в крайнем случае, могу и без магазинов, я — просто так, мне даже лучше...— испугалась Лиза.

— Никаких крайних случаев. Не хватало еще, чтобы я лишал тебя удовольствий. Запомни: никто никого не должен обременять. Тебе нужно что-то купить? Иди и покупай на здоровье, а я магазины терпеть не могу, хочу пройтись. Все довольны, никто никому не мешает. Так?

— Так,— сказала она упавшим голосом. И покорно ушла по своим делам, а Губин — куда глаза глядят. На теплоход он вернулся первым, но не успел даже переодеться, как появилась запыхавшаяся Лиза, точно следом бежала. Губин взял у нее из рук сумку, а ей протянул букет красных роз.

— Это — мне?!— Лиза даже попятилась. Вид у нее был потрясенный.

— Тебе, тебе.— Он рассмеялся.— Кому же еще?

Весь этот день она ходила торжественная. С очень серьезным лицом.

Губин не выполнил данное себе обещание писать домой ежедневно. Начинать и откладывал, хотя стоило ему достать ручку и открытки, Лиза обычно старалась уйти, тут же выдумав какое-нибудь дело: «Надо к девочкам, Ира просила показать, как вывязывают манжеты». Но Губин знал: с того дня, как Лиза перешла в его каюту, отношения с Катей и Ириной у нее разладились. За столом, конечно, был полный политес, но Губин несколько раз исподволь замечал, как Ирина поглядывает на Лизу — безо всякой симпатии. Нет, писать домой он не мог совсем не потому, что Лиза в данный момент находилась рядом, а потому, что она вообще присутствовала в его жизни. Начав описывать здешнюю свою жизнь, прогулки, впечатления, он моментально чувствовал фальшь. И однажды с ужасом представил себе, как, вернувшись домой, будет подробно рассказывать о поездке. Подробно, день за днем, как делал всегда, приезжая из командировок. Он увидел: утро, накрытый по случаю его возвращения праздничный стол, пироги, черный кофе, такой, какой умеет варить только Маша. Солнце заливает кухню, поблескивает розовый кафель стен, медная посуда на полках... И вдруг понял, почему в его воображении все время возникают еда, кастрюли, клетчатые занавески, блестящий, вымытый накануне пол... Он все время отдалает, откладывает тот момент, когда увидит Машино лицо. И сразу увидел ее, сидящую напротив за столом — внимательную, ждущую, когда он начнет говорить, заранее радующуюся тому, что ему было хорошо и интересно. И ведь сколько всего он смог бы ей рассказать, только ей — уж она-то все поймет и увидит его глазами... Скорей бы Пермь, там теплоход стоит двое

суток, и Губин обязательно дозвонится домой, а тогда и открыток не надо.

Теплоход уже двигался по Каме, погода держалась отличная, и Александр Николаевич часами простаивал у борта с биноклем. Над рекой поднимались высокие лесистые берега с красными обрывами, на воде, как поплавки, покачивались разноцветные надувные лодки с застывшими в них рыболовами. На рыболовов Губин смотрел с завистью, хотелось немедленно сойти с теплохода и остаться здесь, поселившись в одной из палаток, прилепившихся внизу у самой воды. «Зеленые стоянки» — два-три часа на природе — вызывали у него довольно странное ощущение, будто все эти красоты — тропинка, с одной стороны которой поле, а с другой — высокий, светлый лес, или старинный городок с домами в резных наличниках, — будто все это не для тебя, и ты вовсе не идешь узкой деревенской улицей (совершенно пустой, только древняя старуха, укутанная в платки, безмолвно греется на солнце, сидя возле вросших в землю ворот, да огненный петух что-то клюет в лопухах), ты не идешь здесь, а смотришь на все это со стороны. Как в музее, где на каждом экспонате табличка — «не трогать», а сзади уже напирает новая группа: проходи дальше, к следующему стенду. Это было грустное чувство непрерывного расставания, и однажды Губин поделился своими ощущениями с Лизой. Та, как всегда, поспешно закивала. В общем-то, это был дохлый номер — обсуждать с ней такие вещи, ведь теперь, ко всему прочему, стало очевидно, что природа и старина на нее не действуют. Ходила скучная, только потому и ходила, чтобы не сидеть одной на теплоходе. Зато доставить ей удовольствие в больших городах не составляло труда: провел по главной улице мимо витрин, дал зайти в два-три магазина, а потом еще пригласил в кафе-стекляшку, накормил пирожным — и полный восторг, блестящие глаза, счастлива, как Золушка во дворце. Но самую большую радость Лиза получала, кажется, в теплоходном баре. Особенно днем, когда там пусто, поскольку все загорают на верхней палубе, и бармен поэтому особенно любезен и услужлив. Играет тихая музыка, желтые шелковые занавески золотятся от солнца, а Лиза сидит в плюшевом кресле и с трогательной важностью тянет через соломинку

парфюмерный коктейль. В такие минуты хорошо и Губину. Потому что — можно молчать, смотреть на нее и думать о своем.

Они до сих пор почти ничего не знали об оставшейся где-то жизни друг друга. Вели себя так, будто провели в этом путешествии много лет и длиться оно будет еще долго-долго, до самой смерти. Вход как в прошлое, так и в будущее был закрыт, и слава Богу. А достигнуть этого оказалось просто — пару раз Губин промолчал в ответ на бестактные, с его точки зрения, вопросы, сам никогда не интересовался тем, что его не касалось, — и Лиза поняла. Известно ему о ней было следующее: ей тридцать лет, живет с матерью и бабушкой, есть (где-то) старший брат и младшая сестра. Кончила педагогический техникум, но работает в котельной на домостроительном комбинате, там зарплата выше. Все.

...Нет, за многое Губин был Лизе, безусловно, благодарен, за ненавязчивость и врожденный такт, за то, что трогательно старалась угадать каждое его желание... ну, и за то, что днем и ночью вела себя так, будто он, старый мужик, дарит ей невероятное счастье. А это... всегда лестно, чего уж!

А еще он был ей благодарен за то, что никогда не говорила о чувствах, хотя он-то понимал: влюбилась. И даже, не исключено, воображает, будто это ее первая и последняя Настоящая Любовь, посланная Судьбой. «Я знаю, ты мне послан Богом...» Так уже рассуждала одна провинциальная барышня, имея в виду пижона, случайно заехавшего к ней в деревню. Заехал бы другой, картина была бы аналогичной...

Стоянка в небольшом городе на Каме неподалеку от Набережных Челнов предполагалась короткой, всего три часа. И Губин чуть не силой выпроводил Лизу на экскурсию.

— Сходишь в музей и по магазинам успеешь пробежаться, я что-то не в форме, полежу в каюте, а там видно будет. Может, и выползу. В парк, на скамеечку. Вон там, видишь? По-моему, это парк, качели-карусели, а дальше деревья. Видишь?.. Охо-хо, старость — не радость. Ну, ладно-ладно, не буду...

Опрометчивое заявление, что Губин «не в форме», было воспринято Лизой соответственно: во-первых, на экскурсии ей делать нечего, во-вторых, она ни за что не оставит его одного и сейчас же сбегает в медпункт за врачом, в-третьих...

Тут Губин довольно жестко сказал, что хочет только одного — покоя. По-ко-я! Понимаешь? Лечь и заснуть. И чтобы никто не вздыхал у изголовья и не менял на лбу мокрые полотенца. А если желаешь доставить мне удовольствие, купи где-нибудь малины. (Теперь-то, уж точно, побежит на рынок.)

Услышав про малину, Лиза сразу засобиралась. «Но только ни в какие музеи, а на базар и еще в универмаг... на минуточку. И сразу — к тебе».

— Не раньше, чем через два часа,— предупредил Губин, ложась на диван.— Все. Гуд бай,— и отвернулся к стене.

Он действительно чувствовал с утра какую-то слабость, но главное, настроение было скверным, не хотелось никого видеть и уж тем более болтать. Может, подскочило давление? Устал вчера в Набережных Челнах. Он принял лекарство, закрыл глаза и приготовился было спать. Но только дверь за Лизой закрылась, вдруг понял, что сна, как говорится, ни в одном глазу. И вообще, пожалуй, стоит не спеша одеться, выйти на берег и побродить, в кои веки не выполняя обязанностей гида, воспитателя и галантного кавалера. Иди себе куда хочешь и не напрягайся, не думай, как бы это не брякнуть чего обидного или, наоборот, не преподнести машинально комплимента, который тут же будет встречен как доказательство Большого и Сильного Чувства. Он не раз уже замечал, с какой нелепой серьезностью Лиза реагирует на каждый сказанный им пустяк. Сказал сдуру как-то, что у нее куриная походка, аж побледнела, но промолчала, а потом, дня через два, жалобно спросила, как же ей ходить, чтобы было красиво, она думала-думала и не понимает. Похвалил белое платье — теперь носит его, не снимая, каждый вечер стирает, вешает над кондиционером, а утром поднимается ни свет ни заря, чтобы выгладить. Все это, разумеется, трогательно, только чересчур...

Увидев в окно, что автобусы с туристами-оптимистами тронулись, Губин вышел на пустой причал. Влево, в парк, уходила дорожка, в конце ее Александр Николаевич заметил удаляющуюся сутулую спину и узнал Ярославцева. Бог с ним. Губин пошел прямо и очень скоро оказался на улице, ведущей, судя по всему, в центр. И он зашагал к центру в отличном настроении, засунув руки в карманы и никуда не торопясь. Солнце довольно высоко стояло в небе, но не жгло, да

и улица была тенистой, вдоль тротуара — молодые деревья, недавно, видать, посажены. И дома тоже новые, не монотонно-унылые, как это обычно бывает, а какие-то веселые, чистые, а между ними — зеленые дворы. Сколько, интересно, лет этому симпатичному городу? Не больше двадцати, совершенно очевидно. Губин усмехнулся: а ведь все здесь моложе его — и деревья, и эти дома. И жители. Нет, верно! Он же не встретил еще ни одного своего ровесника, не говоря уж о стариках, а идет по этой улице минут десять.

Улица вывела его к набережной, тоже совсем новенькой, буквально «с иголочки», но по-столичному нарядной, с гранитным парапетом, фонарями «под старину» и только что высаженными хлыстиками-деревцами. Многие деревья посажены были халтурно, кое-как, вон одно уже валяется на боку корнями наружу, и листья начали вянуть. Губин подошел, поднял деревце, поставил и руками, как сумел, утрамбовал землю вокруг. Смешно, почему-то он чувствовал себя единственным взрослым в этом городе, а потому как бы ответственным за все, что творится. На другой стороне Камы, делающей здесь изгиб, стоял глухой серьезный лес, настоящая тайга. Губин вдруг подумал, а что, если бросить все да и перебраться сюда? Насовсем. Взять и начать новую жизнь? Наверняка тут имеется какое-нибудь предприятие, где-то ведь они должны работать, эти мальчишки и девчонки, что так по-хозяйски расхаживают по улицам и валяют дурака на воскреснике по озеленению набережной. Главного инженера одного из крупных ленинградских заводов здесь оторвут с руками, могут и директором поставить. А директор единственного предприятия в таком городке — это ого-го! Персона. Главный человек! Он бы им показал, паршивцам, как надо деревья сажать!.. Горисполком даст квартиру, а пока хорошо и в гостинице. Интересно, где у них тут гостиница?.. С продуктами, правда, как везде, то есть плохо... Наладим и это — во всяком случае, те, кто работает на заводе, должны получать заказы, как в Тольятти. Ну, и подсобное хозяйство — свято дело... Губин вошел во вкус, играя в эту игру. И вдруг понял, что, представляя будущую здешнюю жизнь, все время видит рядом с собой... Лизу! Этого только не хватало, доигрался, старый дурак...

Губин пошел быстрее, уже не глядя по сторонам и нарочно думая о том, как он, если бы действительно

пришлось, стал жить в этом городе с Машей, вообще — со всей семьей, с Юлькой, Женечкой, Юрой. Так и только так.

Парадная набережная тем временем кончилась, и тротуар превратился в обыкновенную тропинку, петляющую вдоль высокого обрывистого берега. Здесь вразброд росли старые сосны, сохранившиеся с тех (недавних) времен, когда никакого города не было и к берегу подступал лес с медведями. Тропинка вильнула влево и через поляну (самое место для стадиона!) вывела Губина на небольшую площадь с квадратным газоном посредине. На газоне, видимо, предполагалось построить фонтан — сбоку лежали стальные трубы, громоздились каменные глыбы. А в самом центре стояли синие «Жигули». И тут Губин впервые увидел представителей старшего поколения: вокруг машины размашисто ходил с косою худой высокий старик в ковбойке. Уверенными, точными движениями он обкашивал газон, а рядом суетилась маленькая, круглая старушонка, воровато собирая в подол срезанную траву, которую затем относила в багажник машины. Заднее сиденье было уже забито травой доверху.

Губин остановился, разглядывая стариков, те сразу заволновались; дед прекратил косьбу, старуха подошла к нему, и они стали тихо совещаться, то и дело поглядывая на «начальство».

«Видимо, я уже вполне вошел в роль хозяина города, раз мое внимание так их напугало,— подумал Губин и двинулся дальше.— ...Зачем, интересно, им сено? Козу держат?»

Напротив газона Губин увидел здание почты и, почему-то страшно обрадовавшись, направился туда. Заказывать Ленинград не было времени — до отплытия меньше часа, и он решил прямо здесь написать домой. И написал на двух открытках с продолжением, как бродил по этому городу, где им вскоре, вероятно, предстоит жить, как почти снял квартиру «со всеми удобствами, даже коза своя, молоко — само здоровье». Писать было легко и весело.

На улицу он вышел улыбаясь. Тело казалось пружинистым, легким, голова ясной. Разнылся утром, перепугал несчастную Лизу, а всего-то и нужно было — побыть два часа одному.

У пристани продавали гладиолусы. Губин, помешкав, все же купил один белый и два темно-красных, почти черных.

К трапу он подошел, когда объявили, что до отправления пятнадцать минут. Можно было еще пройти вдоль берега, и, повернувшись, Губин не спеша двинулся по направлению к парку, у входа в который вращалось под музыку непременно «колесо обозрения». Медленно и как-то нерешительно, точно вот-вот остановится, тащило оно вверх свои пустые кабины. И только в одной, как раз приближавшейся к самой верхней точке, сидел человек. Вглядевшись, удивленный Губин узнал Ярославцева. Старик поднимался все выше и выше над деревьями парка, точно возносился в небо.

— До отправления теплохода осталось десять минут. Через десять минут теплоход отойдет в рейс,— сварливо напомнил знакомый голос радиста. Мимо Губина торопливо прошли Ирина с Катей и двое парней из команды, все четверо потные, красные, один из парней с волейбольным мячом под мышкой.

— Александр Николаевич, идемте, опоздаете!— крикнула Ирина. Голос был распевно-игривым, вообще он заметил, что последние дни она откровенно кокетничает. И сейчас смотрела многозначительно, будто не на теплоход звала, а на свидание.

— Я скоро,— откликнулся Губин, не сводя глаз с кабины, где сидел Ярославцев. Миновав апогей, кабина начала спуск — Константин Андреевич недовольно возвращался с небес на бренную землю. «А ну как застрянет?— с беспокойством думал Губин.— Кой черт его туда понес, старого хрена?»

Он дождался Ярославцева, подхватил под руку и, не слушая бормотания насчет потрясающих видов с высоты птичьего полета, непреклонно поволок к трапу. На теплоход они ступили в последнюю минуту, оба запыхались, ничего вокруг не видели, так что Губин прошел мимо Лизы, чуть не задев ее локтем. Уже у самой двери каюты услышал сзади всхлипывания, обернулся и увидел ее: распухшее лицо с красным носом и темными, искусанными губами, тушь с ресниц размазана, на щеках — грязные полосы. Лиза не говорила ни слова и мелко тряслась всем телом, прижимая к груди сцепленные руки. Губин открыл дверь, шагнул в каюту и остолбенел при виде рассыпанной, растоптанной ма-

лины, каких-то пакетов на диванах, сорванной занавески и брошенного комком мокрого, перепачканного губной помадой полотенца. Он молча сел на диван. А Лиза сразу скрылась в душе и включила там воду. Черт ее знает, зачем! Может, чтобы заглушить рыдания?

Появилась она минут через пять, чисто умытая, побледневшая, как-то сразу похудевшая, с виноватой улыбкой. Села напротив и убито посмотрела на Губина.

— Я тебя очень внимательно слушаю,— отчетливо произнес он.

Лиза сказала, что вернулась часа полтора назад, не нашла его в каюте и испугалась.

— Чего же?— поинтересовался Губин.

— Ну... ты... вы ведь сказали... плохо себя чувствовали...— глядя в пол, еле слышно бормотала она.— Я беспокоилась... Сбегала в медпункт.

— Зачем?

— Хотела узнать... Мало ли... А там сказали: никто не приходил... и не вызывали, и я... Тогда я пошла. В парк... я думала... ты же... сказали, будете там отдыхать. На скамеечке. Я все обегала, каждую... каждую... дорожку.— Она всхлипнула. Губин приподнял брови, и взгляд ее стал совсем несчастным.— Я так боялась, думала — все... все... не могла больше ждать... и попросила...

— Кого попросила? О чем?

— Дежурную... там... на вахте. Чтобы позвонить. В милицию...

— Вы полагали с этой дежурной, что меня забрали в вытрезвитель?— учтиво осведомился Губин.

Как и следовало ожидать, Лиза опять разревелась. Закрыла лицо руками и бросилась в душ. Да... это, конечно, настоящая трагедия. Не отпросившись, позволил себе один раз прогуляться без нее. Где хотел и сколько хотел. Допустим, у нее даже были некоторые основания волноваться, допустим! Но права на пошлейшую истерику, на беготню в чудовищном виде по теплоходу, на звонки в милицию — в милицию, черт побери!— ни это, ни что угодно другое ей не дает. Надо трезво отдать себе отчет: в результате ее слабоумной деятельности он, Губин, стал теперь на теплоходе притчей во языцех, до конца рейса на него будут жадно глазеть и показывать пальцами. И все подробности станут передаваться из уст в уста, обмусоливаться, обрастать тут же сочинен-

ными подробностями. Как же! Вон идет! Тот самый тип, которого с собаками по вытрезвителям искали. Кто искал? Любовница. А ка-ак же! Она у него в каюте живет. Представляете? А дома — жена. И внук есть, сам на вечере говорил... И пошло-поехало... А теперь представим себе, что на этом теплоходе путешествует некая особа, чей муж является родным братом другой особы, работающей, скажем, в Машинной клинике или... Да если даже ничего подобного и не произойдет, все равно обречен оставшиеся дни непрерывно чувствовать липкие взгляды. Тут уж правильнее всего сойти с теплохода на первой же стоянке и отправиться домой.

Все эти соображения он изложил Лизе, когда та вернулась из душа. Она пыталась оправдываться, дескать, очень испугалась, была уверена, что с ним что-то страшное, а это... это для нее... смерть.

— Я еще боялась, что вы обиделись. Вы больны, а я в город, и вы подумали, что я... мне безразлично...

Тут Губин перебил ее, сказав, что вот этого она боялась совершенно напрасно: он о ней вообще не думал.

Губы ее задрожали, но она закусилась их и сдержалась. И тогда Александр Николаевич, которому совсем не хотелось, чтобы все началось сначала, уже более мягким тоном добавил, что, конечно, и сам виноват: не надо было жаловаться на здоровье. Да, он виноват, и тем не менее умоляет ее, как об одолжении, в будущем избавить его от истерик, они ему нож острый. Хорошо?

— Да! Да! Я понимаю! Больше никогда! Я обещаю!— Лиза с энтузиазмом бросилась убирать каюту, а Губин в знак примирения поставил в вазу гладиолусы, которые до того лежали забытые на диване.

Увидев букет, Лиза мгновенно расцвела, щеки ее из серых сделались розовыми, и, поминутно заглядывая Губину в глаза, она принялась рассказывать ему, что видела в городе. Он смотрел на нее и думал, как все-таки женщина утрачивает привлекательность, когда вот так демонстрирует свои чувства. Унижаться нельзя ни при каких обстоятельствах, как они не понимают! При этом он, разумеется, терпеливо слушал, что город — ничего особенного, снабжение как везде, масло по талонам, о мясе вообще забыли, как выглядит, из промтоваров тоже нечего смотреть. Правда, «Детский мир» — более-менее, она там купила... кое-что для сына подруги.

— А еще я была в трикотажном...— сказала Лиза почему-то загадочно, и Александр Николаевич с ужасом подумал, уж не приобрела ли она ему в подарок какую-нибудь особо прекрасную футболку с портретом Михаила Боярского на груди.

— Это одна вещь,— продолжала Лиза,— она для меня, но и... для тебя...

— И что же это за таинственная вещь?

— Сейчас покажу.

Взяв с дивана один из пакетов, она опять исчезла в душе и через некоторое время появилась; медленно вошла в своих туфлях на каблучищах, с накрашенными глазами и подведенными ресницами, в локонах, разложенных по плечам. Остановилась перед Губиным и стала поворачиваться то одним, то другим боком, демонстрируя жемчужно-серый пеньюар с кружевами и оборочками. Совершенно прозрачный.

Не обращая внимания на открытое окно, за которым шла интенсивная палубная жизнь, Лиза изящно села напротив Губина, по-заграничному закинув ногу на ногу. Он встал и торопливо задернул шторы.

— Тебе не нравится? Мне не идет?— жалобно спросила Лиза.

— Идет.— Вздохнув, Губин сел с ней рядом.— Очень даже идет, не вздумай опять зареветь.

На рассвете следующего дня теплоход был уже в Перми. Проснувшись и отдернув занавеску, Губин увидел здание речного вокзала, толпу на причале, будничную толпу пассажиров, для которых теплоходы не развлечение, а просто водный транспорт. Одеты эти люди были в плащи и куртки, многие с зонтами. Дождь. И похоже, что холодно.

Лизы в каюте не было. Ушла, по обыкновению, в гладилку со своим белым платьем. Сказать бы ей, что ему совершенно безразлично, как она одета, и разом избавить от этой каждодневной заботы. Попробуй скажи, опять начнется... И ему опять станет жалко, а жалость, как гласит прогрессивная литература, унижает. Вот только неясно, кого. В некоторых случаях, судя по всему, как раз того, кто пожалел, потому что в его жалости есть что-то вроде обмана...

Губин услышал, как открылась и закрылась дверь, раздалась тихие шаги. Боясь его разбудить, Лиза шла на цыпочках. Он зажмурил глаза, но тут взревело радио, скликая народ на завтрак, после которого состоит-

ся пешеходная экскурсия по городу. Посещение же знаменитой Кунгурской пещеры будет завтра, хы.

Увидев, что Губин проснулся и собирается вставать, Лиза сообщила: погода — ужас, так что ему надо обязательно надеть что-нибудь теплое. В ответ Губин велел ей идти завтракать, а он соберется и догонит. Помявшись, она ушла, не посмела послушаться, а он, нарочно не торопясь, побрился, оделся и направился в ресторан, испытывая облегчение от того, что идет по теплоходу один.

У трапа собралось изрядное количество народа — пока завтракали, ударил ливень, и никто не решался сойти на берег. Лиза сказала, что надо бы подождать, но толочься с ней в этой толпе Губину вовсе не улыбалось, и, выставив вперед правое плечо, он начал пробираться к выходу. Лиза шла следом, для чего-то вцепившись ему в рукав.

А дождь казался безнадежным только с теплохода. Раскрыв зонты, Александр Николаевич с Лизой двигались вдоль пристани, где шла энергичная жизнь, причаливали и отчаливали катера, что-то взреывало и тархтело, озабоченные люди с сумками, рюкзаками и чемоданами валили на посадку. По трапу провели на «Метеор» крупную лайку на прямых высоких ногах, она шла рядом с хозяином спокойно и деловито, видно было — в том, что происходит, для нее нет ничего необычного. Дикторша местного радиоузла по-уральски распевно призывала покупать билеты до пункта под названием Трухинята.

Перед Губиным лежали два длинных дня в этом большом незнакомом городе. А потом, слава Богу, начнется обратный путь. Он упрямо молчал, понимая: Лиза ждет, когда он приступит к обязанностям экскурсовода. Они вышли на набережную и зашагали мимо чванливых старинных домов, где жили когда-то богатейшие в России уральские купцы... Да что она все время бестолково, по-птичьему, озирается?!

— Как ты думаешь, — спросила наконец Лиза, — далеко еще?

— Далеко? До чего?

— До остановки.

— А в чем дело? — угрюмо перебил ее Губин. — Тебе неинтересно?

— Нет, нет, почему? — И она тут же стала уверять,

что, наоборот, очень даже интересно, она — просто так, потому что знобка и дождь.

— Дождя нет.— Губин закрыл свой зонт.

Они пошли дальше. Теперь Лиза принялась старательно рассматривать дома, сохраняя в глазах тоску.

— Знаешь что?— не выдержал Губин.— Возвращайся-ка ты на теплоход. Полежи до обеда. А я пойду. Мне обязательно нужно. Позвонить.

Она отвернулась, с минуту не говорила ни слова, а потом крепко взяла Губина под руку, заявив, что уже согрелась и пойдет с ним. Тем более, в центре, наверное, интересней. Здесь дома какие-то... несовременные. Еще считается, Пермь — крупный город.

— Чем же тебе не нравятся дома?— с натушной улыбкой осведомился Губин, стараясь говорить помягче.

— А потому, что главная набережная, а не могли сделать как следует. Все двух- и трехэтажки. И окна маленькие. Можно ведь было снести старье и... возвести здания.

— Так. Понятно.— Александр Николаевич остановился.— Сейчас мы действительно сядем на какой-нибудь транспорт до центра. А там ты — по своим делам, а я — на почту.

Но Лиза попросила разрешения пойти вместе, она не знает города, боится не найти дороги назад, да и нет у нее тут никаких особенных дел.

— Я не буду мешать. Можно?

Пошла. И мешала. Тем, что Губин все время видел ее через окно почты. Поэтому говорил с Машей не так. Не так, как если бы Лиза догадалась хотя бы не маячить перед глазами.

Конечно, в конце концов он забыл о ней, отвернулся от окна и слушал Машин голос — обычный, как всегда теплый — и успокоился. Все было хорошо, дома его ждали, перечитывали открытки, радовались, что он здоров и вообще все нормально.

— Вот видишь, не хотел ехать, а поехал и доволен. Во всяком случае, отдохнул.

— Домой охота,— пожаловался Губин,— сил уже нет.

— Ничего, теперь время быстро пойдет!

По дороге до кафе, где они просидели около часа, пережидая опять начавшийся дождь, Лиза молчала, понурившись, и Губину опять сделалось ее жалко. Ну

в чем она, бедняга, виновата? В своем бескультурье и одиночестве? В конце концов, им осталось быть вместе... сколько там? Ого! Еще целых одиннадцать дней...

Он подумал, что все-таки надо произнести что-нибудь сердечное. И, подняв бокал, сказал, что очень хочет, чтобы Лиза была счастлива. Не только сегодня, здесь, а всю жизнь. Не Бог весть какой изысканный тост, но Александр Николаевич произнес его вполне искренне. И Лиза это почувствовала, в глазах появились слезы, но через минуту она уже улыбалась. Обведя глазами зал, сказала, что здесь — ну, ужас, до чего красиво, прямо шикарно! И что Александр Николаевич даже сам не понимает, что он ей сейчас сказал! И вообще, что сделал для нее.

— Вот знаешь,— говорила она, как в прежние времена, округлив глаза,— помнишь, ты тогда, в первый раз, нам с девочками велел задумать желание? Помнишь? Так вот, что я задумала, все и сбылось. Правда-правда!..

Потом они ходили по улицам, зашли в магазин «Сувениры», где Губин подарил Лизе маленькую смешную собачку из уральского камня.

— Теперь я — дама с собачкой! Как в кино!— она поцеловала собачку в нос.

— Я должен еще выбрать подарки для домашних,— сказал Губин, и Лиза, сразу став серьезной, отошла в сторону.

Выбирать, по сути дела, было не нужно. Губин, как только переступил порог магазина, знал уже, что купит здесь Маше, а купит он большого серого каменного кота, очень мордастого, с хитрющими узкими глазами. Что и сделал, к некоторому изумлению Лизы, заметившей, что тут есть вещи много богаче и солиднее, например вон тот мраморный лебедь. Губин хмыкнул и попросил вернуть ему еще прозрачную желтую лягушку из селенита, для Юльки.

До Ленинграда оставалось немногим больше трех суток. Нужно пойти к Лизе и поговорить. Откровенно, без недомолвок, начистоту. Пора, перед смертью не надышишься...

Нужно? А может, вовсе не нужно? Не только не нужно — глупо, бестактно, жестоко! Лиза, конечно же, все прекрасно понимает и ни на что не рассчитывает.

Больше того, дома у нее наверняка кто-то есть. Простой, хороший человек. Надежный. И как только она окажется в привычной обстановке, все здешние переживания насчет Большой Любви мгновенно испарятся, наступят будни. А пока — еще отпуск, целых три дня отдыха, которые он, Губин, зачем-то решил ей испортить. Старый, самодовольный, мнительный болван! Завтра утром Петрозаводск, потом Кижи. Погода отличная! Такой жары, как в этом филиале ада — Ветрове, больше не будет... И дом с каждым часом все ближе.

Лизу Александр Николаевич застал, как и думал, в каюте. Сидела на обычном месте в углу дивана и вязала. Губина встретила улыбкой, на которую он щедро ответил и отправился в душ, а когда вернулся свежий, в чистой наглаженной рубашке (она же и стирала и гладила), вдруг сказала:

— Ты так долго, я соскучилась. Все ждала, ждала...

— А я как раз взял да и пришел! — бодро откликнулся Губин, открывая бутылку лимонада. — Хочешь пить?

— Я тут сидела, думала... — продолжала Лиза, не взглянув на лимонад, — знаешь, иногда так грустно бывает... А ведь это неправильно, правда?

— Ясно, неправильно! Грустить вообще глупо. Где-то сказано: нет греха больше, чем уныние. Так налить тебе? А то я ведь живо всю бутылку уничтожу, спохватишься, поздно будет.

— Пей, пей, я не хочу. Я... вот о чем: это, наверное, только сейчас так тяжело? Потому что я все время жду... Конца. Все представляю... А потом, наверное, станет легче? Когда... ну, когда — уже... И ведь три дня это еще много, правда? Я посчитала: три дня это седьмая часть от... от всего. Вот, например, перед праздниками: если, допустим, октябрьские, а к ним еще выходной, так пока ждешь, кажется — как много! Да?

...Пошло-поехало! Только человек успокоился, принял решение, хотел жить оставшееся время по-хорошему...

— Лиза, — обреченно начал Губин, — я тебе давно хотел...

— Ой, да не надо! Я же просто так, не бери в голову! — Она даже руками замахала. — Сказала, и все. Ты мне лучше — про город. Про Ветров этот. Как там? Что

тебе понравилось? Я ведь даже на палубу не выходила, жарища такая, в каюте и то... Ну, я и раскисла, больше не буду, честно-честно. Так что ты там видел?

— Что видел?— с облегчением переспросил Губин.— Да как тебе сказать... Захолустье. Ты абсолютно ничего не потеряла, смотреть практически не на что. Есть, правда, собор, но изуродован. Современные постройки — страшное дело. Деревянные дома?.. Ну, домишки и домишки... Главное, жара. Я давно заметил, на севере жара невыносима, потому что противоестественна. По-моему, в этом городе жить вообще противоестественно, сюда разве что ссылать за особо опасные преступления. Просто не понимаю, чего ради эти головы устроили здесь стоянку! В качестве продуманного издевательства, не иначе.

— Ну хоть что-нибудь тебе понравилось?

— «Хы», как говорит наша Аллочка Сергеевна, и еще раз «хы»! Иногда бывает, заедешь вот в такую оставленную Богом местность, просто оторопь возьмет: ведь кто-то же здесь живет? Родился и умрет среди этого убожества... Потом подумаешь: везде можно жить... Особенно если не знать, что где-то есть другое. Так и тут, привыкли к своей дыре... и процент счастливых людей наверняка не меньше, чем в том же Ленинграде, вообще — в любой точке земного шара.

Лиза сидела вся подавшись вперед, внимательно слушая.

Радио пригласило на ужин.

— Вот что,— сказал Губин,— у меня на сегодня потрясающий план: после ужина идем в бар прожигать жизнь. Так и быть, угощу тебя коктейлем «Снежный шар», мороженым и шоколадом. Однова живем!

В этот вечер Лиза была такая, какой Губин хотел бы видеть ее всегда,— спокойная. Надела свое знаменитое белое платье с вышивкой, разложила по плечам локоны, а ноги втиснула в туфли на каблуках, хотя Губин и убеждал: здесь это вовсе не обязательно, все равно сидеть, а под столом вообще не видно, в туфлях ты или босиком.

Свободного столика в баре не обнаружилось, нашлись два места, и, слава Богу, не с чужими, а с Ириной и Катей, чему Губин обрадовался, а Лиза... непонятно. Во всяком случае, пока те не ушли, не проронила ни слова.

Катя сразу сказала, что они торопятся, их ждут на верхней палубе играть в «кингá».

— Ничего, перетопчутся! — возразила Ирина и обаятельно улыбнулась Александру Николаевичу.— Рано еще, Кать, закажи еще по кофе! Я свой кошелек в каюте забыла.

— А у меня в кошельке двадцать копеек,— ответила Катя не без злорадства,— так что давай, подруга, собирайся, может, в карты выиграем на кофе.

Выйдя через час из бара, Губин и Лиза прогулялись по палубе. Было тепло и тихо, большая желтая, какая-то очень деревенская луна висела над плоским лесистым берегом, река была здесь довольно узкой, с берега полосами доносились запахи — то разогревшейся за день хвои, то скошенной травы, то дыма. Очень близко, почти вплитирку к борту, прошла навстречу широкобедрая баржа-самоходка, окна надстройки мирно светились, на веревке, протянутой над палубой, висели детские ползунки.

В каюте Губин сразу выключил кондиционер и открыл окно — не хотелось дышать синтетической прохладой. Лиза села на диван и привычно взялась за спицы.

— Что это ты все вяжешь?— спросил Губин.

— Рукав,— ответила она и быстро улыбнулась, не поднимая головы.

«Как у нее волосы блестят»,— подумал Губин.

— Скажи,— Лиза упорно смотрела на свое вязание,— а у тебя... много друзей?

— Друзей?— Губин удивился, никогда раньше она ни о чем таком его не спрашивала.— Да как тебе сказать... Друзей ведь много не бывает. Если их много, значит... их нет.

— Но вообще-то есть друзья?— Она перестала вязать и подняла лицо.— Хоть один?

— Ну, есть, конечно.

— А мне почему-то кажется,— она наморщила лоб,— что у тебя главный друг — жена, а больше нету. Никого.

«Вот ведь... Хоть кол на голове... А оборвешь, начнутся обиды». Губин молчал. Но Лиза, против обыкновения, не отвела глаз, продолжала выжидательно смотреть, и, вздохнув, он сказал, безразличным тоном,

что если уж ей так интересно, то у них с женой все общее: дочка, внучка, машина. И друзья тоже.

Это была чистая правда: своих, отдельных друзей у него не было. Последние десять лет.

...Десять лет назад Губина назначили главным инженером, а до этого у него был друг, с пятого класса. За одной партией сидели, в один институт пошли, хотя Грише Сушанскому с его способностями самое бы место в университете... впрочем, тогда, в пятьдесят втором, особого выбора у него и не было. Но мог ведь год-два спустя перевестись, многие в то время так делали. Гриша остался. С Губиным. Вместе защитили дипломы, распределились на один завод, в один цех, сменными мастерами.

Через два года Губина сделали старшим мастером, потом заместителем начальника цеха, а еще через пару лет и начальником. Ему это все ужасно нравилось, и не потому что — карьера, просто было вроде спортивного азарта... куда он, азарт, теперь-то подевался, черт его знает!.. Став тогда начальником цеха, он, само собой, Гришу — себе в замы, хотя понимал: если бы по делу, надо бы наоборот — Сушанского начальником, а его — заместителем. Даже к директору на прием собирался по этому поводу. Гриша отговорил — кричал, махал длинными руками: «Что за дурь? Все же правильно! У меня ум теоретический, а у тебя практический. Начальнику цеха — что главное? Организаторские способности. Тот. Вот и будем с тобой тандемом...» Да... В молодости он все понимал, Гриша... Хотел понимать, вот и понимал.

В сорок лет Губин был уже замом главного инженера и одновременно главным технологом. Гриша в это время возглавлял Центральную заводскую лабораторию. Он давно уже защитился, диссертация была блеск, но Губин не завидовал, для себя он ждал другого: старый бурбон-директор должен был вот-вот уйти на пенсию, а тогда в его кресло сядет Гена Воробьев, Губина непосредственное начальство. И порекомендует в главные своего заместителя. А кого же еще? Губин Воробьева всегда устраивал, не один год проработали вместе. И со стороны обкома тут вряд ли какие возражения — биография у Губина в порядке. И взысканий особых нет.

Старый директор ушел только через три года. Назначили действительно Воробьева, и, кажется, больше

всех был этому рад Гриша Сушанский: Губин станет прекрасным главным, у него для этого все данные, ежу ясно. Потому что для сей должности основное: четкий рациональный ум, хладнокровие и культура, способность с минимальными жертвами выходить из безвыходных положений. Ну... а идеи, создание нового при полном отвращении к нему всех и каждого, от кого зависит внедрение этого нового,— Грише. Да ведь с Губиным, чем черт не шутит, идеи-то, глядишь, и реализуются!

Губин с Гришей десять раз все обсудили и спланировали, даже набросали проект новой структуры технических служб. Все выходило замечательно, препятствий впереди никто не видел. Молодые были еще...

Воробьев выслушал только что назначенного главного инженера внимательно, не перебивал, но, когда Губин назвал фамилию Сушанского, скривился и со скучным лицом сказал, что нет, не пойдет, хватит с него ЦЗЛ. «Это почему же?»— взвился Губин. «Потому».— «Нет, а все же?»— «Ты не понимаешь?»— «Не понимаю! И... вообще, людей надо подбирать по деловым качествам! И что значит «хватит с него ЦЗЛ»? Это не ему надо, заводу надо!..» Директор молчал, рисовал в блокноте орнамент — ромб, по углам какие-то листья, на пересечении диагоналей круг. Когда Губин остановился, чтобы набрать воздуха для новой фразы, поднял глаза и негромко спросил: «Ты что, дурака валяешь? С неба свалился?.. А главное, есть другая кандидатура».— «Интересно, какая?»— «Утехин».— «Кто-о?! Ну, знаешь... И потом, он же секретарь парткома. Освобожденный!»— «А тебя устраивает такой секретарь?»— Голос директора был невозмутим.— Нет, ты прямо скажи, хочешь, чтобы он тобой руководил по своей линии? Хочешь или нет? Не надоело еще? Мне вот надоело, мне тут помощник нужен, а не болтун. С райкомом я договорился, скоро пере выборы, мы его и...»— «Допустим,— все еще топорщился Губин.— Но почему именно в главные технологи? Мне в заместители такого болвана! Спасибо!»— «А куда я его дену? За ворота? Права не имею. Назад, в цех, старшим мастером? Из этой должности он уже вырос, не согласится. У него за эти годы связи образовались и, между прочим, опыт работы с людьми! Короче, райком рекомендует. А мне с ним жить, с райкомом... И чего уж ты так взъелся? Ты же станешь его начальником, вот и скрути в бараний

рог, заставь работать». — «А Сушанский?..» — «Что — Сушанский? Плохое у него место? Зачем ему лишняя хвороба? Пускай сидит спокойно, не рыпается, делает свою докторскую. И все с этим. Ругаться сейчас из-за него с райкомом я не буду, извини».

И Губин понял: возражать бесполезно. Решил — посмотрим, подождем. На посту главного технолога Утехин живо проявит свою бездарность, прикрывать его не станем и... через год-другой вернемся к вопросу о Сушанском. Жизнь заставит! А Гриша к тому времени напишет докторскую, и это тоже сыграет определенную роль. Да и позиции Воробьева во внешнем мире укрепятся... В каком-то смысле для Гриши действительно пока так лучше.

Весь этот разговор с директором и собственные рассуждения Губин тотчас подробно изложил Грише. И приготовился обсудить события со всех сторон, выявить плюсы-минусы, наметить стратегический план постепенного изничтожения Утехина. Уверен был — Гриша, как всегда, поймет его правильно.

Гриша выслушал Губина молча, с бесстрастным лицом, а на последней фразе — мол, черт его знает, может, и верно, все к лучшему, — поднялся и вышел. И больше не было между ними ни одного дружеского — да что там дружеского! — ни одного неофициального разговора. С этого дня Сушанский обращался к Губину исключительно на «вы» и по имени-отчеству, а когда его непосредственным начальником стал назначенный главным технологом Утехин, и вообще как мог избегал встреч.

Губин честно сделал несколько попыток объяснить — ничего не вышло. Сушанский держал себя с ним высокомерно, был неприятен, на вопросы, прямо не касающиеся работы, отвечал какой-нибудь мерзкой фразой вроде: «Если не возражаете, я бы хотел пойти и заняться делом». Отчаявшись, Александр Николаевич решил позвонить ему домой. Ерунда какая! Взрослые же люди, тридцать с лишним лет дружбы. Позвонил. Ответил незнакомый женский голос: «Григория Ильича? Одну минуточку...» Последовала пауза, потом тот же голос осторожно спросил, кто говорит. Губин назвал и тотчас услышал: «Нет дома!» Слова звякнули, как пятаки об асфальт. Сказано это было почему-то со злобным торжеством...

Больше Губин, разумеется, не звонил и, встречаясь с Гришей на работе, был холоден. Вскоре стало известно — в сорок три года Сушанский наконец-то женился. Молодые и средних лет дамы из ЦЗЛ и заводоуправления единодушно восклицали: «Это, называется, искал, искал и нашел! Ему годится в дочери, красавцем его никак не назовешь, так что тут определенно расчет — завлаб, докторскую пишет, квартира в центре, да что там, я вас умоляю! И, знаете, где познакомились? Кошмар! В гостинице, в Москве. Это уж вообще, нет слов, одни буквы. Будет порядочная девушка заводить гостиничные знакомства? А? Ну ладно, ее-то хоть понять можно, но он?! Он что в ней нашел! Ведь, как говорят, ни кожи ни рожи. Тошная, вертлявая, размалеванная. И курит! А одевается — это просто нечто... Можно подумать — Григорий Ильич не мог найти для жизни приличную женщину. Тихий ужас!»

Все эти сведения поступали к Губину, конечно, через Утехина, тот всегда и обо всем был свежеинформирован. Это у него называлось — «меня питают низы». Работником он, как и ожидали, оказался никчемным, зато болтуном и демагогом отменным. А еще подхалимом — к Губину так и лип, стараясь услужить, и послать подалее просто язык не поворачивался. К Сушанскому, с которым у него то и дело возникали конфликты, ревновал, но ругать его в открытую остерегался. Придет, бывало, сядет, вздохнет и начинает со скорбным видом: «Просто не знаю, зря это Григорий Ильич не хочет помогать производству. Себе же вредит — люди недовольны, а ему скоро защищаться... Для науки, что ни говори, существует отраслевой НИИ, а лаборатория (он говорил «лаболатория») все же в первую очередь должна обслуживать цеха, бороться с браком. Конечно, по-человечески понять можно, научная работа всегда интересней и... опять же для докторской сплошная польза. Только ведь разговоры идут...»

Губин в таких случаях, холодея от ярости, терпеливо объяснял, что Сушанский работает на перспективу завода, а сиюминутные задачи должны решать сами цеха. С помощью, между прочим, отдела главного технолога! Утехин только вздыхал, сохраняя на лице горестное выражение. А на следующий день или там через неделю директор между прочим вдруг спрашивал Губина: «А чем у тебя ЦЗЛ занимается? В цехах, понимаешь, сплошной брак, сроду подобного не было, а твой Су-

шанский витает в облаках». Приходилось доказывать, что брак — результат нарушений, вытворяемых под носом главного технолога, которого, кстати, давно пора гнать к чертовой матери вместо того, чтобы слушать его сплетни! Сколько раз доходило до ссоры, до крика. И ведь Гриша не мог не понимать, не догадываться, что его спокойная жизнь и работа над докторской только потому и возможны, что кто-то принимает удары на себя. Куда там! Ходил с задраным подбородком и оттопыренной губой. Взбешенный верблюд — того гляди, плюнет.

Два года назад Сушанский умер. Инфаркт. Завод загудел — ужас, молодой ведь мужик, всего полтинник, такой талант... Тут дело ясное, все из-за этой бабы. Когда солидный человек вдруг женится на соплухе — добра не жди. Вот и результат, добилась своего! Теперь — богатая невеста, все ей — и квартира, и сберкнижка, и библиотека. Да-а, умеют люди устраиваться, мы бы так не смогли. И дуры!

Для Губина Гришина смерть оказалась куда большим ударом, чем он сам ожидал. Ведь сколько лет терпел от Сушанского несправедливую эту злобу, неблагодарность! Не желал, видите ли, замечать, что Губин его везде прикрывает. А премии, медали ВДНХ, классные места в соревновании? Ведь надо же было уломать директора, и Утехину заткнуть варежку. «Народ недоволен, писать хотят — мол, как план давать, так цеховики, а как премии — лаборатория тут как тут. Я объяснял — не понимают...» — «Еще раз объясните, раз не понимают!» — рявкал Губин.

Он все ждал: в один прекрасный день Гриша придет и скажет, что был не прав. Тем более сложилось все для него как будто наилучшим образом. Докторскую он написал и собирался, по слухам, защищать ее в университете. Не успел. И теперь уже ничего не сказать, не наладить, не объяснить. Глупо. И виноват в этом он сам, Гриша.

Жена Сушанского, то есть, конечно, вдова, показала себя во всем блеске. Даже из похорон ухитрилась устроить черт-те что. От гражданской панихиды на заводе отказалась. Заявила, что Сушанский казенных мероприятий не терпел, поэтому, пожалуйста, она просит, никаких сборищ, фальшивой скорби, венков, на которые у людей силком вымогают деньги, а главное, никаких речей. Погребение двадцать седьмого марта в де-

сять утра. На сельском кладбище в Волосовском районе. Григорий Ильич так хотел...

Все, конечно, возмущались: что за дурь? При чем здесь Волосовский район? Все не как у людей. Точно нельзя было по-человечески, в крематории. Потом Утехин откуда-то узнал, что под Волосовом у Гришиного тестя свой дом, дача.

Деревенское кладбище, где мечтал лежать Сушанский, располагалось на холме, километрах в полутора от шоссе. На шоссе остался заводской автобус, там же, на обочине, Губину пришлось бросить свою машину — в такой непролазной грязи намертво засядешь через полминуты.

Гроб везли по проселку на телеге, следом за ней, порядком отстав, редкой цепочкой тянулись провожающие. Шли мрачно, то и дело по шиколотку проваливаясь в топкую глину. «Люди обувь загубят, ужас какой-то, — бубнил Утехин, — хоть бы предупредила, что ли, оделись бы, как в совхоз. Нет, понять, конечно, можно, горе, но надо же и о других думать, не только о себе...»

Губин молчал, сосредоточенно обходя глубокие коричневые лужи, при каждом шаге с трудом вырывая из грязи насквозь промокшие ноги в облепленных глиной ботинках. По обеим сторонам дороги жирно блестела сырая перекопанная земля, кое-где еще дымились островки ноздреватого снега. Девственно голубое небо стыдливо проглядывало в прорехи между толстыми бокастыми облаками, загромоздившими небо. На дороге было сумрачно, вот-вот закапает дождь, а на холм, к которому мало-помалу приближалась далеко ушедшая лошадь с телегой, невесть откуда падало солнце, четко высвечивало купол церкви, черные голые деревья и мечущуюся над ними стаю ворон. Лошадь шла медленно и понуро. Люди тоже тащились из последних сил, молчаливые, усталые, раздраженные... В общем, конечно, все это выглядело довольно нелепо — такие вот деревенские похороны насквозь городского интеллигента, еврея Гриши Сушанского... Хотя... почему, собственно, нелепо? Внезапная смерть в пятьдесят лет — вот что нелепо, глупей не придумаешь!

Когда все собрались наконец у могилы, рядом с которой на приспособлении, напоминающем козлы для пилки дров, стоял открытый гроб, председатель завкома все-таки не выдержал: «Нехорошо, надо бы хоть несколько слов, провожаем в последний путь... Человек

всю жизнь отдал заводу, вот пусть хоть Александр Николаевич...» Губин не успел ни возразить, ни согласиться, вдова резко подняла непокрытую голову («даже черного платка не могла надеть, тихий ужас...») и заявила: «Сказано — никакой болтовни. Жизнь свою Григорий Ильич действительно отдал заводу. В благодарность за это завод его и убил».

«Анжела, ну зачем ты?! Не место. Здесь Гришины товарищи...» — начал было утихомиривать ее высокий человек в полковничьей шинели. «А где место? Где место, папа? — тотчас вскинулась она. — Товарищи... Если бы — товарищи, не дали бы затравить. Закрывайте! — приказала она могильщикам. — Чего ждете?»

Ропот прокатился в толпе и затих. Губин отвел глаза от гроба, он смотрел теперь на Анжелу. Высокая, прямая, с бледным, замкнуто-непреклонным лицом... Такое же выражение лица у мертвого Гриши...

В полном безмолвии гроб закрыли и опустили в могилу, бросили, как положено, по горсти земли, и могильщики резво взялись за лопаты.

«Кошмар. Это — чтоб даже не проститься, к гробу не подойти... — зудел над ухом Губина Утехин. — Странная все-таки особа... А место тут неплохое, чистый песок...»

Губину стало невмоготу, он отошел.

Несколько минут, и все было кончено. На холмик положили цветы, венок от завода, и один за другим цепочкой потянулись к выходу с кладбища — до автобуса еще час добираться по вконец раскисшей дороге.

А Губин задержался. Не хотелось идти вместе со всеми, пускай уедут, не надо будет никого подвозить и поддерживать всю дорогу светские беседы.

Он шагал по дорожке, ведущей к церкви... Вот и нет больше Гриши, а есть этот холмик среди крестов и фанерных колонок со звездами, до сих пор их ставят, солдатские эти памятники. Над холмиком небо. Облака разошлись, и сейчас оно высокое и белесовато-голубое.

Губин вдруг отчетливо представил себе другие похороны — вот сейчас, в это самое время, кого-то, достойного более пышного погребения, закопали где-нибудь на престижном кладбище. Под траурную музыку, с речами, со всем, что положено в таких случаях. Закопали. Надели шляпы, сели в черные «Волги» и разъехались. А покойник остался. И лежит так же, как Гриша, — в той же земле, под тем же небом...

Губин подошел к церкви. Дверь, конечно, заколочена, колокольня полуразрушена. Он повернул налево, потом направо, брел наугад и неожиданно опять оказался перед Гришиной могилой. Возле холмика стояла Анжела. Стояла одна и курила, аккуратно стряхивая пепел в бумажный кулек. По заносчивому лицу ее, обращенному вовсе не к могиле, а куда-то вверх, текли слезы. Казалось, текут они сами по себе, будто отношения не имеют ни к немигающим прищуренным глазам, ни к брезгливо приподнятой левой брови. Будто она и сама не подозревала, что плачет, просто стояла здесь, курила и ненавидела весь белый свет.

Александр Николаевич отступил, но она, по-прежнему на него не глядя, негромко спросила: «Вы Губин, да?— И тут же сама себе ответила:— Губин. Я так и подумала. Надо же — не постеснялись...»

Глупо было заводить объяснения с женщиной, которая явно не в себе, но Губин вдруг растерялся. А растерявшись, понес какой-то вздор про то, как он любил Гришу, но досадное недоразумение... «Недоразумение?! Это вы называете недоразумением?!— Она подняла бровь еще выше.— А ведь в могилу-то его вы загнали. Да-да! Вы, персонально. Струсили, предали. Предать-то может только друг, верно? Унижали... Годами подчиняться этому подонку — какое сердце выдержит?.. Это он распустил ту сплетню, я знаю — он! И вы тоже знали — и ничего... А Гриша... Наивный он был, все надеялся: опомнитесь, придете прощения просить. До последнего дня... А вы откупались, медали какие-то, премии. Грише — деньгами!.. Да не нужны вам такие, как Гриша! Вам нужна исполнительная посредственность! А он знал, чувствовал, что скоро умрет, сказал: «Передай ему...» А я вот не передам! Не передам! Не дождетесь!»

Александр Николаевич не знал, что делать, положение было глупейшее. Но тут откуда-то опять появился давешний полковник, обнял дочь, начал что-то шептать ей на ухо, не обращая внимания на Губина. Тот ушел.

Его автомобиль одиноко стоял на обочине. Рядом степенно прохаживался Утехин. До самого города он, разумеется, не закрыл рта, нес ахинею. Сперва про поминки — дескать, все же некрасиво, никого не пригласили, а люди ехали ни свет ни заря в такую даль, устали, перемокли. И, главное, дача отца тут — рукой подать, три километра... Потом, искоса поглядывая на

Губина, принялся квохтать, что, мол, это надо же, Григорий Ильич так переживал из-за своей докторской, бывают же непорядочные люди, распустят сплетню, а у человека вся жизнь наперекосяк...

— Что за сплетня? — хмуро спросил Губин, продолжая смотреть вперед на дорогу, и услышал какой-то бред, будто Гришу не хотели допускать к защите и кто-то где-то кому-то сказал: «Хватит уже готовить профессоров для Гарварда». О каком Гарварде могла идти речь в восемьдесят третьем году? Вообще — кому пришло в голову такое — про Сушанского?! Разве что самому Утехину. Как Гриша мог отнестись к этому всерьез?! А он, по-видимому, отнесся всерьез — видно, привык за последние годы отовсюду ждать подлости...

До самого города Губин не сказал больше ни слова. Утехин тоже притих — дремал. А может, притворился, видя, что начальство не в духе.

О своей встрече с Анжелой и ее нелепых обвинениях Губин не рассказал никому, даже Маше. Был верен принципу справляться с неприятностями в одиночку. А для себя решил: надо забыть. Все забыть, что было после их ссоры. Другого просто не остается, потому что обдумывать да рассусоливать, когда уже ничего не изменить, занятие бесполезное. Мазохизм. «Вам нужна исполнительная посредственность...» Ничего плохого он, Губин, Грише не сделал — только это надо помнить. Да, не смог семь лет назад провести в главные технологии, очень хотел, но не смог. Гриша никогда не был карьеристом, для него должность — не вопрос жизни и смерти. Так чего же он все-таки хотел от Губина? Самосожжения? Чтобы тот в знак протеста не принял кресло главного инженера? Непонятно.

Тогда было непонятно, сейчас тоже. И главное, эта истеричка не пожелала передать даже последних слов.

И он добросовестно старался все забыть. Получалось плохо, вот тогда и начались неприятности с сердцем. Пришлось взять себя в руки, как гвозди, вбивать в голову: «Ничего не изменишь, ничего не изменишь». Последнее время стало уходить, забываться... Теперь вот Лиза со своим назойливым любопытством... Что, ей-Богу, за манера лезть в душу?

Лиза о чем-то думала, глядя мимо него, в окно, на котором шевелилась, взбухая от ночного ветерка, штора.

Губин встал.

— Пойду-ка я пройдуся или — к Ярославцеву,— сказал, как смог, мирно.— Старик ждет. Нехорошо, обещал.

Ничего он не обещал. Старик, поди, уже видит десятый сон, но Губин все-таки поднялся на верхнюю палубу и прошел мимо окна его каюты. Там горел свет, занавески были отдернуты, окно открыто. Сидя у стола в вязаной домашней куртке, Константин Андреевич раскладывал пасьянс.

Петрозаводск, куда теплоход прибыл в семь утра, уже из окна каюты показался Александру Николаевичу праздничным. Сверкало стеклом новое здание озерного вокзала, набережная пестрела разноцветными флагами, и все они дружно полоскались, а это значит: нет здесь давешней жары! Невдалеке от теплохода, на блестящей воде озера расселись штук двадцать нарядных парусников, видимо, это для них готовился праздник — регата, может быть?

Пока Лиза была в гладилке, Губин быстро оделся и пошел на завтрак. Сегодня договорено: в Петрозаводске каждый проводит время сам по себе. Лиза на такое предложение согласилась: у нее дела, нужно кое-что купить. Обязательно. А нагуляться и наговориться обо всем они успеют в Кижях, там стоянка после обеда, целых четыре часа.

Александр Николаевич не стал уточнять, о чем Лиза хочет «наговориться» с ним в Кижях, но обещание это ему не понравилось. Впрочем, он забыл о нем, как только сошел на пристань. Здесь, на берегу огромного озера, Петрозаводск казался южным курортным городом. Солнце, запах воды, музыка, доносящаяся с только что отошедшего прогулочного катера, загорелые лица вокруг. И ликующий голос радио: «Товарищи отдыхающие! В кассе номер шесть производится продажа билетов на двухчасовую водную прогулку! Отправление с третьего причала в десять ноль-ноль!»

А оживленно галдящая, разодетая толпа на набережной, прямо как в Сухуми. Только вода в озере светло-голубая, а там была густого синего цвета...

...Как счастливо и безмятежно провели они с Машей прошлогодний отпуск в Сухуми! А ведь можно было, не послушавшись ее, сдать к чертовой бабушке эту теплоходную путевку и отложить отпуск до сентября... Да.

Сухуми это Сухуми... На набережной сладко пахло цветами какого-то неизвестного дерева, они не знали его названия, так и говорили: «Опять пахнет Деревом». Но потом все-таки отправились в ботанический сад, чтобы найти его там. И нашли. И посмотрели, как называется. Но почему-то сразу забыли название и опять говорили «Дерево», и Маша объяснила это тем, что название оказалось невыразительным, гораздо хуже, чем само дерево, так прекрасно пахнущее. Ведь запомнила же она навсегда слово «гинкго», потому что оно необыкновенное, а вот растение, которое так называется, никогда не отличила бы от других и не знает даже, что это: дерево, куст или трава.

Губину вдруг нестерпимо захотелось вот сейчас, сию минуту, убедиться, что дома все хорошо и его ждут. Что все по-прежнему. Он вышел на широкую, видимо главную, улицу и зашагал быстрее, высматривая переговорный пункт. Он поговорит, и с этого момента здесь, с Лизой, все будет кончено. Вот так! Пусть обижается, иначе он не может. Да, оказался домашним мальчиком, которого раз в жизни выпустили погулять во двор без няньки, а он тут же сдуру пристал к компании уличных пацанов и пошел с ними бить окна, лишь бы не оставаться одному... Пусть Лиза спокойно ночует на диване в его каюте, прежних отношений не будет, он решил... Что это она там сказала про Кижи? «Успеем наговориться...» О чем? И тон такой многозначительный...

Он пошел быстрее. Вот и переговорный. Ну конечно! Полным-полно народу! Все тут — и База, и Алла Сергеевна собственной персоной! Чего им всем нейдет, ведь через два дня будут дома? Стоять в толпе, еще, не дай Бог, поддерживать какой-нибудь глупейший разговор, на это у Губина сейчас не было сил. Он пошел дальше, не может быть, чтобы тут не нашлось другого междугородного телефона, столица республики как-никак, не занюханный Ветров!.. Дома ли Маша? Наверное, еще у Юльки, сегодня выходной, отпустила оболтусов на дачу. Интересно, догадались ли они взять с собой ребенка? Сто процентов, и не подумали! Пускай бабка сидит напоследок. Ничего, наведем порядок. Теперь она отдохнет, обещала же взять десять дней за свой счет... Только бы он не давал Юльке руль, особенно если Женечка с ними...

Мимо университета Губин вышел к вокзальной площади.

Будку телефона-автомата он увидел сразу, как очутился в прохладном и пустом помещении вокзала. Рядом разменное окошечко. Закрытое. Очевидно, по случаю выходного. В кармане нашлось всего две монеты. Губин почему-то очень волновался, набирая Юлькин номер. Трубку сняли сразу, точно ждали звонка, и он отчетливо и близко услышал голос жены.

— Маруся!— быстро сказал Александр Николаевич, кладя вторую монету, так как первая сразу провалилась.— Как вы там? Говори скорее, у меня...

— Алло! Алло!— кричала Маша.— Перезвони, не слышно!

— Маша! Подожди! Маша!— бессмысленно повторял Губин. Шелкнув, провалилась и вторая монета.

— Ну что же это, Господи!— горестно произнесла Маша, и раздались короткие гудки.

Из будки Александр Николаевич вышел весь потный. Голос жены показался ему напряженным, нервозным... не таким, как бывает, когда злишься, что плохо слышно, а... Нет, случиться ничего не должно было, но... а вдруг что-то дошло? Чушь собачья! Даже если на этом теплоходе, в самом деле, есть кто-то, кто может... так ведь теплоход, между прочим, еще не в Ленинграде... Конечно, существует почта и... опять же телефон... А ведь у Губина есть скверное качество — плохая память на лица. И сколько раз уже бывало: его узнают, а он нет, и потом обида... Да ерунда же! Псих. Называется, отдохнул. От такого отдыха придется лечиться. А пока без паники, нужно просто позвонить домой. И станет ясно, кто у нас мнительный идиот.

Губин обвел взглядом зал, народу никого. Закрытый аптечный киоск, на стене расписание. Поезд на Ленинград в 22.50... А кассы, очевидно, на втором этаже... Конечно, кассир навряд ли станет менять деньги, но попробовать стоит.

Однако, поднявшись по лестнице, Губин обнаружил только вход в ресторан. И дверь, ведущую на перрон. Неизвестно зачем, он вышел на платформу, повернул направо, побрел, оглядываясь по сторонам в поисках какого-нибудь работающего киоска, и вскоре оказался перед стеклянным павильоном. Да, это был кассовый зал. Губин вошел внутрь.

Странно — и тут народу почти никого, вон у суточной кассы только одна женщина. Александр Николаевич подошел ближе, и, когда был уже в двух шагах,

женщина внятно сказала: «До Ленинграда». И сунула в окошко десятку.

Губин вдруг почувствовал, что у него колотится сердце. Он не отрывал взгляда от кассы, ожидая, что сейчас оттуда послышится привычное: «На сегодня ничего нет». Но в кассе молчали, а через полминуты женщина уже держала в руках билет и сдачу.

— Скажите,— спокойно обратилась она к кассирше, будто речь идет о пустяках.— А когда он прибывает?

— Завтра, в восемь сорок пять утра.

В сумке у женщины звякнула мелочь.

«Наверняка найдется пятнадцать копеек, надо бы...» Вместо этого Губин шагнул к кассе и, откашлявшись, спросил, есть ли еще билеты на сегодня. Широкое лицо кассирши с нарисованными в форме идеальных полуокружностей бровями показалось ему неприветливым.

— Сколько?— спросила она лениво.

— Один — Ленинград — сегодня,— сказал он не переводя дыхания.

— Вам купейный? Девять рублей.

Еще не веря, он молча протянул деньги.

— Нижнее место!— Теперь кассирша улыбалась, точно все поняла, и лицо ее стало симпатичным, даже брови дурацкие ничуть не портили.

Когда Александр Николаевич вернулся на теплоход, Лизы еще не было. На сборы потребовалось всего минут десять. Странное дело: складываешься в дорогу — времени уходит безобразно много, а тут — раз, два, чемодан застегнут, портфель уложен. Теперь не забыть зонт. Готово... А цветы в вазе уже начали вянуть... Надо было, конечно, купить на прощание хороший букет. Джентльмен... Для нее это, наверное, будет болезненно... И все-таки — лучше разом. Кто сказал: «Жалел кошку и отрубал ей хвост по кусочкам»?

Губин вдруг заметил, что забыл на полке свою чашку. Рядом сидела Лизина каменная собачка из Перми. Он взял чашку. Собачка на пустой полке выглядела маленькой и сиротливой. Оставить чашку? Придется врать Маше — дескать, разбил. Ее подарок... Губин вытащил из чемодана джемпер, завернул в него чашку и аккуратно поместил среди одежды. Потом присел на диван, тут же поднялся, взял вещи. Не забыть предуп-

редить вахтенную, а то возьмут еще да и отправят Лизу назад, к Корове с Козлом, сегодня, кажется, дежурит как раз та, с продувной физиономией.

Уже объявили, что до отправления в рейс пятнадцать минут. Губин сидел на причале, на скамейке, наблюдая, как густой толпой идут к трапу туристы-оптимисты. Он уже дня три назад заметил: к концу путешествия люди стали томиться на стоянках, интерес к новым местам (даже к магазинам) поубавился. Да и деньги кончились. Многие оставались в каютах или жарились на верхней палубе, стараясь отхватить последний загар. Вот и сейчас там полно народу, наверняка места свободного не найдешь. Внезапно среди загорающих Губин узнал Катю, узнал по голубой косынке и махнул рукой, но она не ответила. И неудивительно; он уже был тут чужим, незнакомым в своем городском костюме вместо джинсов, легкой рубашки и дурацкой белой фуражечки, в которых его привыкли видеть... Лиза каждый раз напоминала, чтоб не забыл надеть эту фуражечку — голову напечет...

Мимо Александра Николаевича с кипой газет вальяжно прошествовал База. Один. Последнее время он почему-то часто ходил один, поссорился, что ли, со своей златозубой? Впрочем, какое Губину дело до Базы, до всех них, никогда он их больше не встретит, пускай себе живут своей жизнью!

А Лизы между тем не было и не было. Губин начал уже беспокоиться, поминутно взглядывая на часы. Где-то сбоку, почти незаметно, как ящерица, скользнуло опасение, а что, если она узнала? Узнала и тоже... Бред. Все ее вещи на месте, в каюте! Да и как могла она узнать, следила за ним, что ли?

И тут наконец он увидел Лизу. То есть увидел он ее, оказывается, еще издали, а узнал только сейчас, буквально в десяти шагах. Она была без каблуков, в тапочках, и казалась неожиданно маленькой и какой-то широкоплечей. И походка другая. Лиза шла широкими шагами, клонясь на правый бок, куда ее тянула большая сумка. Губин встал ей навстречу, но она его тоже не узнавала, напряженно смотрела мимо, на трап, возле которого уже возились матросы.

— Лиза! — Губин взял ее за локоть. Она вздрогнула, увидя его, мгновение обрадованно улыбалась, но всего мгновение, потому что вдруг начала бледнеть. Быстрее всего бледнели губы. Она хотела что-то ска-

зять, но не смогла, точно челюсти свело судорогой, и только мотала головой.

— Лиза! Послушай, я должен...— начал Губин, отбирая у нее сумку.

— Наш теплоход отправляется в рейс,— раздалось над головой,— палубной команде по местам стоять, приготовиться отдать швартовы!

Таша Лизу под руку, Губин бросился к трапу. Уже на теплоходе, взяв ее за плечи, быстро сказал, что должен срочно ехать в Ленинград. Срочно! Так нужно, необходимо! Нет, страшного — ничего. Просто важное дело! Там... в общем, надо. Не волнуйся, все будет хорошо, насчет каюты я договорился, все будет хорошо, ты поняла?

Матросы начали втаскивать трап. Губин отпустил Лизу, бросился вперед и через секунду был на берегу. Трап убрали. Нужно было уходить, скорей уходить отсюда, чтобы не маячить, дать ей прийти в себя. Она стояла, свесив руки вдоль тела, рядом с упавшей набок сумкой, глаза были бессмысленно неподвижны, стиснутые губы выделялись на сером лице — точно натерты зубным порошком.

— «Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом!»— дружно запели на второй палубе. «Улыбки по утрам!»— хриплым голосом подсказывала Алла Сергеевна.

Губин повернулся и пошел прочь, но, отойдя шагов на десять, обернулся и помахал Лизе. Она не шевельнулась. А теплоход уже отчалил, мелкие крутые волны бежали от его борта к пирсу, песня стихла, и вместо нее над водой полилась знакомая грустная мелодия. Любимая мелодия радиста.

Теплоход шел полным ходом. Больше не оглядываясь, Губин решительно зашагал к зданию озерного вокзала, и только там, остановившись, чтобы взять чемодан в другую руку, в последний раз посмотрел в сторону озера. Теплоход казался маленьким и ненастоящим, музыки уже не было слышно, а вода снова сделалась безмятежно гладкой, и Губин подумал, что регата, наверное, не состоялась. Он дождался, пока теплоход совсем исчез из виду, и двинулся в город. Надо было отвезти вещи в камеру хранения и позвонить домой, чтобы встретили.

Последние дни отпуска Александра Николаевича вместили множество событий, оттого и промчались мгновенно. С вокзала на машине домой (Юрий за рулем, сзади они с Машей), дома — дочь с Женькой и накрытый стол, и горячий пирог, и коронный кофе. И рассказы. Говорил главным образом Губин, без остановки, торопливо, оживленно, с шутками-прибаутками и разными меткими наблюдениями, описал каждый город, отметив, что именно для этого города характерно, нарисовал портреты своих спутников: Базы, сейчас уже вдыхающего последние глотки свободы; «подшитого» с его сватовством к Ирине («были у меня там дамы, сразу признаюсь, молодые, и целых три! Так вот одну из них он у меня чуть не отбил!»). Соответствующая часть рассказа посвящена была Ярославцеву и его судьбе. И опять о городах — о Перми и, отдельно, о деревянных Иисусах в музее, и — очень горячо — о затопленных берегах, погибших лесах, брошенных деревнях, о масле по талонам и вообще о том, что страна у нас, конечно, прекрасная, но в таком развале! А дальше о переменах, о газетных новостях и — что говорят тут? — и — не прорезался ли Утехин? Что сказал? И опять — о слухах, о слухах...

Потом Маша рассказывала, как они тут жили, и все, по ее словам, выходило хорошо и даже отлично, а Юлька, наоборот, с обиженным видом жаловалась, что у нее болит живот, спайки, и подтекст был ясен: ты там любовался красотами, а мы здесь страдали. Желудочек в это время тихо забралась на книжную полку, стащила том Ромена Роллана и, сев на пол, принялась отрывать по кусочку и вдумчиво есть. Книга после боя была отобрана, но при этом отмечено, что у ребенка хороший вкус. Когда, попив кофе, все переместились в кабинет Губина и он расположился в своем любимом кресле, Маша спросила:

— Ну как? Хорошо дома?

И он ответил, что лучше не бывает, и, пожалуй, в дальнейшем все свои отпуска будет проводить именно тут, конкретно, в кресле: вот газета, вот телевизор, рядом любимые люди, чего еще? Только без собаки в доме все же... сиротливо. А? Пусто. Раньше приедешь, кидается навстречу... Тут Маша с Юлькой переглянулись, и Юлька не выдержала, сказала-таки: «Внучки тебе недостаточно!»

Вечером, конечно, явился Алферов, и опять пошли политические и культурные новости: в Москве идет «Зеркало», слышал? А у нас «Сталкер»! Говорят, он возвращается... И опять путевые заметки Губина, и особенно подробно — про городок на Каме, где он чуть не нанялся директором завода.

— Это где, ты писал, старики газон посреди площади обкашивали?— вспомнила Маша.— Замечательная была открытка, веселая, остроумная, таких бы побольше, а то никогда ничего не поймешь: «были там, погода стоит прекрасная», а какое настроение — неизвестно.

— Ах, «были»?— взвился Алферов.— Это интересно. С кем же таким они «были»? Уж не романчик ли он там закрутил, наш аскет?

— Не коли, гражданин начальник, я уже раскололся, пошел на чистосердечное,— сказал Губин, и все засмеялись. Губин смеялся и чувствовал облегчение, точно Володька ласково погладил его совесть по шерстке. Отсмеявшись, подтвердил, что да, гражданин начальник, валяй в протокол — по эпизоду проходили три дамы: Ирина, Екатерина — так? И Елизавета. Понял?

Все опять засмеялись, и Губин подумал, что странно: вот назвал ее имя, и хоть бы что внутри дрогнуло. Но сразу понял, отчего: она не была Елизаветой, была Лизой... да... и сейчас находится где-то рядом, в районе Лодейного Поля... Тут на душе стало как-то неудобно, неловко, точно долго стоишь в наклонку посреди натопленной комнаты в толстом пальто, завязывая ботинок... Впрочем, ощущение это тут же и пропало,— Маша попросила еще раз рассказать про Ярославцева: Володе будет интересно. И Губин добросовестно повторил, все внимательно слушали, и было очевидно — к девицам с теплохода никто никогда больше не вернется. А о Ярославцеве говорили долго, и Губин, как всегда, спорил с женой, доказывающей, что старик был прав. И тогда, когда пошел в замминистры, и когда бросил на стол заявление об уходе.

— Он живой человек, понимаешь?— говорила Маша.— Я часто думаю: ведь мы на них почему-то смотрим свысока, а они во многом лучше нас. Во всяком случае, цельные.

— Только на чем основана эта цельность?— вставил Алферов.— Нет, они безусловно были другими, тут спорить смешно, у них — это точно, полная убежден-

ность, что они, несмотря ни на что, идут прямешенько к святой цели. Ради которой можно все: затапливать леса, курочить землю, расстреливать людей. Цель ведь оправдывает средства! Но такое допустимо... разве что на войне? Да и то... А они втащили это в мирную жизнь и считают нормой. Чтобы любой по первому сигналу, очертя голову, грудью — на амбразуру. А не желает — враг! И все это с полнейшей уверенностью, что только так и нужно. А как же! На амбразуры кидаться они ведь и сами готовы, только это и умеют. Но ведь постоянно так жить нельзя! Чтобы одно поколение, просидев всю жизнь в окопах, уходило для того, чтобы оставить следующему те же окопы и призывы отдать жизнь ради тех, кто явится им на смену. А куда явится? Опять сюда же! В окопы. И так без конца.

— А мне старика жалко. И что бы ты, Саша, ни говорил, он честный человек. И смелый. Ты бы... Мы бы так смогли?— не сдавалась Маша.

— Дурочка! Так ведь он же блефовал, ну с заявлением-то — сто процентов!— Губин потихоньку разъярился.— А я предпочитаю поступки, сделанные со всей ответственностью. Вот в чем разница.

— Ты — возможно.

Губин погас, больше не возражал. Знал: защищая старшее поколение, Маша, как всегда, заступает за своих погибших родителей.

— Ну, да Бог с ним, Ярославцевым,— миролюбиво сказал он,— пусть-ка лучше Юлия Александровна отчитается, как мать берегла-лелеяла, а то смотрю, что-то ты у нас, Маруся, бледненькая.

— Все было хорошо,— тотчас откликнулась Маша, покосившись на дочь. А та сразу напряглась.

Вечером, когда все наконец ушли и было убрано со стола, за которым с небольшими перерывами просидели весь день, Губин с Машей остались одни. И Александр Николаевич предложил перед сном прогуляться: «Знаешь, мне все еще не верится, что я не в Казани, не в Горьком и не в ужасном Ветрове, где чуть не помер от жары и ощущения, что сослан сюда навек!»

Это был уже не вечер — ночь, на набережной Фонтанки никого, только в Летнем саду, на другой стороне, слышались приглушенные голоса. Вдруг гулко залаяла собака.

— Овчарка милицейская,— вздохнул Губин,— патруль. Скульптуры сторожит.

Маша молча улыбалась чему-то.

— Господи, до чего хорошо! Будто из тюрьмы выпустили.— Он взял жену под руку.— Даже не верится, что это ты.

— А кто?— спросила Маша, спросила, конечно, в шутку, именно потому Губин и не почувствовал ни испуга, ни стыда, а что-то... похожее на гордость. И на мгновение пожалел, что нельзя рассказать Маше про Лизу. Когда-то в детстве его вот так же подмывало похвастаться матери, воображавшей, будто ее Санечка пай-мальчик: Санечка давно курит, и отпетые хулиганы Мишка и Борька считают его своим.

— Кто?— усмехнулся Губин.— База, кто ж еще. Или, хы, Алла Сергеевна.

Назавтра, в день рождения Губина, с утра заехали за ребятами и удрали всей семьей на дачу. Но Алферов, конечно, явился и туда, старый негодяй. Вечером в саду, за отцветшими кустами сирени, развели костер, и Губин с Володькой залихватски поджарили шашлыки. Зять-недоумок использовался только в качестве тупой подсобной силы: принести полено, достать из подпола замаринованную баранину. У костра сидели допоздна, так что поданный Машей на веранду чай пили уже впопыхах: Володька торопился на последнюю электричку. Перед уходом долго шептался на кухне с Машей, а Губина на прощанье заверил: «Завтра получишь подарок, увидишь — упадешь...»

А Лизино время двигалось вместе с теплоходом через бесконечное Онежское озеро и дальше, дальше по северным рекам. Впрочем, сама она никакого времени не чувствовала, будто оно и не шло вовсе.

С самого Петрозаводска, откуда отошли в полдень, пролежала в каюте до вечера. Лежала не двигаясь, вниз лицом и хотела только одного — выпростать затекшую руку, которую сама же и прижала собственным телом. Но не могла почему-то.

Перед тем как лечь закрыла окно, а к ночи стало так душно, что даже спина взмокла. Все-таки пришлось подняться, включить вентиляцию. А включила, сразу и пожалела: до того в каюте еще пахло одеколоном

Александра Николаевича, а теперь воздух пресный, как дистиллированная вода. Чужой.

Мыслей никаких в голове не было, только начнешь думать — оборвется. Точно тянешь из колодца полное ведро, а вода далеко, все крутишь, крутишь — р-раз! — вырвалась ручка и пошло раскручиваться назад... а то еще и веревка совсем оборвется... Не одно ведро Лиза так утопила... Мать ругалась: «У-у! Безрукая! Голова черт-те чем занята...» Теперь воду из колодца таскать не надо — водопровод, два года уже как дали квартиру в новом доме. А старый, деревянный, пошел на снос... Всю правую, прибрежную сторону улицы тогда снесли, расширяли русло, и мать, уж конечно, была против: жалко огород, баню, сарай. Все куда-то письма писала — без толку, выплатили ей за дом деньги; ей, не бабушке, потому что, пока бабушки не было, мать успела дом на себя перевести, деньги дали большие, целых три тысячи, а мать отказывалась, требовала, чтобы выделили участок в другом месте — дом переносить, а дом-то старый, больше пятидесяти лет. Еле уговорили согласиться на квартиру, двухкомнатную, даже бабушка просила, хотя ей-то дома этого жальче всех — они с дедом и строили; бабушка из-за Лизы просила — воду и дрова Лизе носить. Потом брат Сергей приехал из Череповца, мать его уважает; старший, совсем отдельный, и как-никак многого добился, начальник чуть ли не главного цеха на комбинате. Недавно орден дали. А Светка, младшая, та по глупости была за мать — ей, дурехе, главное, чтобы дом — у воды, купаться можно прямо с мостков, а еще — сад, смородину щипать... Светке мать слова не скажет, а Алешу гоняла, да сколько времени Светка дома? Только месяц в каникулы, раньше, школьницей, больше у Сергея жила, сейчас в Москве, в общежитии, а в тот год, когда сносили дом, как раз кончала третий курс. Ей, конечно, новая квартира ни к чему, ей дом был вместо дачи на лето, она и после института поселится в Москве, это уже точно, в сентябре свадьба, пропишется Светлана к мужу, станет постоянной москвичкой.

А Лизе жить в родном городе Ветрове, про который Александр Николаевич сказал, что — какой же это город, одно убожество, и он не понимает, как люди в нем вообще могут существовать. Особенно в том районе, в новых домах, где как раз живет Лиза с матерью, бабушкой и Алешей, сюда, мол, только преступников ссы-

лать. Что ж... и верно. В тридцатом году, бабушка рассказывала, всю их семью привезли сюда из-под Курска, в чем были, без вещей. Бабушкиных родителей, саму ее с мужем и грудной дочкой Зиной. Бабушка совсем молодая была, никакой работы не боялась — в лес так в лес, на торф так на торф. Родители, те даже обжиться тут не успели, сгорели друг за другом в один год. Их, как привезли,— сразу на канал, а бабушка с мужем молодые, их особо не трогали, работали, а в свободное время выстроили себе дом. И жили в нем до самой войны. Тут и Зинаида, Лизина мать, выросла. Потом уж в этом доме родился Сергей, старший брат, за ним Лиза, Светка, а последний — Лизин Алеша. Как же не родной город? За городом, на кладбище лежат прадед с прабабкой, вместе лежат, рядом, под крестами. А где материн отец, этого никто не знает, как ушел в первый день войны, больше ни весточки. Без вести пропавший — так и считается. Бабушка говорит, наверное, сразу погиб, таких, как он, кулацких-то сынков, в самые гиблые места гнали. Только разве он кулацкий сынок? Примаком был у бабушкиных родителей, да они и сами кулаки разве? Не было у них в селе кулаков. Это опять бабушка Лизе объяснила, тихонько, с оглядкой, чтобы мать не слышала. Услышит, подымет скандал, особенно если выпивши: «Молчать, старая! Чтоб у меня в доме без контры, дак! Хватит, всю жизнь мне изгадила!»

Бабушке прикрикнуть бы на дочь — нет, молчит, крестится, а то еще возьмет да прощения у той попросит. Чудная! В ноябре сорок первого, как стала подходить к Ветрову линия фронта, бабушку опять забрали и увезли куда-то на Урал. Не ее одну, многих. Называлось: «социально чуждый элемент». Собраться как следует опять не позволили, в двадцать четыре часа. А Зинаида осталась, пятнадцати лет, бабушка ее как раз перед тем устроила судомойкой в рабочую столовую. Потом, позже, там солдатская была столовая...

Вернулась бабушка только в пятьдесят шестом, дочь застала с трехмесячной Лизой на руках и с прозвищем «Палатка», а по дому ходил высокий да худющий Серега тринадцати лет. Ни кто чей отец, ни как жила — никаких ответов бабушка от дочки не получила. Одно: «Твоими молитвами, молеельщица. В комсомол меня тогда за тебя не взяли, и никакой дороги. Какие мои дела — сама видишь». И все верно: отец, пропавший без вести, не лучше пленного, мать высланная... Бабушка — в но-

ги дочери, а та: «Ладно. Жить живи, а порядки свои наводишь, я те наведу! У меня своя жизнь, тебя не спрошу, дак».

Младших детей бабушка у дочки вынянчила, жалела, что негде окрестить, не осталось в Ветрове церквей, а ехать куда — Зинка узнает, голову снесет. Бабушка говорила: когда увозили ее в сорок первом, мать была красивая, лицо чистое, коса ниже пояса. А вернулась через пятнадцать лет в свой дом и не узнала дочку: волосы краской травленные, какого цвета — не поймешь, два железных зуба спереди, морщины под глазами. Ну, насчет зубов, так у бабушки у самой ни одного не осталось, потеряла от страшной своей жизни, чего только не перенесла, а ведь никогда ни о ком худого слова не скажет, а мать — та и при детях такую, бывало, несет матерщину, хоть беги из дому куда глаза глядят. И дралась. До сих пор дерется и ругается, хоть при Лизе, хоть при Алешке... только при нем что хочешь говори, не услышит... а все равно боится, как начнет она кричать — прячется, залезет в платяной шкаф и сидит... Мать на кладбище к своим деду с бабкой не ходит никогда, а Лиза с бабушкой часто. По праздникам обязательно, бабушка все праздники помнит, соблюдает. Алешу сейчас, как подрост, стали брать с собой.

С Лизиной матерью у бабушки, когда переезжали на новую квартиру, вышел ужасный крик, до драки. То есть бабушка, конечно, не дралась, она никого никогда в жизни не тронула, просто выносила икону, а мать рвет из рук — «нечего таскать в мой дом всяко суеверие, клопов только под ними плодить, и хватит, я из-за тебя, дак, сраму от людей натерпелась, боле не желаю! И от лампы вонючей в той живопырке будет не продохнуть!». Бабушка, конечно, смолчала, стерпела, даже когда мать ее со зла по голове ударила. А образ все равно перевезла. Зато уж Шарика, сколько Лиза ни просила, сколько Алешка ни плакал, — мать увела. Говорит, отдала, а кому, не сказала, увела утром на веревочке, он визжал, рвался... Лизе назло, это точно.

В новой квартире бабушка с Лизой и Алешей в большой комнате, в маленькой — мать, одна, ну бабушка образ потихоньку в углу и повесила, кому мешает? Мать сперва ругалась, грозила снять и выкинуть. «Ребенку мозги крутишь, кулацкая морда, вражина народная!» А потом, когда врачи в последний раз окончательно объявили, что Алешу вылечить нельзя, останет-

ся глухонемым и, значит, в развитии, как ни бейся, будет от других ребят отставать, отцепилась. «Пускай глядит, с дурачка что за спрос!» Это после того, как Лиза свозила сына в областной центр к профессору. Профессор тогда сказал, что ни вылечить невозможно, ни вообще как-то помочь в условиях Ветрова, вот если бы Алеша жил в Москве или, допустим, в Ленинграде, даже хоть и в Кириллове — там для глухонемых есть специальные школы... Конечно, была бы Светка человеком, взяла бы племянника к себе, сама-то чуть не всю жизнь — у старшего брата. Не возьмет. Да и куда? К свекрови?..

...Лиза лежала на диване Александра Николаевича, на его подушке, и, хоть убей, не могла двинуть ни рукой, ни ногой. Два раза в дверь стучали, она не отозвалась. Может, Катя с Ирой? А может, вахтенная — переселять? Все равно... Теперь все равно. Только голова тяжелая и мутная, а в ногах мурашки.

...Вот точно так она и тогда лежала, когда вернулась с сыном после той консультации. И тоже не плакала. Плакала бабушка. И молила Бога, чтоб пожалел сироту. Это кого ж — сироту? Алексея? Или Лизу саму?.. Мать еще сказала, что если бы Бог твой таких сирот жалел, родиться бы не дал или уж прибрал, чтоб не мучился и другим жизнь не травил.

Мать их ненавидит. Бабушку — за то, что, считает, жизнь ей испортила: «У порядочной матки люди дочь Палаткой не назовут, дак! А оставила одну в пятнадцать-то лет, а жрать-то чего? Надеть — чего?» Лизу — что неудачница, «самая в семье вроде красивая и вести умеет сама себя, а жизнь устроить не сумела, мужа, стерва, не уберегла! Вдобавок родила еще уроды!..»

...Мать уговаривала: «Иди, дура, замуж, мало ли, что пьет, зато настоящий мужик, не то что твой-то чучек, чурка-палка — мелкий дров. Не дам с солдатом гулять, дак, хоть ты что делай! В сарае запру, гадюка, чтоб ты сдохла!» А Лизе нравился Абдусалим из соседней воинской части. Познакомились в клубе. Абдусалим был скромный, молчаливый, ласковый. Книжки любил. Лиза его жалела: трудно человеку на Севере, если родился и вырос в Душанбе. Семья у Абдусалима, рассказывал, была хорошая, мать учительница, отец конструктор на заводе. И четверо сестер. Абдусалим очень скучал по дому, чуть не каждый день писал письма, а до дембеля (по-ихнему, конец службы) оставалось

еще полгода. Лиза тогда училась в десятом классе, собиралась в педагогический техникум.

Мать увидела ее раз в парке с Абдусалимом, дома вечером отхлестала по щекам: «Я те дам, проститутка! Своих парней мало? Косоглазого нашла, мать позорить? Посмотри хоть на Тольку с нашей базы, это парень, дак. Сколько раз мне: «Зинаида, ставь полбанки, приду девку сватать». Знай, сучка, еще увижу с этим, в часть пойду, к командиру, скажу, чтоб духу его тут не было!» И ведь пошла. Чего уж там она наговорила, неизвестно, а только Абдусалима перевели в Вологду. Оттуда он и домой уехал, в свой Душанбе. Писал Лизе, звал. Несколько раз она ответила, а потом мать поймала, изорвала письмо, а Лизу — веревкой. Ей — что десять лет дочери, что семнадцать. Бабушка в тот раз веревку отнимала, так и ей досталось. А вскоре Лиза вышла замуж за Анатолия.

В Лизин день рождения, восемнадцатилетие, мать назвала гостей и такую устроила гулянку, что все дивились: известно, Палатка не то что свое отдать, чужого рядом не кладит. А тут... На столе чего только не поставлено, поросенка не пожалела заколоть, водки целый ящик, Анатолий из магазина и привез, на самосвале.

Вся улица пришла, ели, пили, плясали. Лиза в тот вечер в первый раз пила водку. И возненавидела. А тогда с одной стороны мать: «Пей, дочушка, за твое здоровье, за счастье, дак!», а с другой — Анатолий, одной рукой стопку в губы тычет, другой облапить норовит. Пока Лиза от него отодвигалась да потную его ручищу сбрасывала с плеча, он ей одну стопку, и другую...

Бабушка кричит: «Толька, кобель бесстыжий, чего к ребенку прилип? Отстань! А ты, Зинаида, чего? Креста на вас нету, совести никакой, Лиза, иди, деточка, ко мне, не слушай их, не покоряйся!» Хотела Лиза встать, ноги не держат, и Толька тут как тут, дышит в ухо, обхватил, не пускает. Одной рукой за спину, другой коленку хватает. А мать все свое, красная, волосы как у ведьмы: «Ты меня, Лизка, слушай, ага? А то не будет у тебя в жизни никого и ничего, дак. С солдатней гулять последнее дело, использовал — и в сторону, дак. Шибко образованных тоже остерегайся, был у меня... папаша твой, мать его... Студе-ент... Слова разные шепчет, врет все! Любовь, говорит. Не веришь? На

стройке они тут были, он у меня и стоял. Чернявый, ты в него, дак. С Ленинграда сам-то, отец профессор, ага, так что ты у нас, Лизавета, не кто попало, не Палаткина дочь, а профессорская внучка! О-ох...

Меня дроля изменяют, да не думает — беда-а,
Я найду себе друго-ого, лишь бы...»

«Зинка, побойся Бога, при ребенке-то!» — бабушка кричит, а та опять — к Лизе: «Помни, девка, все они, кобели, одинаковы, хоть городской, хоть кто... Сделал дело, гуляй смело! Главню, писа-ать обещал... А Светкин... Трoих вас родила, дак ни один сволочь не помог, пускай хоть у тебя, как у людей, чтоб по закону, дочушка моя роди-имая!» — и завыла в голос.

Как кончился тот вечер, Лиза не помнит. А если и всплывет что в памяти, гонит, старается не думать.

А следующее утро началось с того, что она услышала причитания. Открыла глаза, еле веки разлепила, тяжелые, как вот сейчас. А за стеной бабушка голосит, точно покойник в доме. Лиза испугалась, хотела встать, бежать. Повернулась в постели и увидела рядом голое плечо и толстую руку... заросшую рыжими волосами. А потом лицо на подушке, мятое, небритое. Анатолий.

...От подушки Александра Николаевича пахло его волосами. Несильно. И не скажешь, какой запах, а другого такого больше нет. Лиза обхватила подушку и заплакала.

Свадьба с Анатолием была через месяц, тихая, без гостей.

Бабушка с матерью до самой свадьбы не разговаривала, все плакала и молилась. Лиза как-то вошла, стоит перед образом на коленях, лампадка горит, а бабушка: «Прости, Господи, рабу Божию Зинаиду, беспутницу глупую, бессмысленную, не она виновата, я, грешница, ее не углядела, теперь дите погибает!»

Лиза прожила с Анатолием четыре года. Сперва сама себе удивлялась, почему послушалась, ведь не рабство у нас, не крепостная. Можно было взять да завербоваться, хоть на Дальний Восток. Бабушка сколько раз: «Уезжай! Денег нет? Не бойсь, я достану, люди добрые помогут. Людей хороших много, Лизонька, уж мне ли не знать — в самом аду побывала, только тем и спаслась, что люди кругом». Не решилась Лиза уехать, а мужа не любила. Совсем не любила, даже бывало противно, когда обнимет. А он первое время, как

назло, ласковый был. И получку всю до копейки приносил в дом, правда, отдавал матери. Та: «Кто хозяйка тут? Дом чей? Вот как будет свой у вас с Лизкой, ей тогда деньги и носи, дак, а пока ты, Толюшка, у меня в примаках, все одно, как мой родной папаша был, подкулачник!» — и хихикает. Страшно она смеется, когда выпьет.

Если Лиза с мужем ссорилась, мать — всегда за Анатолия. Утешает: «Плюнь ты на нее, Толюшка, молодая больно, не знает, писюха, как мужу угодить. Садись за стол, у меня для зятюшки всегда запас, утешу — успокою. Правду люди говорят, дак, — старый конь борозды не портит».

Притащит в дом бутылку, наденет праздничное платье, бусы, накрасит губы, сидят с Анатолием, веселятся, поют. Бабушка корит: «Бесстыдница, креста нету на тебе, почто девке жизнь испортила? Ох, Зинка, ведь насквозь тебя вижу!» А та в ответ одно: матом.

Вечером бабушка с Лизой запрутся на задвижку. Толька дверь дергает, трясет: «Лизка, выходи давай, слышишь? Твой законный муж требует! Выходи, говорю, деревяшка неотесанная, бесплодная! Мать на что в годах, а тебе сто очков даст вперед!» Мать тут же, шепчет что-то, унимает его, а бабушка — Лизу за руку и подальше от двери: «Не слушай их, детка, пьяные, сами не знают, чего несут, прости их Господь!»

Так и жили. На четвертом году Лиза забеременела, и Анатолий сразу изменился — стал заботливый, тихий, веселый. Воду, бывало, не давал таскать, сумку, если тяжелая, всегда отберет.

В тот год Лиза работала лаборанткой в школе и училась заочно в техникуме. Иногда задерживалась на работе допоздна, там заниматься лучше, никто не мешает, сидишь в пустом классе, окно во двор открыто, тополем пахнет... Потом слышно — машина. И — фары прямо в окно. Это, значит, Анатолий приехал на своем самосвале. В хорошую-то погоду он чаще любил пешком. Весной в Ветрове по вечерам светло, в палисадниках сирень, небо высокое. До дому шли не торопясь, поднимались на холм, где собор, а оттуда далеко-далеко видно, весь город, и реку, и канал, и поля на той стороне... Лиза в такие вечера совсем не чувствовала себя несчастливой, наоборот, думала: может, все будет теперь хорошо, родится ребенок, да и муж у нее все-таки не хуже, чем у других, — высокий, сильный, не обижа-

ет... Правда, если послушать бабушку, как они с дедом друг друга любили, то все должно быть не так. Но ведь известно же: что давно прошло, всегда потом кажется лучше, чем было... И специальное название для этого есть: «бабушкины сказки», а если такого требовать, то нигде приличной семьи не найдешь. Теперь по-другому люди живут, и сами стали другие, не пьет мужик запоем, не дает рукам воли и деньги приносит в дом, вот уже и семейное счастье. А чтоб дух захватывало да ноги подламывались от того только, что увидела его в конце улицы, как он домой с работы идет, этого и вовсе не представить, чудеса какие-то. Бабушка, конечно, уверена, будто у них с дедом всегда было только так, и если бы не это, она бы ни за что не выжила. Потом, на Урале, говорит, память ее спасла. Память, а еще вера. Ну и добрые люди, конечно. Про Лизиного Анатолия, когда тот перестал пить, тоже говорила по-хорошему. И Лиза очень надеялась, что после рождения ребенка все окончательно наладится. И к мужу она привыкнет... вот только, если бы жить отдельно от матери... Но где? У Анатолия до женитьбы койка была в общежитии, сам он приезжий, из Котласа.

В тот последний день, когда мать принесла две бутылки и стала уговаривать зятя с ней вместе поужинать, Лиза собралась из дома. Не то что обиделась, зачем муж опять поддался, просто нужно было к подруге, вместе занимались. А Толя как раз пить с матерью не хотел, отказывался. Прямо так и сказал при Лизе: «Ты, Зина, не сердись, я поем, спасибо, а этого не надо, мне — Лизку провожать, она торопится, а на улице дождь, скользко. Упадет, сама знаешь, что может быть».

Мать такой подняла крик. Слезы горохом, мат на весь дом. Схватила его за рукав, повисла. Лиза — скорей одеваться и убежала. Быстро шла, чтоб не догнали, пускай помирятся, а то видеть невоготу. Мать последнее время на них с Анатолием кидается, как зверь. На Лизу — что ленивая стала, неуклюжая. «Уродина брюхатая» — это еще самое лучшее название, а Тольке и вообще любое лыко в строку: что ни сказал, ни сделал, все не так: «бабья тряпка» да «сопля на дороге». Еле дошла тогда Лиза до Натальи, глина вся под дождем размокла, ноги едут в разные стороны, резиновые сапоги по пуду каждый.

Вернулась поздно. Темень, и так три фонаря на всю улицу, а тут один не горит. Пришла, сапоги сбросила в сених. В доме тихо, Анатолия не видать. К матери заглянула — спит. Одетая, рот раскрыла, храпит. А под глазом синяк. Лиза — к бабушке: «Что у них опять? Где Толя? Может, за мной пошел, разминулись?» Бабушка только плачет: «Напились оба, кричали, потом как грымнуло... И твой-то Зинаиду такими словами... Она — на него. Вроде, драка получилась у них, потом стихли. Я уж радехонька — примирились. Тут дверь бухнула, ушел Толька, а она — за ним. Звала, кричала. Не выкричала. Ввалилась из-под дождя мокрая вся и в чем была на постель... Ох, Лизавета, говорила ведь я тебе: уезжай, завербуйся куда... Теперь с брюхом-то...»

Анатолия не было до утра. И весь следующий день. И еще... Сперва не искали — мало ли, он и раньше, если уж начнет пить, сутками пропадал, ни дома нет, ни на работе. На третьи сутки Лиза начала беспокоиться. Мать подначивала: «Сбежал твой-то. От тебя, от рожи кислой, дак».

Все это время она ходила сама не своя, злая, что под руку попадет, то и летит на пол. И, как вечер, напивалась. Хорошо еще, что Светки не было дома, жила весь тот год в Череповце у брата.

Через четыре дня Лиза сходила к Анатолию на работу, а потом послала телеграмму в Котлас, его родным. Те сразу ответили: не приезжал и сведений никаких нет. Тогда заявили в милицию, милиция все проверила, и опять никаких следов.

На пристани, откуда ходят «Ракеты» в райцентр, не появлялся, билетов не покупал, дружки ничего не знают — не видели, не слышали, на железнодорожной станции тоже вроде не был, да и не ходят через Ветров по ночам пассажирские поезда. Направили все данные куда-то в розыск, а недели через две нашли. В реке. Совсем недалеко от дома, от мостков, где полоскали белье. Метров на сто всего и отнесло. Приезжал следователь, установил: несчастный случай в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хоронили в закрытом гробу, и мать у всех на глазах бросилась с кулаками на Лизу: «Ты убийца! Из-за тебя погиб!»

Говорили разное. Лизе бабы и на работе и на улице такое, бывало, вылепят — слушать жутко...

А бабушка свое: «Не верь им, девка. Человека не вернешь, а слушать, как родную мать позорят, — грех». Сама она тогда целых три раза съездила в соседний городок, где была церковь.

Вскоре родился Алеша. Мать настаивала: назвать Анатолием, а Лиза решила Алексеем, в память дедушки. И настояла на своем.

Первое время после рождения внука мать капли в рот не брала, смиренная ходила. Алешу нянчила, даже песни ему пела и частушки. Смешно: к Лизе с бабушкой ревновала, бабушке доверяла только пеленки стирать, а Лизе кормить да присматривать, пока она на работе. А придет — сразу парня на руки, и так до ночи. Даже спать норовила уложить к себе в постель, но тут уж Лиза с бабушкой обе в один голос: нельзя, приспишь, задавишь ночью.

Когда врачи сказали — глухой мальчик, и дефект неустранимый, так что в условиях Ветрова вырастет немый, тут опять появилась водка, слезы, крики: «Не могла, сволочь, нормального родить». На Алешу обиделась: «Вылитая Лизавета, волос черный, сам, как галка». И Алеша у нее стал уродом, вся любовь кончилась — не то что на руки, к кровати не подойдет.

Вот так и жили.

...До самого вечера провалялась Лиза одна в пустой каюте. Лежала, уткнувшись в подушку Александра Николаевича, то ли дремала, то ли бредила. А радио все говорило, говорило... Сперва рассказывало про архипелаг Кижы, чудо деревянного зодчества, а Лизе почему-то мерещился солнечный день в Горьком, Кремль, а они с Александром Николаевичем сидят в кафе и пьют горячий шоколад... Тут голос Аллы Сергеевны позвал туристов на прогулку-экскурсию по заповеднику и предупредил: цветов не рвать, ягод не собирать, во внутренних водоемах не купаться.

Лиза с трудом села. Провела по лбу ладонью. Лоб был сухой и горячий. Преодолевая сразу нахлынувшее головокружение, она протянула руку и отдернула занавеску. Ярко-синий день рвал глаза. Высоко в небо воткнулись кресты деревянного собора и колокольня... Вот бы сюда бабушку... Все-таки Лиза спустила ноги на пол, попробовала встать. Не получилось, сердце сразу начало колотиться, ладони сделались мокрыми. И тогда она легла снова и закрыла глаза. И, кажется, заснула — во всяком случае, не заметила, как прошла

стоянка, как отчалил от берега теплоход, даже не слышала своей любимой песни «Мы желаем счастья вам...». Все дни, что Лиза была с Александром Николаевичем, ей казалось: эта песня — ну как нарочно! — специально для нее.

Очнулась от того, что в дверь громко стучали, и бросилась открывать, спросонок понимая — это же он! Пришел, а она заперлась! Но еще не повернув защелки, вспомнила: нет его. Наверное, вахтенная.

За дверью стояли Катя с Ириной.

— А мы испугались, думали, вы отстали. На обед не пришли, в Кижках, смотрим, тоже не видно... — начала Катя, но Ирина сразу перебила ее вопросом:

— Где Александр Николаевич? — Глаза ее так и шныряли по каюте, и от того, что ни на вешалке, ни на полке — нигде нет его вещей, Лиза почему-то почувствовала себя точно голая.

Она села и спокойно сказала, что простыла, температура вот, решила отлежаться. А Александр Николаевич еще из Петрозаводска срочно уехал в Ленинград, вызвали телеграммой. Что-то такое на работе. Серьезное.

— Несчастный случай?! — ужаснулась Катя.

— Если с жертвами, значит, суд. Сто процентов. Главный инженер отвечает за технику безопасности, — толково пояснила Ирина. И тут же спросила, придет ли Александр Николаевич в Ленинграде встречать теплоход?

— Если сможет, — ответила Лиза и вдруг поняла: ну конечно, придет! Придет! Если бы иначе, разве такое было бы у них прощание? Наспех, адреса не спросил, своего рабочего телефона не дал... А если даже... нет, навсегда вот так, впопыхах, не прощаются! Просто он знал (точно!), что они скоро опять увидятся. Ну да, ну ясно же... И тут Лиза почувствовала, что и тошнота, и слабость — все проходит.

Катя спросила, не надо ли чего, чаю, таблетку от головной боли. Лиза отказалась, хотелось скорее остаться опять одной. Обо всем подумать. Но только легла, сразу заснула, спала спокойно, легко, а ночью вдруг открыла глаза и поняла — надо идти. Поднялась и пошла на палубу.

Теплоход быстро двигался по гладкой, неслышной воде озера. Толстая луна сидела на самой кромке гори-

зонта. Лиза с удовольствием вдохнула прохладный воздух.

Это ничего, что еще два дня ей придется побыть без Александра Николаевича, даже хорошо! Она во всем как следует разберется и, когда они встретятся, поговорит с ним. И он поймет, что Лиза — не дурочка, которая двух слов не может связать; и узнает, кто он для нее. И скажет... Лиза нарочно не стала угадывать, что он ей скажет, знала одно: как бы все ни решилось, ей с этими его словами уже ничего не будет страшно... Все эти мысли вчера — просто глупость. Даже подлость! Не объяснил ей, почему уезжает. Ну и что? Не успел! Он тут сидел, ждал, нервничал, а она пробежала по городу до самого отправления, как дура. А главное вот что: он же столько раз говорил — никто не должен переваливать свои неприятности на других, особенно на близких. Нужно справляться самому. Он пожалел ее, не стал расстраивать. Значит, она... ему близкий человек? Он и вел себя все время не как с первой попавшейся, с которой только время провести, а именно как с родным человеком. Заботился, старался, чтобы ей было хорошо, интересно. Все объяснял, показывал. Даже цветы дарил, а уж цветы кому попало не дарят. И хоть не было между ними сказано никаких слов... ну и что?

...Лиза-то, конечно, все ласковые слова ему сказала. Только не вслух. И вообще в мыслях много о чем успела поговорить, обо всей своей жизни, об Алеше, о бабушке, о том, что встреча с ним на этом теплоходе для нее... Ладно, ведь каких-то двое суток — и они увидятся! Только бы ничего с ним не случилось страшного! Уж теперь-то Лиза все скажет, как нужно. Вот он удивлялся, почему она мало читает. Глупенький, когда же ей читать? Если он тут, рядом, она и вообще ни о чем не может думать, а уйдет он, допустим, к Ярославцеву, она и давай вспоминать, о чем только что говорили, весь разговор переберет, слово за словом, каждую интонацию обдумает, что он имел в виду, что чувствовал... Так — все время, к вечеру даже уставала. А ночью проснется — последнее время почему-то часто стала просыпаться под утро, — проснется, посмотрит — он спит, тихий такой, губы надуты, как у Алешки... И самой уже до подъема не заснуть.

...А ведь он же наверняка, когда оставался один, тоже думал о Лизе. И решал для себя тот вопрос, на который она послезавтра собиралась ответить. Хотела

еще вчера, в Кижях, — не получилось, придется теперь в Ленинграде... А вопрос, понятно, какой: что делать дальше? И ведь он еще думает, что она москвичка, от Ленинграда — всего ночь езды... Соврала зачем-то, потом сто раз хотела повиниться, да все ждала Ветрова — узнать, что он скажет про ее город... А сама Лиза там даже на минуту сойти с теплохода не могла — в Ветрове ее каждый второй знает. Еще и бабушка, как нарочно, пристрастилась в последнее время ловить в канале рыбу. Алешу с собой берет, чтоб не болтался один во дворе.

Про то, что Лиза на этом теплоходе, дома не знал никто. Путевку подарил брат, достал у себя в Череповце, и Лиза специально его попросила: никому ни слова. Особенно матери, подымет крик: барыня, путешествовать надумала, деньги только тратить! — а так Лиза едет в отпуск к Сергея теще, в деревню. А то взяла бы да назло и явилась на пристань, и еще неизвестно, в каком виде. Она и так, вполне возможно, там была, это уж такой обычай — пришел туристский теплоход — целая толпа на берегу. Кто чем торгует, а кто, вроде таких, как мать, соберутся у трапа, клянчат, чтобы пропустили в буфет, вдруг там пиво или что покрепче. В Ветрове Лиза долго-долго ждала Александра Николаевича в каюте. Его все не было, и она обрадовалась: значит, ему интересно, ходит, осматривает достопримечательности. Она еще заранее нарочно сказала: мол, ничего особенного, а сама подумала — не может быть, чтобы Ветров совсем ему не понравился. А что? Город неплохой, даже красивый. Собор. А вид с холма? Александр Николаевич — Лиза не раз удивлялась — какими только городишками не восхищался, совсем старыми, деревянными, развалюха на развалюхе, а если церковь — так по пояс в землю ушла. А в Ветрове собор недавно ремонтировали, покрасили. Центр города, что ни говори, почти весь каменный, улицы широкие, Дворец культуры на площади — современное здание. И парк красиво расположен, у озера.

Пришел недовольный, и все ему плохо. Может, из-за жары? А то просто соскучился ходить в одиночку, привык все вдвоем да вдвоем... В общем, когда человек в таком состоянии, заводить с ним серьезные разговоры даже нехорошо.

Вот теперь придется говорить в Ленинграде. Он встретит, приедет, наверное, на своей машине, они от-

везут Лизины вещи на вокзал, в камеру хранения... Тут и надо сказать про Ветров — билеты на поезд пойдут покупать и... вообще. А потом... Потом он поведет ее куда-нибудь... Ну, хоть в кафе, они будут сидеть, разговаривать... Теплоход прибывает в десять утра, а ветровский поезд — в двадцать часов, времени — целый день! И тут Лиза ему все и скажет. Что встречаться им больше не нужно, нельзя, так лучше для него. А раз так лучше для него, то и для Лизы. Потому что обманывать жену он не сможет, не такой человек. И, значит, жена быстро обо всем догадается, сама скажет: «Любишь другую — уходи к ней».

А на это Лиза ни за что не пойдет! Чтобы разбить чужую семью, оставить хорошую женщину под старость одинокой... Нет, про старость говорить не нужно, просто надо сказать, что на чужой беде своего счастья не построишь. И потом, тогда Александру Николаевичу и самому будет плохо, станет скучать. Ведь Лиза понимает: как бы он к ней ни относился, а жену все равно любит, пускай по-другому, по-родственному. И жалеет! Разве Лиза слепая, не видела, как беспокоился, если долго нет телеграммы, сколько раз по телефону звонил. А за то спасибо, что и ее, Лизу, расстроить тоже себе не позволял. Вот, например, когда были в Перми, пошли на почту, так он аж извелся, что долго говорит с женой, а Лиза там одна на улице. Вышел — сам не свой. А она-то ведь нарочно на улице осталась, ему не хотела мешать! Так оба и старались, он — чтобы ей лучше, она — чтоб ему... Нет, нельзя ничего рушить. Ведь есть еще дочь. И внучка. А Лиза?.. Она все перенесет, все перетерпит, лишь бы знать, что ему хорошо. И как бы там дальше ни сложилось, лично она Александру Николаевичу за то, что уже было, благодарна на всю оставшуюся жизнь.

Вот так она скажет. Должна сказать. А уж он пусть решает. Он мужчина, последнее слово его.

Лиза видела, как теплоход вышел из Онежского озера в Свирь, как начало светать, как поднималось солнце и на берегах распадался и таял ночной туман. Спать легла в шестом часу, но к завтраку встала, причесалась, сунула ноги в тапки и побежала в ресторан.

Во время завтрака объявили, что после стоянки в Лодейном Поле в музыкальном салоне — «Клуб инте-

ресных встреч». Лиза идти не хотела, нужно довязать свитер, но Катя уговорила: «Нечего одной в пустой каюте куковать!» И Лиза согласилась. Довязать можно и потом, завтра весь день свободный.

На стоянке она вышла после всех. Нарочно задержалась возле вахтенной, утром пришло в голову: а может, он ей пришлет сюда телеграмму? Чтобы не волновалась и ждала в Ленинграде на пристани. Но вахтенная ничего не сказала, значит, не принесли телеграмму... Их вообще-то приносят позже, перед отплытием, да и смешно: не станет же почтовая машина специально подгадывать к пароходу.

В Лодейном Поле, как и везде последние дни, стояла жара. Сперва всех толпой повели в клуб, смотреть фильм про встречу однополчан, воевавших в этих местах. В клубе было прохладно, не хотелось выходить на прокаленную улицу. Лиза совсем было решила вернуться на теплоход, может, телеграмму успели доставить, но стало неловко на глазах у людей отрываться от группы.

Уже на обратном пути, когда всех отпустили по магазинам, к ней вдруг подошел мужчина из соседней каюты, тот, кого Александр Николаевич все звал Базой. Спросил, где ее... спутник, и, не выслушав ответа, сказал, что категорически приглашает их обоих вечером в музыкальный салон. Лиза вежливо поблагодарила и свернула в первый попавшийся магазин. Ну, не нахальство? Стоит остаться одной, как уже пристают! Главное: «обоих приглашаю», а сам глазками так и зыркает. База-зараза!

В магазине Лиза на последние деньги купила Алеше колготки, а потом не удержалась и потратила чужих двенадцать рублей,— Наташка, подруга: «Посмотри там что-нибудь» — а Лиза ничего не нашла и теперь вот взяла голубую рубашку. Для Александра Николаевича. Очень уж по цвету подходила к его глазам. Пускай носит, вспоминает Лизу.

Когда уже выбила чек и шла к прилавку, вдруг подумала: а как же он дома-то объяснит, откуда это все — и рубашка, и свитер новый? И додумалась: можно сказать, что купил в поездке, в Петрозаводске собирался второпях и оставил в каюте. А теперь вахтенная отдала. Потому, мол, и ездил встречать теплоход! Точно.

...Эх, Лизавета... Хитрая же ты, оказывается...

В Лодейном Поле телеграмму так и не принесли, но Лиза нисколько не расстроилась. Нет так нет. Послезавтра утром — Ленинград. Он придет.

После ужина они с Катей и Ирой пошли в музыкальный салон. По дороге Лиза сказала, что на завтрашний вечер зовет их к себе, нужно отметить одно событие.

— Отвальная?— догадалась Катя.

— Точно!— Лиза улыбнулась.— Ну, и еще там...

Музыкальный салон был набит битком. Все пришли, и «подшитый» Жора в своем черном костюме, и Козел с разряженной Коровой, и Ярославцев. Когда он обернулся, Лиза поклонилась. Он ей тоже покивал, очень дружелюбно, даже ласково. Это значит, Александр Николаевич говорил ему про Лизу, и говорил хорошее, Лиза совсем развеселилась и, сдерживая смех, тихонько толкнула Иру, сидящую рядом,— показала ей Базу. Тот сидел впереди, но почему-то сбоку, и лицо у него было перекошенное, точно на зубы налипла тянучка и от нее ноет весь рот.

— Приглашал меня сюда персонально,— шепотом сказала Лиза Ире на ухо,— представляешь?

— Ну, мужики! Это что-то!— Ира повернулась к Кате.— Лизка осталась одна, так этот... ну, вон, сидит, плешивый! Ей уже, готово дело, клинья подбивает. Интересно, где его жена? Полная такая, вроде жабы.

— Нужен он мне, как не знаю...— сказала Лиза.

— Видел, что с женщиной в каюте живешь, живо понял, ху из ху, вот и загорелся: раз кому-то можно, значит и ему...— продолжала Ирина громко, глядя теперь уже на Лизу.

Та растерялась, начала было краснеть и вдруг услышала, как Катя внятно сказала:

— Завистливая ты, Ирина. И злая.

На них начали оглядываться, но тут вышла и встала перед всеми Алла Сергеевна, веселая, заводная, нарядная — в длинной атласной юбке и кружевной блузке. Вышла и торжественно объявила:

— Сегодня у нас, товарищи, не обычный вечер, сегодня — встреча. Как вы думаете, с кем? Сы... ну-ка! Никак? Сы... писателем! А вы и не знали, что у нас есть свой писатель? Разрешите представить: Курнаков Владимир Григорьевич, известный писатель-юморист-сатирик, хы. «Опять — двадцать пять» слушаете? Ну вот. Прошу.

И захлопала в ладоши. Зал тоже заплодировал. И тогда со своего стула лениво, вразвалку поднялся База и, сохраняя на лице все то же конфетно-зубное выражение, раскланялся. Все опять захлопали, и Алла Сергеевна сообщила, что до конца рейса Владимир Григорьевич просил его не беспокоить, хранить строжайшее инкогнитó, чтобы не мешали работать, а теперь вот согласился выступить. И сейчас он прочтет несколько своих произведений. Просим его! Дружнее! Вот так вот!

Сияя и лучась, Алла Сергеевна села, а База занял ее место. Постоял, подумал, послушал аплодисменты и, раскачиваясь с пяток на носки, канючливо сказал, что прочтет по памяти один из своих ранних фельетонов, который только тем хорош, что подходит к данным обстоятельствам. И начал:

— Мы собрались здесь со всех сторон, чтобы отдохнуть, верно? А что такое отдых? Как сказал один известный ученый-отдыховед, отдых есть абстрактный конгломерат экстравагантных чувств данного категория. Как видите, просто и ясно...— Голос Базы звучал заунывно и, когда после «категоризма» раздалось несколько неуверенных смешков, он досадливо закатил глаза, будто подумал: «Ну что за идиот может смеяться над таким бредом?» Смешки стихли, и База так же лениво сообщил, что один выдающийся директор парка культуры и отдыха на вопрос, что такое отдых, ответил, что «не знает и знать не хочет, но не в етим дело: главное, что за истекший квáртал в парке прокручено на «чертовом колесе» девяносто восемь процентов всех посетителей. И так становится радостно за те два процента, которые умрут естественной смертью...».

— Это смешно,— рассудительно сообщил Козел.

А Лиза уже не слушала, вдруг вспомнила камский городок. Она пришла на теплоход из магазина, а в каюте никого нет, и вот там, на берегу, тоже был парк, совсем молодой, деревья еще невысокие, а над ними огромное колесо. Лиза бегала тогда по парку, по всем дорожкам, тропинкам, а Александра Николаевича нигде не было, и ей стало вдруг — ну до того страшно, показалось, что никогда она больше его не увидит... А проклятое колесо крутилось под какую-то веселую музыку, и от этого почему-то делалось еще страшней... Но теперь-то она увидит его! Совсем скоро! Завтра день — и все.

После фельетона Базе долго хлопали, он разводил руками и кивал.

Потом сказал, что сейчас прочтет действительно смешную историю, а фельетон был так, для разминки. Взял со стола какие-то бумажки, надел очки и стал читать. Читал безо всякого выражения, бубнил, и Лиза все ждала, когда будет смешное, потому что настроение у нее вдруг ни с того ни с сего испортилось. А смешного все не было, рассказ шел о каком-то странном королевстве, где перед Новым годом проводилось соревнование, какой город самый лучший. То есть самый счастливый. Ему должны были присвоить звание Лучшего города, привезти туда самую большую елку, которая только растет в тамошних горах, и всем жителям подарить дорогие подарки.

— Забавно,— одобрила Алла Сергеевна, и База, внимательно на нее взглянув, вдруг кивнул: мол, верно, забавно. Но сам не улыбнулся.

Дальше он прочитал, как один город решил во что бы то ни стало завоевать звание Лучшего. А значит, нужно было в кратчайший срок сделать всех горожан поголовно счастливыми. И вот управляющий, какой-то господин Краст, собрал жителей на главной площади и объявил, что с грустью, тоской и слезами необходимо покончить. Раз и навсегда! «А у нас,— сказал он,— далеко не все благополучно в этом плане. На кладбище, например, все еще плачут, в больнице я тоже не встретил радостных лиц. Зарегистрировано пять случаев этой дури, несчастной любви, а одна женщина отказалась веселиться только потому, что у нее, видите ли, нет работы и денег. А?! Этому пора положить конец. Поднимите руки все, кто обещает впредь круглосуточно улыбаться!» И большинство горожан подняли руки. Но не все. Не подняли пятеро, и те, кто недавно похоронил своих близких, а также и те, у кого в доме были тяжелобольные. И сами больные — их тоже привели на площадь, а кто не мог идти, того принесли на носилках. Таким образом, набралось человек триста, не меньше, и Господин управляющий велел им выйти вперед и построиться в шеренгу. А когда они выстроились, поддерживая больных и поставив перед шеренгой носилки, каждому из них на шею привязали по колокольчику. «Это затем,— объяснил господин Краст народу,— чтобы по силе звона можно было установить, как обстоят дела со всеобщим благополучием. А еще для того, что-

бы издали слышать, что идет несчастливый. Тогда можно (и должно!) обойти его стороной. Чужое несчастье, знаете ли, заразительно, его не следует видеть вблизи. Вид скорбного лица портит настроение, а человек с плохим настроением не может считаться вполне счастливым. А? Счастье надо охранять и беречь». — «Надо беречь, надо беречь...» — подхватили счастливые горожане, птясь от тех, с колокольчиками.

И с этого дня, едва заслышав звон, люди закрывали окна ставнями, запирали двери, а если дело происходило на улице, прятались за угол и стояли там, пока несчастливый со своей заразой не пройдет мимо. При звуках колокольчика захлопывались двери магазинов, уличные торговцы бросались наутек, а колокольчиков в городе между тем становилось все больше. Правда, один из отвергнутых влюбленных вдруг заявил, что его чувство, слава Богу, угасло и теперь он самый веселый, следовательно, самый счастливый человек в городе. Поэтому Господин управляющий лично снял с него колокольчик. Новый год приближался, и жители очень волновались, что им не достанется звание Лучшего города, самая высокая елка и, главное, дорогие подарки. А все из-за них, из-за этих уродов с колокольчиками! Теперь несчастливых не просто обходили, от них шараялись, кидали в них камнями, а на площади кто-то вывесил плакат: «Долой зануд! Несчастливым не место среди порядочных людей!»

Тут Алла Сергеевна почему-то захохотала, но сразу поперхнулась и смолкла. И тогда улыбка впервые затеплилась на бледном лице Базы, губы его скривились еще больше и разъехались, показав неровные желтые зубы.

Больше не смеялся никто, а Ярославцев довольно мрачно попросил читать дальше.

А дальше было так: однажды настала ночь, когда колокольчики долго не смолкали на улицах города, мешая людям спать. Но к утру смолкли. Навсегда. Потому что несчастливые собрались и ушли. Куда? Кажется, в горы. Впрочем, этим никто не интересовался — ушли, и слава Богу, наконец-то в городе все счастливы. Поэтому, когда через два дня наступил канун Нового года, на площади торжественно установили присужденную по заслугам громадную елку. На ветках ярко горели свечи, а внизу лежала гора дорогих подарков. Горожане нарядились и вышли на площадь, но в это время из-

за гор вдруг подул сильный ветер, огонь горящих свечей перекинулся на ветки, и елка вспыхнула. Через пять минут огонь уже лизал крышу дома Господина управляющего, стоящего ближе всех. «Помогите, пожар!» — закричал господин Краст, а дети его громко заплакали. Но никто не бросился на помощь. Наоборот, каждый, выхватив из огня свой подарок, побежал прочь, потому что пожар, как известно, несчастье, а от чужого несчастья надо держаться подальше. Огонь тем временем, уничтожив один дом, принялся за другой. Через час пылал уже весь город, так что к утру осталось только пепелище, по которому бродили горожане, прижимая к груди заслуженные подарки. Несколько человек погибло в огне, но о них никто не вспоминал, — ведь если вспомнишь, можешь пожалеть, а пожалеешь — расстроишься. И сразу станешь несчастным, а это позор. Так что все улыбались, — внезапно закончил База, поднял лицо и опять ощерил свои малосимпатичные зубы.

На этот раз не смеялась даже Алла Сергеевна. Как-то боком она подошла к Базе и, не глядя ему в лицо, невнятно сказала, что от лица всех туристов сердечно благодарит его за доставленное удовольствие. Аплодисментов особых не было, только Жора протолкался к Базе и с мрачным лицом стал трясти ему руку.

— Чушь какая-то, — сказала Ира, — называется, рассмешил.

В каюте Лиза сразу села довязывать свитер. Завтра день его рождения, завтра и должно быть готово! Кондиционер включать не стала, открыла окно и задернула занавески, как всегда учил Александр Николаевич, ругался, что Лиза ходит перед окном неодетая. Не хотел, чтоб другие смотрели.

С той стороны окна, на палубе, негромко разговаривали. Слышался звякающий голос Аллы Сергеевны и другой, мужской, очень знакомый. Ну еще бы! Сколько раз на дню Лиза слышала этот голос, он объявлял о прибытии на очередную стоянку или что на синей палубе производится прием личных радиogramм... Сейчас голос радиста был тихим и совсем не торжественным, жаловался: придет послезавтра домой, а там никого, жена с детьми в деревне, а вернутся — его опять не будет...

— А меня сын с невесткой придут встречать, — с гордостью сказала Алла Сергеевна.

— Ну-у!— удивился чему-то радист.— Значит, вернулся?

— Вернулся. Я звонила, голос такой... возмужалый. Ой, даже поверить не могу! Господи, всего-то денек побуду дома, вечером — на Валаам. Хочу договориться, чтобы разрешили ему — со мной. Все же столько времени сына не видела. Должны пойти навстречу. Ты как думаешь?

— Разрешат,— уверенно сказал радист.— Ветеран войны, считается. Устроишь клуб интересных встреч.

— Устала...— вдруг вздохнула Алла Сергеевна.— Надоело, ну просто... И годы. Все считаю, сколько до пенсии. Долго еще... несколько лет... пять месяцев и семь дней... Теперь уже шесть.

Лиза посмотрела на часы — четверть первого. Пора ложиться, а спать совсем неохота. Вот и рукав готов, осталось только пришить.

Когда она закончила свитер и положила его на диван, было уже начало второго. Наступило двадцать восьмое число. День его рождения. Лиза сняла с полки каменную собачку, посадила на стол, подумала, достала из шкафа платье, туфли и переоделась. Поправила цветы в вазе. Они уже начали вянуть, но ничего, до Ленинграда достоят. А там... Лиза накрыла на стол, вынула яблоки, за которыми специально бегала в Петрозаводске на рынок, конфеты, два стакана, а главное, бутылку шампанского — куплена по секрету от него, он любит,— всегда заказывал, и в баре в тот вечер, и потом в кафе, куда они ходили в Перми.

Через десять минут сидела за столом, держала в руке стакан с шампанским. Себе плеснула на донышко, Александру Николаевичу от души. Зажмурилась — вот он, сидит напротив, загорелый лоб, темные волосы с проседью, мягкие. Глаза... Какого цвета? Иногда серого, а иногда совсем голубые, просто синие. Сейчас он сидел в новой голубой рубашке, глаза были как раз синими, у глаз — морщинки, и в них кожа белая, потому что он всегда щурится на солнце. А брови выгорели... Лиза подняла свой стакан и молча сказала тост. За его здоровье, за счастье, за... все и за скорую встречу! И сразу выпила. Через секунду сделалось тепло, щекам так даже жарко. И тут она наконец открыла глаза, а напротив пустое место и нетронутый стакан.

Лиза быстро взяла этот стакан, половину отлила себе и выпила из обоих по очереди. Сперва его долю,

потом свою. Вот теперь все, как положено, вместе выпили! А-а, ничего... Сегодня можно, сегодня день особенный и случай особенный, правда, собачка? Бедненькая, смотрит, а ей ничего не дали. Хочешь яблока? Не хочет, боится. А глаза несчастные, обиженные. Лизе вдруг до слез стало ее жалко, эту собачку, взяла в руки, стала греть. Ой, собака ты, собака, ой, собаченька моя! Поцеловала в голову и вдруг сама не заметила, как заплакала. Слезы были не тяжелые, текли себе и текли, и в груди от этого делалось свободней и горячеей. Легче становилось. А сейчас мы за тебя выпьем, собачечка, ты ведь наша общая, моя и его, а больше ничья! Лиза налила себе еще, стукнула тихонько краем стакана по собачьему носу и выпила. Вот так! Слезы все текли, пускай себе текут, кому они мешают? Да, собака, что ты говоришь? Послезавтра?.. Нет-ет! Лиза погрозила собачке пальцем. Второй час ночи! Нетушки, завтра уже! Завтра наведем красоту, накрасим ресницы, губы, причешемся, наденем его любимое платье. Он ведь обязательно придет, правда, собачка? Не может быть, чтобы не пришел? Не может! Не может!!

Утром Лиза проспала завтрак, девочки опять приходили узнать про здоровье. Сказала, болит голова. Голова-то, в самом деле, побаливала, но это ничего, плохо другое — Лизу точно всю корежило внутри, минуты на месте не усидеть, хочется спешить куда-то, бежать, что-то делать. К обеду успела выстирать платье, и уложить вещи в чемодан (подарки сверху, чтобы сразу достать), и прибраться. Вечером придут Катя с Ирой, да и вообще неудобно сдавать грязную каюту, протерла мокрой тряпкой окно и плафон на потолке, смахнула с полочки пыль. После обеда гладила, чистила выходные туфли, а когда уже совсем стало нечем заняться, легла. Хотела читать, не смогла, попыталась заснуть, чтобы время быстрее шло. А оно, конечно, не двигалось.

Еле дотерпела до ужина, а после ужина явились Катя с Ирой, в новых платьях, подкрашенные, а Лиза кулема кулемой, в сарафане, белое пожалела надеть. Ладно, сойдет.

Девочки принесли с собой записные книжки — обмениваться адресами. Лиза выставила свое шампанское. Кто снял пробу? Да выпивали тут как-то с Александром

Николаевичем, вот осталось, а сегодня как раз день его рождения. Да.

Сперва чинно выпили за именинника, чтобы все обошлось. Потом Катя предложила — за Лизу, за ее счастье в личной жизни. И за будущее, да? А Лиза сказала: зачем загадывать? Какое получится будущее, такое и хорошо. А что у нас уже было, на всю жизнь хватит.

И Катя с Ирой согласились: да, того, что в душе, никто не отнимет.

— И не испоганит!— добавила Ира.

— Ты, Лиза, правда, счастливая, помни и цени,— строго сказала Катя.

— Я разве спорю? О-очень!

— А ведь Лизка у нас пьяная!— вдруг объявила Ирина,— Кать, ты посмотри, какие у нее глаза! Ай да Лизка, ну, вообще... Все, подруга. Тебе выдача спиртного прекращается. Трезвость — норма жизни. Зеленого змия — в Красную книгу.

— Еще чего!— Лиза, смеясь, потянулась к бутылке.— У меня сегодня такой праздник!— И нахмурилась:— Ой, девчонки, я так переживаю. А вдруг завтра не придет?

— Да придет, ты что?— уверенно сказала Катя.— Как это не придет? Он не такой, не может...

— Все они такие, бросьте вы, бабы!— Ирина махнула рукой.— И все всё могут. Ладно, не берите в голову, это я так. Я ведь злая, Катька не зря говорит. Вы мне лучше вот что: этот рассказ, ну, вчера, про город? Он к чему? Для юмора или как?

— Или как! Сказка это, поняла?— объяснила Катя.— Про то, что люди боятся чужой беды.

— А-а, ну это точно. Сама сто раз убеждалась,— кивнула Ирина.— Все хорошо — и друзей навалом, а чуть чего, так всех точно ветром под зад.

— Слабые, на жалость сил нет,— сказала Лиза, вспомнив бабушку,— их самих пожалеть надо. Это сильный сам выдержит и другим поможет, а слабый от чужого горя прячется, а если с самим что — пропал.

Перед уходом Катя с Ирой продиктовали Лизе свои адреса, а она им свой.

— Ты же говорила, в Москве живешь?— спохватилась Ира, записав.

— Жила. А теперь пока буду в Ветрове. Мы так решили.

— Ясно,— сказала Катя понимающе.
Ей было что-то ясно...

Когда наутро теплоход прибыл в Ленинград, Лиза сошла на берег одной из первых. В белом платье было холодно, с Невы резко дул ветер, но она не стала вынимать из чемодана кофточку, кофта с платьем — некрасиво. В туфлях на высоких каблуках нести вещи оказалось тяжело. Неудобно и шатко.

Александр Николаевич ее не встретил. Ждать не стала, не хотелось стоять у всех на виду. Почему-то знала — раз не пришел, значит, уже не придет.

На стоянке такси толпилась очередь. В хвосте ее Лиза вдруг заметила полную женщину, про которую они с Александром Николаевичем думали, что она жена Базы. Женщина стояла одна рядом с громадной оранжевой сумкой и горой пакетов. Лицо ее было серым, щеки обвисли, губы не накрашены. Лиза прошла мимо к трамваю.

Поезд на Ветров отправлялся через два часа, это был плохой поезд, пассажирский, остановки у каждого столба. Но Лизе теперь было все равно, а билеты в общий вагон в кассе еще продавали.

Ехала она двадцать семь часов, сидела закрыв глаза, иногда задремывала. Есть не хотелось, и слава Богу, потому что с собой ничего не купила, а денег в кармане шестьдесят копеек. Сейчас она не думала, что да почему. Не встретил, значит, не встретил. Вот и выходит: жить ей теперь без него, даже ничего не знать о нем. Надо на всякий случай послать Светке в Москву доверенность, пускай заходит на почтаamt, а вдруг напишет? Ведь не может быть, чтобы... никогда? Или может?.. Может.

Новый год — семейный праздник. Губин настаивал, чтобы — только свои, разве что непременный Алферов. Но буквально за три дня начались звонки, в результате набралось семнадцать человек. Все из клиники. А уже тридцать первого вечером, пока Александр Николаевич гулял с собакой, успел напроситься Утехин, позвонил, поканючил и разжалобил Машу.

Протестующие вопли Губина, что от идиота ему нет

жизни и на заводе, так не хватало еще!!— разбились о Машино: «Как я могла отказать? Он же не спрашивал, сказал: жена уехала, приду, и точка». Выложив Маше все, что он думает по поводу слюнявой благотворительности и, отдельно, о поразительной наглости некоторых захребетников, Губин пошел переодеваться; вот-вот должны начать собираться гости.

Стол в этом году получился грандиозный. И, главное, Маша с Юлькой не надрывались в кухне — просто каждый что-то принес, и все старались перещеголять друг друга. Кроме того, Александр Николаевич получил, как всегда, праздничный заказ, и в нем разные деликатесы, включая красную икру и семгу. Кому-то повезло достать в «Океане» свежую форель, кто-то съездил на Кузнечный рынок — короче, когда Губин вошел в столовую, ахнул.

Юлька занималась сервировкой, у нее явные способности к дизайну. Все выставила: кузнецовский бабушкин сервиз, и английский фаянс, купленный отцом недавно в заграничной командировке, и хрустальные разноцветные фужеры, подарок Маше от коллектива по случаю пятидесятилетия. Между блюдами, судками, тарелками и графинчиками — узкие, как свечи, вазы с живыми гвоздиками. В общем, красота.

Губин, между прочим, тоже внес в эту симфонию кое-какой вклад. Во-первых, начистил зубным порошком вилки, ножи и ложки, что и сверкают сейчас на столе, а главное, сам купил и вчера вместе с Машей украсил елку. Теперь она стоит в углу комнаты, пушистая, огромная, до потолка, вся в игрушках. Под этой елкой два часа назад Женечке были вручены подарки, в том числе большой белый заяц — дедушка целенаправленно привез из ФРГ по случаю Года Кролика. В обнимку с этим зайцем она и спит теперь в соседней комнате. Там же, на коврике, развалился набегавшийся во время прогулки Джой, шенок немецкой овчарки, подарок Алферова Александру Николаевичу ко дню рождения. Это за ним Володька тогда так спешил с дачи в город. Крупный будет пес, уже сейчас здоровенный, а всего шесть месяцев.

Подарки для взрослых громоздятся вокруг елки, Маша любит делать подарки и умеет. Каждый в красивой обертке, обвязан лентой, к каждому приложена открытка с шутливым поздравлением. Денег на все эти роскошества ушла, разумеется, прорва. Губин аж

крякнул, узнав — сколько. Но что ж... Новый год, Машин любимый праздник.

В одиннадцать сели за стол. Юра зажег на елке свечи, в этот раз решили не вешать гирлянду, со свечами уютней. Вспомнили все, что было хорошего в уходящем восьмьдесят шестом. Из соседней комнаты, потягиваясь и помахивая хвостом, появился привлеченный запахами Джой. Вышел — и напрямик к хозяину, сел у колена... Как он тут, бедняга, Маша рассказывала, страдал, когда Александр Николаевич был в ФРГ! Похудел, отказывался есть, шерсть начала вылезать. А вернулся хозяин, только вошел в квартиру, бросился навстречу, прыгал. И все повизгивал, тоненько так, будто свистит. Весь первый день ходил как приклеенный следом по квартире: куда Губин, туда и он, положит голову хозяину на колени и тяжело вздохнет.

...Примерно так же вел себя летом вернувшийся из путешествия по Волге Александр Николаевич, но теперь все это дело прошлое!..

— Начальник! Не вижу улыбки! — суровым голосом возгласил Утехин. — Предлагаю, за хмурые лица — штраф. Печаль, она, ты-ска-ать, штука заразная. Один скуксился, за ним другой, и весь праздник насмарку. — Утехин протянул руку, снял с елки хлопушку и дернул за ниточку. Посыпались разноцветные кружочки конфетти, а в руках у Утехина оказалась маска.

— Чья морда? — спросила Юля. — Кто? Заяц! Очень кстати.

— А по-моему, так это осел, — возразил Утехин, подняв маску над головой для всеобщего обозрения. — Типичный ишак. Значится, так: кто, гад такой, попытается нарушить общее веселье — наденет и будет носить. Чтоб все знали...

Тут затрещал телефон. Подошел Юрий и сообщил тестю, что его спрашивает какая-то дама.

— О! — сказал Утехин. — Мария Дмитриевна, обращаю ваше особое внимание!

Звонила Катя, соседка по столику на теплоходе. Голос был далеким, и все время терялся в каком-то шуме и грохоте. Стараясь перекричать шум, Катя поздравила Александра Николаевича с наступающим, пожелала здоровья и счастья. Она звонит из цеха, работает сегодня в ночь, вот пришла пораньше отпустить Ирину.

— Ее в компанию позвали, — кричала Катя, — а я с мамой в десять часов встретила и побежала!

Александр Николаевич поблагодарил Катю и пожелал ей того, чего уже один раз желал... (Ого!— Утехин поднял палец) самого главного, самого... В наступающем году все сбудется, точно. Ирине привет.

— Спасибо.— Катя будто ждала чего-то еще.

— Ну... до свидания?— сказал Губин.

— До свидания.— Она положила трубку.

...Все правильно.

С Катей Губин разговаривал уже второй раз. Перед Седьмым ноября позвонили вместе с Ириной, поздравить, а заодно спросить, как дела, чем все кончилось?

— Что кончилось?— изумился Губин.

— Да неприятности! Ну те, летом. Вы когда уехали, мы все волновались. Вот решили узнать номер телефона в справочном...— объяснила Катя и замолчала. Губин сказал, что все в порядке, она опять молчала, и он попрощался.

Гости между тем уже расшумелись, а до двенадцати почти полчаса. Протискиваясь к своему месту за столом, Губин взглянул в окно. Там тихо летел крупный рождественский снег. Деревья в сквере напротив стояли пухлые, на улице ни души.

Он вдруг ясно увидел заснеженную улицу уютного подмосковного городка. Окраинную улицу, дальним концом уходящую прямо в еловый лес. По сторонам улицы светятся низенькими окошками дома под заваленными снегом крышами, дым идет из каждой трубы, вертикально поднимается в черное, с яркими звездами небо. Безветрие. Снег бесшумно засыпает тропинку на улице, и вот улица вся уже ровная, чуть-чуть выпуклая, будто укрыта пуховым платком.

Губин видел дом за штакетным забором, у ворот столетняя елка, голубоватая тень ее лежит поперек сугроба, а вдоль дома на снегу желтыми квадратами — свет из окон. Дорожка к крыльцу расчищена, крыльцо чисто подметено, скрипучая дверь ведет в сени, где пахнет квашеной капустой, старым деревом, овчинами... Дальше — вторая дверь, в комнату, а там стол — праздничная закуска, все свое: капуста, огурчики, грибки, рассыпчатая картошка. Розовое сало нарезано толстыми ломтями... Пожилая темноволосая женщина вносит на фанерке дымящийся, только что из печи, пирог. А за столом семья и гости. Сын, две дочери, похожие друг на друга и на мать. Старшая в белом вышитом платье, блестящие темные волосы локонами лежат

на плечах. Веселая, улыбается кому-то, кто сидит напротив, спиной к Губину... Почему-то Губину не хочется рассматривать того, кому она там улыбается. Бог с ним! Главное, пусть ей... пусть им всем будет хорошо. Мы желаем счастья вам...

— Хозяин! Ох, хозяин! Последнее сто тридцатое предупреждение!— Утехин поднимает над столом ослиную морду.

Маша внимательно смотрит на мужа, усаживающегося рядом, и тихо спрашивает:

— Все в порядке?

— Все замечательно.

Сменщик не обманул, пришел вовремя, даже чуть пораньше. Ввалился весь в снег, брови белые, и прямо с порога кричать:

— Лизавета! Ты чего, девка, расселась, как на именинах князь? Доставай посуду, проводим старый год, дак, и беги домой.

Лиза на ходу — из шкафчика стаканы, дядя Гриша разливает самогонку: «Ну, за все хорошее? Тебе, Лизавета, счастья... Куда? Куда кидаешься, пирога вон возьми, моя напекла, с рыбой».

Лиза одной рукой за пирог, другой срывает с гвоздя ватник, сумку — в руку и уже из дверей:

— Спасибо, дядя Гриша, выручили. С наступающим вас, доброго здоровья!— и на улицу, в пургу.

А там ветер сшибает с ног, так и сечет ледяными колючками. Лиза идет, а ветер носится вокруг нее, то сзади забежит, то спереди ударит. Улицу всю замело, гудит кругом, насвистывает. И темень. А валенки в сугробах вязнут, тяжелые, и потому жарко. А может, и от самогонки дяди Гришиной.

...Утром так не мело, когда Лиза перед работой бегала в больницу. Покормила мать, вымыла, надела чистое; грязное — в сумку, домой стирать. Перед уходом сунула трешку дежурной сестре: «Вот, Лидия Петровна, к празднику, с Новым годом вас!» Та повертела трешку, прищурилась, но ничего, взяла. А попробуй совсем не дать, сутки не подойдет, горшка не докричишься, человек умрет на глазах — не шелохнутся, железные нервы. Мать в больнице скоро три недели, и только вчера доктор твердо сказал: будет жить, а со зрением... Тут еще неизвестно.

В начале декабря в Ветрове объявили месячник трезвости, «сухой закон». Бабушка вся сияла, потише будет дома, да и за Алешу спокойнее. Ведь Зинаида, когда выпьет, рёхнутая, на все способна. Недоглядели — взяла и напоила парня вином. Соседки прибежали за Лизой в котельную: «Мальчишка там чуть живой, беги, Лизка, отхаживай, а ее, стерву,— в милицию! Ты не сдашь, мы сдадим!» Лиза тогда чуть с ума не сошла, примчалась, схватила мать за плечи: «Зачем? Ребенка — зачем?!» А той хоть бы что, скалится железным ртом...

Сейчас лежит: в честь «сухого закона» достали с приятелями какого-то растворителя, те двое сразу померли, тут же, а мать милиция нашла на улице, середь бела дня валялась на земле. Отвезли в вытрезвитель, там видят: тяжелое отравление. И в больницу. Ослепла, три дня — без сознания, соседки, конечно, в один голос шипят: зря откачивали, тебе, Лизка, новый крест.

Первое время мать не ела и не говорила, а позавчера вдруг: «Смерти моей не жди, выберусь. И на денешки не надейтесь, мой был дом, мои и деньги, дак. Пока жива, никому из вас не видать ни шиша. Зна-а-ю, деньги захапаете, а меня — в престарелый дом терпимости. Так что, хрен тебе!»

И сегодня то же, слово в слово... За время, что мать в больнице, Лиза уже успела залезть в долги, хорошо, дали премию, и не маленькую, тридцать рублей... А снег так и лупит, ничего впереди не видно, фонари, как на зло, редкие, тусклые... Хоть бы бабушка догадалась застелить стол белой скатертью, все же праздничнее... Бабушка, конечно, снова унюхает, что Лиза пила, станет плакать. А сколько там Лиза и выпила, всего — ничего. Вот прошлый раз... Пришла на смену, в ночь, а сама чуть живая, весь день отсидела в больнице, потом по морозу, бегом. Меняла тогда Вальку Дербина, а у Вальки, у гопника, всегда откуда-то спирт. И пристал: выпей да выпей, враз полегчает, кем хошь буду. Лиза выпила капельку, замерзшая была, а этот льет еще. Лиза: «Валька, sdурел? Как же я работать буду? А если проверка?» А он: «Не переживай, Лизок, я отработаю, раз пошла такая пьянка. Все равно с тебя сегодня не работник». Уговорил, очень холодно было.

А потом и началось... Лиза и ругала его, и отпихивала, и плакала: «Ну, чего тебе, дураку, от меня? Хоть бы уважал, тебе двадцать три, а мне четвертый десяток,

помоложе не нашел?» Не слушает, лезет, морда красная. И еще смеется, гад такой: «А я люблю, чтобы постарше, давай, давай, делись опытом!» Бандюга. Пять лет в колонии отсидел, говорит, по ошибке. Врет все... Еле вырвалась. Он вслед кричал, мол, ладно, гуляй пока, подожду, терпение есть, все одно никуда не денешься. Всю дорогу до дому бежала, редела в голос, а дома — бабушка. Как увидела, тоже в слезы. И причитать: пропала девка, совсем пропала, что ж это, вином разит, в который-то раз... А Валька-паразит тогда не подвел, честно отработал и смену сдал, как положено. А теперь проходу не дает, держит слово. Лиза пожаловалась Наташке, подруге, а она: «Тоже мне! Для кого себя бережешь, для артиста Тихонова? Валька мужик молодой, интересный. Ну, отсидел — так тебе за него замуж не идти. А киноартистов у нас тут нету, не завезли, даже по талонам не выдают. Все старика своего ждешь? Не смей!»

«Старика»! Да знала бы она...

Нет, уж чего-чего, а такого, чтоб с Дербиным, Лиза себе не позволит, здоровьем сына поклялась. Скорее Валька сдохнет, гопник! А вот выпить понемножечку с дядей Гришей, хорошим человеком, это совсем другое, особенно когда бывает такая тоска — хоть в петлю. Или как сегодня, в честь Нового года, тут вообще святое дело!

...Сейчас бабушка с Алешей ждут ее, готовятся, Алексей тарелки носит, расставляет. Помощник. Последнее время больше сидит дома — морозы, к тому же во дворе обижают мальчишки. Дразнятся, прямо в лицо гадости кричат. Он ведь не слышит, вот им и смех. А то еще подбегут сзади, толкнут. Недавно лоб раскроил о крыльцо. Лиза уж думала, придется накладывать швы. Бабушка обмыла, привязала что-то, теперь заживает.

Жалко Алешу, мальчик он добрый, доверчивый, тянется к детям. И не глупый... А мать все свое: полудурок да полудурок. Неправда, он все понимает, старается. Вместе с Лизой ходит в магазины, у Лизы сумка побольше, у него поменьше. А надо, так можно послать и одного. Лиза напишет на бумажке, что купить, даст деньги, он пойдет, принесет. И продукты, и всю сдачу до копейки. Продавщицы уж кого-кого, Ленечку своего не

обсчитывают никогда. И бабы многие жалеют, пускают без очереди. Лиза считает — зря. Пусть приучается, ведь жалеют, пока маленький. А вырастет? Станут гнать, унижать, не посмотрят, что калека. Не любят у нас калек... Брат писал: есть такие интернаты, то ли у них, он узнает, то ли в Вологде, а может, в Кириллове, там и лечат, и обучают специальной азбуке, а некоторых даже могут научить говорить. Вот бы устроить туда! Конечно, страшно — как оставишь одного? Алеша — домашний ребенок, ласковый, Лизу любит. Обхватит, уткнется, и все уркает по-своему. Как котенок. Жалко до слез, а плакать нельзя, увидит — разревется, час потом не уймешь... Мать с бабушкой одних тоже не бросить, еще неизвестно, какая мать выйдет из больницы... Как начнешь думать... Лучше не начинать.

...Летом тогда, после отпуска, как было тошно — не померла же! Поревела, конечно. И дура. Он ведь все сделал правильно, как Лиза сама и хотела. А что встречать не пришел, так ее, бестолковщину, пожалел: по два раза не прощаются, долгие проводы — лишние слезы. Самому наверняка было тяжело, ведь стерпел! Потому что сильный человек. Вот и радуйся, что было у тебя в жизни такое, что другим даже во сне не приснится! Даже Наташка признает: повезло, это да, тут и спорить нечего. Только она, конечно, со своей колокольни: «Три недели в каюте первого класса, на всем готовом да при своем мужичке — прямо как в сказке про Золушку!» Ну что с нее возьмешь? У нее своя жизнь — муж, детей двое, ладно, Бог с ней... А Лизе теперь надо Бога молить, чтобы у него все было хорошо. Девочки молодцы, узнали, как да что, написали ей. Катя пишет: разговаривала с Александром Николаевичем по телефону перед Ноябрьскими, был веселый, собирался за границу, в командировку. Она ему — от Лизы привет, сказал: «Спасибо, ей тоже». А что он еще мог сказать?.. Нет, все правильно...

Лиза не заметила, как мимо темного собора, мимо школы добежала до магазина, до своего поворота. Теперь налево. У входа отряхнула с ватника снег и бегом через ступеньку — на второй этаж. И только завозилась с ключом в замке — руки задубели, не слушаются, — Алеша! Открывает, видно, под дверью стоял, дожидался. И бабушка тут как тут. Ну и ясно: «Ох, Ли-

завета, опять?!» Лиза только рукой махнула, скинула валенки, сумку — Алеше, ватник на крючок, платок на батарею, пускай сохнет (а на часах-то уже без десяти!), и бегом в комнату, взять платье, туфли... Молодцы они тут, стол застелен, тарелки, ложки-плошки — все разложено, даже стопочки... Поставила, а ведь грози-лась: все, Лизка, все, больше в доме ни капли... Лиза кричит бабушке, чтоб сядились, а сама вымыла руки, надела белое платье с вышивкой (чтобы и этот год был счастливым!), а вот туфли надеть не смогла, ноги опух-ли... ладно, встретим и в тапочках, ноги все равно под столом, а волосы — на прямой пробор и локонами по плечам, как тогда...

— Бабушка! Да садись же, Алексея сажай, сейчас куранты будут!

А сама пудрит нос, красный с мороза-то. Все. А эти уже сидят, важные такие. Бабушка положила всем горячий картошки и капусты, Лизина любимая еда, сама и квасила. Лиза откупоривает лимонад, наливает сыну. А у них с бабушкой хорошее вино, «Лидия», женщины в магазине хвалили. Вчера по случаю Нового года отменили «сухой закон». Что в винном творилось! Зато все было, даже шампанское. Только на него денег не наберешься.

Куранты.

Лиза с бабушкой дисциплинированно ждут, когда начнет бить. Алеша уже вовсю уплетает колбасу. «Молодец, что не стала стоять за мясом, отоварила талоны колбасой,— мысленно хвалит себя Лиза.— И без очереди, и парень как доволен! Женщины: «С ума сошла, она и мясом не пахнет!» А ему нравится, вон наворачи-вает.

— Ну,— медленно начинает бабушка,— выпьем, чтобы все были живы-здоровы. Зинаида, Господь ее прости, чтобы поправилась, Алексей чтобы рос умным да послушным... А главное, ты, Лизонька, у тебя чтобы все по-хорошему, слышь, девка? Хочу, чтобы ты была счастлива. Так уж хочу!

Бам-м-м...

Часы бьют и бьют. Алеша их не слышит, он и ба-бушку не слышит, но все понимает: смотрит то на мать, то на бабушку и улыбается. Радио сердечным голосом поздравляет с Новым годом, все трое чокаются, Алеша торжественно пьет свой лимонад, бабушка чуть отхле-

бывает — ну его, бесов тешить, а Лиза выпивает до дна.

— За меня, бабуля, ты не переживай, все будет о'кей. А насчет счастья, так его я уже получила. На всю оставшуюся жизнь...— Лизе очень нравятся эти слова из песни, и она снова повторяет:— На всю оставшуюся жизнь... Счастье — одному в год по чайной ложке и того меньше, а другому все зараз. Целый ковш. Мне теперь главное, чтобы вот он... Алешка...

Лиза выпивает за это еще раз, встает из-за стола и идет к тумбочке, на которой стоит елка. Опьянела все-таки, в ноги ударило... Елка маленькая, зато свежая, смоляная, украшали вчера с Алешей. Лиза берет с тумбочки два пакетика. В одном игрушечный самосвал и голубая рубашка (перешила из той, что покупала в Лодейном Поле, свитер не тронула, рука не поднялась. Может, отослать Катерине, чтоб передала?), а еще — шоколадка и билет на елку во Дворец культуры. В другом — для бабушки — теплая косынка и шерстяные носки, тоже Лизина работа.

Алеша с подарками идет в свой угол, где у него кровать, стол и полочка. А Лиза возвращается на свое место, медленно-медленно — ну не смех, с двух-то рюмок? И есть больше неохота, а бабушка испекла калитки с картошкой.

— Мм-мм! Мм-мм!— Это Алеша трясет мать за плечо. Неужто задремала? Он стоит рядом, серьезный такой, положил перед Лизой на стол листок бумаги. А там картинка, нарисована красками: черное небо с голубыми звездами и луной, и с чистого этого неба падает снег. А за снегом, среди сугробов, домик, окна желтые — свет горит, и перед домиком на снегу желтые квадратики. Рядом с домом большущая елка, и от нее падает синяя тень.

— Ах ты моя умница.— Лиза обнимает Алешу и крепко целует. Вот бы оказался у ребенка талант! Станет знаменитым художником, а художнику слух не главное, ему — глаза.

Бабушка смотрит на картинку и качает головой:

— Молодец, ай молодец! Красиво-то как. Иди-ко, я тебе шанежку дам, вкусная до чего!— Это бабушка так калитки с картошкой зовет — шаньгами.— Иди сюда, я те песенку спою.

Метель ломится в окно, трется о стекло белыми

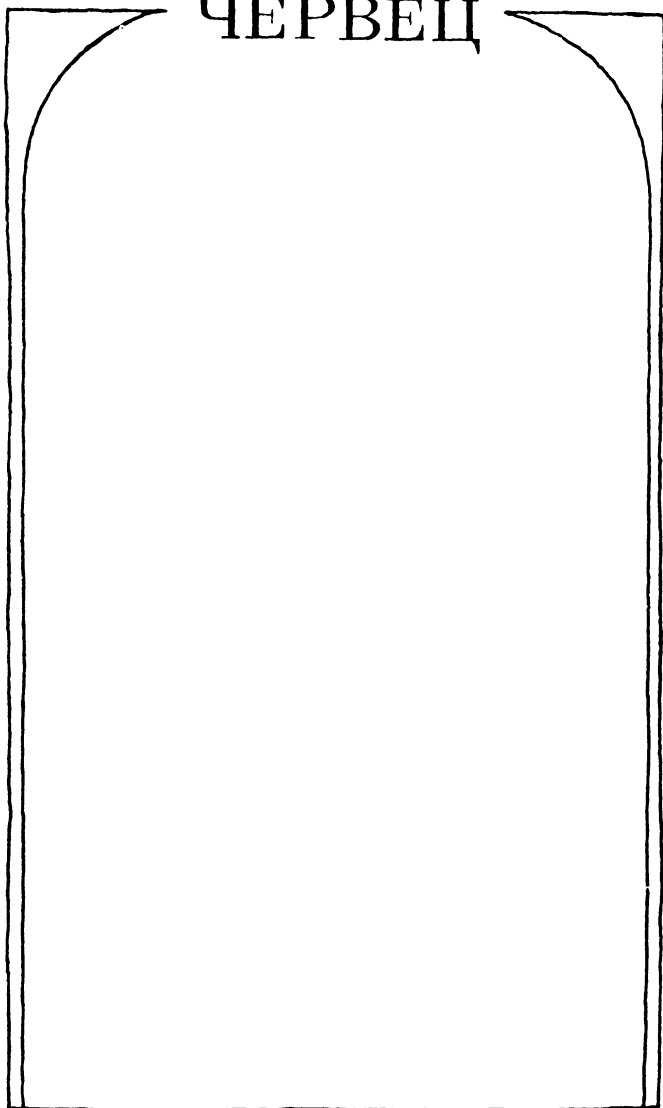
скрипучими боками. Ветер сейчас — на улицу не выйдешь, сшибет. А никому и не нужно на улицу, дома светло, тепло, Алеша ест шаньгу, доволен, бабушка поет — не то ему, не то Лизе, не то себе самой:

— Дроля, ешь картовны шаньги, дроля, ешь, не жалко мне-е...

Лиза уже спит. Знает, что не надо бы, да осилить себя не может, не оторвать головы от стола. Бабушка тихонько крестит ее, вздыхает.

— ...Только каждую субботушку похаживай ко мне-е...

ЧЕРВЕЦ





Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Анна Ахматова

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛЕНТОЧНОЕ СУЩЕСТВО

Утром четвертого января 197... года где-то перед рассветом Павел Иванович Смирнов увидел в своей комнате гигантского ленточного червя, точь-в-точь такого, какой однажды приснился ему в детстве в страшном сне.

В полной тишине и темноте, кое-как нарушаемой только слабым отсветом, падающим из окна, белый, как вафельное полотенце, и такой же широкий червяк неожиданно появился из-под плинтуса и, извиваясь согласно своей природе, потянулся через всю комнату к обеденному столу. Он тянулся, тянулся и тянулся, а Павел Иванович замирал и ждал, когда же и чем он кончится, точнее, когда прервется этот дурной угнетающий сон, потому что Павел Иванович точно знал: это сон.

Однако червяк определенно существовал. Павел Иванович успел осознать, что сам он — все-таки бодрствует, сесть на тахте, поджать ноги, посмотреть на часы, вспомнить в подробностях свой детский ночной кошмар и то, что за ним последовало в жизни, — а между тем все новые и новые метры «полотенца» непреклонно лезли из-под плинтуса. Нет, иначе не скажешь: и шириной, и толщиной червь был самоходным вафельным полотенцем, и тем не менее это был живой червяк, потому что, хотя пока и неизвестно было, чем он когда-нибудь кончится, начинался он несомненно головой: утолщение вроде «кабачка» было прикреплено

к широкому туловищу беззащитно тоненькой шеей. Эта же самая или очень похожая голова была, помнится, и в детском кошмаре.

Достигнув стола и безо всякого затруднения вползая на него первыми метрами тела, в то время как последние все еще оставались под плинтусом, червяк начал рыскать безобразным своим кабачком вправо и влево и, обнаружив масленку, принялся вылизывать ее длинным, раздвоенным, как у змеи, языком. Впрочем, не будучи силен в биологии, Павел Иванович не взялся бы с уверенностью утверждать, что это — язык, зуб или вообще жало. Сидя на диване, он смотрел на животное, и ощущение нереальности происходящего не давало ему окончательно испугаться или даже как следует удивиться.

Между тем, покончив с масленкой, червяк потянулся к хлебнице, и Павел Иванович совершенно некстати с раздражением подумал, что ведь сто раз обещал себе убирать после еды продукты, мать терпеть не могла сохнувших корок, она бы... но тут червяк неожиданно дернулся и съехал со стола, громко стукнув головой об пол. Как будто его тянули где-то за хвост, он начал укорачиваться, метр за метром уезжая обратно под плинтус, пока дело не дошло до головы, которая не пролезала в щель, однако в конце концов, неожиданно сдавшись, сделалась абсолютно плоской, как лопнувшая футбольная камера. И исчезла.

Пожалуй, только тут Павел Иванович окончательно понял, что не спит. Он встал с дивана и босиком подошел к окну, несмотря ни на что уверенный: увидит только темный, засыпанный снегом пустой двор. Однако увидел дворника, который, стоя под самым его окном, сноровисто наматывал на какой-то барабан нечто, похожее на необычной ширины белый пожарный шланг. Закончив работу, дворник с трудом поднял барабан на плечо и зашагал прочь, глубоко проваливаясь в нерасчищенные сугробы.

ВРЕМЕННО НАПРАВЛЕН

В полдень по двору, как обычно, мотались три омерзительных черных кота. То и дело перебегая узенькую тропинку, протоптанную в нападавшем за ночь снегу, они топорщили шерсть и мерцали желтыми глазами. Дворник Максим этих котов игнорировал так же, как

и подведомственные ему сугробы. Повернувшись ко двору спиной, он сидел ватным задом на ледяных ступеньках, скользящих вниз, в подвал, курил сигарету и слушал транзистор. В настоящий момент приемник быстро лопотал на английском языке, дворник же время от времени покатывался со смеху. В это время снова пошел снег, нарочито падая мокрыми хлопьями на плечи Максима. Падал он и на тропинку, по которой, путаясь в котах, осторожно пробирался Павел Иванович с жухлым портфелем.

Привлеченный голосом транзистора, он разглядел за неразберихой хлопьев неподвижного дворника и приблизился.

— Здравствуйте,— сказал он ватной спине, подойдя вплотную.

Дворник тотчас поднялся и повернул к Павлу Ивановичу свое красивое, породистое лицо, на котором обозначилось вежливое недоумение, что-то вроде «чем могу служить, милостивый государь?».

Интеллигентность дворника обескуражила Павла Ивановича, и, оробев, он некоторое время молча смотрел в черные, подернутые тоской глаза. Потом все же спросил:

— Вы мне не скажете, что это было? Ночью? А то у меня такое ощущение, будто я... видел галлюцинацию. Я имею в виду червяка, которого вы потом...

Дворник иронически усмехнулся:

— Можете считать, что вам приснился научно-фантастический сон. *Sciences fiction*¹. Не более того. Вы меня поняли?

Павел Иванович понял. Понять было не трудно. Он знал, что дворником сидящий перед ним человек работает временно, а постоянное место его работы — научно-исследовательский институт, расположенный в соседнем здании. О том, чем там занимаются, ходили разные слухи, но сотрудники, многие из которых жили с Павлом Ивановичем в одном доме, хранили многозначительное молчание, имея при этом весьма достойный вид, что говорило само за себя. Поэтому никаких вопросов Павел Иванович ученому дворнику задавать не стал, но и уходить тоже не хотелось, — этот парень чем-то ему нравился, ужасно был симпатичен, и Павел Иванович сказал:

¹ Научная фантастика (лат.).

— Вас понял. Разумеется, это был сон. Но, знаете, что удивительно: ведь я и в самом деле однажды видел точно такой же сон. В детстве. Это было в самом начале войны, накануне того дня, когда мой младший брат...

«Боже мой,— с грустью думал Максим, слушавший Павла Ивановича вполуха, так как мысли его были заняты совершенно другими проблемами.— Боже мой! Зачем мне все это знать? Для чего он силком пихает мне в башку ненужную информацию? Детские сны, младшие братишки... Чисто российская наша черта — сентиментальность. И убежденность в том, что тебе — до всех дело и всем — сплошной кайф обсуждать твои семейные обстоятельства...»

По-видимому, эти соображения довольно четко проявились на выразительном лице дворника, потому что Павел Иванович, споткнувшись на слове «бомбоубежище», краснея, пробормотал:

— Впрочем, это неинтересно. Да мне и пора. Так что всего наилучшего.

Снег продолжал валиться с вызывающей настырностью. Максим опять включил приемник и стал под музыку размышлять о том, что если сегодня к вечеру не будет оттепели, завтра ему, пожалуй, влепят выговор.

Временно направлен... Конечно, дворников в городе пока еще недостаточно. Пока... Рост духовных запросов с неизбежностью привел к тому, что никто на эту работу идти не желает, считая ее недостаточно творческой. По мнению же институтского начальства, ситуация наблюдается такая: по чистым улицам ходить хотят все, а работать — никто. Примерно в этом духе высказался заведующий лабораторией профессор Кашуба Евдоким Никитич, когда Максим заявил ему:

— Сколько можно? Почему опять я? В августе кто в колхоз ездил?

— Стыдно, Лихтенштейн, сколько можно выкручиваться? Скверная это у вас у всех привычка. Ведь знаете, что Гаврилов сейчас оформляет документы в Брюссель на конгресс.

— Да при чем здесь Гаврилов?!

— А Лыков болен... Что же вы хотите, чтобы я сам?..— И пошел, и пошел. Говорил пятнадцать минут, после чего, изобразив на лице невероятную скорбь, удалился, и в тот же вечер улетел во Францию, куда был командирован, чтобы сделать сообщение на тему «К вопросу о червях как объектах бионики».

Автор текста этого доклада, ответственный исполнитель важной для престижа института работы по проблеме «Червец» старший научный сотрудник Максим Лихтенштейн после короткой, но громкой беседы в отделе кадров дал добровольное согласие отработать месяц на уборке снега в институтском дворе и — обязательно! — во дворе соседнего жилого дома («мы должны помочь городу»). В этом доме, как уже говорилось, в большом количестве проживали сотрудники института, в том числе сам профессор Кашуба с женой, разведенной дочерью Верой и двумя внуками.

Ввиду того, что все без исключения сколько-нибудь квалифицированные научные работники из лаборатории Кашубы, не считая больных, действительно разъехались собирать материалы, выслушивать доклады, заимствовать опыт, словом, делать все возможное, чтобы в короткий срок ликвидировать свою неосведомленность в вопросах червей, громадный белый червяк, из-за которого разгорелся сыр-бор, остался на руках Максима. В порядке исследования тот должен был утром и вечером питать животное различными смесями, а раз в сутки производить кое-какие замеры, совмещая научную деятельность с уборкой снега и льда. За это профессор Кашуба обещал Максиму отпуск в летнее время.

ЛИХТЕНШТЕЙН?..

Кандидат наук Максим Ильич Лихтенштейн давно уже не удивлялся и привык почти не огорчаться по поводу того, что другие ездят по заграницам, а он — нет. Максим Ильич был не идиот. И уже целых тридцать семь лет — не грудной младенец. Тем не менее, согласитесь, слегка тоскливо собираться в четвертый раз «на картошку», зная, что тот же Гаврилов опять оформляется в Брайтон, а Лыков нехотя разъезжает в гондоле по каналам Венеции. Максим согласен был бы еще все то время, которое коллеги с несомненной пользой для дела проводят за рубежом, отдать науке, но где там! Именно ему, как наиболее свободному, почему-то всякий раз напоминали, что он ест капусту, лопает брюкву, жрет в громадных количествах картошку и другие корнеплоды, да теперь вот еще и разводит во дворах сугробы и культивирует обледенение тротуаров.

Максим знал, что теоретически он имеет возможность совершить заграничную поездку, но — увы — только в один конец. Там уж будет все — Плас Пигаль, и статуя Свободы, и Колизей, и Стена Плача — выбирай на вкус. Зато там не будет много другого, без чего, как это ни странно, Максим Ильич Лихтенштейн плохо мог представить свое существование: вот этого насупленного города или даже — можете смеяться! — деревеньки с некрасивым названием Смердовицы, куда он в течение нескольких лет постоянно выезжал на полевые работы. Какое, казалось бы, Лихтенштейну дело до Смердовиц? А вот поди ж ты, замирало и вздрагивало что-то в душе, когда, выйдя с рюкзаком из автобуса, он видел мягкую, поросшую муравой, тропинку, протоптанную вдоль улицы, и кривые черные домики, и поля.

Эту свою способность мгновенно раскисать при виде стога сена или покосившейся избы, крытой дранкой, Максим считал слабостью и прятал от посторонних глаз, однако отдавал себе отчет в том, что такому, как он, нечего и думать о переезде в другие места, даже если эти места — Плас Пигаль или, допустим, Бронкс.

А между тем вот что забавно: он ведь, вполне вероятно, мог бы гулять с советским паспортом среди Елисейских полей ничуть не хуже Лыкова с Гавриловым или даже самого Кашубы. Мог бы... Если бы знал то, чего по воле судьбы ему узнать не удалось.

Дело в том, что двусмысленная для некоторых и кристально ясная для людей, специально, по долгу, или в качестве хобби занимающихся этим вопросом, фамилия — Лихтенштейн, исключаящая, по мнению замдиректора по кадрам Пузырева, командировки за границу и высокие посты, а также делающая нелепыми слезы, вызываемые видом колодца-журавля, эта фамилия досталась Максиму совершенно случайно.

Как часто происходит в фильмах и книгах про войну, а впрочем, не раз бывало и в жизни, Максим в первых числах июля сорок первого года в возрасте восьми месяцев оказался один на пустой улице города Минска, где был подобран неизвестным солдатом и сдан в детский дом, который сразу эвакуировался за Урал. Само собой, ни имени, ни фамилии ребенка солдат знать не мог. И вот неизвестный солдат принес неизвестного младенца в некий детский дом и сдал, заявив незнакомой женщине, заполнявшей какой-то журнал, что

мальчика, дескать, зовут Максимом, фамилия Лихтенштейн, а его, солдата, имя — Илья. Почему он так поступил, остается только гадать. Скорее всего, думал, что Максим — хорошее имя, а война скоро кончится, он заберет мальчика из детдома и уж как-нибудь отыщет его родителей, и те пускай называют своего ребенка, как положено. Но почему — Лихтенштейн, а не, скажем, Иванов или Ухов? Возможно, этот солдат Илья был любознательным чудаком, и его манили дальние страны — княжества Монако, Андорра, Лихтенштейн? А скорее всего, он просто решил, что второго младенца с такой примечательной фамилией на всей территории Советского Союза не окажется и, следовательно, найти его по окончании войны будет делом несложным. Все возможно... Но правды теперь не узнать: солдат Илья с войны не вернулся, неизвестный же мальчик проживает на свете в качестве Максима Ильича Лихтенштейна, бывшего детдомовца, а ныне старшего научного сотрудника, кандидата технических наук. Проживает он, в общем, совсем неплохо, многого, как видите, достиг, а если по кому иногда и тоскует, о ком думает, сидя вечером один в кооперативной однокомнатной квартире, так это о своих потерянных родных, которых много лет безуспешно искал с помощью милиции, радио, газет, военкоматов, но, конечно же, не нашел.

Впрочем, с каждым годом тоска по родным приобретает все более абстрактно-безнадежный характер, гораздо актуальнее другие проблемы, например, хотя бы женитьба, ибо, как любит повторять Ирина Трофимовна Гольдина: «Двадцать лет — ума нет и не будет, тридцать лет — жены нет и не будет». А Максиму Ильичу, как мы уже здесь обмолвились, — тридцать семь.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНЫЙ

Когда Максим велел этому интеллигенту считать ночную встречу с червяком страшным сном и не задавать вопросов, он поступил совершенно правильно. И строго по инструкции. Пресмыкающийся объект был строго засекречен, и всякие разговоры о нем с посторонними грозили Лихтенштейну неприятностями. Да что разговоры! Сам факт бесконтрольного ползания объекта по чужому двору был достаточен, чтобы Максима как минимум отстранили от научной работы по проблеме «Червец» и вклеили «строгача». С одной сто-

роны — это было бы к лучшему, с другой же... Все-таки обидно, так как Максим Ильич с полным правом считал себя основоположником этой проблемы.

Однажды у него «убежали» часы, и он явился на работу на полчаса раньше, чем нужно. Проходя по пустому институтскому двору, он сперва удивился, а потом испугался. Удивился, что не встречает никого из сотрудников, а испугался, так как решил, что сильно опоздал, а это сулило тошнотворную беседу с профессором Кашубой о трудовой дисциплине, которая обязательна для всех, начиная с уборщицы и кончая директором. Однако вскоре Максим удивился и испугался одновременно: он увидел, что в углу двора, где была сделана выгородка для выбрасывания отходов, что-то интенсивно шевелится. Взлетали блестящие кудри металлической стружки, какие-то колбы со звоном ударялись об асфальт и раскалывались в мелкие дребезги — свалка буквально ходила ходуном.

«Крысы»,— догадался Максим. Крыс он боялся панически, и это было еще одной его постыдной слабостью.

Однако, взглядевшись, он увидел не крыс, а увидел он нечто белое и плоское, похожее по виду на длиннущее полотенце, которое вдруг ожило под мусором и хочет выбраться на волю. Полотенце извивалось с невероятной энергией и активностью. Максим подошел к помойке вплотную и, не будучи от природы брезгливым и трусливым (если дело не касалось крыс!), протянул руку и прикоснулся к извивающемуся предмету.

Предмет был теплым. От прикосновения он мгновенно замер, и тут Максим увидел, что из кучи мусора пристально смотрят два живых блестящих глаза, близко посаженных на округлой голове, похожей на крупного размера кабачок. И в то же мгновение голова вдруг сделалась плоской, глаза исчезли,— полотенце и полотенце, хоть вытирайся.

Дальше события развивались следующим образом: во дворе появился Евдоким Никитич Кашуба. Он всегда приходил на работу на десять минут раньше всех, чтобы иметь возможность в любое время сказать подчиненным: «Вот оно, ваше рвение в кавычках — в институт прибегаєте со звонком, по звонку же и выбегаете»

те. А я почему-то прихожу за полчаса и ухожу на час позже. Почему, как вы думаете?..»

Итак, следовавший с портфелем мимо свалки, профессор Кашуба был остановлен Лихтенштейном, который показал ему невероятный феномен, деловито роющийся в отходах производства. Лихтенштейн сказал, что, мол, надо бы сейчас же позвонить в Зоопарк и вызвать оттуда спецтранспорт, пускай забирают. Но заведующий лабораторией, подумав всего секунду, дал команду не звонить и не вызывать. Дело в том, что как раз сегодня на Ученом совете должен был обсуждаться план исследований лаборатории на будущий год, а старых заделов, равно как и новых идей, во вверенном профессору подразделении, к сожалению, не было. В перерывах между поездками в колхоз и командировками по внедрению давнишних разработок сотрудники едва-едва успевали писать научные отчеты, для чего постоянно использовался один и тот же универсальный фолиант, составленный лет шесть назад. Автором этого шедевра являлся некий Гольдин, теперь уже силком отправленный на заслуженный отдых, и — зря, потому что он обладал уникальным талантом облекать в научную форму любую чепуху, будучи искренне убежден, что приносит пользу.

Кроме того, одним взмахом красной шариковой ручки Гольдин умел изобразить великолепный график — кривую, идущую неуклонно вверх, и тут же придумать к этому графику серьезное научное обоснование. Составленный им толстый отчет сотрудники называли «гробом», что не мешало им в конце каждого квартала буквально драться из-за него. Профессору Кашубе Гольдина очень недоставало, он никогда в жизни не расстался бы с ним, да что поделаешь? — подоспела кампания по отправке на пенсию, а Евдоким Никитич давно усвоил, что в каждой кампании очень важно быть первым. Хочешь — не хочешь, а пришлось уволить старика Гольдина и вместе с ним еще троих вполне дееспособных работников...

Так вот, на сегодняшний день с тематикой было неважно, а, как говорила лаборантка Люся, — «полный завал», и, увидев червяка, Кашуба послал Лихтенштейна за слесарем. Слесарь Денисюк Анатолий был человеком неопределенного возраста и неопределенного внешнего вида, но вполне ясных и отчетливых убеждений. Явившись на зов начальства, он кинул беглый

взгляд на червя и, не выразив ни малейшего удивления, расплывчатым голосом сказал, что так — не получится, — надо, на хрен, звать такелажников, а они, на хрен, не пойдут.

— Пойдут, — успокоил его Максим и через три минуты сам привел двоих такелажников, в пути пообещав им по сто граммов спирта.

Оживившись при виде рабочей силы, Кашуба приосанился и скомандовал:

— Отловить... м-м... объект. Доставить в зал Ученого совета.

Что и было исполнено, но количество спирта пришлось удвоить.

— Обидим людей — в другой раз ни хрена не отловят, — пригрозил Денисюк, явившись к Кашубе от имени такелажников с пустой молочной бутылкой, — они, на хрен, так и сказали: по сто грамм, это, извиняюсь, только курей щекотать. Можно гидролизный, хрен с ним.

Кашуба налил четыреста граммов, и Денисюк молча удалился.

До конца рабочего дня ни его, ни такелажников никто нигде больше не видел.

Когда открылось заседание Ученого совета, профессор Кашуба сделал краткое сообщение о том, что во вверенной ему лаборатории впервые в мире синтезировано из отечественных материалов и теперь всесторонне исследуется квазиживое существо — червяк ленточный теплокровный, ориентировочная длина — 14 600 миллиметров, ширина около трехсот, толщина два и четыре десятых; до сих пор лаборатория, как известно, занималась исключительно вопросами применения пластмасс для изготовления деталей машиностроения, но возросшее значение проблемы охраны окружающей среды, подчеркнутое в директивных документах, заставило коллектив встречно взять на себя большую и ответственную задачу, и, как показывают факты, — не напрасно: налицо приоритет, а высокий научно-технический уровень наших сотрудников позволит нам и впредь смело и своевременно браться за любые проблемы, поставленные соответствующими Решениями, учитывая вышеизложенное, а также особую важность и чрезвычайную ожидаемую полезность предлагаемой работы для нужд народного хозяйства в целом, а возможно, и для оборонной промышленности, следует на-

стаивать на ее немедленном включении в план, финансирования, на выделении для лаборатории двух дополнительных штатных единиц и помещения, короче, на создании условий для эффективной и бесперебойной работы, спасибо за внимание.

Правду сказать, поначалу далеко не все члены совета слушали профессора Кашубу с должным рвением — взгляды их были гипнотически прикованы к столу, на котором слабо шевелилось сложенное в несколько раз и упакованное в полиэтиленовый мешок упомянутое синтетическое как бы живое существо.

Директор же института, которому надлежало сидеть за этим столом в качестве председателя, предусмотрительно ушел во второй ряд и устроился там, открыв форточку: ему, дескать, жарко и нечем дышать.

Когда профессор Кашуба изложил все, что хотел, в зале на некоторое время воцарилось ошарашенное молчание. Сотрудники недоуменно переглядывались. Затем один до крайности въедливый старичок, профессор Лукницкий из конкурирующего отдела, спросил, какое все же отношение имеет к полимерам и машиностроению эта... м-м... словом, то, что шевелится сейчас в мешке.

В ответ докладчик повернулся к директору и веско заявил, что давно собирался обратить внимание руководства на тот факт, что личная неприязнь, доходящая до неприличия, и даже законная ревность к успехам коллег никак не должны бы мешать работе, что склоки, как известно, погубили не одно ценное начинание, в то время как... и пошел, и пошел...

— Понесло... — тоскливо зашушукались в рядах.

Лукницкий был вынужден нехотя сесть и затаиться.

Когда шум в зале стих, а Кашуба завершил свою речь словами «положить окончательный конец», директор постучал своим «Паркером» по стеклу форточки и попросил профессора рассказать, по какой технологии и за сколько времени удалось создать этот... уникальный образец. Кашуба приосанился и, не моргнув глазом, доложил: работы ведутся уже достаточно давно, однако, заметьте, — без финансирования, на сэкономленном сырье и за счет личного времени сотрудников. Вот хотя бы товарища Лихтенштейн.

При этих словах молодые кандидаты наук, супруги Валерий и Алла Антохины, сидящие в пятом ряду, переглянулись, и Валерий сказал жене, что вот, обрати

внимание, Макс вечно ходит в ущемленных, а Кашуба, между прочим, его везде выпячивает, обрати внимание.

— Обратила,— сказала Алла,— особенно он его выпячивает, когда надо ехать в колхоз или на овощебазу. А что — в ущемленных — это верно, только они ведь все на этом зациклены, помнишь Гольдина?

Еще бы Валерию не помнить старика Гольдина! Такой скандал учинил, когда провожали на пенсию, орал везде, что — из-за пятого пункта, а то, что в шестьдесят шесть лет пора освободить место молодым, ему в голову не приходило.

Пока Антохины обменивались мнениями, Кашуба сообщил: да, пришлось повозиться, применить кибернетику, а что касается технологии, то, хотя перед ученым советом сейчас находится всего лишь опытный образец, нуждающийся в существенной доработке по результатам стендовых и эксплуатационных испытаний, для проведения которых требуется время, время и время, и конечно же...

— Деньги, деньги, деньги,— тоненьким голоском добавил Лукницкий.

Кашуба слегка посуровел и сказал, что делать сообщение по технологическим параметрам процесса он пока считает преждевременным, так как эту работу, ввиду ее исключительного значения — вы понимаете? — следовало бы засекретить и проводить обсуждение технологических тонкостей и результатов испытаний только в присутствии товарищей, имеющих к ней прямое отношение.

Зал притих, и тут, грохнув откидным сиденьем, из рядов вылез заместитель директора Василий Петрович Пузырев. На протяжении всего заседания он оставался невидимым (была у него эта скверная привычка — время от времени исчезать), но теперь внезапно обнаружился. Он молча прошел к стене, где висели плакаты, приколотые Аллой Антохиной, руководитель которой должен был делать сообщение сразу после Кашубы. В полной тишине Пузырев сорвал один из плакатов, потом, подумав, — еще два и заботливо прикрыл ими заветный мешок. Подумав еще, вынул из кармана зеленый фломастер и вывел поперек одного из плакатов «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО, ЭКЗ. № 1». Потом внимательно оглядел присутствующих (в результате чего несколько человек на цыпочках вышли из зала)

и, так и не проронив ни слова, вернулся на свое место. Скрипнул стулом. И исчез.

ГОРА

Заседание ученого совета продолжалось в тот день до четырех часов с перерывом на обед. Работу над пресмыкающимся единоголасно решили включить в план под кодовым названием «Проблема Червец». Почему — «Червец»? Неизвестно. Да и не все ли равно?..

Максим Лихтенштейн, не являясь членом совета, участия в голосовании не принимал, а профессор Лукницкий руки не поднял из принципиальных соображений, но это никого не смутило, кроме разве что Василия Петровича Пузырева. Скрипнув стулом, Василий Петрович сделал соответствующую пометку в своем блокноте, держа его на коленях, что — неудобно, но он привык записывать не только сидя в зале. Он умел записывать и стоя, и лежа, и в всячем положении, и в прыжке.

Короче говоря, решение по проблеме «Червец» было принято единоголасно.

Максим сидел в последнем ряду, и настроение его по мере хода заседания менялось. Эх, и отличный же график мог бы получиться, если бы, наблюдая за Лихтенштейном, некто откладывал на оси абсцисс время, прошедшее от начала заседания, а на оси ординат — степень возбуждения, охватившего Максима Ильича! Получилась бы вполне наукообразная кривая, сразу стремительно скакнувшая вверх до экстремальной точки, затем образовавшая горизонтальную площадку, начинающуюся в тот момент, когда слово взял профессор Кашуба, и кончавшуюся падением где-то перед началом голосования, то есть когда результат всем уже ясен.

Назвать состояние Максима просто возбуждением недостаточно. Это на первых порах было изумление, крайняя его степень. Казалось бы, прожив на белом свете тридцать семь лет, из которых последние тринадцать были отданы научной работе под руководством профессора Кашубы, Лихтенштейн ко всему бы должен привыкнуть, ан нет — дебаты по поводу червяка, найденного им на свалке, прямо-таки потрясли его и заставили некоторое время просидеть с оцепенелым лицом. Вид у него был странноватый, так что потом, в перерыве, к нему подошла Алла Антохина и сказала, что, ко-

нечно, рада за него, но зачем уж так балдеть от гордости, можно бы и поскромней.

Алла была известной физиономисткой.

Пока Максим «балдел», в голову ему приходили разные мысли, вплоть до самосожжения: встать, например, и заявить, что все это — липа, червяк найден на свалке, и лично он, Максим Лихтенштейн, никогда не примет участия в таком циничном надувательстве и залепухе.

Но: зачем понапрасну дразнить собак? Чего бы он этим добился? Допустим невероятное: Кашуба посрамлен. И дальше что? А дальше то, что, вполне вероятно, научному работнику со звучной фамилией Лихтенштейн придется искать новое место службы, что в наше время не так-то просто, а гарантии, что на новом месте, будь это хоть артель «Химчистка», не найдется точь-в-точь такого же «Червеца», — ни малейшей.

Черт с ним! В конце концов, «у каждого Абрама — своя программа», — подумал Максим, имея в виду своего руководителя. — И хуже ли исследовать безобидного червяка, чем, выбрав себе в жертву какое-нибудь наивное провинциальное предприятие, доить его под предлогом совместной работы по хоздоговору? Пускай болтают, вон Кашуба — аж раскраснелся, а директор, вдруг осмелев, подошел к столу поглядеть на «опытный образец». Ладно. Посмотрим, как они потом выкрутятся, выкручиваться, между прочим, придется им, а не исполнителю. Не впервой».

Тут кривая Максимовых эмоций стала падать и быстро дошла до нуля, то есть до абсциссы. Ему сделалось неинтересно, он опустил голову на грудь, что было тут же отмечено Аллой: «Делает вид, что ему безразлично, нет, я так не умею!» — и отключился.

У Максима был давно отработан способ отключаться в любой обстановке, он изобрел его еще в детдоме и использовал особенно эффективно, когда вызывал тамошний директор и, усадив на стул, начинал заунывно выговаривать по поводу курения или драки. Слова про государство, которое «все сделало для таких, как ты», про неоплатный долг, про младших товарищей, берущих дурной пример, эти неплохие, но очень обкатанные, звучные слова, булыжниками бросаемые в большую бритую голову воспитанника Лихтенштейна, меняли траекторию, не долетев до его слегка оттопыренных ушей. И уносились прочь. Они уносились далеко-

далеко, за поля и леса, и там со всего размаху падали. Громадная гора, вся состоящая из таких вот словесных булыганов, уходила высоко в небо, а на самом верху ее сидел черный ворон и кричал каждому вновь поступившему камню: «Вр-р-решь! Вр-р-решь! Вр-р-решь!»

Эту гору, изобретенную в детстве, Максим использовал до сих пор: представлял себе в нужных случаях, а нужный случай возникал каждый раз, как только приходилось беседовать с уважаемым Евдокимом Никитичем. Профессор Кашуба обладал примерно тем же словарным запасом, что детдомовский директор, и одним из любимейших мотивов его речи был неоплаченный долг. Слушая профессора много лет подряд, Лихтенштейн постепенно пришел к выводу, что гора, пожалуй, состоит не из одних булыжников — еще из комьев давно засохшей глины, а то и еще чего... похуже.

«...Таким образом, согласно программы, согласованной с согласующими организациями...» Гора росла и росла. Новые комья мягко валились на нее с грязного низкого неба. Растрепанный ворон издевательски разевал клюв и выкрикивал «Вр-р-решь!» так, словно матерился.

ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ И ЕГО СОСЕДИ

Отгульный день, начавшийся встречей с секретным гадом, продолжался. Павлу Ивановичу сегодня, слава Богу, некуда было торопиться, никаких дел он себе не наметил, поэтому не спеша, как говорится, «нога за ногу», брел кружным путем к булочной, не столько по необходимости купить хлеб, сколько из желания прогуляться.

День сегодня был странный — казалось, что-то произошло со временем. Конечно, оно двигалось, и будто даже в правильном направлении, но чрезвычайно медленно, нехотя. День ковылял на отечных ногах, поминутно делая остановки, чтобы отдышаться, поглазеть по сторонам, одним словом, не спешил. Не спешил и Павел Иванович, пробираясь сквозь снежный туман, туго забивший плотной сырой массой улицы и переулки, выпадающие во Владимирский проспект, где находилась булочная. Фокусы времени абсолютно устраивали Павла Ивановича — вечер ему был не нужен, поскольку вечером вернутся с работы его квартирные соседи Антохи-

ны, а встречаться с ними Павлу Ивановичу было неприятно, — он их ненавидел.

Ненависть — совсем не обязательно оглушительно-жгучее чувство, от которого замирает в груди, в то время как взор застилает белое пламя. С Павлом Ивановичем, во всяком случае, все происходило иначе. Когда он видел кого-нибудь из Антохиных, то не вздрагивал, не кричал, и в глазах у него не белело... Но каждый раз ноги делались неподъемными, как сырые дрова, в плечах начинало мозжить, во рту пересыхало, а душа наполнялась невероятным омерзением ко всему живому, и в первую очередь — к себе самому. Это было очень тягостное чувство, и оно, к несчастью, делалось все сильнее, все отчетливее по мере того, как уходил в прошлое день, когда Павел Иванович проводил свою мать в психиатрическую больницу.

Жизнь в одной комнате коммунальной квартиры с больной, потерявшей рассудок, но сохранившей много физических сил старухой была, разумеется, довольно сложной. Полгода назад после очередного гипертонического криза мать внезапно перестала его узнавать; когда он приходил с работы, кричала: «Ты — кто? Где Павел? Когда вернется?» Потом начала отказываться от еды, заявив, что ее хотят отравить. Прячала под матрасом какие-то куски и тайком съедала их по ночам. Все это было так страшно и так на нее не похоже, что Павел Иванович совершенно растерялся. Еще позднее начались крики по ночам — матери казалось, что ее пытаются задушить, она вскакивала с постели, в одной рубашке бегала по квартире и рвалась к соседям. Было многое еще, чего не хочется вспоминать, но Павел Иванович готов был терпеть все: это была его мать, все свои сорок с лишним лет он прожил с ней вдвоем, ближе для него человека на свете не было.

Но Антохиным она матерью не приходилась. И вот после очередной бессонной ночи они объявили Павлу Ивановичу, что больше выносить этого не могут, они все понимают и даже сочувствуют, но хотят жить в нормальной обстановке и ночью спать, а не слушать дикие вопли. Антисанитария в туалете и в ванной их также крайне не устраивает, и вообще от такой жизни они сами скоро попадут в психушку, а у них — ответственная научная работа. Павел Иванович растерянно их выслушал и сказал, что приносит свои извинения, но... как же ему-то быть? Он ведь вызывал к матери

врачей, все в один голос говорят: помочь тут ничем нельзя — склероз.

— А вот моей маме за шестьдесят, а она в поле работает. И довольна, — задумчиво сказала Алла.

Павлу Ивановичу возразить было нечего, и он опять беспомощно и виновато спросил, что же они ему посоветуют.

Антохины переглянулись, потом Валерий, слегка замявшись, произнес:

— Понимаете... конечно все это тяжело, но... нам кажется, что правильнее всего было бы поместить Татьяну Васильевну в... больницу.

— В какую больницу? — поразился Павел Иванович. — Вы же знаете: стариков в больницы не берут, тем более таких — хроников.

— Это в обыкновенные не берут, а есть специальные. Ну... когда такое... с рассудком... — шепотом сказала Алла.

— Вы имеете в виду сумасшедший дом? — осведомился Павел Иванович. — А интересно, свою мать вы бы отдали в сумасшедший дом?

— Конечно, — убежденно ответил за жену Валерий. — Для ее же пользы.

— А вот я, представьте себе, свою мать не отдам. И давайте кончим этот разговор, — с этими словами Павел Иванович вышел из кухни, и недели две никаких разговоров действительно не было. Если ночью случался шум, на следующий день соседи ходили с мрачными лицами и здоровались с особой церемонностью. А Татьяне Васильевне между тем на глазах становилось все хуже. Она почти перестала членораздельно говорить, но оставалась очень живой и подвижной. Могла без передышки сновать по квартире, оставляла открытыми водопроводные краны и, что гораздо хуже, несколько раз — газовые.

Павел Иванович взял две недели за свой счет и занялся обменом. Доплатив и потеряв метраж, он надеялся обменять свою комнату в центре на любую однокомнатную квартиру в любом районе. Пусть без ванны, без телефона, пусть шестой этаж без лифта, пусть далеко от работы, только — отдельно. Он развесил по всему городу объявления, но скоро стало ясно: затея обречена на провал, — никто не хочет ехать в коммуналку, да еще — в первый этаж. А отпуск кончился, и тут в один прекрасный день в квартире появилась мо-

лоденькая медсестра из психдиспансера. Пришла она в отсутствие Павла Ивановича, и он, вернувшись, застал ее уже в передней оживленно беседующей с соседями. Когда Павел Иванович вошел, все замолчали, потом сестра, глядя на него почему-то с осуждением, сказала:

— Больная дементна, это — очевидный факт.

Ничего не ответив, он прошел мимо, и с того дня посетители являлись друг за другом. То — из райздравотдела, то жильцы-общественники, наконец пожаловал представитель института, где работали Антохины, и, качая лысой головой, долго объяснял Павлу Ивановичу, что дом, по существу, ведомственный, что уже давно стоит вопрос о переселении всех, кто, проживая тут, не служит в институте, Антохины — научные работники, кандидаты наук, так что, товарищ, послушайте доброго совета: устройте матушку в лечебницу для душевнобольных, институт поможет, туда берут престарелых, если они... социально опасны, а думать нужно не только о себе, но и о людях, которые живут рядом с тобой и своим трудом приносят немалую пользу государству, перед которым мы все в неоплатном долгу... Павел Иванович выставил представителя за дверь, а еще через день мать, оставшись дома одна, распахнула окно во двор, кричала, собрала толпу и пыталась выброситься с первого этажа. В общем, все кончилось именно так, как мечтали Антохины, — «Скорой помощью», подоспевшей одновременно с Павлом Ивановичем, возвращавшимся с работы, и санитарями, связавшими Татьяне Васильевне руки, поскольку она дралась с ними, как говорится, до последнего, и только уже в больнице вдруг затихла и внятно произнесла:

— Павлик, я не хочу. Не надо. Пойдем домой, лучше умереть.

Больше после этого она ему уже ни одного слова не сказала, хотя он навещал ее каждую неделю. Не жаловалась, не плакала, только худела и слабела. Врачи Татьяну Васильевну хвалили: тихая старушка, никаких хлопот. Ясно — никаких, если три раза в день — лошадиные дозы лекарства...

Вот так все и получилось. Может, и правы были соседи, когда говорили, что это — единственный выход, но видеть их Павел Иванович теперь не мог. Поэтому очень любил по субботам работать, а отгулы брать на неделе, когда никого нет дома. По воскресеньям же до-

ма не бывало его самого: ездил к матери, а это занимало почти весь день — больница находилась в шестидесяти километрах от города.

Так вот сегодня как раз и был отгул и, совмещая поход за хлебом с прогулкой, Павел Иванович шел, пытаясь объяснить себе, что же это все-таки был за червяк ночью у него в комнате. И быстро пришел к такому выводу: зверь явно научный и секретный. А раз научный, то ничего невероятного и противоестественного в нем нет. Почему, в конце концов, можно запускать людей на Луну, менять русла рек и затапливать целые города, а разводить гигантских червяков — нельзя? Понадобился — и вывели. Покончив таким образом с червяком, Павел Иванович принял решение вечером пойти в кино. При этом желательно, чтобы фильм был двухсерийным.

В тот же день, возвращаясь под руку с мужем с работы, Алла Антохина страстно говорила:

— Господи, Валерка, да когда же мы наконец получим кооператив, не могу я больше!

— Чего не можешь, Алена?

— Видеть его, в и д е т ь — вот чего! Ведь домой идти тошно. «Добрый день», «добрый вечер», а в голосе одно презрение. Будто мы не люди, а... с его подметки грязь. Он же нас за людей не считает, не спорь! И не только сейчас, а всегда так было. Ведь обидно: сам-то кто такой, если уж разобраться? В комнате пылища... Я, например, убеждена: человек не может называться культурным, если у него такой пол!

— Ну, ты уж... При чем здесь пол?

— Потому что противно! Скажите, пожалуйста, — барин какой. Я, помню, еще маленькой была, так его мамаша тоже никогда сама полов не мыла, мы не бедней их жили, а мама за нее всегда общее пользование убирала. Заплатит — она и моет. Это такая психология, понимаешь? Последнюю копейку отдадут, без штанов останутся, а только чтобы самим не делать, руки не пачкать!

— Да. Здесь ты права, есть еще такие. Я даже как-то думал, в чем разница. Кажется, вот мы — интеллигенция, действительно, ничем не хуже его, даже в чем-то обогнали...

— «В чем-то»!

— Кстати, это нормально, что обогнали: у нас больше стимулов и жизненных сил — интеллигенты

в первом поколении. У нас в генах заложено никакой работы не бояться. В этом все дело. Тебя вот небось мать с таких лет приучала полы мыть, а его мамаша, и бабушка, и прабабушка, поди, ни разу в руки тряпки не взяли, вот он ничего и не умеет. Не сможет, даже если очень будет стараться. Такой генетический код.

— Что значит — «не сможет»? А он хочет? Нет, ты скажи — хочет?! Не хочет он, я тебе говорю! Он физический труд п р е з и р а е т, считает ниже своего достоинства, а какой он, если уж на то пошло, интеллигент? Интеллигент — это прежде всего человек, обладающий знаниями. А он что знает? В филармонии ты его видел хоть раз? Или на выставке? Обломов он!

— Уж и Обломов! Много чести. Васисуалий Лоханкин — это да. И вообще, я не понимаю, что тебе за дело, как он с тобой здороваются. Мне, например, наплевать, меня такие, как он, не интересуют. Ну, сама подумай: мужику за сорок, а он ничего, абсолютно ничего не добился, хотя дано ему было все. О чем это говорит? О том, что в нем есть какой-то дефект.

— Ну, знаешь, судить о людях только по тому, чего они добились, — тоже мешанство. Главное не в этом, а в том, как кто себя ведет. Вот Павел ведет себя так, будто все кругом — ничто, а он — кто-то...

— Совершенно верно. А на самом деле он... ну, вроде инертной примеси, понимаешь? В реакции не участвует. Может только валяться на койке и решать «мировые проблемы». Погоди, еще два-три поколения, и таких не будет, выродятся...

— ...Нет, представляешь: возьмет с полки что попало, и вот — лежит, перелистывает в сотый раз. Что это дает? Лишь бы дела не делать! Даже противно, что у него такая библиотека, зачем она ему? Пыль собирать? А потом ходит, нос воротит. Тебе наплевать, а мне обидно! Не могу, нервы не выдерживают, пойдем в кафе обедать, не хочу домой!

К ВОПРОСУ...

Мрачные мысли толпились в голове Лихтенштейна, который проводил свой обеденный перерыв в пивном баре неподалеку от института. Червяк... В настоящий момент червяк сидел в сейфе, куда Максим запихнул его после недавнего ночного происшествия и где ему, по распоряжению Пузырева, полагалось храниться посто-

янно. Но Максим был уверен: если держать червя там всегда, то очень скоро он непременно подойдет, да и кто бы из нас не подох, если бы его заперли в душный железный ящик, где нельзя распрямиться и как следует вытянуть хвост? Поэтому Лихтенштейн на свой страх и риск каждую ночь выпускал червяка ползать во дворе дома, где сам в это время с грехом пополам сгребал снег. Только во дворе жилого дома, но ни в коем случае не в институтском дворе, там бы сразу увидела охрана и обязательно донесла Пузыреву. И тут выяснилось бы, что старший научный сотрудник Лихтенштейн в нарушение всех инструкций систематически выкрадывает образец и выпускает в неохраняемом месте, где его кто попало может увидеть, услышать, сфотографировать или похитить. Максим понимал, что рискует не просто карьерой — головой, ибо нетрудно было себе представить, что произойдет, если этот ползучий как-нибудь смоемся. А ведь вчера положение было уже на грани: плоскобрюхая скотина пыталась скрыться в доме, хорошо, что Максим вовремя заметил хвост, торчащий из щели в стене. Уж то-то ликовал бы профессор Лукницкий! Он и так достаточно нагадил, когда три недели назад на очередном ученом совете обсуждался отчет кандидата технических наук Лихтенштейна по первому этапу работ проблемы «Червец». Максим трудился над отчетом целую неделю и выдал-таки шедевр.

Отчет был на первое. А на второе — коронное блюдо: программа и методика экспериментальных исследований, составленная лично товарищем Кашубой.

Отчет утвердили, — он был написан по всем правилам: Введение — задачи, стоящие перед животноводством. Литературный обзор: 1. Выдающиеся достижения сельского хозяйства в области создания новых пород высокопродуктивного скота. 2. Выдающиеся достижения бесплатной отечественной медицины в борьбе с ленточными червями-паразитами. 3. Зарубежный опыт. 4. Задачи, которые предстоит решать в свете Решений... А что? И не такие отчеты писали, пишут и будут писать во все времена.

Максим докладывал. Все дремали. А кто и спал. Но не спал коварный Лукницкий.

— Интересно, интересно. М-м... Максим... Ильич? — если не ошибаюсь? Так скажите нам, Максим Ильич, может, я чего недопонял, — почему нигде не указано, как и когда удалось вырастить червяку рога, а это,

очевидно, так, поскольку в литературном обзоре вашего отчета, который пришлось, к сожалению, тщательнейшим образом изучить, множество страниц почему-то посвящено именно крупному рогатому скоту?..

Профессор Кашуба немедленно попросил у председателяствующего (директора) разрешения ответить на этот вопрос, но — в рабочем порядке, потом, отдельно, и, если нужно, на партийном бюро. Беспартийный Лукницкий принял поражение: молча сел. И тут же началось рассмотрение программы-методики.

Но не успел руководитель темы д. т. н. профессор Кашуба закончить сообщение, как неумный Лукницкий опять потребовал слова, и, еще не успев его получить, уже вскочил, и, мелко трясясь от возбуждения, визгливо прокричал, что не понимает, каким это образом коллега Кашуба собирается определить: а) прочность на разрыв, сжатие и изгиб, а также на удар и кручение! исследуемого живого, подчеркиваю — живого! — существа, а также, страшно подумать: б) действие высоких температур, агрессивных сред, в том числе концентрированных соляной и азотной кислот, и в) абразивный износ и различные антифрикционные свойства!

— Это ведь живой червяк, откуда бы он там у вас ни взялся, а не бесчувственный пластмассовый образец, чтобы так издеваться! — верещал он.

«Слава Богу, хоть один нашелся, пожалел моего несчастного червяка», — подумал Максим Лихтенштейн.

— Чем без конца определять физико-механические свойства (а вы только их определять и умеете!), установили бы пол и возраст животного, класс, к какому оно относится, способ его размножения, наконец, а то вот сдохнет он у вас, кого тогда будете исследовать? — продолжал Лукницкий. — А ведь взяли, стыдно сказать, обязательства перед министерством! Ладно, профессора Кашубу я еще понимаю, представляю себе движущие пружины, но вы-то, вы, Лихтенштейн?! — Тут голос Лукницкого мгновенно пресекался, да и зал тоже затих. За спиной профессора Кашубы, до того хоть и грозно, но одиноко стоявшего около стола с указкой в руке, медленно возникал Василий Петрович Пузырев. Он материализовался, проявляясь, точно фотоснимок в пластмассовой ванне, и наконец предстал во всем своем величии — со стальным взглядом и неизменным блокнотом. Взгляд был устремлен на директора, кото-

рый сразу заерзал на председательском месте, с досадой посмотрел в зал, точно ожидая разъяснений, и промямлил:

— Ввиду недостаточной подготовленности вопроса, предлагаю отложить рассмотрение программы-методики до следующего заседания совета,— директор взглянул на то место, где возникло изображение Пузырева, но оно не померкло, а даже как будто стало отчетливее.— Еще я хочу сказать, товарищи,— добавил директор с некоторым раздражением,— нельзя забывать — тема эта закрытая, так что надо усилить бдительность и не вести лишних разговоров ни в стенах института, ни, в особенности, за его пределами.

После этих слов призрак за спиной Кашубы мгновенно растаял, а через пару секунд в зале скрипнул стул.

— Заседание ученого совета считаю закрытым,— объявил директор. Все помчались к дверям, и на следующий день сотрудники лаборатории Кашубы, все, кроме, естественно, Лихтенштейна, бросились оформлять командировки, а Лихтенштейн остался думать, скалывать лед и следить за червяком, чтобы, и верно, не сдох ненароком или, как очень опасался Кашуба, не пал жертвой агрессии проворного Лукницкого.

И вот... некоторое время все шло спокойно, а прошлой ночью червяк сделал первую попытку улизнуть. Было ли это случайностью или результатом чьего-то коварного замысла? В этом сумасшедшем мире все возможно. Лихтенштейн взглянул на часы — половина второго, в лаборатории обед, девчонки-лаборантки бегают по магазинам или изготавливают в термостате топленое молоко. Червяк один...

Он отсчитал деньги за три выпитые кружки пива, положил их на стол и быстро пошел к выходу.

...Где-то далеко-далеко, за полями и лесами, высилась хорошо видная отовсюду голая гора. Сунув под крыло голову и нахохлясь, черный ворон дремал на ее вершине. Плыли мимо низкие, отёчные облака, роняя свой медленный снег на пустые склоны, на спящего ворона, на плоские поля вокруг. Снег шел везде; и тут, на Владимирском, он тихо ложился на тротуар, прямо под ноги Максиму. Завтра будет скандал за сугробы и несколотый лед. Плевать! Хорошо, когда снег. Максим любил, когда снег и зима, всегда любил, с самого детства.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Как все-таки правильно говорит Гольдин: если ты пессимист, то имеешь полную гарантию от разочарований, ошибиться можно только в хорошую сторону. Вот ждал Максим неприятностей из-за гада, но прошло полтора месяца, а все еще в порядке. И червяк никуда не девался, хотя Максим продолжал выгуливать его ежедневно. Теперь он делал это легально в институтском дворе, ибо профессор Кашуба вернулся из Парижа размягченный, просветленный и полный заботы об охране живой природы, — вернулся, на следующий же день пошел к Пузыреву и добился — это надо же! — официального разрешения на выгул животного. А Максиму, с которым они накануне отъезда крупно поругались, этому негодяю Максиму привез в подарок роскошный галстук. Наконец, третьего дня закончился срок, на который Лихтенштейн был командирован в дворники, на смену ему направили Гаврилова, и Максим имел теперь возможность все свои знания и силы отдать научным исследованиям по проблеме «Червец». Сам же профессор не покладая рук трудился над созданием новой программы-методики. В обязанности Максима по-прежнему входило кормление червяка и уход за ним, а именно: прогулки в специальной выгородке, оборудованной во дворе, определение (по указанию руководителя) длины, ширины и толщины опытного образца и, главное, температуры его тела. Замеры производились каждый час в течение рабочего дня, что всегда полезно, — по результатам таких замеров получаются весьма убедительные графики и таблицы. А если обработать данные с применением математической статистики, да еще на ЭВМ, так просто пальчики оближешь.

Словом, пока все шло нормально. И, хотя параметры животного в течение дня менялись незначительно, все же некоторые предварительные выводы можно было сделать уже сейчас: после каждого кормления, например, толщина тела образца увеличивалась в целом на 6,704 %, ширина — на 1,005 %, температура — на 3,42 °С (Цельсия), длина же сокращалась на 0,008 %. Поразительно!

В четверг, заглянув в журнал, куда заносились результаты исследований, профессор собрал на совеща-

ние весь состав лаборатории и объявил, что Максимом Ильичом, безусловно, проделана большая и важная работа, что в настоящее время проблема охраны окружающей среды приобретает все большее и большее значение, и прямой долг каждого из нас... тут Максим слегка отвлекся и некоторое время перемигивался с вороном, который, схватившись лапами за живот и прижав к нему оба крыла, разинул клюв и катался по склону горы, что у него, видимо, обозначало восторг. Комья, валившиеся с небосклона, ворона ничуть не пугали, они ему, похоже, нравились, и, отвеселившись, он затеял с ними игру — пытался подхватить на лету клювом и подкинуть вверх. Это напоминало выступление морских львов в цирке и быстро надоело Максиму Ильичу. Он включился и с изумлением услышал, что Кашубу несет уже в совершенно непонятном направлении — в сторону охраны памятников старины. Научные работники сидели с терпеливыми лицами, они ко всему привыкли.

— Таким образом,— вещал Кашуба,— наш долг делать все возможное и даже больше для сохранения и умножения того, что является гордостью нации и достоянием нашей родной природы!

— Любопытно,— сказал Максим на ухо Лыкову,— мой червяк — гордость нации или достояние природы?

— Этот вопрос выше моей зарплаты,— сонно откликнулся Лыков.

А профессор продолжал, еще более воодушевляясь:

— Для того, чтобы в короткий срок проделать максимальный объем работ, замеры следует производить круглосуточно! И не только в рабочие дни. Нет, не только. Но и в выходные! И в праздничные! Постоянно. А это одному человеку не под силу, товарищи. Так что включиться следует всему коллективу, сегодня же составить и дать мне на утверждение график дежурств. И никаких отговорок, справок от врачей и разговоров о детях. Дело государственное, тут — как на фронте!

Быстро выяснив, что за работу в вечер, ночь, а также по субботам и воскресеньям будут давать по два отгула, как за дружину, сотрудники единодушно поддерживали профессора.

— Ну, как тебе нравится эта грандиозная залепуха?— спросил Максим Гаврилова после совещания.

— Дежурства, что ли?— зевнул тот.— А что, меня вполне устраивает, возьму потом дни к отпуску.

— Да нет, я — в целом, вообще весь этот «Червец»?

Гаврилов подумал, оттопырив губу и приподняв левую бровь, пожал плечами и задумчиво ответил:

— Да не знаю... Как-то не вникал. Может, вообще-то и залепуха, да где ее нет? Вон я снег гребу — это что? А я гребу себе и очень рад — приятно физически поработать на воздухе. Да еще вот по червяку дежурить собираюсь. Брось ты, Макс! Вечно у тебя какие-то глобальные проблемы, а для меня сейчас главная проблема — где дачу на лето снять... Я тебе, между прочим, давно хотел сказать: не бери в голову. Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли...

— Золотые слова, — сказал подошедший Лыков. — Это все — матата. Меня вот подняли, и я пошел в буфет, кому пирожков?

— Слушай, Макс! — продолжал Гаврилов, пока Максим отсчитывал в протянутую ладонь Лыкова мелочь. — Совсем забыл: я ведь тебе хотел предложить свитер, отличный свитер — чистая вул, но, представляешь, узок в плечах. Людка говорит: поставим в комиссионку, а я подумал — у нас с тобой один размер, но в плечах ты уже. Как?

— Цвет?

— Мокрый асфальт.

— Надо брать.

И вот сегодня в новом свитере, который очень ему шел, Максим отправился в гости к старику Гольдину, у того жена была именинница.

В тесной, заставленной старыми вещами двухкомнатной квартире, где бывший сотрудник института Григорий Маркович Гольдин жил вдвоем с женой, толстой, добродушной и еще совсем не старой Ириной Трофимовной, Максим всегда чувствовал себя уютно и свободно. Единственная дочь Гольдиных Элла вместе со своим мужем — полковником и сыном Игорем вечно переезжала с Крайнего Севера на Дальний Восток, с Дальнего Востока — в Молдавию, а сейчас вообще жила в Ташкенте, так что Григорий Маркович с Ириной Трофимовной по сути дела были одинокими стариками, хотя и получали довольно часто посылки то с рыбой, то с южными фруктами. К Максиму они относились как к сыну, да и он к ним уже настолько привык, что, когда старики однажды улетели на неопределенное время в Ташкент, вдруг таким почувствовал себя неприкаян-

ным и несчастным, что даже разозлился: взрослый мужик с суровым детдомовским прошлым — и так раскиснуть! Ты еще запей, как Денисюк. Малютку бросили в лесу, азохэн вей!¹

Кстати, разным «азохэнвейам», а также «вейзмирам»² и прочим словам и выражениям Максима научили как раз у Гольдиных, и не кто-нибудь, а вологодская Ирина Трофимовна. Это она в свое время, лет этак семь назад, ни за что ни про что нарекла Аллу Антохину, носившую в то время фамилию Филимонова, — «шиксой», что означало: «Простая девчонка, ничего особенного, крутить роман — пожалуйста, но жениться, да еще такому хорошему парню из наших, — ни Боже мой!» А «хороший парень» и сам колебался: с одной стороны, Алла тогда была очень недурна, хорошо одевалась, бойко лепетала на разные темы, а с другой стороны, — черт ее знает, — какая-то была уж очень правильная, здравомыслящая, удивительно для своего, тогда еще очень юного возраста положительная, на все вопросы знала ответы, и все — верные, и, похоже, свою будущую жизнь просчитывала вплоть до выхода на пенсию. В ней проступало то, что называют «сильным характером», и когда она однажды подробно и жестко объяснила Максиму, как следует вести себя с начальством: «Начальников надо любить, понимаешь? Только по-настоящему, искренне», — после этого его увлечение стремительно пошло на спад. Он еще сам толком ничего не понял, Алла же, отстрадав неделю, начала демонстративно поглядывать на нового сотрудника Антохина. Ну, — не компьютер?

Через некоторое время Максим (возможно, в отместку) получил приглашение на свадьбу, но не пошел, чем дал Алле повод думать, что уязвлен и ревнует, поэтому она до сих пор разговаривала с ним участливым тоном.

У Гольдиных было давно решено, что Макс женится только на девушке из приличной еврейской семьи, и совсем не обязательно, чтобы она была семи пядей, главное, была бы домовитая, хорошая хозяйка («мальчик и так настрадался без домашнего тепла»).

¹ Здесь: подумаешь! (*евр., идиш*).

² Вейзмир — Горе мне! (*евр., идиш*).

— А как все-таки с внешним видом?— волновался Максим.— Что, если ваша «домовитая» окажется вот с таким шнобелем?

— Красота — до свадьбы,— утверждала Ирина Трофимовна.— Лишь бы человек!

— Э-э, тут я, как говорится, имею свое собственное мнение,— вступал Григорий Маркович.— Женщина — это вам такой предмет, который должен украшать дом своего мужа, лично я так считаю.

— Ну, ладно, ладно,— сразу соглашалась жена.— Пусть еще и красавица, кто спорит? За нашего Макса любая пойдет, только свистни. Лишь бы побыстрее, а то носится, как куцый бык по просу.

— Ирочка,— говорил Григорий Маркович укоризненно.— Зачем эти намеки? Должен молодой человек немного погулять?

— Прогулки себе нашел! Тридцать лет жены нет — и не будет, а тебе к сорока идет, помни!— И, погрозив Максиму пальцем, Ирина Трофимовна шла на кухню.

ОСЮНЧИК

Стол был роскошный — Ирина Трофимовна готовила отменно: фаршированная рыба с хреном, традиционный салат из рубленых яиц с гусиным жиром и жареным луком, куриный бульон с шарами, изготовленными по специальному рецепту — из мацы, на второе — жареная курица и картофель с черносливом. И еще компот! А позже — чай с лэках. В результате Максим объелся, как всегда объедался в этом доме.

— Вот вам иллюстрация справедливости генетики,— заявил Григорий Маркович, показав на Макса, поглощавшего фаршированного леща.— Человек вырос в приюте, с детства приучен к казенному, а любит не что-нибудь, а фаршфиш. Наследственность — это наследственность, и никакое влияние среды ее не заменит.

— А также — влияние четверга,— сострил тучный Ося, племянник Григория Марковича,— и понедельника!

Сперва пили «за нашу дорогую Ирину Трофимовну, чтоб она была всегда такой, как сейчас: молодой, веселой, красивой и всеми любимой». Этот тост предложил Максим, а про себя добавил: «Пусть, главное, будет здоровой», — но вслух этого не сказал. Полгода назад Ирину Трофимовну оперировали в онкологическом ин-

ституте, опухоль оказалась как будто доброкачественной, все вроде обошлось, но... пусть она будет здоровой, это главное, все остальное — веники.

Гости еще не успели допить шампанское, как встал Ося и поднял рюмку, куда был налит кагор.

— Тетечка,— проникновенно начал он рыхлым голосом,— я хочу предложить этот тост за ваше здоровье. Здоровье, как известно, дороже десяти и даже ста рублей, а, как говорится,— тут Ося сделал паузу,— не имей сто рублей, а имей?.. М-м... двести!

«Почему наши еврейские дураки всегда такие активные?»— с горечью подумал Максим.

— Тетечка,— продолжал между тем Ося.— Все мы хорошо помним, что мы пережили, когда вас положили на операцию. Конечно, думать надо только о хорошем и надеяться на лучшее, но место, где вы лежали, это, я вам скажу... Так что, давайте, тетечка, и все присутствующие — родные и гости, выпьем, чтобы ни вам, ни кому-либо из нас не пришлось переживать того, что вы и мы все пережили.

Холодея, Максим взглянул на Ирину Трофимовну, но увидел на ее лице добродушную и веселую, как всегда, улыбку.

— Спасибо, Осюнчик!— сказала она.— Но за меня уже пили, так что давайте лучше выпьем за тебя, чтобы Фира принесла еще одного парня. Или, в крайнем случае, девку.

Осюнчик хотел что-то возразить, но Григорий Маркович поднял рюмку и встал:

— Чтобы все были живы-здоровы!— торопливо объявил он и сразу выпил.

После этого тоста Гольдин стал непривычно болтливым — изредка поглядывая на жену, не закрывая рта, рассказывал старые анекдоты, громко хохотал, потом затеял разговор о политике: что вы думаете, с Израилем все так просто? Вы еще увидите — очень и очень непросто, попомните мое слово. Это, безусловно, милитаристское государство, и американские империалисты тут приложили руку, что говорить.

— Позвольте мне сказать еще один тост,— вдруг канючливо влез Ося,— всего несколько слов. Ровно год назад мы похоронили дядю Изю. Я до сих пор не могу без слез...

Скотина, он ведь, и верно, плакал — крупная слеза ползла по толстой щеке.

— У тебя сигарет нету?— громко спросил Максим Осюничка через стол.

— Не употребляю,— солидно ответил тот.

— У меня английские, пошли покурим,— Максим вышел из-за стола.

— Так я же...— сопротивлялся Ося, но Макс взял его за плечо и потащил к двери.

— Расскажу анекдот, здесь неудобно, пошли, очень смешно — ухохочешься,— приговаривал Максим.

В коридоре он загнал Осюничка в угол рядом с вешалкой и, понизив голос, спросил:

— Что есть самое печальное зрелище на свете?

— Уже смешно,— одобрил Ося.

— Будет еще смешнее,— пообещал Максим.— О'Генри считал, что это — дырка на конце чужого пистолета. А я вот думаю — дебильный еврей.

— Как?

— Я говорю: тебя ударили или ты от рождения такой? Ты куда пришел, сукин сын? На день рождения или поминки праздновать? «Тетечка! Дядя Изя...»

Большие выпуклые глаза Осюничка полезли из орбит.

— Ой, что ты говоришь! Так ты думаешь, тетя расстроилась? Так ты думаешь? Хорошо. Я сейчас все сделаю. Я пойду и скажу...

— Сказал уже. Сиди тихо, понял?

После этого Осюничка, и верно, притих. Сидел и надсадно улыбался каждой шутке. А Максима Григорий Маркович вскоре утащил в соседнюю комнату — поговорить.

...Жуткая все же штука — старость. Максим думал об этом каждый раз, как Гольдин жадно и ревниво набрасывался на него с расспросами о работе. Старик скучал, не знал, куда себя девать, тосковал по... было бы по чему!— по Кашубиной лаборатории. Все ему было интересно, каждый пустяк и, конечно, в глубине души хотелось, чтобы без него дела пошли куда как худо, чтобы все поняли, какую свалили глупость, отправив на пенсию Григория Марковича!

Желая доставить Гольдину удовольствие, Максим совершенно искренне сказал, что в настоящее время лаборатория и он сам, лично, заняты грандиознейшей залепухой, залепухой из залепух, такой, что уж — ни в какие ворота, что ему, Максиму, конечно, стыдно, но,

видимо, попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй. «Нас толкнули — мы упали, нас подняли — мы пошли», как сказал Гаврилов.

— Не говори мне про Гаврилова! — сразу расвирепел Гольдин. — Это, я вам доложу, типичнейший обыватель. Заботится только о собственном благополучии, за дело не болеет. Между прочим, злопыхать легко, а работать...

— Да Бог с вами, Григорий Маркович! Какое там «дело»!

— А это не торопись судить со своей колокольни! Есть государственный интерес! — духарился Гольдин. — Вы все думаете: там, — он указал на потолок, — ...дураки сидят. Все дураки, а вы очень умные! Для тебя залепуха, а для дела — престиж!

— Но ведь это обман. Вы понимаете — вранье! — сказал Максим и тут же мысленно себя обругал: ведь сто раз давал себе слово не спорить со стариком на эти темы. Тот мог сколько угодно возмущаться отдельными недостатками, которые пока еще кое-где... Но — Государственные Интересы!..

— Чистоплюйство! — закричал Гольдин. — Подумаешь, «обман». Моралисты на мою голову! Ты читал, что такое буржуазная пропаганда? Они нас будут поливать помоями на всех перекрестках, а мы — молчать в тряпочку? Ишь, какой грех — если немножко преувеличить кое-какие наши достижения. Пустяк дело! У нас есть такие штуки, про которые никто не знает, да у нас...

...Ворон плакал. Он неряшливо распустил перья, нахохлился, скорбно повесил клюв. Мелкие комки валились на него вместе с частым, беспросветным, безнадежным дождем. Дождю не предвиделось конца, беледые, холодные потоки мчались с горы, размывая тропинки, обнажая корни чахлых кустиков, кое-как прилепившихся к склонам...

— Молчание — знак согласия! — услышал Максим. Старик торжествующе смотрел на него. — Или, может, имеются возражения?

Возражений, увы, не имелось, и вообще, наверное, пора было возвращаться за стол, но Гольдину было мало:

— Расскажи, — вдруг по-детски попросил он, — ну как там все? Ребята? Какие события и вообще...

И Максим зачем-то рассказал про юбилей Денисюка, которому подарили польскую рубашку и польский же галстук. Вручали в торжественной обстановке в кабинете Кашубы. Сперва тот зачитал выписку из приказа директора, откуда все с изумлением узнали, что товарищ Денисюк Анатолий Егорович вот уже более тридцати лет упорно и плодотворно трудится на благо отечественной науки, а молодежь и среднее поколение в неоплатном долгу перед ветеранами. Юбиляр слушал хмуро, переминаясь возле двери. Был он в выходном костюме, причесанный и необычно тихий.

Максим взял слово сразу после Кашубы, зачитал стихотворное приветствие, потом обнял ветерана за тощие плечи и немного потряс. Денисюк застенчиво вздохнул. Вздохнул и Максим.

Вслед за этим лаборантка Люся вручила нашему дорогому Анатолию Егоровичу скромный подарок: «Галстук мы выбрали светло-голубой — к глазам. И разрешите, я вас поцелую от лица женщин».

Тут все дружно зааплодировали, отчего юбиляр, сохраняя на лице хмурое выражение, стал озиаться по сторонам, но, не найдя ничего достойного внимания, два раза неуверенно хлопнул в ладоши.

Когда овации стихли, возникло некоторое замешательство: повестка дня как будто была исчерпана, а между тем герой торжества, не произнося ни слова, продолжал топтаться у двери, причем выражение его лица из просто хмурого сделалось раздраженным.

Видимо, начальство решило ободрить Денисюка, растерявшегося от нахлынувших чувств, и ласково произнесло: «Анатолий Егорович, вероятно, хочет поблагодарить товарищей за теплые... э-э... слова, высказанные в его адрес. Не робейте, Анатолий Егорович, здесь все свои». — «А чего робеть? — исподлобья спросил юбиляр. — Никто ни хрена не робеет. Мы — рабочие... Галстук. Лучше бы ректификату налили... Э-эх!»

...Но нашлись люди. Не то что эти падлы с «гаврилкой», — после работы Анатолия Егоровича задержали в проходной — не мог выйти, не попадал в турникет...

— Ну и как же? — строго спросил Максима Гольдин, хмурия брови.

— Кашуба ходил, чего-то объяснял. Пропустили.

— Очень смешно, — старик поджал губы. — Прямо хохма: пожилой человек немного выпил лишнего. Между прочим, этот Денисюк работал, когда ты еще... Есть

же пределы! Тоже мне — повод для иронии. Завтра же поздравь Анатолия от меня. Нет! Я ему позвоню.

С минуту Григорий Маркович бросал на Максима гневные взгляды, потом отвернулся, помолчал и вдруг жалобно произнес:

— Черт его знает, Макс... До чего надоело дома, ну, сил никаких... Нет, ты не подумай, я понимаю: государство совершенно право, надо выдвигать молодые кадры, а по отношению к нам, старикам, сделано все возможное, у кого же еще в мире такая обеспеченная старость? Разве я могу жаловаться? А только... седьмой десяток — это вам не фестиваль искусств...

...Когда Максим с Гольдиным вернулись к столу, гости уже посматривали на часы и поговаривали, что пора.

— Да, товарищи, завтра нам рано вставать, — вдруг сказал Ося. — Кто был ничем, тот встанет в семь. Ха. Но на прощанье я все же позволю себе... — Поймав пристальный взгляд Максима, он сделал успокаивающий жест рукой, глазами и щеками: «В чем дело? Как договорились. Я все понимаю, можешь не волноваться». — ...Я позволю себе рассказать одну смешную историю. Как бы анекдот. Жил однажды капитан...

— Он объездил много стран? — мрачно спросил Максим.

— Если ты знаешь этот случай, тогда — пожалуйста, я не буду рассказывать, — обиженно забухтел Ося.

— Говори, Осянчик. Так что там было с этим капитаном? — вмешалась Ирина Трофимовна, бросив на Макса свирепый взгляд.

— Так этот капитан, — продолжал Ося, — он был просто мастер своего дела, водил пароходы лучше всех. Никогда никаких аварий или чтобы посадить на мель. Или перевернуть. И ведь что главное: всегда заглянет в какой-то блокнотик — и идет к себе на мостик давать указания. А как чуть что — опять смотрит в блокнот. Все другие капитаны помирали от зависти... А потом этот капитан умер, и сразу все его заместители и... эти... помощники бросили свои дела и побежали к нему в каюту, чтобы захватить блокнот. Просто передрались между собой. Схватили блокнот, открыли, а там... — Ося сделал торжествующую паузу. — А там написано... Слушайте! «Спереди у корабля — нос, сзади — корма...» — Ося колыхался от хохота, но вдруг посерьез-

нел:— Этот случай мне рассказал дядя Изя, ведь он же в молодости был моряк.

Воцарилась могильная тишина, а Осюнчик наклонился к Максиму:

— Проводи меня. Есть разговор.

ВЕРА

Максим ехал от Гольдиных последним поездом метро. В вагоне было пусто, только немолодая супружеская пара дремала напротив. Худенькая, бедно одетая женщина положила голову на плечо мужа, а он, сидя с закрытыми глазами, придерживал ее, обняв за плечи...

Сегодня Ирина Трофимовна успела попилить Максима: нет бы прийти с барышней, так он опять один да один. Имелась в виду, конечно, все та же хорошая девушка из еврейской семьи. Однажды Максим спросил, почему именно из еврейской, а не из русской или, допустим, грузинской?

— Ты думаешь, мы сионисты?— возмутился тогда Григорий Маркович.— Можешь не рассказывать! Есть, конечно, плохие русские и сколько угодно скверных евреев. Но, скажи, зачем, чтобы твоя жена в злую минуту назвала тебя жидом? Ну, пусть не жена, так теща. Что? Что ты смотришь? Ирина Трофимовна не пример, таких женщин больше нет и не будет.

Ося собрался уезжать... Не знает, как сказать старикам; боится Григория Марковича, тот не раз говорил: уезжают предатели Родины... Все, конечно, гораздо сложнее, но старики — народ упрямый.

Поезд остановился. Женщина, дремавшая напротив, вздрогнула, открыла глаза, испуганно осмотрелась, но, увидев рядом мужа, вдруг заулыбалась блаженной девчоночьей улыбкой.

...Нет и не будет... Весной позапрошлого года... Максим защитил тогда кандидатскую и устроил в ресторане «Астория» грандиозный банкет. Поскольку официально такого рода мероприятия строго запрещены, объявил, что празднует день своего рождения, который, правда, уже был в ноябре, а сейчас апрель, но тогда он не мог из-за диссертации, а теперь вот освободился и на радостях приглашает в ресторан всех, при-

существующих на его защите, а главное, руководителя и оппонентов. Старик Гольдин, получив приглашение, страшно изругал Максима: в погоне за дешевыми эффектами залез в невероятные долги, и — кому нужна, скажите на милость, эта «Астория»-шмастория? Гостей можно было позвать к нам и отметить, как полагается, в кругу семьи! У тебя, позволь тебе напомнить, есть семья! — а Ирина Трофимовна, что ты думаешь? — сготовила бы хуже, чем в ресторане, где все жарят на машинном масле? Но уж если непременно нужно было приглашать тысячу человек, так ведь существуют, как пишут в газетах, и иногда это правда, — вполне приличные молодежные кафе... «Мир», «Дружок», этот... «Аленький веночек», я знаю? «Астория» — для гешефтмахеров и пижонов.

Максим сказал, что насчет долгов Григорий Маркович не прав: на долги плевать, одна живем, зато вот свадьбу он обязуется справлять только у Гольдиных, под их руководством и на чистом сливочном масле.

Тысяча — не тысяча, а человек сорок на банкет пришло.

Как они выглядели, во что были одеты и какие тосты произносили — ничего этого Максим не заметил и не запомнил. Помнил только, как первым в зал ресторана, где он тупо стоял около накрытого стола, вошел его руководитель Евдоким Никитич Кашуба. Помолодевший, подтянутый, он ступал по ковровой дорожке, бережно ведя за руку существо женского пола, при виде которого Максим обомлел, обалдел и отключился от внешнего мира.

Веру Евдокимовну он раньше видел мельком и толком не разглядел. Сейчас она была похожа на героинь легенд про рыцарей Круглого Стола и скандинавских саг, какими Макс их себе представлял: надменная северная красавица — стройная, высокая, величавая, с широко расставленными серыми глазами, коротким прямым носом, светлыми волосами, подстриженными, правда, не совсем как в легендах, а как в последнем французском фильме. Одета тоже как в кинокартине про «красивую жизнь» — в какое-то немислимое вечернее платье, но держалась при этом так, точно платья этого не замечает, сколько оно стоит — не интересовалась, и вообще на эти дела ей наплевать. Алла Антохина неделю потом объясняла всем желающим, что в платье от Диора любая жердь будет иметь вид. Хоро-

шо, когда твой папочка без передыху гоняет по заграницам!

Максим Вериного платья не разглядел — все обрушилось на него целиком, как тропический ливень, — где уж там разглядывать каждую дождинку! Протянув ему прохладную узкую руку, Вера без улыбки негромко сказала: «Здравствуйте, именинник. Поздравляю».

За столом диссертанту, слава Богу, полагается сидеть около своего научного руководителя. Максим и сел — между профессором и Верой, которая весь вечер почти не ела и совсем не пила. Она сидела очень прямо, чуть приподняв подбородок, сдержанно улыбалась шуткам Максима и решительно отказывалась от вина. Отец почему-то время от времени бросал на нее вопросительные взгляды, она отвечала надменным поднятием брови.

Максима неприлично много хвалили, предлагали за него тосты, Гаврилов что-то кричал ему через стол, — он ничего не понимал, не слышал и не видел. Видел только поднятый профиль и узкую руку, играющую вилкой. Как-то незаметно роль главного за столом перешла к Кашубе: тот отвечал на поздравления, поднимал бокалы за оппонентов, даже, к удивлению Максима, один раз, по-видимому довольно удачно, сострил. Что именно он сказал, Лихтенштейн опять-таки не слышал, чистил для Веры апельсин, но на мгновение очнулся от громкого хохота и увидел, что профессор стоит с рюмкой в руке и, скромно потупясь, ждет, когда присутствующие отсмеются его шутке.

Потом Максим танцевал с Верой, и на них смотрел весь зал. Оно и понятно: красивей ее во всем ресторане не было никого, даже иностранки, плясавшие как бешеные, выглядели рядом с Верой, несмотря на свои хипповые наряды, провинциальными кривляками. Вера танцевала очень спокойно, как-то даже вроде нехотя, но, когда Максим спросил: «Вы не устали?» — она ответила: «Нет, нисколько».

Объявили так называемый «белый танец», и тут откуда ни возьмись возникла Алла, схватила Максима за руку и потащила за собой. Он растерянно взглянул на Веру, и та чуть заметно ему кивнула — ради Бога, мол. К ней тотчас подскочил некто роскошный, похоже, итальянец, хотя вполне возможно, что и грузин, но она что-то коротко ему ответила, пошла к столу, где Максим и застал ее, вернувшись. Вера сидела одна и кури-

ла. А на противоположном конце стола бушевало невероятное оживление: там прямо-таки царил папа. И вдруг Максиму захотелось немедленно встать и уйти. С ней вдвоем. Он сегодня был именинником, ему было позволено все, и он сказал очень легким тоном, глядя прямо в серые серьезные глаза:

— Давайте возьмем вон тот коньяк и удалимся отсюда. По-английски. С обслугой я расплатился заранее, а здесь очень душно.

— Душно?— внимательно спросила она.— Мне не кажется. Но если хотите, можно уйти.

И встала.

Через много лет Максим будет вспоминать, что приходило ему в голову, когда они с Верой шли той ночью по городу. Он смотрел тогда по сторонам и думал: «А ведь это запомнится на всю жизнь»,— светлое, ночное небо в воде Мойки, старые тополя, совершенно пустая, настороженная Дворцовая площадь, и, главное, никогда раньше не испытанное ощущение тихого восторга.

Максим угадал: действительно, запомнилось. Запомнилось и чувство изумления от того, что все это происходит именно с ним, Максимом Лихтенштейном, детдомовцем, про которого всегда говорили: «С этого толку не будет — шпана. Драка за дракой, отец, не иначе, был бандит, хоть и еврейчик».

Максим не знал тогда только одного: эта ночь окажется самой счастливой в его жизни.

Они ни слова друг другу не сказали о том, куда идут, но, когда пересекли площадь, Вера взяла Максима под руку.

— Устала. Далеко еще? Может — такси?

Дома он суетился, накрывал на стол, разливал коньяк. Вера подняла рюмку, чокнулась с ним, сказала «за вас». И поставила рюмку на стол.

— Ни капли?— поразился Максим.

— Ни единой,— ответила она с улыбкой.

— Зачем же я украл со стола две бутылки? Берегитесь — напьюсь.

Выпил один почти бутылку и не опьянел...

Он запомнил эту длинную ночь до самого конца, до утра.

...Вера спала, а он слонялся по квартире: садился за стол, вставал, подходил к окну, глядел на далекий красный огонек подъемного крана, почти неразличимый

на посветлевшем небе, на обычно раздражавшие его груди новостроек, — сейчас они казались беспомощно-трогательными.

Утром он должен был идти на работу, а Вера сказала, что днем свободна, будет спать и дождется его.

Столкнувшись в институте с профессором Кашубой, Максим замаялся и начал было краснеть, но Кашуба скользнул взглядом мимо и, только пройдя, задал в спину странный и даже двусмысленный вопрос:

— Все в порядке?

— Ага, — глупо ответил Максим. Профессор ушел, а он еще долго остолбенело смотрел ему вслед: «Ну, что это, Господи, ведь болван же, хоть и Верин отец. Что — «в порядке»? А, черт с ним, кто их знает, какие у них там, дома, дела, Вера — взрослый человек, мать двух пятилетних сыновей...»

Максим брел по коридору и с нежностью думал об этих близнецах, которых ни разу не видел и которые, как он, росли без отца. Вера вчера по дороге рассказала ему, что ее родители совершенно узурпировали права на детей.

...Ни с того ни с сего Максим вдруг очень ярко увидел: июльский пляж в Гаграх, озверевшее солнце, зеленые душные горы, Вера, загорелая, в белом почему-то купальнике, рядом — двое пацанов. И он, Максим, — покупает у грузинки виноград. Черный, «Изабеллу»... Да... Сентиментальный вы, однако же, тип, Максим Ильич, прямо уездная барышня, а не железный потомок воинственных иудеев. Вон Гольдин: прочел Библию от корки до корки и утверждает не без кровожадной гордости, будто путь еврейского народа усеян трупами врагов... Да... Не мешало бы поработать... А может, смыться? Сколько сейчас времени? Всего два?!

До трех Максим кое-как продержался, а потом Кашуба куда-то исчез, так что спрашивать разрешения стало не у кого, и с.н.с. Лихтенштейн покинул институт со спокойной совестью.

...Наверное, надо купить какие-нибудь продукты, может быть — торт? Но тогда — потерять время? Плевать. В холодильнике еще остался харч, а кроме того, интуиция подсказывала, что Вера к его приходу что-нибудь приготовит: утром сквозь сон спросила, где тут поблизости гастроном.

Максим забежал только на Кузнечный рынок, купил цветы и килограмм помидоров, за которые пришлось

отдать десятку. На «остатнюю» пятерку взял такси и помчался домой.

Он не стал открывать дверь ключом. Всю жизнь, с тех пор как у него появился собственный «дом», сам отпирал свою дверь, но сегодня он шел не в пустую квартиру, сегодня его ждали, и он нажал на звонок.

Раздались шаги. Стоя вплотную к двери, Максим слышал, как Верина рука неумело возится с замком.

«Чего я дрожу, как гимназистка?» — подумал он. Тут дверь распахнулась, и он шагнул, выставив вперед букет.

Застывшие, очень светлые, почти белые глаза смотрели из-под красных век, не узнавая. Совершенно мокрые (почему?) волосы прядями падали на лоб, и вода с них текла по лицу на грудь. На Вере был старый Максимов махровый халат, сброшенный на голое тело и незастегнутый. Одна нога была в туфельке на высоком каблуке, вторую, босую, она поджала. Вера стояла в дверях, держась за косяк, и исподлобья разглядывала Максима.

— Ты... Я тебя вытащил из ванны?

Она не ответила, поправила халат на груди и, с трудом разлепив запекшиеся губы, медленно выговорила:

— А-а... Пришел, значит...

— Что случилось? Ты... — начал Максим и тут же уловил отчетливый, резкий спиртной запах.

— Чего уставился? — спросила Вера враждебно. — Давно не видел?

Она сделала какое-то движение, покачнулась и наверняка упала бы, если бы Максим не успел подхватить. Тут она сразу обмякла и покорно позволила отвести себя в комнату, при этом пыталась прыгать на одной ноге, отчего свалилась и вторая туфля.

В комнате запах был еще сильнее. На неубранной постели Максим увидел пустую бутылку из-под коньяка, неизвестно откуда взявшуюся банку шпрот и несколько окурков. Окурки валялись и на полу рядом с диваном.

Сев на стул, отчего халат совсем распахнулся, Вера положила руки на голое колено и, сведя брови, опять принялась рассматривать Максима. Взгляд ее при этом оставался неподвижно-тяжелым. Максим в растерянности стоял посреди комнаты.

— Ты думаешь,— ты — что? Мне нравишься?— вдруг злобно спросила она.— Ни капли... Понял? Что, съел?— и неожиданно тонко захихикала.

Говорить с ней сейчас было бессмысленно, и Максим вышел в кухню, где из незавернутого крана с шумом хлестала холодная вода. В раковине плавали окурки.

— Приготовь мне покушать! Я кушать хочу!— капризным голосом крикнула Вера из комнаты.

Пьяный, да еще если — с непривычки, за свои поступки, как известно, отвечает не вполне. Максим закрыл кран, выкинул окурки, взял сковородку и стал жарить яичницу. Руки его не слушались, одно яйцо выскользнуло и упало на пол.

— Разбилось...— услышал он за спиной Верин голос и обернулся.

По бледному, даже как будто синеватому лицу дорожкой бежали слезы.

— Чего глядишь? Я кушать хочу!— закричала она истерически.— Ты что делаешь? Не трогай солонку! Соле-на-я пища... вредна!— тут Вера пошатнулась и рухнула на пол.

...Максим возился с ней до самого вечера. То она засыпала, то открывала глаза и требовала, чтобы он немедленно отправлялся за бутылкой. «Денег нет? Бедный? Да? Бедный? Возьми у меня в сумке, купишь водки и сухого, ясно тебе?»

Он отказывался, уговаривал ее; понимая полную бессмысленность вопросов, все же спрашивал, что случилось, в чем дело? Вопросы приводили ее в ярость. После того как он принялся их задавать в третий раз, Вера вскочила с дивана, заметалась по комнате, потом бросилась к книжной полке и начала швырять на пол подряд книги и фотографии, бросила фарфоровый бюст Маяковского. Потом вдруг замерла, некоторое время стояла, глядя на разбитый бюст, медленно и очень тщательно собрала осколки, вынесла на кухню, вернулась, легла на диван лицом к стене и стала жалобно плакать.

Максим слышал тоненькие всхлипывания и видел, как вздрагивают ее плечи, но, когда он подошел, начались такие рыдания и вопли, что он перепугался — бегал за водой, капал валерьянку. А Вера кричала:

— Выгони ты меня! Вышвырни на улицу! Я же мразь! Мерзкая падаль! Дерьмо! Шлюха!

— Неправда,— бормотал он и гладил ее волосы.— Успокойся! Сейчас пройдет, пройдет...

...А что пройдет-то? Что это вообще такое? Реакция на выпивку? С непривычки? Или приступ какой-то болезни?..

Когда поздно вечером Вера задремала, Максим вышел из дому и направился к телефону-автомату. Звонить Кашубе было противно, да что поделаешь: все же отец, должен знать, если она чем-то больна. Приползла мысль, что, конечно, лучше всего было бы сейчас взять такси и отвезти ее домой... Ну уж нет, это не по-мужски! Гнусно!

— Евдоким Никитич,— начал он,— понимаете... тут такое дело... Вере плохо...

Кашуба молчал.

— Я думал, может, вызвать «неотложку»...— промямлил Максим.

— Ни в коем случае,— сказал профессор голосом, лишенным всякого выражения.— Назовите ваш адрес, я сейчас приеду и заберу.

Максим на секунду почувствовал облегчение, но — только на секунду.

— Нет, нет! Ей сейчас нельзя, она же... Я сам... Но, может, вы... может, какое-то лекарство?..

— Обычно в таких случаях помогает нашатырный спирт,— тускло сказал Кашуба и тотчас положил трубку.

...Максим вернулся домой. Вера спала. Дышала ровно, и лицо ее при неярком свете настольной лампы опять было лицом героини скандинавских саг. Максим выключил лампу, прилег не раздеваясь рядом и, сам не ожидая этого, внезапно и крепко заснул.

Проснулся он от того, что в окно светило раннее солнце, и сразу встал, разминая затекшее тело.

— Я не сплю, Макс, я уже давно не сплю,— тихо сказала Вера.— Принеси, пожалуйста, сигарету.

Максим принес сигареты, зажигалку, дал Вере прикурить и закурил сам. Половину шестого показывал будильник, идти на работу ему надо было в восемь...

...Вера просила прощения — у нее был нервный срыв, который никогда, никогда больше не повторится! Максима, конечно, это не касается, он для нее вообще ничего не обязан делать, но пусть знает, тогда скорее поймет. Тошно, ох, до чего тошно! — жизнь осточертела, на работу не устроиться. Я ведь художница, Мухинское

кончала, работала в издательстве, а там — сплошные бабы, такие сволочи, завистливые, злобные! Что человек один воспитывает двоих детей — на это им плевать, что нет у меня никого — не верят, а вот что хожу в импортных шмотках и мужики глаза пялят, а на них, на куриц, не смотрят,— этого они пережить не могут. Прямо съедали. И съели. А теперь этот проклятый оформительский комбинат, где обещали жалкое место, и все тянут и тянут, а дома родители тянут душу, дома вообще жить невозможно, папаша хоть из кого кишки вымотает: «В наше время каждый человек обязан быть полезным обществу, дети должны видеть перед собой положительные примеры, надо быть хорошим и честным, а плохим и нечестным быть нехорошо. Все мы в неоплатном долгу...» Вера так похоже изобразила Кашубу, что Максим на мгновение увидел свою гору и ехидную рожу ворона.

Что там говорить — конечно же, иметь под боком такого родителя далеко не сахар, тут, пожалуй, и в самом деле запьешь или повесишься. Другой бы на Веринном месте давно сбежал из дому, а куда бежать одинокой бабе с двумя ребятишками?

— Наш профессор,— рассказывала Вера,— он ведь, знаешь, что больше всего обожает? Кампании. Не, не то! Не собраты — выпить-посидеть, а общественные кампании, ну там — приоритеты, космополиты, а теперь вот за охрану природы или «химия — в жизнь»...

— Это мы знаем,— усмехнулся Максим.

— На работе, наверное, еще можно как-то выдержать, а вот когда тебя дома, с детства все время окунают из холодной воды в горячую... То — ходи, как чучело — «девочку украшает скромность», то — слава Богу! — «у Запада тоже можно кое-чему поучиться, а эстетика должна быть во всем». И — тебе привозят из Парижа тряпки, а в доме меняют мебель. То... Да ладно — я, а дети? Он ведь замучил мальчишек. И маму замучил. Как же — трудовое воспитание! «Человек должен все уметь делать собственными руками! Откуда у вас это барское пренебрежение к физическому труду? Вот и «Литературка» пишет... Что? Ремонт? Никаких маляров! Прекрасно оклеим своими силами...» И — что ты думаешь? Ободрал, собственными таки руками, все обои, купил пять килограммов сухого клея, и на этом все кончилось,— улетел куда-то на конференцию, потом

уехал в другую командировку, месяц жили в хлеву, а потом мать позвала мастеров из «Невских зорь»... А на той неделе приказал ребятам каждое утро мести лестничную площадку: «У нас в стране прислуги нет, дворников мало, никто не желает работать. Вот ваша мама — не идет ведь в дворники, хотя сидит без дела...» А им — по пять лет... Потом еще является бывший супруг и тоже лезет со своими амбициями, взглядами на воспитание и правами на мальчишек...

— А он кто?

— Он? Большой человек. Начальник! На черной «Волге» ездит. Разглагольствует не хуже моего папаша. ...Господи, хоть бы сдохнуть, что ли?! Ты меня извини, я тебе говорю,— это был нервный срыв, больше никогда... вспомнить страшно... и стыд-то, стыд... Спасибо тебе, ведь посторонний человек... Ну, прости, прости! Не посторонний, нет...

...Потом она опять объясняла и объясняла. Максим соглашался — конечно, унижительно, когда тебе не доверяют, грозят, вмешиваются, конечно, хоть кому осточертело бы изо дня в день — и дома! — слушать демагогическую трепотню. Вера благодарно обнимала его и все повторяла:

— Ты хороший, ты добрый, Господи, какой же ты хороший!

...На работу в тот день Максим не пошел...

А назавтра, тихим и скромным утром, он приближался к институту и думал — надо бы поговорить с Кашубой с глазу на глаз, начистоту. Что, в самом деле, за пироги: доводить человека до такого? Тут ведь и до дурдома недалеко. Женщина — на грани, а он «нашатырный спирт»! Скотина.

Максим даже придумал предлог, по которому ему надо обратиться к Кашубе, но не получилось никакого «мужского» разговора — тот выглядел таким пришибленным, старым и больным, что не повернулся язык. Да и вообще, честно говоря, как-то вдруг неловко стало вторгаться в чужие дела,— он Кашубе не сват и не брат. И не зять. Пока еще. А профессор... что с него возьмешь? Максим вспомнил вчерашние Верины рассказы. Всю жизнь только тем и занят, что ориентируется, и только, бедняга, пристроится в хвост очередному почину, только развернется,— а тут р-раз! и на тебе — повело в другую сторону...

Кое-как обсудив ничтожный «деловой» вопрос, с которым явился, Максим вышел из кабинета.

Вечером, открывая дверь в квартиру (на этот раз ключом, Вере он оставил другой, она хотела днем прогуляться: «Надо прийти в себя, а уж завтра — домой»), Максим услышал незнакомые, очень оживленные голоса и громкий смех. Войдя, он застал такую картину:

За столом, уставленным пивными бутылками и «бомбами» с «бормотухой», или, как их еще называют, «фаустпатронами», сидели Вера в парижском платье и три мужика. Трое из тех, кого можно встретить без пяти одиннадцать под дверью винного магазина. Одного из них Максим как будто знал в лицо, но где встречал, вспомнить не смог.

Когда Максим появился на пороге, Вера встала, держа в руке полный бокал:

— Присоединяйся,— пригласила она.— А сперва разреши представить: мои друзья. Вот это — Николай, а это... как тебя?

— Михаил,— с достоинством кивнул второй мужик, не вставая. И добавил: — Садись, гостем будешь.

Третий, со знакомым лицом, вскочил из-за стола, засуетился, стал собирать бутылки.

— Пошли, ребята,— заботливо приговаривал он,— пошли, хозяин — со смены, пускай отдыхает.

— Эт-то еще что?!— гневно осадил его Вера.— Не трогай бутылки! Я тебе дам — «пускай отдыхает». А ты чего стоишь?— накинулась она на Максима.— Встал как пень. Садись!— лицо ее побагровело, глаза сузились.

— Ох, она ему сейчас и зафуярит!— с восторгом взвизгнул Николай.

Максим вдруг почувствовал жуткую злость.

— Что это значит, Вера?— спросил он тихо.— Что за бардак?

— Барда-ак?! Ах ты, сопля! Гад ментовский! Не желаешь с моими друзьями за стол сесть? А чем они хуже тебя... Вонючка!

Максим вздрогнул и, плохо соображая, что сейчас произойдет, шагнул к Вере. Она завизжала и отпрянула, и тут же: «А-а, падла!»— схватив бутылку и оскалившись, вскочил Николай.

— Две собаки дерутся, третья не приставай,— Михаил взял дружка за руки,— две собаки...

— Пошли, ребята, — внушительно вмешался третий и, повернувшись к Максиму, вдруг подмигнул: — Не признали? Я же вам стенной шкаф делал. Запрошлый год еще.

— Если друзья, тогда — другое дело, — сразу смилостивился Николай. — Тогда ладно, хрен с ним, пошли. Мишка, идем! А ты гляди, бабу не трожь, понял? Проверю, понял — нет?

— Две собаки дерутся, третий не приставай, — рассудительно напомнил Михаил уже в дверях. Бутылок они не взяли.

После их ухода Вера учинила скандал:

— Ты так, да? Ты так? Выгнал на улицу моих лучших — луч-ших! — друзей! Да ты-то сам кто такой? Подумаешь, дерьма-пирога, кандидат наук, цаца! Видали мы таких, навидались! Да такие мужики, как Мишка с Колькой, если хочешь знать, в тысячу раз лучше, потому что честнее, не болтают и ничего из себя на строят, что думают, то и говорят. А вы?! Да они, если хочешь знать, с тобой на одном поле и с...ь не сядут! Что рот разинул? Не слышал таких слов? Небось, не такое слышал, все вы из кожи вон лезете, чтобы выглядеть интеллигентами. Не выйдет, зря стараешься, из хама не сделаешь пана, а из дерьма — профессора! Детдомовская шпана ты, вот ты кто! Ублюдок! Тебя родина воспитала, понял? И ты теперь в неоплатном долгу! — Она захохотала, схватила со стола тарелку и кинула в стену, плюнула на пол, хотела плюнуть Максиму в лицо, но он сжал ее запястья и заломил ей руки за спину. Громко вскрикнув от боли, она попыталась его укусить, принялась рыдать, материться, потом стала тихо стонать. — Пусти, мне больно. Пусти! Сломаешь руку!

А затем у нее вдруг начался сердечный приступ, и, похоже, серьезный: пальцы похолодели, глаза закатились, пульс еле прощупывался. Что было делать? И Максим, еще минуту назад твердо решивший выкинуть мерзкую бабу на улицу к «лучшим друзьям», побежал вызывать «неотложку».

Через сорок минут приехала докторша. Осмотрев Веру, которая лежала как мертвая, сделала ей два каких-то укола, потом уселась за стол и принялась писать.

— Сколько полных лет? — брезгливо спросила она у Максима.

Откуда ему было знать, сколько. Когда увидел ее на банкете, подумал — лет двадцать семь — двадцать восемь, теперь она выглядела на все сорок.

— Тридцать пять,— сказал он.

— Вы муж?

...Ну что, объяснять ей?..

— Муж.

Врачиха покачала головой.

— Как же вам не совестно, молодой человек. Ведь вы же знаете, ваша жена алкоголичка. Тут с первого взгляда ясно. Надо меры принимать,— в стационар, а вы что? С виду — такой приличный...— Она опять покачала головой, сложила свои бумаги в большую хозяйственную сумку и, поджав губы, пошла к выходу.

Максим молча подал ей пальто.

— Больше не вызывайте,— сказала врачиха уже в дверях,— из вытрезвителя команду вызывайте, а я не приеду. Сделаете вызов — заплátите штраф.

Неделю продолжался кошмар. Максим давно уже забыл про свой банкет, про красавицу, похожую на героинь скандинавского эпоса, про дурацкие видения с пляжем в Гаграх. Не мог он отправить ее т а к у ю — к Кашубе, не мог ведь! К Кашубе — не мог... И Максим то ходил на работу на полдня и бежал потом назад, то оставался дома, это — если у Веры наступало просветление и она лежала, тихая и несчастная, и опять давала клятвы, что — все, больше уж — никогда, это точно, только не оставляй меня сейчас одну, я за себя не ручаюсь, что-нибудь с собой сделаю, мне ведь все равно, кому я нужна? Детям? Они — бабкины и дедкины, строители нового общества — лестницу метут...

Максим опять жалел ее, утешал, обнимал, а утром, взяв с нее обещание не выходить и даже отобрав ключ, все-таки шел в институт. Он уже давно не понимал, чего и сам хочет, был себе противен, и то, что происходило ночью, утром вызывало ужас и содрогание. И повторялось.

Вера была на редкость изобретательна. В тот раз, когда Максим забрал ключ, она ведь все-таки ушла, захлопнув за собой дверь, а стоило ему вернуться, как прибежала соседка, сотрудница их института, тихая домовитая курочка. Она сейчас была в декрете, и стала умолять, чтобы Максим Ильич скорее шел к ним, забрал свою приятельницу — вломилась днем в совершенно... нетрезвом состоянии... а у нас же Коля в пер-

вом классе, вы понимаете?.. Сейчас она спит, но мы больше не можем — она мужа за вином посылала и, знаете, говорила ему такие гадости...

Было очевидно: надо сейчас же отправлять ее домой. Но Вера заявила, что домой — ни за что, ни за какие пряники, лучше с моста в реку или вниз головой в пролет, и она, будьте уверены, так и поступит. Как Максим мог после таких заявлений пойти, скажем, за такси и оставить ее одну? Но продолжаться так дальше тоже не могло.

«Переговорю с Кашубой, завтра же. Некрасиво, неэтично, а что еще делать?! Пускай приезжает».

Однако же разговор пришлось отложить еще на сутки. Профессор уехал куда-то на совещание, и весь день в институте его не было. Ключа Вере Максим не оставил. Вчера между ними произошел скандал, и он пригрозил, что если она опять уйдет, то назад он ее уже не пустит, на что она сперва объявила, что видела в гробу его ключ, его квартиру и его самого, но тут же осеклась и сказала:

— Ладно, не бойся. Я ведь знаю: и так тебя на весь дом опозорила.

Когда Максим вернулся с работы, в квартире было пусто.

«Опять,— подумал он обреченно.— Сил уже нет никаких».

И вдруг на столе увидел записку. Только два слова, нацарапанные на обрывке газеты: «Пожалуй, хватит». И больше ничего, даже подписи.

Ну, и слава Богу!

Весь вечер он, как остервенелый, убирал квартиру, перемыл посуду,—«пожалуй, хватит». Вот уж золотые слова... вытер пыль, выкинул пустые бутылки в мусоропровод, сменил постельное белье,— хватит, хватит...— подмел пол. В одиннадцать часов, вымотавшись как собака, принял душ. Нет, жизнь все же не так плоха, как недавно казалось... Пожалуй... все хорошо, что хорошо кончается... Хватит. А сейчас надо спокойно, впервые за несколько дней спокойно выпить чаю и лечь. Все хорошо. «Пожалуй, хватит». Да? Да! Ушла домой и оставила записку, чтобы не беспокоился. Очень трогательно, особенно если учесть, что она тут вытворяла. Позаботилась. Хватит, пожалуй...

А что — «хватит»?!

А если: «К черту все! Всю эту жизнь! Тебя! Вас всех! Себя саму! Чем хуже, тем лучше. А лучше всего — сдохнуть!» Так ведь она десятки раз говорила? И — под трамвай. Да мало ли способов, а такая психопатка ни перед чем... Именно, конечно же, будь я проклят! А мне-то, мне какое, в конце концов, до всего этого дело?..

Но он был уже на улице, вон — автомат. Гудки. Занято. Придя домой, наглоталась снотворного, теперь там вызывают «Скорую помощь». Чертова баба!

Дверь Максиму открыл Кашуба. Не выразив никакого удивления, пропустил в переднюю и, не успев Максим сказать слова, вполголоса позвал:

— Вера, тут к тебе пришли.

За стеной послышался сонный детский голос, потом шаги. Вера вышла из комнаты и аккуратно притворила дверь. В джинсах и белой мужской рубашке с закатанными по локоть рукавами она выглядела очень молодой. Светлые, явно только что вымытые волосы колечками завивались на висках, брови были приподняты.

— В чем дело? — надменно спросила она у отца, не взглянув на Максима.

Профессор молчал, но не уходил.

— Прошу здесь не шуметь, и так разбудили детей, — недовольно сказала Вера и царственной походкой удалилась в комнату.

— Извини, — с трудом выдавил Евдоким Никитич, в первый и последний раз в жизни назвав Максима на «ты». — Спокойной ночи.

...Вот вам и личная жизнь Максима Лихтенштейна. Больше с Верой он не встречался ни разу, как-то видел издали, но не подошел. ...Нет — Фира, Бэба... От них, видно, не отвертеться...

С Кашубой отношения остались нормальными, ни тот, ни другой ни разу даже взглядом не напомнили друг другу о той неделе. Время от времени профессор появлялся в институте с потемневшим лицом, ходил как в воду опущенный или, наоборот, на всех без разбору орал, потоками исторгая круглые, обкатанные, невыносимые фразы. А потом проходило какое-то время, и он как ни в чем не бывало улыбался, острил и рассказывал всякие глупости про Париж.

ИНЖЕНЕР

Воскресенье Павел Иванович Смирнов проводил как обычно, как проводил последние полгода все воскресенья: встал в половине седьмого, стараясь не шуметь, вскипятил чай и поджарил яичницу, потом уложил в портфель продукты для передачи, поставил термос с какао и, выйдя из дому ровно в семь сорок, поехал на вокзал.

Там он купил в кассе-автомате билет до Гатчины, хотел взять «обратный», да раздумал, — если повезет, назад можно будет вернуться на попутке или прямым лужским автобусом, так что нечего зря выкидывать сорок копеек, тоже ведь деньги. Что поделаешь, приходилось экономить, зарплата конструктора в тресте составляла сто шестьдесят рублей в месяц, премий никаких не платили, хотя часто обещали, особенно — ему; короче, после всех вычетов и взносов на руки оставалось только-только, в обрез.

Все, кто его знал, считали, что Павел Иванович, имея институтский диплом и отличную голову, мог бы в свои сорок четыре года занимать какую-нибудь приличную должность. А если не занимает, то... Нет, верно, ведь кого ни возьми из выпуска, даже самые тупые, если на заводе, — были сейчас не ниже замначальника цеха, а если в институте или КБ, — так не ниже руководителя группы. Это — самые тупые. Женщины не в счет, там свои дела, и то, между прочим, толстая Еремеева — главный технолог, а две дуры, Селиванова и Горшкова, защитили кандидатские диссертации. В прошлом году в вузе был вечер встречи, и после того как вслух прочли анкеты (рассылали заранее такие анкеты: «На ком женат? Где ты теперь? Кого встречаешь из друзей?» и т. д.), так вот, когда огласили ответы Павла Ивановича Смирнова, все стали поглядывать на него: кто — с удивлением, кто — с жалостью, а Селиванова и Горшкова — с удовольствием: учился на повышенную, воображал, от группы вечно откалывался, и вот вам — дооткалывался... Зато Еремеева в перерыве подошла и завела разговор на тему: «Неважно, кем человек стал, важно — как им», то бишь: «Не место красит человека». Никто не решился спросить, но если все-таки спросил бы Павла Ивановича: «Почему ты

ничего не достиг?» — и услышал на свой вопрос совершенно искренний ответ, все равно бы этому ответу никогда и ни за что бы не поверил. Потому что ответ был бы идиотский: «Не хотел».

Вы себе представляете? Он «не хотел»! Ну, ну... Расскажи своей бабушке. Это чтобы взрослый, здоровый мужик сам добровольно отказался от приличного места и пожелал прозябать в занюханном тресте простым инженером? На которого даже курьер и уборщица смотрят небось как на тайного психа, как мы с вами смотрим на особу, сохранившую девственность до тридцати девяти лет?

Не хотел...

Закончив институт с отличием и получив назначение в один весьма престижный «ящик», Павел Иванович сразу завоевал расположение начальства. Особенно после того, как выдал одну очень простую идею, которая, однако, при всей своей простоте позволила пересмотреть и в корне изменить конструкцию и принцип работы некоего... скажем, объекта, или точнее — заказа. Используя эту идею, переменили направление работ конструкторы, кибернетики, электронщики, механики, словом, половина организации. Павел же Иванович в это время подал еще три заявки на изобретения, касающиеся совсем новых, других дел, перечислять и даже упоминать которые мы здесь ни в коем случае не будем, — это вам не «Червец», тут вещи серьезные.

Механики, кибернетики, технологи, конструкторы и рабочие тем временем воплотили ту, первую, идею Павла Ивановича и создали в металле нечто грандиозное, которое и было немедленно выдвинуто на соискание. И вот тут-то произошел скандал. Дело в том, что высокая Премия обычно дается коллективу, насчитывающему не более двенадцати человек. Коллективу! Поскольку «единица — ноль», и это всем известно. После того, как одно место из двенадцати было предложено начальнику главка, еще три — заводам-смежникам, а два — заказчику, на предприятие Павла Ивановича пришлось оставшиеся шесть мест. И их по справедливости разделили между директором, представителем рабочих (новатор, кавалер орденов), двумя конструкторами, главным механиком и одним из кибернетиков. Их вклад в дело был очевиден, их руки в течение нескольких месяцев упорного труда сделали лучший в мире самонаводящийся, самокорректирую-

шийся, само... словом, замечательный, будем говорить... агрегат. Выдвижение кандидатур прошло в единодушно-праздничной обстановке, все было прекрасно, если бы при этом не присутствовал некий Зайцев, только что выбранный член комитета комсомола, молодой специалист и большой любитель борьбы за правду. Этот Зайцев, не согласовав ни с кем своего выступления, вылез на трибуну и, заикаясь, начал:

— Пп-посс-тойте, то-то-варищи! Кка-к же это при... при-кажете понимать? По-по-ччеему в списке нет ффа-ми-лии С-с-смирно-ва? Введь эт-то его п-предло-дло-ж-жение, в-все зна-а-знают...

Дальше Зайцев понес что-то уж вовсе бессмысленное и непонятное, и в зале поднялся возмущенный гул. Дурак испортил песню, следовало поставить его на место, и эту задачу взял на себя главный конструктор предприятия, уважаемый немолодой человек. Не повышая голоса, он спокойно и доходчиво объяснил, что заслуг молодого инженера Смирнова никто умалять не собирается, у парня безусловно прекрасная голова, и если он будет так же творчески работать впредь, то его ждет большое будущее. Но пока он только еще в начале пути. А что касается данной работы, выдвинутой на Премию, то, положи руку на сердце, согласитесь: вклад Смирнова... ну, как бы это выразиться?.. Случаен. Да, случаен. Ему пришла в голову хорошая мысль, это верно. Она могла прийти на ум и кому-нибудь другому. Идеи носятся в воздухе. А главное, товарищи,— из одной мысли, как говорится, шубы не сошьешь. Для расчетов, для разработки технологии, а в основном, конечно, для конструкторских работ, нужна высочайшая квалификация! Для изготовления деталей и сборки требуются поистине золотые руки, потому что это тонкая, ювелирная, товарищи, работа. И вот теперь, товарищи, давайте честно скажем — кто больше достоин: люди, вложившие в этот заказ многомесячный творческий труд, люди, всей своей предшествующей деятельностью заслужившие Премию, или же — пусть талантливый! — но очень еще молодой специалист, который в результате пятнадцатиминутных размышлений «на тему» наткнулся на простую, лежащую на поверхности, хотя и — кто же спорит? — оригинальную и полезную, товарищи, идею?..

Главный конструктор говорил так долго и так хорошо, что сумел исправить испорченное было праздничное

настроение присутствующих. Он был, по-видимому, оратором высокого класса, потому что сумел сделать так, что к концу его речи о Зайцеве все забыли, и дело кончилось аплодисментами, единогласным принятием списка для дальнейшего рассмотрения на техническом совете и поздравлениями выдвинутых кандидатов. Зайцева же на следующий день пригласили в партком, да не одного, а с комсомольцем Смирновым, и больше часа выясняли, зачем Смирнов подбил товарища на эту некрасивую выходку. Тут же, конспективно пересказав вчерашнюю речь главного конструктора, Павлу дали понять, что претензии на Премию — смехотворны, однако за творческую активность его справедливо похвалили и обещали проследить, чтобы при следующих выборах он был включен в Совет молодых специалистов.

Надо сказать, что главный конструктор не бросал слов на ветер, когда обещал Смирнову большое будущее: через год того повысили до старшего инженера, еще через год — до ведущего, а в двадцать семь лет он был уже начальником сектора.

И вот тут это произошло в первый раз. Ничего особенного — проводилось очередное сокращение, из сектора Павла Ивановича нужно было уволить одного человека. Это еще повезло (сектор был важный) — всего одного из десяти, в других секторах сокращали и по двое. И без разговоров. Павел Иванович заметался: почему, за что должен он сейчас вызвать к себе ни в чем не повинного, спокойно живущего и работающего человека и так ему врезать? По всему городу сокращение, места сейчас нигде не найти, формулировка «по сокращению штатов» хуже клейма, известно ведь, что сокращают худших, да и кого выбрать? Подумав, Павел Иванович пошел к заведующему отделом и объявил, что таких, кого надо уволить, по его мнению, в секторе нет. «Ну, это ты брось, вызови... ну, хотя бы... Дмитриеву, пусть идет на инвалидность, ведь еле ходит, артрит... жаль, конечно, но ты же понимаешь — «мертвая душа», чуть что — бюллетень. Ей и самой, в конце концов, лучше — пенсия... Так? Вот и договорились».

Павел Иванович знал, что работник Дмитриева хороший, а пенсию по инвалидности получит ничтожную, да и получит ли еще, что качать права она не станет, предложат — уволится, а живет одна, все ее дела, дружбы и интересы — тут, в отделе, да и что ей делать

дома? Выть с тоски? Так он, подумав, и сказал начальнику. Тот посмотрел на него, покачал головой и вздохнул: «Иди, работай, сокращением я сам займусь, а то вы, молодые, больно все чувствительные, хотите быть добренькими за государственный счет, а у нас тут не райсобес. Ладно. Пусть я буду злой...»

Через две недели Дмитриева ковыляла с «бегунком», а Павел Иванович сидел за своим столом, не смея поднять глаз.

Прошло некоторое время, и одна из сотрудниц отказалась ехать в командировку — не с кем оставить ребенка. Павел Иванович немедленно предложил поехать одинокому ведущему инженеру, и тот зашелся от гнева: «Вы что же делаете, работа не моя, и, значит, если у человека нет детей, так он в каждой бочке затычка? Я полтора года без отпуска, это произвол, а Воронкова, между прочим, прекрасно может поехать, «ребенку» тринадцать лет, проживет неделю и один. Вы думаете, на вас управы нет? Ведете себя, как какая-то держиморда...» В секторе тут же разгорелся невероятный скандал. Реализуя застоявшуюся общественную активность, коллектив разбился на две группы, которые, переругавшись, вломились в закуток, где было рабочее место Павла Ивановича, и, перебивая друг друга, начали орать, что — безобразие, по положению матерей нельзя посылать без согласия, а ездить за других — никто не обязан, пусть съездит сам, тогда поймет! Что в секторе нет порядка и дисциплины, один базар, и некоторым всегда можно все, а другим — никогда ничего!!

На следующий день Павел Иванович поехал в эту командировку сам, а потом получил от начальника разнос, в общем, справедливый: разводишь либерализм, пора научиться работать с людьми, чтоб это было в последний раз, понятно?

Вот тогда Павел Иванович и подумал (впервые), что с людьми работать он не может. Ему органически противно было принуждать...

Дисциплина в его секторе между тем делалась день ото дня хуже. Из парткома он не вылезал — вызывали чуть ли не каждую неделю: как субботник по уборке территории района, как надо посылать людей на стройку, овощебазу или в совхоз, так у других ездят безо всякого, а у Смирнова — опять демагогия, опять срыв мероприятия, не понимает важнейших задач, сам распустился и людей распускает. Через полтора

года после назначения на пост начальника постылого сектора, поощряемый общественными организациями, Павел Иванович подал, наконец, заявление об уходе. Завотделом завизировал заявление с удовольствием, главный конструктор — с некоторым сожалением, и потом еще вспоминал, что вот ведь как бывает: подает человек надежды, вроде бы способный, даже талантливый, а приглядишься — мыльный пузырь. Не состоялся Смирнов, не состоялся, выходит, правы мы тогда были, награждать надо по совокупности, а не кого попало...

Потом было еще несколько мест работы, но сходные ситуации беспощадно возникали каждый раз, как только Павел Иванович, пусть временно, становился хоть каким-нибудь начальником. В конце концов шесть лет назад он с должности ведущего инженера НИИ, где ему временно пришлось исполнять обязанности посланного на Кубу руководителя группы, закатился простым инженером в отдел механизации жалкого треста, потеряв при этом шестьдесят рублей зарплаты. Толчком послужила кампания по отправке на пенсию лиц, достигших предельного возраста. И. о. руководителя группы Смирнов вдрызг переругался с начальством и подал заявление вместе с пенсионерами, правда, ему на прощание цветов не дарили и не говорили с бодрым сожалением: «Не забывают нас!»

Работа в тресте — вот, оказывается, что было нужно: кульман, окно в тенистый сад, электроплитка, на которой можно согреть чайник, и никакой перспективы административного роста. Зато полная свобода действий и почтительно-восхищенное отношение руководства.

А с какого-то момента даже слегка испуганное. Ибо трест вдруг незаметно, без шумного взятия обязательств и встречных планов, без починов и дополнительного финансирования сверху, — из последних, чуть ли не самых затюканных, бочком-тишком выбился в люди. И теперь на городских и областных совещаниях в его адрес вместо привычной окаменелой ругани — одни похвалы. А директор отлично знал — все дело в остроумных и дешевых разработках инженера Смирнова. Единица тут оказалась отнюдь не нулем, больше того — неким центром кристаллизации. Замечено было: вокруг спокойного, невидного (потому что все время занят) Павла Ивановича мало-помалу образовалась

какая-то особенная атмосфера, когда остальным стало вроде и неловко валять на работе дурака, и все они теперь... в общем, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!

Завотделом механизации, непосредственный Павла Ивановича начальник, не раз солидно шутил, что Смирнов, мол, у нас вроде Тома Сойера: ну, тогда, при покраске забора, пацан всех убедил, что красить — самое увлекательное и завидное занятие. Правда, в отличие от шустрого Тома наш Смирнов, взбаламутив остальных, и сам не сидит в стороне, а вкалывает будь здоров! Шутка начальника обычно завершалась вздохами и кряхтением на тему, что у нас — вот безобразие! — невозможно увеличить человеку оклад только за то, что он — настоящий работник! Надо, понимаешь, непременно повысить его в должности, а где напасешься должностей? Штатное расписание, сами знаете...

Однажды в самом начале рабочего дня завотделом подошел к кульману Павла Ивановича, помялся, заглядывая в лист ватмана, и, вдруг засопев, ни с того ни с сего спросил: правда ли, что вчера заходил этот прохиндюга Михеев, главный инженер 35-го треста? Девочки сказали, полдня проторчал.

— Заходил, — кивнул Павел Иванович, несколько удивленный злобной горячностью начальства.

— А зачем?! Нет, вы скажите — зачем? — заволновался тот, и Павел Иванович, взглянув ему в лицо, удивился еще больше, увидев в глазах беспокойную подозрительность.

— Да так... Поговорить... — ответил он. — Консультация ему нужна, у них там с подъемниками что-то...

— Ах, консультация. С подъемниками... — перекопсился вдруг завотделом, и резко добавил: — Вы ему, Михееву, не очень-то верьте, человек скользкий, прямо глист! Короче говоря, трепло.

Через неделю Павла Ивановича неожиданно вызвал к себе директор. Завотделом находился там же. Смирнову было сделано неожиданное предложение возглавить вновь организующийся отдел подготовки производства. И добавлено, что должность «пробили» специально для него.

— Я уже и кандидатуру вашу согласовал, — радостно возгласил директор. — И оклад в полтора раза выше, так что сами видите... А фактически вся работа ваша останется за вами. А?

Было ясно: речь шла о липовой должности, «пробитой» с самыми добрыми намерениями, и Павел Иванович спокойно, но твердо сказал, что ни на какие руководящие посты не пойдет. И вообще вполне удовлетворен тем, что имеет сейчас.

— Что значит — «удовлетворен»? — вскинулся завотделом. — А денег вам как прибавить? Вы что, маленький? Не понимаете?!

— Премий у нас три года нет и когда еще... — напомнил директор.

Павел Иванович развел руками: ну, что поделаешь? Может, еще и будут, а в начальники... это не для него.

— Ага. Это, чтобы я... чтобы мы тут каждый день сидели-ждали, что вас переманит Михеев? — Завотделом аж пятнами пошел. — Только потому, что у них объекты выгодные?

— Махинатор он, ваш Михеев! — загремел директор. — Махинатор и жулик! И все они там... Ну, ничего, скоро их всех разгонят к чертовой матери! А кого надо, и посадят! За Михеева лично я ломаной копейки не дам! Дачу себе отгрохал, паразит! — что твой Зимний дворец... Сядет, увидите, и других потащит.

Павел Иванович отвернулся, чтобы скрыть улыбку. И заверил руководство, что 35-й трест ему даром не нужен, ему и тут хорошо. А с деньгами... как-нибудь уладится.

— Это вы кого же утешаете? — окончательно взбеленился директор. — «Ула-адится»... Да как оно уладится-то? Ежели бы от меня зависело, я бы таким, как вы... Ладно. Идите, работайте. Будем думать.

Его оставили в покое. Возможно, директор что-то такое и думал, да что тут придумаешь? Павел Иванович работал, получал свои сто шестьдесят — сто сорок на руки — и старался сводить концы с концами. А завотделом угрюмо бросал на него подозрительные взгляды, но помалкивал. Только делал время от времени какое-нибудь предложение: командировка летом в Феодосию для обмена опытом или бесплатная путевка в Кисловодск: «Вам пора подлечиться, все лечатся, а вы что, бобик?» Или просил написать заявление на материальную помощь в конце года: «С месткомом я договорился, дадут точно». Путевок Павел Иванович не брал — не хотел оставлять мать, матпомощь получать считал неудобным: «Не погорелец».

Он знал, что в глазах многих, в том числе хотя бы соседей Антохиных, выглядит со своим чистоплюйством полным дураком. Ну и ладно.

Мать, между прочим, всегда одобряла образ жизни Павла Ивановича: «Бог с ней, с карьерой, разве в ней счастье! Главное, Павлик, что для тебя твое дело важнее денег, значит, ты сумел остаться честным человеком, понимаешь? Честным! Это важнее всего, запомни, важнее любых зарплат и постов. Душу сберечь...»

Теперь, когда матери рядом не было, когда поговорить и посоветоваться (а он привык с детства советоваться с ней во всем) стало невозможно, Павел Иванович старался все делать так, как сделала бы она, начиная с пустяков, хотя бы с мытья посуды (сперва как следует намылить, потом смыть горячей водой, потом — окатить холодной) и кончая отношениями с людьми. Он долго обдумывал, как вела бы мать себя с Антохиными, окажись она на его месте. И пришел к выводу, что общаться с ними она, конечно, не стала бы. Но и ненавидеть тоже: «Знаешь, Павлик, нет на свете более бесплодного, опустошающего чувства, душу сжигает. Это неправда, что бывают ситуации, где нужна ненависть. Нигде она не нужна, даже на войне, пускай самой справедливой. Нужно сознание долга: ты обязан выполнить тяжелый, страшный, но — долг. И ненависть тут не помощник, она только глаза кровью заливает, мешает увидеть, где враг, а где... и вообще такой человек, ну, который ненавидел, он уже ни на что не способен, пустой изнутри. Верно сказано: «То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть». Из зла не может быть добра».

Еще она говорила: «Перечитываю дневники Толстого, и вот о чем все думаю — в чем величие Христа? Думаешь, в том, что Он взошел на Голгофу, чтобы пострадать за всех? Таких подвигов много было, главное не это. Суметь полюбить ненавидящих тебя — вот это подвиг. Я как-то раньше не понимала, думала, человек на это не способен, а ведь это счастье — суметь в ответ на зло не почувствовать ненависти! Не то что простить, простить — это судить и как бы отпустить грех, то есть себя заранее поставить выше. А просто постараться в ответ на злобу — понять, пожалеть, увидеть в обидчике человека. Может, страдающего... Это очень трудно, конечно, почти невозможно, но это счастье... И второе — раскаяние. Но тут уж никто, наверное, до конца

не способен — чтобы искренне, без ссылок на разные там обстоятельства. И не то что — «не надо меня наказывать, я больше не буду», а по-настоящему — вдруг увидеть, какое ты ничтожество... Не знаю... Я недавно всю жизнь свою перебрала — и, представь, не вспомнила ни одного случая полного, абсолютного раскаяния. А было в чем. Беспринципность, трусость... Что говорить! Ребенка потеряла...»

Да, только с ней, с матерью, возможны были такие разговоры. Теперь ни поговорить, ни посоветоваться не с кем — не сумел завести друзей, не смог построить собственной семьи. Урод.

Иногда Павлу Ивановичу почему-то казалось: подружись он хотя бы с этим дворником, Максимом, может, и стали бы они близкими людьми, по-настоящему близкими. Но не получилось... А раздумывать, как вела бы себя мать с соседями, окажись она на месте Павла Ивановича... Просто смешно! Да не могла она оказаться на его месте! Он отдал ее в больницу, а она его — никогда бы не отдала...

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ

В «хвост» обычно садились те, кто ехал туда же, куда он, и, войдя в вагон, Павел Иванович сразу увидел знакомые лица, а про некоторых незнакомых тоже мог бы с уверенностью сказать, что они — туда: было легко вычислить по брюхатым сумкам, откуда высовывались горлышки неизменных бутылок с фруктовым соком.

Это были почти сплошь старухи, а у редких, что помоложе, на лицах лежала отчетливая тень того мрачного места, куда они сейчас ехали, и потому невозможно было определить — сорок тут лет или все шестьдесят. Они сидели группами, и то с одной, то с другой стороны до Павла Ивановича доносились обрывки негромких разговоров: «Где брали яблочный сок? Я весь город обегала, нигде...» — «...Всегда на Сытном, в кооперативном ларьке, там, конечно, дороже...» — «Вы что, думаете, им все достается, что мы приносим? Дай Бог, если половина, это еще — дай Бог! Половину сестры растащат, остальное — другие больные отымут, кто побойчее. Наш вон — он ведь ни спросить, ни сказать — ничего не может...» — «С десятого обещали карантин по гриппу, пускать не будут, только передачи...»

...Поезд уже шел. Вагон мотало. Синие зимние пейзажи назойливо липли к окнам. Почему-то безвкусными, вызывающими казались сейчас расфуфыренные заиндедевские деревья и непристойно яркие фигурки лыжников на засахаренной снежной целине.

Павел Иванович вспомнил, что когда ехал этой дорогой в первый раз, осенью, то яркие краски, все эти «багрец» и «золото» показались ему отталкивающими... А мать любила осень, уезжала одна в Павловск и бродила там весь день по парку. Брала с собой томик Пушкина, и Павел Иванович еще над ней посмеивался: поэтическая старушка... Впрочем, она и зиму любила ничуть не меньше, всегда радовалась, как празднику, первому снегу. И лето. И весну...

Перед Гатчиной население вагона засобиралось; поезд только отошел от Мариенбурга, а все уж потихоньку продвигались в тамбур — от Гатчины еще двадцать километров, надо поспеть занять очередь на автобус, ходит он редко, набитый «под завязку», тащится сорок пять минут, постой-ка на ногах, да с таким грузом!

Павел Иванович вышел из вагона последним, но, широко шагая по засыпанной снегом высокой платформе, скоро всех оставил позади, и от этого ему почему-то сделалось неловко.

В большой рыхлой очереди на автобусной остановке (видно, предыдущий автобус не всех забрал с электрички в семь сорок) стояли тоже, в основном, старухи, стояли терпеливо, истово, никто не роптал, не толкался и не лез вперед. Поклонившись несколько знакомым, Павел Иванович огляделся и стал уже подумывать, не пойти ли на такси,— черт с ней, с экономией,— мороз, но тут на аллее, ведущей от дворца к вокзалу, забрезжил старенький, осевший на один бок автобус, и очередь радостно задвигалась, непонятно по каким признакам издали определив: наш.

И опять прекрасные, но чужие, мелькали за полузамерзшими стеклами зимние поля и роши, отрешенно синело низкое небо, глядящее мимо, вспыхивал солнечный луч в витрине раймага, возле которого переступала высокими ногами крутозадая лошадь, запряженная в розвальни.

...Таким же морозным утром во время войны, в оккупации, они с матерью ехали куда-то в розвальнях, мать держала его, восьмилетнего бугая, на коле-

нях и все старалась прикрыть от холода расстегнутыми полами своего пальто. А ему ни капли не было холодно, а весело и уютно — тихие сероватые сугробы стеной стояли по обеим сторонам дороги, снег визжал под полозьями, и было не страшно — пусть хоть волк убежит на дорогу, пусть хоть даже немец. Он не помнил, куда и зачем они ехали. И мать теперь ни о чем не спросишь, а значит, канул, провалился в тартарары конец этой зимней дороги: чего никто не помнит, того не было.

Впрочем, многое Павел Иванович помнил очень ярко. Например, первого фашиста, которого он увидел вблизи. На фашиста этот стройный, красивый человек, так хорошо говоривший по-русски, совсем не был похож, но это все же был настоящий фашист — в черном мундире, с красной повязкой, с молниями на петлицах, эсэсовец. Павлик с соседской Галей качались в саду около дома на качелях, и вдруг появился этот немец, подошел к ним и начал спрашивать. Как зовут? Как фамилия? Кто родители? Павлик не сказал, что отец на фронте, мать предупреждала — не говорить. Сказал — в Ленинграде. Немец закивал, заулыбался: очень красивый город, я там бывал. Потом вдруг спросил, есть ли у них игрушки. Павлик подумал — хочет отобрать и помотал головой. Тогда фашист сказал «пошли» и, не оборачиваясь, направился к калитке, а Галя с Павликом побежали за ним. Он был не страшный, этот немец, он повел их в пустой, заброшенный детский сад, где на полу горой лежали медведи, куклы, машины, кубики. Павлик взял себе игрушечный паровоз с вагонами и ружье, а Галя мяч и большого целлулоидного пупса.

Павел Иванович хорошо запомнил, как мать плакала и ругала его, как отобрала игрушки и спрятала куда-то...

...Высокая железная арка замаячила впереди, слева от дороги. Автобус начал повизгивать и остановился. Оставшиеся полтора километра предстояло пройти пешком.

Здесь, на открытом месте, ветер бил наотмашь. Павел Иванович поднял воротник пальто, опустил уши у шапки и, миновав арку, кренясь, зашагал влево по неширокому извилистому шоссе.

Сколько раз в прошлые годы, проезжая здесь в экскурсионном автобусе (куда-нибудь во Псков или Пушкинские Горы), видели они с матерью этот поворот до-

роги, холм над прудом и парк с беседкой-ротондой, а на вершине холма, среди крон старых деревьев — желтый барский дом. Павел Иванович смотрел тогда и думал, что, наверно, в этом бывшем имении теперь расположился какой-нибудь привилегированный санаторий, пока дальнзоркая мать однажды не прочла над железной аркой: «Психиатрическая больница». Прочла и поежилась, потом сказала:

— Ничего нет страшнее... «Не дай мне Бог сойти с ума...»

Но даже сейчас, совсем в другом бытии, точно упрямый мираж, встала перед Павлом Ивановичем патриархальная усадьба, столетний заиндевший парк, засыпанный пухлым снегом пруд с горбатым мостиком, дом с колоннами, беседка на берегу. Но по мере того, как усадьба приближалась, выглядывала из-за расступающихся деревьев, ощеривалась низкими, одинаковыми корпусами из серого кирпича, мираж таял и распадался. Так бывало в детстве, сразу после войны в Ленинграде — видишь перед собой дом с веселенькими окошками, а он, оказывается, нарисован на деревянных щитах, прикрывающих руины.

Павел Иванович шагал по середине дороги, огибающей пруд, легко обгоняя медленно бредущие группы или одиноких путниц с сумками, переброшенными через плечо, в бедных, давно изношенных пальто и даже в деревенских плюшевых жакетах, в платках, повязанных до бровей. Терпеливо шли они, точно странницы на богомолье в Святую землю, изговываясь на долгий путь, конца которому не видать ни там, впереди, у ворот проклятой больницы, ни завтра, ни через год. Они мелко ступали по жесткой, звенящей от холода земле, покорно пригнув навстречу ветру головы и опустив плечи, в который раз за свою жизнь одолевая этот участок дороги — от автобуса до проходной, к которой сейчас уже приближался Павел Иванович.

Он прибавил шаг, но, подойдя, понял, что спешил напрасно: в будке дежурила молодая собачливая сестра в лаковых сапогах-«чулках», а про нее хорошо известно: раньше десяти, удавись, — не пустит.

А было еще только без четверти. Озябшая толпа покорно жалась к забору, сестра, хорошо видная через большое чистое окно, с непреклонным видом читала газету, сидя за столом, возле которого сыто багровел электрический камин. Время от времени она бросала

в окно гневные взгляды: делать им нечего, притащились ни свет ни заря. Нравится стоять? Стойте!

Ветер усилился и злобно погнался поземку.

— Околеешь тут, ждамши,— слышался одинокий неуверенный голос.— Морозят людей, точно скотину.

Павел Иванович усмехнулся: такие высказывания позволяли себе только «новенькие». Те, кто поездил сюда годы, а то и десятки лет, давно приобрели угодливую покладистость и смирение, без этого было бы и во все не выдержать,— где возьмешь силы еще и на борьбу с самоуправством, когда в руках у них день и ночь бесконтрольно и безответно мучается родной тебе человек!

— Их дело — не пускать, а наше дело — стоять да помалкивать! Нам дай волю, мы всю больницу по клочкам разнесем. Напрочь.

Дельную эту тираду произнесла такая ветхая, чуть живая, почти и не видная старушонка, что трудно было представить, каким образом она дотащила до ворот свое собственное тело.

Ровно в десять неколебимая владелица лаковых сапог важно отперла вход, толпа хлынула в больничный двор и сразу разбилась на ручейки и потоки, устремившиеся к разным корпусам. При входе тоже никто не роптал и не толкался, однако, очутившись во дворе, заторопились, прибавили шагу, кое-кто даже побежал, осев под тяжестью сумок и подволакивая ноги.

Павлу Ивановичу неловко было обнаруживать перед старухами особенную прыть, не спеша добрал он до дверей нужного ему отделения и все-таки успел: вошел в бокс в первой пятерке и оказался четвертым в очереди к столу, где сестра со сдобным деревенским лицом принимала передачи. Из стопки пластмассовых и эмалированных мисок он привычно вытащил синий полиэтиленовый таз, на котором химическим карандашом было написано «СМИРНОВА». В таз он выложил продукты, поставил банку с компотом и бутылку яблочного сока, и тут как раз подошла его очередь к сестре.

«Смирнова. Сын. Апельсины 6 шт. Яблоки 12 шт. Вафли 3 пачки. Масло 200 гр., сок 1 бут., компот 1 банка».— Сестра медленно выводила корявые буквы в тетради в косую линейку.

— Масло подпишите, его — в холодильник,— велела она, подняв лицо от тетради.

Павел Иванович четко вывел фамилию на пачке с маслом, расписался под перечнем сданных продуктов, отошел и присел на стул, поставленный по соседству, пододвинув еще один, свободный,— для матери.

Сестра приняла передачу у всех пятерых, что были сейчас в боксе, потянулась, закрыла тетрадь, подошла к стеклянной двери в коридор и, убедившись, что там скопилась основательная очередь, покачала головой. Но напрасно,— в дверь никто не лез.

Тогда она вынула из кармана специальный ключ, какими пользуются проводники в поездах, заперла дверь в коридор, прошла вдоль бокса, открыла дверь на отделение и исчезла за ней. Шелкнул замок. Теперь посетители были отделены и от внешнего, и от внутреннего мира. Голос сестры за дверью монотонно выкликал: Анищенко, Поляхина, Вахлакова, Смирнова, Фельдман...

В боксе было тихо, только бумага шуршала — все, торопясь, выкладывали из сумок гостинцы — то, что можно скормить прямо сейчас, за считанные эти минуты. Были тут завернутые в шерстяной платок и газету кастрюльки с жареной картошкой и домашними котлетами, были испеченные этой ночью пироги, всевозможные баночки — с салатами, творогом, сметаной, были миски, тарелки, термосы. Павел Иванович достал из портфеля два бутерброда с черной икрой и материн любимый яблочный пирог. Все это было куплено вчера в «Кулинарии».

...Горячие пироги с яблоками мать всегда привозила ему в послевоенный голодный пионерлагерь, в Сестрорецк, он ел, глотал, не жуя, а она смотрела. Те пироги она пекла сама, хотя вообще готовить не любила...

Потом он вынул термос, и тут шелкнул замок.

Они вошли гуськом в сопровождении сестры, все пятеро.

— Здравствуй, мама.

Мать стояла покорно и неподвижно. И, как всегда, молча. Послушно села и принялась безразлично жевать бутерброд, запивая его какао, кружку Павел Иванович подносил вплотную к ее губам.

Дочь Поляхиной переодевала матери чулки. Анищенко плакала, глотая кефир. Фельдман, резко оттолкнув блюдечко с творогом, которое протягивала ей как две капли воды похожая на нее горбоносая старуха, вдруг громко и плаксиво закричала:

— Я не только агитатой!.. Я и п'опагандист! П'инеси мне т'етий том Ма-а-кса!

Вахлакова жадно и торопливо ела салат, запихивая его в рот горстями. По подбородку ее текла сметана.

Сестра посматривала на часы — за стеклянной дверью уже волновались.

Татьяна Васильевна проглотила последний кусок пирога, встала из-за стола, и, как всегда, не взглянув на сына, шагнула прочь.

Свидание окончено.

...Назад идти легко. Легко, во-первых, потому, что дорога все время вниз, с холма. Во-вторых, ветер теперь в спину, в-третьих, с пустым портфелем. ...В-четвертых, потому, что — вниз, в-пятых — ветер в спину, и потом — пустой портфель. Легко?..

Небо над деревьями было плотным, как вода, и таким же, как вода, зеленоватым.

...Зеленоватый свет падал с улицы в комнату тогда, сразу после войны. Через два дня после приезда мать достала где-то стекла. Вот повезло-то, Павлик, так дешево! Наверно, краденое.

Настоящие стекла вместо фанеры. Зеленые стекла, зеленый свет, у мамы зеленое лицо. Жарко, скарлатина. Не бойся, не отдам в больницу, не бойся! Смотри, какой свет, как на дне моря, правда? Смотри, мы с тобой живем на дне моря, как Русалка, помнишь? Ты — морской конек, а я медуза. Не плачь. Вот это настоящий клюквенный кисель, пей. Раз я обещала, так и будет, ничего не бойся...

Не отдала.

...Они жили вдвоем. На отца еще в сорок втором пришла «похоронка», пришла в Ленинград, но они не знали почти до конца войны, потом соседка написала, когда кончилась оккупация, когда мать уже младшего сына потеряла и похоронила деда. ...Все говорили — это счастье, что дед умер до прихода наших.

Дед был врачом, оперировал всю жизнь в сельской больнице. Кстати, больницу оккупанты не тронули. Но — да! — лечил и их. Спорили по ночам с матерью, дед кричал:

— Для меня больной — прежде всего больной, а уже потом — свой или чужой.

— Они же наших убивают, пойми ты! — шептала мать.

— Вот и пускай наши их убьют. Потом! Застрелят в бою. А я не стрелок. Лекарь!

Вот теперь вспомнил Павел Иванович, куда они с матерью ехали по зимней дороге в розвальнях! Накануне деда вызвали в комендатуру, вернулся он поздно, злой, потерянный, и заявил матери, что фрицы, видимо, драпают, потому что своих раненых из больницы будут вывозить, и ему приказано в двадцать четыре часа собраться и сопровождать их до ближайшего госпиталя.

Дед исчез в ту же ночь, а к концу следующего дня, уже в сумерках, в доме появился старик в тулупе. Павлик с матерью шли за ним дворами, и на краю села, у леса, их ждала лошадь с санями.

Дед умер через неделю на хуторе. Там они прятались до прихода наших. Умер от воспаления легких. Мать потом, после войны, несколько раз вызывали, да как-то обошлось, а Павел уже много позже, поступая в институт, ежась, писал в анкете, что был на оккупированной территории; смотрели пристально, но ничего — приняли...

...Легко еще и потому, что дорога домой всегда короче. Это — в-шестых.

Всю дорогу в электричке Павел Иванович проспал.

Фонари не горели. По двору, шагах в десяти перед ним, медленно брела женская фигура. Женщина шла, как давеча шла его мать, — никуда, точно слепая вытянув руки. Пошатываясь. Нащупав дверь, принялась шарить по ней, потом замерла и вдруг начала сползать вниз, на землю.

Когда Павел Иванович подбежал, она сидела перед дверью. Шуба распахнулась, меховая шапка съехала на лицо. Это была Вера Кашуба, соседка, профессорская дочь.

В те далекие времена, когда отношения были еще человеческими, Алла часто говорила, что с такими данными, как у Веры, можно было бы многого достичь, с ее возможностями любая нюшка будет смотреться, а Вера — не нюшка, порода есть порода, вот и в вас, Павлик, чувствуется порода, но только вы — вырождаетесь. И за собой не следите. Не злитесь! В хороших руках вам бы цены не было... А эта... женщина... Мне даже неудобно сказать, вы — мужчина, ну... вы понимаете? Как это — «не слышал»? Сочиняете! Все знают, ее и муж за это бросил. С двумя детьми бросить — это силу воли надо иметь. Кашуба, конечно, переживает.

Как-то спрашиваю: «Евдоким Никитич, что это вашей Верочки давно не видно?» Он — глаза в разные стороны: «В командировке», — а все знают, что она не работает, дома сидит после запоя. За-по-я. Нет, я этого не понимаю, зачем люди врут?

Павла Ивановича Алла в те времена еще уважала, он звал ее на «ты», а она говорила ему «вы» и называла «старший товарищ».

Дом... Книги, портрет деда над пианино, серебряные ложки с монограммой... чай — всегда на крахмальной скатерти. Тетя Зина, Аллина мать, говорила: «Был бы ты, Павлик, помоложе, за тебя бы дочку с руками отдала, так и жили б одной семьей, и квартира бы тогда — отдельная считалась, не как сейчас». Врала: и так бы отдала, десять лет разницы — чепуха.

Мать сказала: «Ты меня убьешь, Павлик, знай. Нет, нет, не надо демагогии, ты прекрасно понимаешь: я не э т о имею в виду, мы тоже не Бог вещь какие графья, но они — по сути плебеи, по существу. И не в образовании тут дело, не в происхождении, даже не в воспитании. Боже, сколько я встречала благороднейших, внутренне интеллигентных людей, бывало что и совсем неграмотных...»

Зря мать горячилась, — не так себе представлял Павел Иванович свою будущую жену и семейную жизнь...

А Аллочка, не торопясь, нашла положительного иногороднего Антохина. Свадьбу сыграли по всем правилам: Дворец, машина, бал в ресторане, — тетя Зина последнее вытряхнула. Потом молодого мужа прописали на жилплощади Филимоновых, а вскоре тетя Зина стремительно собралась и уехала погостить в деревню к сестре. И больше не вернулась. «Под старость тянет к истокам, правда, Валерик? Маме там, безусловно, лучше, просто ожила — и корову доит, и в поле работает. А тут сидела бы старухой-пенсионеркой, вот и досиделась бы, как некоторые... Там и молоко свое, и овощи свои, нет, не понимаю я людей, которые...»

Алла редко понимала глупых и ленивых, не говоря уж о расфуфыренных профессорских дочках, которые ведут себя хуже женщин легкого поведения.

Сейчас профессорская дочка, скрючившись, сидела на крыльце перед дверью. Бессмысленное бледное лицо ничем не отличалось от тех, на какие Павел Иванович

сегодня уже насмотрелся. Пустые остановившиеся глаза. Плаксивая сползающая улыбка...

Он поднял ее и поставил на ноги. Потом открыл дверь. Всхлипнув, она шагнула в парадную, покачнулась, но сразу ухватилась за перила. И начала подниматься, нашаривая ногами ступеньки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

УСПЕХИ В РАБОТЕ

Но ведь успех — понятие весьма и весьма относительное. Квартальный план лаборатория успешно выполнила на две недели раньше срока. И отчиталась. Сегодня было уже ясно, что по итогам соцсоревнования она займет классное место, если, конечно, до первого апреля не случится какое-нибудь «ЧП»: никто из сотрудников не попадет в вытрезвитель, не прогуляет без уважительной причины или, скажем, не возникнет пожар от небрежной сигареты. Но это все — «если», это все — «бы» и разные «а вдруг»; а пока что все тихо, безоговорочный претендент на вытрезвитель, слесарь Денисюк, слава Богу, на больничном, а лаборатория — на верной дороге к премиям и портретам на Доске почета. Так держать.

Научная работа по проблеме «Червец» шла вперед семимильными, как пишут, шагами. Программа исследований утверждена, и, к чести Евдокима Никитича Кашубы, надо отметить, что и после коренных переделок (по указанию совета) она ничем не отличалась от той, что была составлена им первоначально (по вдохновению). Пришлось лишь исключить все виды исследований, которые требовали применения «разрушающих нагрузок» и высоких температур с агрессивными средами, ибо охрана окружающей среды и защита живой природы — наш святой долг, так что главное, дорогие коллеги, — длина, ширина, толщина и вес животного! Длина. Ширина. Толщина. И вес! Максим уже исписал три толстых журнала, и построенные по этим данным графики выглядели на ученом совете солидно и весьма убедительно.

При виде этих блистательных графиков даже профессор Лукницкий несколько скис и беспомощно задал всего один жалкий вопрос: «До каких пор, мои боевые

друзья, вы намерены доить червяка, то есть сами понимаете, проблему «Червец»? Ведь ясно, что главный вопрос, поставленный дорогим нашим Евдокимом Никитичем и его адептами, а именно: увеличивается ли вес животных сразу после приема ими пищи,— человечеством как будто бы уже решен положительно и не оставляет поводов для сомнений. Как, скажем, наполняется ли ведро, когда туда льют воду».

На этот выпад решительно ответил научный руководитель проблемы. Кашуба Е. Н. довел до сведения уважаемых членов совета, что в науке не существует широкой столбовой дороги, и ни на один вопрос, обращаю внимание невежд, нельзя ответить однозначно и без проверки. Как показал опыт, то, что в одном случае — то, в другом, совсем наоборот,— это, в силу чего считаю необходимым напомнить трюизм о вращении Земли, псевдоученом Птолемеи и его противнике Галилее. А утверждение, что Земля — плоская? Это ли не казалось очевидным? Это ли? В данном бесспорном факте некие «ученые», как две капли воды похожие на... некоторых наших коллег, тоже не сомневались! Шли годы. Шли века...

...но вот пришел профессор Кашуба и подтвердил, что Земля круглая. А на этой круглой, на глупой, пучеглазой Земле торчит гора, как помойная куча, торчит аж до самого неба, откуда тарашится одуревшее от болтовни, распаренное, толстомордое солнце. Ворон, приосанясь от тепла и чувства собственного достоинства, совершает над горой круги почета. И все новые, новые комья валяются с ясного небосклона, чтобы гора росла и укреплялась день ото дня. День ото дня! И на некоторых комьях,— да что там!— на многих комьях, его, Максима Лихтенштейна, личное клеймо. Его персональный вклад. Работа с первого предъявления. Знак качества...

— И это еще далеко не все, товарищи, это только начало! У нас есть перспективный план на двадцать пять лет вперед, и, надеюсь, за это время мы сумеем ответить и на более сложные вопросы...

...К примеру, умеет ли данное существо летать, и если да, то с какой космической скоростью. Повеситься, что ли?.. Каркнул ворон: «Не верю в морг...»

— Наш перспективный план охватывает, товарищи, например...

Тут в четвертом ряду тревожно закрипел один из незанятых стульев, и Евдоким Никитич, поперхнувшись, но не теряя достоинства, пояснил, что примеров приводить как раз и не будет, поскольку, как мы знаем, перспективный план оглашению не подлежит из-за его особой важности. Сейчас этот план в министерстве и будет рассмотрен на ближайшей коллегии...

...Нас толкнули — мы упали... А что, в самом деле, не пойти ли навсегда в дворники? Стать профессионалом в этом полезном, необходимом деле? И, главное, дело-то чистое, никаких гор. Окурки, бумажки да собачье дерьмо, только и всего. Летом — поливка асфальта, зимой — уборка снега. Можно устроиться при своем собственном доме, то-то радость соседям: молодой ученый — дворник. Еврей. Не иначе, проворовался... Но с кандидатским дипломом могут не оформить! Ничего, есть еще почта. Разносчик телеграмм. «Кто стучится под окном с длинным черным бородом?» А что? Тоже красиво. Только платят мало. Зато опять же — никакого отношения к горе. Но ведь, ребята, я же, гад, тщеславен, вот в чем беда! ...Нас подняли — мы пошли...

Максим увидел, что зал тянет руки, — за что-то голосовали. Над пустым местом в четвертом ряду висела в воздухе одинокая бледная ладонь со следами лиловой пасты от шариковой ручки. Плечо, рукав пиджака и все остальное отсутствовало. Указательный палец хозяйски указывал на Лихтенштейна. Тот поднял руку. Мог бы и не поднимать, поскольку не являлся членом совета.

После совета лаборатории Кашубы дали дополнительные лаборантские единицы, слесарь — радость-то! — все еще болел, и по свидетельству соседки, которая приходила за его зарплатой, из дому носу не показывал, а выпивал в самую меру, только для здоровья. Далее: дирекция выделила для лаборатории отдельное дополнительное помещение, отобрав его у Лукницкого. Теперь там был оборудован виварий, где червяк мог спокойно ползать, есть, пить и спать, а то, между нами, от хранения в сейфе он уже начал как-то усыхать и целыми днями лежал, свернувшись в аккуратный брендспойтный рулон. Профессор Кашуба лично распорядился включать в рацион животного витамин «Декамевит» для лиц среднего и пожилого возраста.

А институт между тем плодотворно работал. И сейчас начинал готовиться к своему юбилею. Он был

спешно создан в начале шестидесятых на гребне волны «Химия — в жизнь!», и за первое пятилетие его существования сменилось бесчисленное количество директоров, а также и других руководителей на разных уровнях. Однако утесом базальтовым, камнем краеугольным со дня основания стоял профессор Кашуба, сбивший вокруг себя боевую команду сотрудников, объединенных побуждениями от: «Заработать и принести пользу можно и тут» — до: «Вы притворяетесь, что платите нам, а мы делаем вид, что работаем». Лихтенштейн принадлежал к первой категории, и кандидатская его не была, как это часто случается, «липовой», зато «Червец» — это уже было падение, полный позор, и Максим прекрасно это понимал.

Итак, время шло, руководители института изредка уходили на пенсию, чаще — на повышение, так и не сумев осуществить заветную мечту министерства: вывести отраслевую науку на передовые рубежи отечественной химизации. А нужно-то было всего ничего: быстрее всех, эффективнее всех добиться небывалых, неслыханных, оглушительно-ослепительных успехов по замене всех без исключения дорогостоящих, ржавеющих, магнитных и вредных металлов дешевыми, прочными, нержавеюще-немагнитными, а также легкими и сугубо полезными для здоровья пластмассами. Такими, чтобы больше — ни у кого!

Работа кипела и пузырилась: летели вверх оптимистические прогнозы и посулы с прицелом на тридцать лет вперед, составлялись грандиозные программы потрясающих исследований, — гора росла день ото дня.

Не выдерживающие темпа директора, обессилев, все чаще сходили с дистанции, и уже начался легкий административный кризис, но тут как раз подоспела вторая волна по имени «экономика должна быть экономной». Во главе института министерство немедленно поставило своего человека с экономическим образованием.

И настала новая жизнь. Ну, не то чтобы совсем... Посулы, рапорты и программы космического масштаба продолжали плодиться, чему очень способствовал дальний прицел: через тридцать лет многие из тех, кто их составлял и утверждал в институте, равно как и те, что принимали их в министерстве, рассчитывали оказаться на заслуженном отдыхе... Главной же заботой нового директора стало то, к чему более всего лежала

его душа: планово-экономический отдел, бухгалтерия, отдел труда и зарплаты.

И все же кое у кого в институте нет-нет да и мелькала нехорошая мысль: а вдруг да не получится дожить запланированные тридцать лет в привычном, налаженном благоденствии, вдруг да грянет с чистого неба Судный день... С каждым днем становилось яснее, что заменить все металлы пластмассами, скорее всего, не удастся, да и... не нужно это никому. Вон и крысы, помещенные в комфортабельный, со всеми удобствами контейнер из стеклопластика, про который сам профессор Кашуба ответственно заявил, что этот материал можно есть, пить и использовать для повышения гемоглобина в крови, — так проклятые эти крысы целых два месяца жили и веселились в целебном контейнере, но как только в министерство был направлен соответствующий отчет, вдруг принялись лысеть, а потом передохли одна за другой. Выжил только самый крупный крысак Зямка — его при первых же признаках облысения выкрала из вивария и унесла домой лаборантка Люся.

Объективное, научно обоснованное объяснение того, почему факт гибели подопытных животных следует рассматривать как очередную победу науки, поручено было подготовить старейшему работнику института профессору Лукницкому.

Но склочный старик устроил, как водится, свару: он, видите ли, всегда подозревал, что этот стеклопластик хуже мухомора, а вы туда — животных, душегубы! Само собой, Лукницкий был тотчас приглашен для беседы к товарищу Пузыреву, и речь шла, по-видимому, о предпенсионном состоянии строптивного профессора, потому что тот притих, над объяснением обещал поработать и обратился к лаборантке Люсе — с просьбой представить для медицинского обследования уцелевшего Зямку. Но Люся зверя не выдала: «Сбежал!» — нагло заявила она, улыбаясь перламутровыми губами.

В общем, атмосфера в институте мало-помалу делалась нервозной. В такой обстановке вставал вопрос о существовании нескольких лабораторий, в том числе и лаборатории Кашубы. И были бы хоть какие-то новые долгоиграющие идеи, чтобы заинтересовать и отвлечь министерство, указав ему путь к новым безразмерным свершениям! Так нет же! В головах давно уже ничто не рождалось, кроме, конечно, прозорливых догадок — что именно надо купить (чтобы потом продать), если

едешь во Францию, а что — если в Чехословакию... И вдруг — гигантский, замечательный червяк, найденный Лихтенштейном! Да его же, по мнению Кашубы, в прямом смысле послало институту само небо! Ведь лет на десять хватит. А там...

...Но мы увлеклись, во всем нужна мера. У читателя может создаться впечатление, будто ослепленные высокими окладами и прочими льготами сотрудники института совсем уж не видели и не понимали, что в их учреждении что-то и как-то... не так. Без конца валять дурака, притворяясь, что занят делом, — это ведь тоже не великая радость. И кое-кому надоело. Многие были недовольны и активно обсуждали происходящее, сетуя на бездарность начальства. И пригорюнивались. И кручинились. И некоторые даже (в кулуарах) вполголоса грозились, «если эта забастовка не прекратится», уйти в другое место. И знали, что не уйдут. И в разных падежах склоняли, как ни странно, в основном, не директора, а его заместителя В. П. Пузырева. И сочиняли анекдоты, где директор неизменно выглядел слабоумным, а Пузырев — злым дураком, Мидасом-наоборот, превращающим все, до чего дотрагивается, в... сами знаете — во что!

Но почему именно Пузырев? А потому, что он бессменно занимал свой пост со дня основания института и один из всех, кажется, всегда знал, что ему персонально надо делать. И делал. А директор? Директор, намертво увязший в своей экономике, только и сумел за последние годы, что закупить через Минвнешторг массу таинственного оборудования, бережно хранимого на складе в полиэтиленовой упаковке. Использовать для работы или даже хотя бы расчехлить это оборудование, чтобы разобраться в его назначении, не представлялось возможным — допуск сотрудников к заморским агрегатам, равно как и к сопровождающей их технической документации, был строго-настрога запрещен тов. Пузыревым, обосновавшим свой запрет коротким: «Растащат».

Только одно-единственное заграничное приобретение директору удалось внедрить в производство. Это была громадная и баснословно дорогая электронно-вычислительная машина. Вероятно, она предназначалась для каких-нибудь сугубо научных надобностей, однако директор нашел ей другое применение: заполнив два просторных зала, откуда в срочном порядке выселили

в подвал лабораторию физико-механических испытаний, японская машина занималась тем, что трудолюбиво рассчитывала зарплату сотрудников. При этом имела обыкновение безо всяких видимых причин выключаться. Приглашать отечественных мастеров для ремонта иностранки директор не решался, не надеясь на их компетентность, тем более что, проболтавшись без дела дня два, машина вдруг включалась и яростно бралась за свои прямые обязанности. Понимала она их по-своему, то есть по-женски,— необъективно. Было в институте несколько сотрудников, зарплата которым начислялась не в полном соответствии с окладом и количеством отработанного времени, а как того желала капризная японка. Невесть за что она с первого же дня люто возненавидела и без того низкооплачиваемую лаборантку Люсю и регулярно норовила недодать ей 17 руб. 68 коп. в месяц. Каждый раз, получив перед полочкой расчетный листок, Люся, зарыдав, бросалась к главному бухгалтеру. Тот встречал ее вялым: «Что? Опять? Ну, не знаю, не знаю... Надо как-то уметь налаживать отношения...»

Однажды в разгар со вкусом ведущегося разговора о бардаке в институте Максим вдруг заявил, что может сформулировать основные законы, по которым живет, работает и развивается их учреждение. И таких три.

— Вроде законов Паркинсона,— забормотал сообразительный Гаврилов.

— Вроде,— согласился Максим.— Назовем их законами Пузырева.

— Почему — Пузырева?— спросил Лыков.

— Потому.

— А-а,— сказали слушатели, подмигнув друг другу.

— Итак, первый закон: в любом деле из всех возможных вариантов выбирается наихудший.

— Это как?— хором воскликнули Лыков с Гавриловым.

— Ну, скажем... Можно мост построить поперек, а можно вдоль реки. Строим?..

— Вдоль!— обрадовался Гаврилов.

— Точно. Или вот: можно поставить в план тему реальную, а можно — залепуху. Да такую дремучую, безнадежную, тоскливую. Ну, естественно, выбираем ее.

Ясен первый закон? Так, поехали дальше. Закон второй: для успешной, безусловной и досрочной реализации первого закона выдвигаем соответствующих людей. Или, другими словами, из всех возможных исполнителей выбираются... Кто? Правильно. Ведь истории известны случаи, когда в недрах вроде бы полностью гиблого дела начинали брезжить новые идеи, возникали неожиданные повороты. Так вот: чтобы этого, не дай Бог, не случилось, нужно подобрать подходящих людей. И наш Пузырев начинает бережно и любовно их подбирать. И уж, не сомневайтесь, подберет! Присмотрит на работу такого дебила, что смотреть жутко. И любовно скажет: «Хороший парнишка, хороший». А у парнишки рот всегда нараспашку и слюна вожжой. А другому, вдруг почуяв неладное, в приеме категорически откажет: «Не смотрится. Как это — «почему»? А... сами знаете». И вот в результате действия первых двух законов возникает, как следствие, третий главный...

— Ну!!

— Он звучит так: полностью заваленное дело должно быть кое-как исправлено героическими усилиями коллектива. Подвигами. Вот она, наша работа! Самоотверженная — без отпусков и выходных. В нее будут вовлечены все. И мы с вами, дорогие мои друзья-критиканы. Мы тоже! И это даст нам повод для законной гордости собственным трудом!

— Что-то не видел я никакой бурной деятельности,— засомневался Лыков.

— И напрасно, друг мой. Впрочем, вращаясь вместе с землей, вращения не увидишь. А между прочим, оно есть. Активная, я бы сказал, судорожная деятельность по срочной ликвидации разрушений, заделыванию дыр, затыканию собственными телами пробоин, образовавшихся в результате научных подвигов «хороших парнишек»... да и нас самих. Вот ради этого, последнего, закона — оба первых, заметьте себе. Чтобы жить с чувством глубокого удовлетворения... Вообще-то мы все тут порядочное дерьмо,— неожиданно закончил Максим.

— Ну уж это...— обиделся Лыков.— Мы-то причем?

— Нас толкнули?— любезно спросил Лихтенштейн.

— Да иди ты... Я лично все же что-то делаю,— поддержал Лыкова Гаврилов.— Хотя вообще-то... Только

что с твоей правоты пользы? Ну, сидим тут, ну, ворчим...

— Я и говорю: дерьмо мы все,— усмехнулся Лихтенштейн.— Персонально я — наипервейшее. Все понимаю, вижу, а... пользуюсь? В инстанции не ломлюсь, на собраниях сплю. Шкура. Шкура и есть! Был бы человек, взял бы да уволился. Только куда? Как подумаешь: новую работу искать, да еще возьмут ли... А плевать против ветра? Боязно... Одна надежда — всегда так не будет. Не может быть. Развалится наша контора.

— Ага. Это когда мы все на пенсию выйдем,— уныло произнес Гаврилов.

— И ведь что смешно...— продолжал Максим,— наши-то красавцы, ну, директор, Кашуба,— они ведь это все не нарочно, а на подсознательном уровне. Это у них инстинкт самосохранения: чем хуже, тем лучше.

Да, институт плодотворно работал. К деятельности по проблеме «Червец» подключались новые лаборатории и отделы. Отдел технической информации выпустил два громадных тома — обзор сведений обо всех видах червяков. Отдел нестандартного оборудования трудился над чертежами стенда для автоматической укладки «образца» на поддон и механизированного проведения замеров. Изготовление этого стенда было уже включено в план мастерских на первый квартал будущего года, и сейчас там лихорадочно готовились: составляли заявки на необходимые материалы, чтобы в назначенный срок сдать их в отдел снабжения. Лаборатория техники безопасности разработала инструкцию по эксплуатации червяков ленточных крупногабаритных и запланировала в будущем выпустить на ее основе большой справочник, согласованный с Министерством здравоохранения и ВЦСПС.

Такие вспомогательные службы, как канцелярия, машинописное бюро, а также экспедиция, были перегружены бумагами: благодаря проблеме «Червец» переписка, ведущаяся институтом, увеличилась вглубь и вширь.

Институт наводнили представители организаций, воображающих себя компетентными в вопросах пресмыкающегося животноводства. Все эти биологи, зоологи, генетики, геологи как-то ухитрились пронюхать о червяке и теперь всеми правдами и неправдами пыта-

лись примазаться к проблеме. Поскольку настырные эти учреждения и лица, как правило, принадлежали чужим министерствам и ведомствам, никто с ними ни в какие отношения не вступал и вступать не собирался, сами же они, к счастью, не располагали сведениями, достаточными для того, чтобы куда-нибудь жаловаться или на чем-то настаивать. Но это еще не все. Почти ежедневно к директору института являлся какой-нибудь очкарик и, отвлекая того от работы, совал письмо на бланке, бормоча насчет научно-технической помощи, так как его учреждение занимается как раз ленточными паразитами, и ваши данные могли бы послужить... Какие данные?! Да ваши тривиальные паразиты не имеют ника-ко-го отношения к проблемам, которые решаются в нашей особо... понимаете? особо... м-м... специальной организации. С чего вы вообще-то взяли? Покажите-ка разрешение нашего министерства. Нету? Ах, так... Тогда не понимаю, как вы прошли через проходную. Минуточку... Алло. Начальник охраны? Зайдите ко мне... Да. Так что у вас, молодой человек?.. Ах, вот оно как, вы — по другому вопросу, в конструкторский отдел, а это так, попутно... Понятно. Нет, товарищ, у нас по-пут-но ничего не делается, это не ваш... м-м... червивый институт, а у нас — в каждый отдел — свой специальный пропуск. Ясно вам?! Так что... а-а, вот и начальник охраны, он вас сейчас проводит к выходу лично, а сам вернется ко мне... А вы, молодой человек, идите и занимайтесь с о и м делом, и в следующий раз — смотрите... Вот-вот... это и передайте своему начальству, руководству или кто там вас подослал.

Но посетители все равно лезли, как поганки в дождь, и это могло значить только одно: кто-то болтает.

Товарищ Пузырев еженедельно проводил инструктаж всех сотрудников, имеющих отношение к проблеме, для лаборатории же Кашубы лично составил специальные «Правила приемки и сдачи помещений». Согласно этим правилам каждый, уходя домой, должен был собственноручно расписываться в журнале, удостоверяя, что он: а) убыл, б) никаких служебных документов с собой не унес, в) ничего не оставил на рабочем месте, г) все, что надо, сдал вместе с ключами от своего письменного стола, который д) запер.

Утром, явившись на работу, надлежало перво-на-перво расписаться, что явился, взял ключи, получил

документы, отпер стол и так далее и тому подобное, — нас толкнули — мы, естественно, упали...

Около железной двери в виварий, войти в который можно было только нажав кнопки секретного замка (шифр менялся два раза в сутки), день и ночь сидел за столиком ответственный дежурный, который тоже давал свой автограф по всякому поводу.

Итак, жизнь шла как ей положено. И, как положено всякому большому делу, проблема «Червец», непрерывно разрастаясь, захватывала все новые позиции, рубежи и плацдармы. Кто-то уже куда-то рапортовал от имени района, а потом и города. А позже — от Северо-Западного региона. В какие-то планы, на этот раз уже союзно-республиканского уровня, включалась эта сверхважная работа под кодовым названием, смысл которого никто не отваживался расшифровывать. Полугодовой объем научно-исследовательских работ по Проблеме планировали выполнить на тридцать два дня раньше срока, что дает возможность...

А люди ждали выходных, зарабатывали отгулы к отпуску, бегали по магазинам во время обеденного перерыва, боролись по общественной линии за усиление, укрепление и обеспечение трудовой дисциплины, шепотом обсуждали последние новости, переданные накануне по «Би-би-си», горячо переживали свои успехи и чужие неприятности, наблюдали, в частности, припав к окнам, как дочь профессора Кашубы однажды целых пятнадцать минут провалялась на тротуаре перед институтом, пока Алла Антохина на правах принципиального человека не позвонила Евдокиму Никитичу и не сказала со всей прямоотой, что Верочка, по-видимому, в нетрезвом состоянии лежит в двух шагах от проходной, а это не совсем удобно. И вообще!

Евдоким Никитич буркнул «благодарю вас», и через три минуты все наблюдали, как завлаб без пальто и с голой лысиной, венчающей башенный череп, пытается поднять с земли свое дитя. И, представьте, поднял. И отряхнул, и поволок домой. Просто сдохнуть можно: считается, что — культурные люди, профессора, пятьсот рублей оклад...

А назавтра ходил по институту с таким видом, будто ничего не было. Встретил в коридоре Аллу, кивнул с царственным видом и проследовал мимо. Ни «спасибо», ничего. «Интеллигенция!»

— Представляешь,— сказала Алла Максиму, угрюмо сидящему за дежурным столом возле вивария,— вот так и все люди: им делаешь добро, а они тебе за это — козью рожу. Ах, прости, совсем забыла — ты же Верочкин поклонник...

Не отвечает. Будто не слышит.

— Макс, ты что, обиделся? Я же пошутила. Макс! Лихтенштейн поднял голову.

— Я не обиделся,— четко сказал он,— уйди, пожалуйста.

Алла хотела сказать, что это хамство, она, конечно, уйдет, а он пусть потом просит извинения, она все равно... но ничего этого не сказала, ни одного слова, потому что вдруг почувствовала, что сейчас разревется. Она повернулась и медленно пошла прочь, опустив плечи, секунду назад так кокетливо и элегантно обтянутые югославским свитером. Никогда еще она не видела у Максима такого лица.

АЛЛА

Алле было совершенно ясно, что Максим прогнал ее из-за Валерки, точнее, из-за вчерашнего разговора в буфете. Началось все с Лукницкого: прошел слух, будто его сын, женатый вроде бы на еврейке, собирается уезжать. Не то в Америку, не то в Аргентину, значения не имеет — Лукницкого и так, и так попрут с работы.

— Жаль,— задумчиво сказал Максим, хотя ничего, кроме вреда, он лично от старикашки не видел.

— Мне, представь, по-человечески тоже жалко,— отозвался Валерий.— Но, к сожалению, в данном конкретном случае администрация не имеет другого выхода.

— Это почему же?

— А то, что родственники за границей.

— Ага. И он им будет продавать за доллары секретные сведения про нашего червяка. Поштучно. Со скидкой.

Вот тут бы Валерке и отвязаться,— Макс был явно не в духе, но Алла хорошо знала мужа: стоит возникнуть спору, ни за что не отступится, пока не докажет свое. Последнее слово всегда должно быть за ним.

— Кончайте,— все-таки сказала Алла и дернула Валерия за руку, но он не двинулся.

— Продавать он им, может, ничего не будет, но через пару лет и сам пожелает уехать. К родне.

— Вот интересно,— вдруг спросил Максим, пристально глядя Валерию в глаза,— вот ты, как ты, лично, относишься к этим отъездам?

— Я?— На лице Валерия проступило холодное, упрямое выражение.— Лично я,— сказал он, отчетливо выговаривая каждое слово.— Отношусь. К отъездам. Очень. Положительно. Я их горячо приветствую. Воздух чище!

Не дожидаясь ответа, Валерий зашагал к дверям. Он шел большими шагами, высоко подняв голову. Маленький, коренастый, всей своей фигурой, даже спиной, выражая непреклонную принципиальность. Бросив на Максима испуганный взгляд, Алла выбежала в коридор за мужем.

— Ты... ты что?— прошипела она, оглядываясь на дверь буфета.— Ты что — уже совсем?..

— В чем дело?— спросил он сквозь сжатые зубы.— Я кого-нибудь опять оскорбил?

— А ты как думаешь? Нет, мне это нравится... «Оскорбил»! Что значит «воздух чище»?

— То и значит, родная моя. Значит то, что, если они все отсюда выкатятся, для России будет только польза. Как-нибудь без них, сами... Скатертью дорога, и чем скорее, тем лучше. Надоело! Без конца охи да вздохи: туда их не пускают, там «за-ти-а-ют». Как же, попробуй, пусти, в России места приличного ни для кого не останется!

— Опомнись! Сколько в Советском Союзе евреев и сколько мест?

— А вот наши и будут ишачить, а те — руководить! Да что «будут», ты сейчас вокруг погляди, открой глаза — кто пенки снимает? В искусстве! В литературе! Про науку я уж молчу! Для дураков они распустили миф, будто они, дескать, такие одаренные, прямо гений на гении. А я на это дело иначе смотрю,— Валерий резко остановился.— Вот представь себе: живут два мальчика — Лева Певзнер и Ваня Сидоров. Лева Певзнер проживает в Ленинграде, в семье зубного врача-техника, мамочка с пяти лет таскает его к учительнице музыки, а потом отдает в музыкальную школу при консерватории. Очень удобно — до консерватории пять минут ходьбы, даже улицу переходить не надо, а Левочка — такой способный ребенок, он даже пукает — на ноту

«до»... А Ваня Сидоров — в Сибири, в деревне за сто километров от железной дороги, и у него абсолютный слух, только ему этого никто не сказал, хотя в то время, пока Лева долбит гаммы, Ваня тоже... тренькает на балалайке. Лева папа-доктор за успехи купил велосипед, а Ваню батя выдрал, чтобы дурью не маялся. И балалайку сломал. Через десять лет Лева получит премию на конкурсе, и все скажут: «Ах, какой одаренный мальчик!» А Ваня начнет пить горькую...

— Бедный Ваня! В город ему, страдальцу, не пасть.

— А ты не иронизируй. Что за вздорная привычка — все оспаривать? Да, не пускают, представь себе. Паспорта председатель колхоза ему не дает. Слыхала про такое?.. Ну, сейчас, допустим, даже дает, ладно. И жить устроился, тетка у него в городе. И даже учиться музыке захотел — так куда ему, переростку! Все места давно заняты: за роялями чистенькие мальчики — Лева и Боря. И Зяма! «При всем желании — не можем вас принять, товарищ Сидоров. Да и руки у вас... того, в мозолях». Нет, я не против, пусть и Лева, и Боря проявляют свои дарования. И Зяма тоже. Только все же лучше бы вам, друзья, с вашими талантами отправиться т у д а, к себе домой! А Россию оставить Ване и Пете. Россия — ничего, не пропадет!

— Между прочим, Левина родина — тоже здесь.

— Демагогия. Как волка ни корми... И вообще, что это ты так взъелась? Обиделась за Леву? Не волнуйся, о Лева есть кому позаботиться. Один за всех, все за одного. А вот тебе-то какое дело до них?

— Потому что противно! Некоторые евреи, хочешь знать, получше некоторых русских. А Макс у ты просто завидуешь...

— Чего?! Не смей! Чему там завидовать? Спеси? Нет, ты лучше объясни, почему так за него заступаешься? Молчишь. Ладно, сам объясню: как же — высокий, нос — полметра. Сексуальный гигант! Что смотришь? Беги, валяйся в ногах, проси прощения, может, и осчастливит...

— Ну, ты и мразь... — тихо и как бы даже с удовлетворением сказала Алла. — Высказался... — Тут она резко повернулась на каблуках и пошла прочь, оставив Валерия одного посреди коридора.

Вот чем кончился вчерашний диспут в буфете. Алла с мужем в тот вечер не разговаривала, а он мириться

первым тоже не хотел: с какой стати? Ничего обидного ей не сказали. Сама накинулась как бешеная. Ну, конечно, вывела из равновесия, а теперь ходит с оскорбленным видом. «Угнетенная невинность, или поросенок в мешке» — это отец так говорил матери в аналогичных случаях. Ничего, переживет.

Ни Алла, ни ее муж не знали, что весь их разговор Лихтенштейн слышал. Почти слово в слово. Выйдя из буфета, он столкнулся с Гавриловым, который задержал его, рассказывая анекдот. Гаврилов говорил шепотом, Валерий же почти кричал. Так вот оно и вышло...

В ИНТЕРЕСАХ РАЗРЯДКИ

Тем не менее выражение лица Лихтенштейна, так напугавшее Аллу, его обидное «уйди, пожалуйста» — все это не имело ни малейшего отношения ни к ней, ни к ее мужу. Цену таким, как Валерий Антохин, Максим давно знал, а сейчас было вообще не до Антохиных — в голове до сих пор на полную мощность транслировалось то, что час назад сообщил директор ему и Евдокиму Никитичу (конечно, в присутствии Василия Петровича Пузырева, нечетко обозначившегося в начале разговора посреди кабинета).

А сказал директор следующее:

— Положение, товарищи, серьезное. Мне только что звонили из... м-м... и сообщили, что американцы изобрели новое универсальное средство против... м-м... гриппа. Это сенсация! Событие, безусловно, мирового значения, что и говорить. И есть решение: противопоставить. А может, и обменять. Но противопоставить необходимо. Так сказать, в интересах разрядки. Там, Наверху, рассматривались разные работы, достойные конкурировать. И вот: был звонок. Нам с вами оказана огромная честь. И доверие. Принято решение выйти с проблемой «Червец»...

— Тема закрытая, — деликатно напомнил Пузырев, на глазах обретая четкость очертаний и наливаясь красками, — широкие публикации, тем более, выход на границу...

— Минуточку, — твердо перебил его директор, — если Там решили, то какие могут быть разговоры! Наше дело выполнять. Так вот, — директор повысил голос, — в апреле состоится расширенное заседание Коллегии

для отбора предложений. Должен быть представлен наш образец, мне придется выступить с подробным докладом. Сами понимаете, товарищи, все должно быть о'кэй. Вас, Евдоким Никитич, попрошу в течение недели подготовить тезисы. Это первое. Второе — демонстрационный материал: таблицы, графики, диаграммы. Возьмите художника, чтобы смотрелось. Третье и главное: сам экспонат. Он должен иметь товарный вид. Я сегодня ходил, смотрел — плохо, товарищи! Лежит, как тряпка, цвет какой-то, извините... защитный. Не смотрится. Подумайте, дайте предложения. Я вот... может, сшить чехол?

— Окрасить,— предложил Василий Петрович,— в шаровый цвет. Или суриком.

— Сдохнет,— предупредил Лихтенштейн.

— Этот вопрос решите в рабочем порядке, время пока есть. Но! Но его не так много, в обрез, а потому необходимо мобилизоваться и приступить к делу немедленно. Ничего не упустите: тара, транспорт. Если потребуется — вывести людей в вечернюю смену, в ночь. Заплатим живыми деньгами. Вы, конечно, отдадите себе отчет в том, что произойдет, если мы не справимся?.. Вы что-то хотели сказать, Евдоким Никитич?

— Мы,— начал Кашуба, раздуваясь,— мы все понимаем, что стоим сейчас на самом переднем крае отечественной науки. На рубеже! От нас и только от нас зависит ее престиж на мировой арене. От нас и только от нас...

Изображение Василия Петровича вдруг начало, потрескивая, фосфоресцировать и заметно увеличиваться в размерах. Кашуба растерянно смолк, а директор недовольно спросил Пузырева:

— В чем дело? Вам плохо?

— Прошу прощения — нервы,— ответил тот и, затрепав, принял свой обычный облик.

Этот разговор состоялся час назад. А двадцать минут спустя, вернувшись на пост у вивария, где он должен был сегодня дежурить вместо Лыкова («Понимаешь, старик, вот так! надо смотаться в одно место!»), — Максим, нажав шифрованные кнопки, отомкнул дверь в апартаменты червяка и обнаружил, что на малиновой ковровой дорожке, где обычно отдыхала рептилия, в безмятежной позе покоится спящий слесарь Денисюк,

про которого всем известно — он дома, отбывает срок больничного. Но вот он лежит на полу в виварии, где, кроме него, нет ни единой живой души. Совершенно секретный червяк мирового значения, гордость и надежда отечественной науки, бесследно исчез.

Поначалу Максим, конечно же, испугался. Пропажа червяка предвещала феерический скандал, особенно в виду Коллегии, где «Червец» должен был продемонстрировать все, что положено. Максим понимал: в предстоящем скандале он, разумеется, станет главной фигурой, виновником и зачинщиком. Вмажут, разумеется, и Лыкову, поскольку дежурным-то был он, но рядовой безлошадный дежурный — это вам не главный исполнитель Лихтенштейн, который обязан бдить и отвечать, вот ему, заправиле, и не спустят...

Однако постепенно сквозь холодный туман испуга все четче проступало облегчение. Точно сидел человек, скрючившись, в тесной пещере и собирался так сидеть без срока, но вдруг получил возможность выйти вон, распрямиться, поднять, наконец, голову. И так от этого сделалось легко, что первые мгновения и дела нет, что будет с ней дальше, с головой, и плевать, что из кустов прет облава с берданками наперевес, и вот уже... Но сейчас, сейчас-то — свободен! И можно дышать во всю грудь, и расправить наконец затекшие, немые руки...

А ведь еще совсем недавно Максим Ильич тоскливо прикидывал и так и эдак, искал способы выдраться из постылой безнадеги с червяком. Но вот ситуация разрешилась сама собой: нету червяка, и всем привет! Получалось, он, Лихтенштейн, опасался добровольно влезть в холодную воду, а тут как раз наводнение... Имеется полный шанс, не прилагая усилий, вылететь с работы за служебное упущение. Со скандалом, со всем, что положено, но... И слава Богу! А? Не иначе — судьба. Значит, надо сейчас спокойно, это главное, спокойно принять и выдержать что причитается. Отмолчаться и уйти. Начать новую жизнь. Какую? Да уж не такую, как была, в виде безмятежного движения по течению. Вниз. Тихо, дремотно. Отдельные пакости, вроде выступлений Валерочки Антохина, — не в счет... а между прочим, стоило бы, выслушав вчера его пакости, вернуться и надавать по роже! Но эти проблемы потом, потом... Сейчас — новая жизнь, все с нуля, без

липы, без Кашубы, где-нибудь в тихом, непрестижном месте... А найдешь ли его, это место? С испорченной трудовой книжкой, с жуткой характеристикой, с пятым пунктом. Ничего, как-нибудь! И тогда исчезнет ставшая почти привычной тошнота от... от себя самого. И ворон этот чертов перестанет каркать, хохотать, изгиляться на своей вонючей горе! Нет, это в самом деле удача. Удача!..

Вот к какому выводу пришел Максим Ильич Лихтенштейн, обдумав все, что вытекало из пропажи червяка. Интересно: почему-то он знал, на сто процентов был уверен — червяк пропал безвозвратно, никакие поиски ни к чему не приведут. А он, Максим, пожалуй... готов. Готов пройти через все, что предстоит. Радости мало, но... Заслужил. Заслужил и заплатит.

И неприятности грянули.

ГЛАВА ПЯТАЯ

СКАНДАЛ

Сначала был короткий разговор с Кашубой: так и так, животное исчезло, где искать — неясно, что будем делать? А полчаса спустя уже объяснение с директором: что же это вы, Лихтенштейн, с нами-то сделали? С институтом? С коллективом? Да вы... Да вы... Да мы!.. Кто сегодня дежурил? Лыков?.. Что значит — «не имеет значения»? Мне Евдоким Никитич доложил — дежурным был Лыков, а вы... Короче — ищите. Даю два дня, иначе... И Лыкову передайте, с него спросим. И еще как! Не найдете — пеняйте на себя.

Искать червяка Максим не стал. Знал, что не найдет, да и где было искать? Слесарь Денисюк, которого к концу рабочего дня с трудом удалось разбудить, только обалдело тарашился и мотал головой. Вместо ответов на вопросы, мыча, предъявил бюллетень с не вполне ясным диагнозом, но, когда Лихтенштейн взял его за плечи и, хорошенько потрянув, спросил, где червяк, вполне ясно произнес:

— А хрен же его знает? Мне откуда, на хрен, знать?

И Максим (в который уже раз!) отчетливо понял: все эти поиски — пустое дело.

За пять минут до конца работы появился Лыков. Узнав о случившемся, впал в истерику, громко клял се-

бя за то, что покинул пост, давая понять, что, не доверся он Максиму, ничего бы не произошло.

Однако главное началось на следующий день, когда Лихтенштейна пригласили к заместителю директора Пузыреву. В кабинете было двое. Один, Пузырев,— за столом, повседневный, в сером костюме, другой же стоял у окна. Был он в хромовых сапогах и френче и обладал острым ироническим прищуром. И непрерывно курил.

Беседу вел обычный Василий Петрович, а дубликат у окна в основном усмехался и пускал дым. Разговор вышел значительный.

— Поскольку непричастность Лыкова нами установлена, есть алиби, будьте добры сказать, кому, когда и при каких обстоятельствах лично вами был передан образец?

— Сэкрэтный абразец,— вполголоса напомнил Пузырев с папиросой.

— Никому. Господи, ну кому я мог его передать?!

— Тогда где он?— спросил Пузырев, сидящий за столом.

— Понятия не имею.

— Отпираловка — известный прием, так где же червяк?

— Я сказал: не знаю.

— А вы (взгляд в сторону Пузырева у окна) не искренни с нами. Это плохо. Очень. Для вас...

От окна — кивок и клуб дыма.

— Как я могу узнать, куда девался этот червяк, когда никто не знает, откуда он появился?

— Демагогия. И попытка уклониться! Давайте определяться: вы «потеряли» секретный образец. Вы, не кто-нибудь. Сознаете, что это значит?

— Догадываюсь.

— А тогда сообщите: где, когда и кому. И при каких обстоятельствах.

Тут стоящий возле окна Василий Петрович слегка надтреснутым голосом сказал, что мтерс мтрулад унда давхвдет.

— Вот именно!— Пузырев в костюме поднял палец.— С врагами будэм дэйствовать по-вражэски,— и безо всякого перехода заорал: — Где образец?! Где образец?! Где образец?!

Максим молчал. Противно стучало в висках.

— Старый прием. Отрицаловка. Надо определяться. Вы неискренни. Решайте, в какой поезд сядете. Туда или сюда? Где и при каких?

Может быть, это Максиму только казалось, устал все-таки... Но нет, голос Василия Петровича в самом деле как-то все больше и больше обесцвечивался, терял напор, лишался интонации. Вопросы он перемежал длинными паузами, а тот, двойник в сапогах, и вообще замолчал, стал почти невидимым, окутанный клубами дыма. К концу второго часа он неожиданно распух: сперва раздался в ширину, потом стал расти: голова, принявшая размеры ведра, поднялась под потолок, папираса сделалась величиною с еловую чурку. Скоро Этот Пузырев непонятным образом ухитрился заполнить собой весь объем кабинета, так что письменный стол и сидящие друг против друга Василий Петрович с Лихтенштейном оказались зажатыми между гигантскими сапогами. Дышать было нечем из-за табачного дыма и запаха гуталина. Но вдруг меньший Пузырев взглянул на часы и, запнувшись на очередном «вы с нами не иск...», сообщил, что на сегодня разговор окончен, но учтите, это только на сегодня, а вот уж завтра будет конец.

— Или начало конца,— прогудело откуда-то изнутри гигантской туши, после чего там зашипело, защелкало и неожиданно раздался бой часов. Под него Максим и покинул кабинет, кое-как протиснувшись между хромовыми голенищами.

Когда он был уже на пороге, вслед крикнули: «Надо определяться, Лихтенштейн!» Голос был не пузыревский, вообще незнакомый, визгливый и тоненький.

СОБРАНИЕ

Полночи Лихтенштейн провел без сна. В самом деле, надо было что-то решать. Еще парочка таких допросов, и станешь психом. ...А где, собственно говоря, записано, что Лихтенштейн обязан отвечать Пузыреву на его идиотские «где и когда»? И вообще — зачем сидел два часа в кабинете, задыхаясь от дыма, вместо того чтобы встать и уйти? Что за рабская, ей-Богу, психология! В одном прав Пузырев: определяться действительно надо. Завтра же подать заявление об уходе — и конец. Что дальше? Это потом, потом... Пусть все идет по порядку. На этом Максим и заснул, и спал тяжело, без снов. В институт на следующее утро при-

шел готовым к решительным поступкам, прямо в вестибюле столкнулся с Кашубой и уже открыл было рот, чтобы сообщить, что — все, намерен проститься, как Евдоким Никитич, весь сияя, забормотал непонятное — дескать, важноправительственноезаданиенайденпрекрасныйвыходмывсевнеоплатномдолгугеперьособеннонеобходимонапрячьвсе силыавамрешенооказатьдове-рие...

Мелькнуло черное крыло, тени летящих мимо комьев скользили по каменному полу вестибюля.

— Сейчас, прямо с утра, — все в актовый зал, — отдельно закончил Евдоким Никитич, — будет экстренное общее собрание.

Собрание, судя по всему, было не просто экстренным, но чрезвычайно значительным, поскольку явилось все начальство во главе с директором. Вид у директора был торжественный, у Пузырева же — чрезвычайно благостный, — ничего похожего на вчерашнюю злобность. Присутствовал Василий Петрович на сей раз в четырех видах, случай (на памяти Максима Лихтенштейна) беспрецедентный. Все четверо — в новеньких синих костюмах, белых рубашках, с галстуками. Трое чинно уселись в первом ряду, нога на ногу, изготовились записывать, четвертый прохаживался позади стола президиума.

На трибуну поднялся директор и праздничным голосом прочитал краткое сообщение о досрочном окончании работ над первым опытным образцом по проблеме «Червец». С чем и поздравил всех присутствующих.

Переждав, пока отгремят аплодисменты, продолжил; сообщил, что первый образец, сыграв свою положительную роль, демонтирован, и лаборатория Евдокима Никитича Кашубы приступает к созданию нового. В работе будут использованы достижения как отечественной, так и зарубежной науки и техники в таких областях, как бионика, электроника, химия, физика и математика. Прделанные лабораторией Кашубы исследования дали неоценимый материал. Трудились все добросовестно, с полной отдачей, но теперь от сотрудников потребуется еще больше сил и творческой энергии — новый образец, который предлагается смонтировать из отечественных полимеров на отечественных же полупроводниках, должен быть стойким ко всем видам статических и динамических нагрузок, радиации, агрессивным средам и различного вида бактериям. Сроки

сжатые, время не терпит, но руководство института верит, что лаборатория Евдокима Никитича справится, а весь коллектив — поможет. В уже проделанной работе хочется особо отметить большой вклад старшего научного сотрудника Максима Ильича Лихтенштейн... на этом месте директор сделал паузу, Пузыревы же, сидящие в первом ряду, синхронно повернулись к Максиму и дружелюбно подмигнули. А Василий Петрович, остановившийся возле стола президиума, кивнул.

Директор продолжал речь, сказав, что, к сожалению, необходимо отметить отдельные недостатки в работе, а именно — недостойное поведение младшего научного сотрудника Лыкова, не проявившего творческой инициативы при работе над первым образцом. Руководством принято решение понизить Лыкова в должности сроком на три месяца с соответствующим уменьшением зарплаты.

— Правильно! — крикнули из зала. После чего, поговорив еще немного об ответственности, лежащейся сегодня на весь институт в целом и на каждого в отдельности, директор сошел с трибуны.

В зале зашевелились, в президиуме — тоже. Создалось впечатление, что сейчас распустят, вон и Пузырев, что-то шепнув директору, сделал шаг к трибуне, — очевидно затем, чтобы объявить собрание закрытым. И в это мгновение Максим поднялся и пошел вдоль рядов к сцене. Еще мгновение назад он представления не имел, что пойдет. Он и сейчас не думал ни о чем конкретно, просто шел, глядя прямо перед собой. Мимо любопытных взглядов, повернутых голов, мимо трех восторженных Пузыревых в первом ряду он шел вперед, стараясь не касаться взглядом четвертого. Первым сориентировался, надо отдать ему должное, Евдоким Никитич, и, когда Максим был уже в двух шагах от сцены, нарушив протокол, возгласил:

— От имени коллектива всей нашей лаборатории слово предоставляется Максиму Ильичу Лихтенштейн, ответственному исполнителю по проблеме «Червец». Максим Ильич! Проинформируйте товарищей, чем мы намерены ответить на решения, принятые руководством института.

А Максим был уже на сцене, рядом с трибуной. Он все еще не представлял себе, какими словами скажет то, что должен сказать. Да и не имели они сейчас значения, слова. Поэтому, шагнув к краю сцены, он заго-

ворил, чувствуя непривычный покой в душе, и это чувство покоя становилось все более плотным и надежным с каждой произносимой фразой.

— Мне было стыдно, — сказал Максим, — слушать все, что тут сегодня говорилось. Стыдно. Ведь это же я заварил кашу с так называемой проблемой «Червец»! Всю эту бессовестную липу... ни у кого, я думаю, с самого начала не было сомнений, что это чистейшая липа? Бессовестный, повторяю, способ прикрыть нашу научную... импотенцию.

В зале стало так невероятно тихо, что было слышно, как шуршат по бумаге шариковые ручки троих Пузыревых, выполняющих свой неоплатный долг в первом ряду. И тут в гулкой пустой тишине сухо, как пистолетные выстрелы, прозвучали три негромких хлопка профессора Лукницкого.

Гул поднялся над рядами, точно пыль — над дорогой, по которой прошел трактор. Замер с полуоткрытым ртом директор, краска сползала с румяного лица Евдокима Никитича, сперва побелела лысина, лоб, потом нос — казалось, кто-то открыл кран, приделанный к одной из шиколоток профессора, и теперь кровь медленно покидает его тело. Вот побелел уже подбородок, шея... Максим торопился — сейчас, сию секунду его прервут, но Василий Петрович, недвижимо стоящий возле трибуны, всего-навсего выдернул из кармана блокнот и взялся наконец за ручку, те же Пузыревы, что сидели в первом ряду, — наоборот, — бросили писать, разделались, и вот уже один из них завис в левом верхнем углу зала, притиснув к глазам полевой бинокль, другой с автоматом Калашникова наперевес неведомо как очутился у окна лицом к залу, четвертый же занял позицию у двери, прислонившись к ней спиной.

Синих праздничных костюмов как не бывало; тот, что сторожил окно, оказался облаченным в военную форму начала сороковых годов — с петлицами, остальные трое — в повседневные серые костюмы.

— Больше всего мне стыдно, — говорил Максим, — что я... что все мы так спокойно, будто должное, опять слушаем вранье. По уши во вранье...

Висящий Василий Петрович перевел свой бинокль с Лукницкого на директора. Тот вздрогнул, волнообразно дернулся всем телом, будто через него пропустили ток, и хрипло закричал:

— Лишаю слова!

Шум взвился над рядами, заполнив зал до самого потолка. На секунду Максиму даже показалось, что стало темно. И сквозь эту темноту, сквозь какие-то выкрики и звон стакана, которым директор в отчаянии ударял о графин с водой, он успел еще сказать, что считает Лыкова невиноватым; но его почти никто не слышал — шум сгустился в плотную, звуконепроницаемую массу. Максим спустился со сцены, прошел к своему месту и сел, чувствуя физическую усталость и полное ко всему безразличие.

Пока директор яростно совещался с Василием Петровичем, на трибуне вдруг очутился Лыков. Зал тотчас стих, а Лыков, то и дело вытирая лоб, потным голосом, срываясь, сказал, что категорически отказывается от заступничества Лихтенштейна. Поскольку полностью и целиком сознает свою вину и готов нести любое наказание! И только в таком больном воображении, каким обладает Лихтенштейн,— а это он доказал своим истерическим выступлением!— может родиться подозрение, будто он, Лыков, способен спрятаться за чью-либо спину, тем более за спину человека, проявившего неуважение ко всему коллективу. Остренький носик Лыкова покраснел, глаза с белесыми ресницами преданно мигали в сторону директора, Пузырева и смертельно бледного Евдокима Никитича, с поверженным видом восседавшего за столом президиума.

— Вместо того, чтобы демагогическими заявлениями вбивать клинья между сотрудниками и администрацией,— лопотал Лыков,— Лихтенштейну лучше бы... лучше бы...

— Убираться вон!— выкрикнул с места Валерий Антохин.

— Товарищ Лыков, вы закончили?— спросил директор, оторвавшись наконец от Пузырева.— Спасибо. Слово имеет... Валерий Валентинович Антохин.

Лыков сбежал с трибуны и облегченно затопал по проходу, шаги были частыми и мелкими, и, наверное, поэтому казалось, что бежит он на четырех ногах.

Валерий поднялся на сцену солидно, перед тем, как начал говорить, поправил галстук, и только после этого громким, но плохо поставленным голосом (Павел Иванович всегда считал, что у его соседа хамский голос) заявил: выступление Лихтенштейна его ничуть не удивило. Напротив. Он давно ожидал чего-либо подобного

именно от Лихтенштейна. Своей речью тот показал и доказал — в институте ему не место. И в нашей науке — не место! Таким, как он, нет, никогда не было и быть не могло дела до нашей науки, для них она только средство, а не цель, средство для получения материальных благ. За чужой счет. И это не удивительно, напротив, в каком-то смысле даже понятно... Более того...

До Максима вдруг дошло, что теперь он вовсе не обязан сидеть в зале и выслушивать эту гнусь. Он, слава Богу, поставил точку, и лучшее, что может сейчас сделать, — это пойти и написать заявление об уходе. Он встал и вышел, никем не задерживаемый, даже тот Пузырев, что охранял дверь, на мгновение от нее отшатнулся.

Максим не слышал довольно, надо отметить, кислых аплодисментов, проводивших Антохина с трибуны, не видел и того, как Алла демонстративно пересела подальше от мужа. А директор, придя наконец в себя, сообщил, что собрание продолжается и следующим словом имеет передовой рабочий Денисюк.

— После чего, — добавил висящий в левом верхнем углу Пузырев с биноклем, — состоятся проводы на заслуженный отдых всеми нами горячо уважаемого профессора Лукницкого.

Тут все встрепенулись и довольно осмысленно зааплодировали.

Между тем успевший занять место на трибуне Денисюк озадаченно смотрел на присутствующих, и в зале стала набухать увесистая пауза. К счастью, прямо в руки новатору откуда-то из-под потолка плавно спустился большой бумажный голубь, крупно исписанный фиолетовыми буквами. Развернув птицу и близко поднеся ее к глазам, Денисюк, запинаясь, громко призвал всех в зале убрать руки прочь... Потом замолчал, обиженно всматриваясь в текст, пожевал губами, подумал и произнес:

— Призываю убрать, значит, прочь... — и поднял глаза к потолку. Но помощи на сей раз не последовало. Не последовало ее также и со стороны того, с блокнотом, который только что был рядом с директором, но вдруг пропал. И от входной двери — в равной степени, не говоря уже об окне.

Дело в том, что Василий Петрович в это время уже сидел в пятом ряду, вернее, в пятом — только двое,

справа и слева от Лукницкого, третий же — в шестом, за его спиной. Что касается четвертого — автоматчика, — то он стоял неподалеку, в проходе, направив свое оружие на профессора, который понурился безо всякого движения.

Денисюк перевернул голубя и поискал, нет ли чего полезного и подходящего на обратной стороне птицы. Ничего не обнаружив и там, он напрягся, сдвинул брови, весь побагровел и закричал:

— Руки прочь от... от этой, на хрен... от охраны природы!

Зал единогласно охнул, а на сиреневом лице Лукницкого забрезжила идеологическая диверсия.

Польщенный вниманием Денисюк обвел присутствующих победным взглядом, аккуратно сложил записку, сыгравшую свою положительную роль, снова превратив ее в голубя, и, размахнувшись, пустил под потолок. Птица взвилась, описала над залом окружность и внезапно вылетела в открытую форточку, никем, заметьте, не охраняемую. Денисюк захлопал в ладоши, в зале тоже послышалось несколько сомнительных хлопков, но из шестого ряда раздался милицкий свисток, и все замерли. Ударник пожал руку директору и удалился в зал.

Последовавшая непосредственно за этим процедура проводов на отдых пенсионера Лукницкого заняла считанные минуты. Скомандовав: «Руки назад», юбиляра вывели к трибуне, крепко держа с двух сторон за локти и подталкивая в спину. Автоматчик Пузырев в это время запер дверь, спрятал ключ в карман галифе, вытащил на трибуну директора, и тот безо всякой подготовки очень резко произнес короткую, но энергичную речь, начинающуюся словами «Сегодня мы прощаемся...» и кончающуюся фразой «Память о нем будет всегда жить в наших сердцах». Напрасно Лукницкий пытался перебить выступавшего, при первом же поползновении его приятели из конвоя так заломили ему руки, что он решил не вступать. Сморкаясь, директор сошел с трибуны, и тут дверь, только что на глазах у всех запертая на ключ, внезапно распахнулась, и в зал хлынул отряд первоклассников с цветами и еловыми ветками.

Зал встал, потом сел, вытер глаза, и все это разноцветье, разнотравье, все это колкое смолистое благоухание водопадом обрушилось на голову, плечи, спину и грудь бывшего профессора. Ноги у него подогнулись,

он без единого слова опустился на крашеный пол зала и мгновенно исчез под ворохом цветов и веток. Грянули трубы, ударили литавры, застыл в скорбном молчании зал.

— Здóрово,— прошептала Алла Антохина,— все-таки торжественно обставили, молодцы!

— А ты переживала,— ответил ей сидящий рядом Гаврилов.

И тут раздался залп последнего салюта — это Василий Петрович в военной форме начала сороковых годов разрядил свой автомат прямо в люстру. Словно летний дождь, посыпались сверкающие стеклянные осколки, а в форточку, слегка покачиваясь в воздушном потоке, вплыл большой бумажный голубь. Покружив над залом, он осторожно опустился на гору. Цветов. Самый маленький из ребят бережно поднял птицу, развернул ее бумажные крылья и звенящим голосом прочел вслух:

— Спи спокойно, дорогой товарищ!

Громче всех рыдал передовой рабочий Денисюк.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СЛУХИ

Пришло лето, и десятки тысяч людей с облегчением покинули раскаленный город, точно сбросили наконец тесную, душную, пропотевшую рабочую одежду.

Десятки тысяч бодрых провинциалов с продуктовыми сумками и холеных интуристов с фотоаппаратами хлынули в город, битком забив магазины, улицы, палубы горластых теплоходов, «пятак» под стеной Петропавловки, пирожковые, музеи и рестораны.

Оставшиеся в городе по долгу службы аборигены жались в углы, чувствовали себя неуютно и как-то неловко, будто к ним в квартиру внезапно ввалилась большая, жизнерадостная и энергичная семья мало-знакомых родственников из Костромы.

Каждый вечер на пыльном, никогда не остывающем небе собирались тучи, ночью гремело и вспыхивало, но дождь так и не проливался, и утром солнце снова садистски палило и жгло.

Говорили о надвигающейся желудочной эпидемии. Ожидали лесных пожаров. Многие видели по ночам в небе различные неопознанные объекты, один из кото-

рых даже вроде бы опускался на газон в Михайловском саду и сжег вокруг себя всю траву в диаметре пятнадцати метров, но был изгнан бездомными собаками, поднявшими страшный вой. На следующее за этим событием утро жара достигла тридцати градусов. Пожилые люди сосали валидол и намекали насчет вредительства.

В эти же дни пополз слух, что в новых районах обитатели седьмых, девярых и одиннадцатых этажей кооперативных домов систематически наблюдают некое ранее никем не виданное существо, которое по ночам якобы заглядывает к ним в окна. Существо это — не то гигантский змей, не то чудовище Лох-Несс, не то снежный человек — похоже на ящера с круглой головой и близко посаженными умными глазами. Говорили, что страшилище никого пока не трогает, но на чистом русском языке, слегка шепелявя, сообщает о надвигающихся ужасных событиях, вплоть до конца света.

На прошедших многочисленных собраниях жильцов были приняты резолюции: не оставлять окна на ночь открытыми, разъяснять обывателям, что слухи, распускаемые про страшилище, не имеют под собой почвы; провокационные же инсинуации самого страшилища пресекать, сообщая о его появлении органам милиции и кому следует.

Позднее в особо доверенных кругах обсуждались не всем доступные сведения о странном нарушителе границы, оставившем неясный след на нейтральной полосе вблизи города Светогорска. След был обнаружен сверхсрочником Остапенко и его четвероногим другом Бризом и напоминал отпечаток тракторной гусеницы.

Все эти разговоры и сплетни, будоражащие население, конечно, не прошли мимо института, где одной из ведущих лабораторий заведовал профессор Кашуба, в конце мая получивший строгий выговор по милости некоего, теперь уже, слава Богу, уволенного сотрудника.

После того как по западному радио дважды передали очередную «утку», будто в каком-то мюнхенском журнале напечатали снимок, где группа туристов сфотографирована на фоне Ростральной колонны в обнимку с гигантским червяком, одетым в соломенную шляпу и солнцезащитные очки, — после этого провокационного сообщения в лаборатории провели производственное совещание, где присутствовал весь коллектив и где Евдоким Никитич подвел итоги работ, проделанных по

второму этапу проблемы «Червец». Дела шли, надо сказать, совсем неплохо; и вот вам лишнее доказательство тому, что незаменимых нет и быть не может, тем более, свет клином не сходится ни на ком, в том числе и на Максиме Ильиче Лихтенштейне. Новый образец, изготовленный из полихлорвинила, внешне был почти идентичен старому, но имел по сравнению с ним явные преимущества, главным из которых было то, что двигаться мог только включенным в сеть, а не по собственной воле, что избавляло от необходимости постоянного наблюдения. Второе отличие состояло в том, что первый червяк был, как все помнят, теплым на ощупь, при проектировании же второго обогрев решили не делать, так как никаких заметных преимуществ перед возможными зарубежными аналогами он не давал, зато при отсутствии обогрева достигалась значительная экономия электроэнергии. В общем, что говорить, на месте наука не стояла, настроение в лаборатории теперь даже как-то поднялось, каждый был занят делом, — нас толкнули, мы — что поделаешь? — временно упали, зато уж когда нас подняли, мы пошли. Семимильными шагами, все дальше и дальше, выше и выше... к той самой вершине, где...

ПУЗЫРЕВЩИНА

Рассчитали Максима с молниеносной быстротой. Заявление об уходе он положил на стол Кашубе сразу же, как тот вернулся с собрания, и Евдоким Никитич, не поднимая глаз, раздраженно черкнул: «ОК, оформить».

— Зайдите к Василию Петровичу, — невнятно скрипнул он.

И правильно скрипнул — Василий Петрович являлся как-никак заместителем директора по кадрам. И Максим направился прямо к нему.

В кабинете Пузырева шло совещание «тройки». Обсуждалась, видимо, все та же история с проблемой «Червец», потому что при появлении Лихтенштейна все смолкли, а делавший сообщение Василий Петрович Пузырев постучал шариковой ручкой о столешницу.

— Регламент, регламент, — нестройно загалдели два других Пузырева и, положив одинаковые блокноты, уставились на Максима одинаковыми глазами.

От этих блокнотов, глаз и серых костюмов перед ним вдруг все поплыло, Максим покачнулся, но Василий Петрович ловко выхватил у него из рук заявление, мгновенно поставил в углу свою подпись и, держа Лихтенштейна за локоть, заботливо вывел в коридор и прислонил к стене.

— Работы нигде не найдешь, намучаешься...— прошелестело из кабинета. Но так тихо, что, вполне возможно, Максиму это только послышалось. Тем более что стоящий перед ним Пузырев был как будто полон дружелюбия. Посоветовал заглянуть сейчас же к директору, чтобы «покончить с формальностями сразу и на высшем уровне».

К директору так к директору, «уходя, уходи», и чем скорее, тем легче.

Однако в приемной сидящий на месте секретаря Пузырев очень спокойно доложил Лихтенштейну, что директора в настоящее время нет в институте и не будет до конца дня, так как он умер. Из-за неплотно закрытой двери кабинета внятно доносился директорский бас.

— Ступайте, ступайте,— нахмурившись, велел Пузырев, глядя Максиму прямо в глаза.— Вам же сказали: скончался, и все дела. Сгорел. А заявление можете оставить, завтра же получите в отделе кадров обходной листок. Завтра, поняли?— и очень обаятельно ухмыльнулся. А затем достал из ящика стола небольшой траурный веночек, обвитый красно-черной лентой. «Дорогому товарищу директору от...»— прочитал Максим, а Пузырев тем временем ловко нацепил веночек себе на шею и, не проронив больше ни звука, взялся что-то писать.

Следующим утром шел проливной дождь. На остановке мрачно переминалась под зонтами мокрая очередь. Все молчали, устремив напряженные шеи в ту сторону, откуда должен был появиться автобус. Максиму сегодня торопиться было некуда, он стоял, выставив зонт как щит — наперерез косому дождю. Мысли текли спокойно и вяло: сегодня оформить расчет, завтра... завтра весь день — отдыхать, заслужил, вечером можно съездить к Гольдиным... ох и крику будет! После завтра заняться поисками новой работы. Если без претензий, тут, скорее всего, больших затруднений не будет. Но уж — без претензий, на завод, в цех, в смену, если надо. Ничего! Раз в жизни захотел быть честным — плати...

— Ев-р-реи есть?— раздалось за спиной Максима. Он повернулся. Здоровенный парень в насквозь пропитавшейся водой накидке с капюшоном стоял прямо в луже, широко расставив ноги. Мясистая физиономия его была сизой, маленькие мутноватые глазки под выступающими надбровьями бродили по лицам стоящих в очереди людей.

— Ев-р-реи есть?— заорал он опять. И громко икнул. Очередь замерла.

— Ну, я еврей.— Максим сложил зонт. Верзила замер, с трудом остановив на Максиме сползающий взгляд, приоткрыл рот, потом закрыл его и вытер губы мокрым рукавом.

— Дур-рак ты! Политики не понимаешь...— проворчал он обиженно, повернулся и, пошатываясь, двинулся прочь.

Очередь пожалала плечами.

От автобуса к институту Максим бежал наискосок, через садик, и там, на мокром песке дорожки, едва не наступил на крупную бурую жабу, хмуро восседавшую у края лужи. Жаба эта была товарищем Пузыревым.

К обеду он держал в руках свою трудовую книжку и деньги за неиспользованный отпуск. Стоя один в пустом и душном коридоре, он раздумывал, не пойти ли все же к Кашубе — проститься, и даже сделал один нерешительный шаг в сторону кабинета своего бывшего руководителя, но тут в конце коридора хлопнула дверь, раздался стук каблуков, и перед Максимом предстала Алла Антохина в таком виде, что он сперва ее даже не узнал,— лохматая, зареванная, с размазанной по щекам тушью и вспухшим носом. Подойдя к Максиму вплотную, Алла всхлипнула, обхватила его за шею и принялась громко плакать, выкрикивая:

— Сволочи! Гады! Паразиты!

— Но-но. Поаккуратней,— тотчас послышалось рядом. У стены недовольно наливался красками Василий Петрович. Голова его, шея и плечи уже ясно обозначились, нижняя же половина туловища почему-то запаздывала, так что казалось, будто в воздухе висит бюст Пузырева.

Услышав голос начальства, Алла оторвала лицо от груди Лихтенштейна и вдруг яростно бросилась к стене,

где не спеша продолжал материализовываться Пузырев.

— Ах ты, мозглявка!— крикнула Алла и размахнулась. Максим даже прикрыл глаза и тут же услышал слегка испуганный и вполне миролюбивый голос Василия Петровича.

— Ты это... чего это? Ладно, ладно... расшумелась тут. Слова им не скажи. Цацы. Бегаешь целый день, как папа Карло, присесть некогда. Недовольны еще! Уволили по собственному желанию, скажи спасибо, могли бы по статье...

Максим открыл глаза. Пузырев тихо таял в полумраке коридора. Еще пару секунд его невнятный силуэт дрожал на фоне стены, а потом исчез и он.

ТУДА

Работы он не нашел. Мало того,— через две недели отказался от всяких попыток, так и заявил Гольдиным: «Пустой номер. Все. Больше никуда не пойду».

— Что значит? Это мне нравится!— возмутился Григорий Маркович.— Ира, ты слышишь? Он говорит —«пустой номер», он решил остаться без куска, этот мишугинер ¹! Без труда, родной мой, не вытащишь и рыбку из воды. И зачем такая паника? Пора привыкать. А без работы у нас пока еще никто не остался. Завтра же звоню Андрею Соловьеву, он что-нибудь сообразит. Это — большой человек, мы с ним с войны знакомы, командовал нашим дивизионом.

— Я сама к ним съезжу! — крикнула из кухни Ирина Трофимовна.

Нет, ничего искать Максим больше не будет, у него вот они где — эти отделы кадров. Каждый раз одно и то же: очень нужно, как раз эта специальность, давайте документы, характеристику, будем оформлять... Да-а... Сейчас-то, собственно... как бы сказать?.. Знаете что? Загляните к нам завтра, хорошо? Утречком... А еще лучше — позвоните. Да! Надежнее сперва позвонить.

И на завтра: знаете, мы тут разобрались, со штатными единицами туго, прямо беда. Ждем сокращения... И должность конкурсная... Что? Согласны — инженером?.. М-м... К сожалению, в части ИТР у нас полный

¹ Сумасшедший (евр., *идиш*).

комплект, так что месяцок-другой придется подождать... Если что, мы вам сообщим. Что? Нет телефона?.. Найдем, найдем, не волнуйтесь...

И так — везде. С незначительными вариантами. В одной конторе уже почти оформили, позарез был нужен сменный технолог. А на другой день выяснилось, что вышла ошибка — уже принят другой человек. Просим извинения, накладка, с кем не бывает.

— Какой он неврастеник, честное слово! — Григорий Маркович даже вскочил с кресла. — Что это ты такое болтаешь? У нас безработицы нет, к вашему сведению. В жизни, знаешь ли, надо быть более стойким и выдержанным, не распускаться.

— Что ты кричишь? — Ирина Трофимовна входила в комнату с горячим пирогом. — Опять вечером будешь принимать нитроглицерин. Конечно, мальчик переживает. Остаться без работы, и за что?!

— Как это, что значит: «за что»? «За что»... За собственную глупость, за что!

Согласен. Сам влез в это дерьмо, сам и погорел. Все нормально. ...Вот только... надоело... Надоело. Работа, положим, найдется. Со временем. Может быть, вполне приличная. Допустим, не хуже той, что была. И... что? А то, что все снова: «нас толкнули — мы упали». Снова высматривать в замочную скважину, что там, у них, нового, и кидаться копировать. Задыхаясь и дрожа, осваивать кем-то придуманное двадцать лет назад. Точно своих мозгов нету!

Вспомнилось, как лет пять-шесть назад вдруг набрел на одну идею. Была она, правда, не по профилю лаборатории, зато сама по себе кое-что сулила... Да брось ты! — не «кое-что», а колоссальный мог получиться результат. Максим загорелся, побежал к Кашубе, ворвался: «Ура! Событие! Срочно ставьте тему, через год-полтора, ну, через два, синтезируем новый полимер, износостойкость — на порядок выше!» Кашуба скривился: «Любите вы витать в облаках. «Два года». Да за это время... и вообще, Максим Ильич, новые полимеры — не наше с вами дело, это пусть академические институты, а мы прикладники, для нас главное — не фантазии, не чистая наука, а помощь промышленности, и тут мы с вами, сами знаете, — в неоплатном долгу. Договор с Брянском в каком состоянии?.. Нет, не «на этой неделе», Максим Ильич, а сегодня. Потому что надо было — вчера!»

Поговорил с ребятами из академического. «Брось, старуха. Полная безнадюга. Это ты хочешь через нашего Дуба прорваться, через его полимеры, созданные им лично накануне Куликовской битвы? Да он тебя по стенке размажет».

Больше блестящих идей и творческих взлетов не было. Была диссертация — приличная, добросовестно сделанная. И только. Наверное, и в этом виноват сам. Нет, хорошая была диссертация, не хуже других... Что впереди? Карьера? Никогда не светила, а теперь уж подавно. Да и ни к чему. Семейные радости? Родных не нашел, своей семьи не получилось. Был бы хоть бабником, вроде Лыкова, все веселей! Или какое-нибудь хобби... Вон Гаврилов — получил наконец садовый участок, теперь при деле: семена, пленка для парников... Нет, настоящим смыслом могла быть работа, но ведь, куда ни погляди, — гора. Памиры и гиндукуши... Душно. Душно, будто в комнате с низким потолком... в комнате, из которой выкачали воздух. Тут не станешь разбирать, какая на дворе погода, выскочишь среди ночи голый... Еще и Васьки в кадрах с этими блокнотами. В этих костюмах...

Последнюю фразу он, кажется, произнес вслух.

— В каких таких костюмах? — спросил Григорий Маркович, тревожно взглянув на жену.

— Да в серых, в серых, в каких еще!.. А и с них-то что взять, крутятся, как... папы Карлы. Профессия такая.

— Какие Васьки в костюмах? Какие Карлы, Максимушка? — тихо и ласково спросила Ирина Трофимовна.

— А?.. Нет, это я так, шутка.

Шутка... Зачем зря пугать стариков? Но вообще-то иногда Максиму начинало казаться, что он, и верно, того... сходит с ума: трамваи, битком набитые Василиями Петровичами, едущими на футбол, очереди за пивом, сплошь состоящие из Пузыревых, десятки одноликих прохожих в серых костюмах... Надо лечить нервы. Или... Но сперва — успокоиться. Успокоиться! Плунуть на все, посидеть дома и не делать никаких телодвижений. Переждать полосу невезения. Деньги, слава Богу, пока есть, а там видно будет.

А если?.. Бред. Какое еще «если»! Кто за тобой придет? Кому ты нужен? Тоже еще государственный преступник. Червяка потерял. Шпион иностранных разве-

док. В институте скандал замяли, живут себе и работают, а значит, раздувать кадило дальше никому не выгодно. Понял, идиот?! Понял. Ну, а если все-таки...

Максим молчал.

— Брось,— тихо сказал Гольдин.— Тебе просто надо отдохнуть. И ничего ужасного, можешь мне поверить: седьмой десяток в этой системе. Сейчас не те времена. А хлопоты я беру на себя, и запомни: ты не один, у тебя есть друзья.

— У тебя есть семья,— поправила мужа Ирина Трофимовна, разрезая пирог.

И начал Максим отдыхать. Неделю сидел дома — спал до одиннадцати, гонял радиоприемник. Перечитывал «Преступление и наказание». Как-то от нечего делать принялся разбирать письменный стол, вытащил из ящика все бумаги, рассматривал, сортировал, ненужное рвал и выбрасывал. После инвентаризации ящики сделались почти пустыми,— оказалось, очень немногое захотелось Максиму сохранить на будущее, всего несколько фотографий: тощие, остриженные наголо, лопухие пацаны и девчонки с испуганными детдомовскими лицами. Вон Макс: шея, как у куренка, глаза круглые, рот приоткрыт. Институтский выпуск: Лихтенштейн в первом своем настоящем «выходном» костюме — купил в долг под будущую получку. Лицо горделивое, с загадочно-иронической улыбкой, в глазах, как положено,— мировая скорбь. Дурак дураком...

Снимок с товарищами по лаборатории — в колхозе. А это — на демонстрации, под руку с Кашубой... теперь профессор этот снимок небось уничтожил... Рядом Гаврилов и две пьяненькие дамочки, одна — Алла Антохина, другая... Бог знает, как ее звали?— уволилась два года назад. Все снимки, обратите внимание, г р у п п о в ы е, к о л л е к т и в н ы е. Все бумаги — деловые. Так, черновики диссертации. Сжечь! Это никому никогда не понадобится... А ведь человеку полагается иметь архив, семейный альбом, чтобы — портреты дедушек, прадедушек. Полагается хранить старые материнские письма, ее тетрадку со стихами... Да... Максим наткнулся на несколько карточек девиц. Карточки были украшены нежными надписями. Вот и Алла, снималась за неделю до свадьбы с Антохиным. «Так уж и быть, возьми на память! Может, и пожалеешь когда-нибудь». Все это надо разорвать.

Неизвестно еще, чем дело кончится. Васька же намекал, грозил... «Выбирайте поезд — туда или туда». На Восток, стало быть, или... на Запад? Собачья чушь! В Сибирь, что ли, из-за этого червяка? Чушь-то чушь... И все же... Зачем, чтобы у девок были неприятности? Алла, дурочка, тогда в коридоре в голос ревела, за руки хватала, чушь всякую несла: «Люблю, всегда любила, тебя одного, только сейчас поняла, на всю жизнь, куда угодно, мужа брошу...» Дуры бабы, жалость у них — первое чувство, пожалела — значит полюбила. Ничего, успокоится, а нам сейчас не до любовей, нам определяться надо, поезд себе выбирать. Туда или... туда. Понятно вам? Туда... Или — туда?

За окном уплотнились душные сумерки. Не то чтобы темнело, темнеть не могло, белые ночи стояли над городом, просто туча вылезла на небо, грудастая и бесплодная — ни прохлады от нее, ни дождя. Казалось, эта разбухшая туча всосала в себя последние остатки влаги и кислорода. Туда или... туда?

Вот он, поезд. Жесткое плацкартное место. Максим положил вещи и вышел на перрон покурить. Когда хотел войти обратно, проводница не пустила: вы, гражданин, лезете не в тот вагон, это первый, а вам в последний. Идите, идите скорее, через пять минут отправление.

Он пошел к своему вагону, в конец состава, это оказалось далеко. Сперва надо было идти по платформе, когда она кончилась, Максим спустился, побежал по узкой извилистой тропинке, которая быстро вывела его на безлюдную улицу незнакомого провинциального городка. Утопая в пыли, улица лениво переваливалась с холма на холм, посередине ее нехотя бродили крупные золотистые петухи. Серый репейник стоял в канавах по обочинам, за стеклами подслеповатых окошек цвели герани.

На лавочке возле одного из домов грелась на солнце старуха. Голова ее казалась непропорционально огромной из-за толстого, в три слоя намотанного платка. На вопрос, как пройти к вокзалу, повторенный дважды, она махнула рукой куда-то вбок. Максим побежал. Улица тяжело влезла на очередной холм и внезапно кончилась, превратилась в раздолбанную, пересохшую, комковатую дорогу. Максим прибавил ходу.

За поворотом между стволами деревьев белело какое-то строение.

Но это опять был не вокзал. Это был очень странный, брошенный поселок, состоящий из заколоченных щитовых домиков с выбитыми стеклами, поваленными телеантеннами, оборванными проводами. Около одного из домов, в огороде, где не росло ни травинки, ни кустика, а вся земля была перекопанной, Максим увидел двух мужиков с лопатами. Безмолвно стояли они, опираясь на черенки, возле какой-то ямы и из-под надвинутых на глаза меховых одинаковых шапок хмуро смотрели на Максима.

— Где тут вокзал? Как пройти?— крикнул он.

Мужики молчали.

— Как на поезд попасть?— умоляюще заорал он. (До отправления — всего две минуты.)

Нехотя подняв тяжелую руку, один из мужиков показал влево.

Максим бежал опять. Теперь это была лесная тропинка, юлящая среди сосен. Она шла вниз, между двумя песчаными взгорками. Постепенно тропинка становилась все уже, взгорки — все выше, Максим бежал теперь как бы по ущелью. Дышать было нечем, он остановился на секунду, и тут же позади услышал шаги, которые сразу стихли. Он вообще-то все время чувствовал, что за ним идут, но только теперь услышал их, эти шаги. И оглянулся. Мужик в лохматой шапке стоял со своей лопатой шагах в десяти и ухмылялся. Максим опять побежал, а тропинка вдруг превратилась в тоннель, потолок которого снижался, так что сперва пришлось пригнуть голову, но дальше-то надо было двигаться ползком на коленях, а там, похоже, что и на животе, лицом в землю. Сзади явственно слышалось сопение, Максим не оборачивался, и без того знал, кого увидит. Он увидит того, с лопатой, в шапке. Или второго, такого же. Пузырева. Василия Петровича. Было душно, так душно, что стискивало горло.

Время истекло. Он упустил свой поезд. Оставался тупик в конце тоннеля или... четырехугольная яма, вырытая ими в огороде.

— Надо было вовремя определяться, Лихтенштейн,— услышал Максим за спиной, почувствовал холодную, липкую, смертную тоску.

И... определился.

По туче прошла ленивая судорога, полыхнуло, загремело, несколько крупных капель тяжело стукнуло по карнизу.

В холодильнике он нашел недопитую бутылку водки. Вчера заходил Гаврилов, принес, но не пилоь — жара. Максим взял со стола невытую чашку, плеснул туда остаток водки. Сегодня утром звонил Гольдин: «Пока никаких новостей, Андрей сейчас в отпуске, он бы...»

...Получалось — жизнь прожита в постоянном страхе. Максим всегда считал, что он не трус, а что на деле? Боялся нудных объяснений с руководством. Боялся кашубинской болтовни, от которой тошнило, росла гора и летел ворон. До увольнения боялся увольнения. Теперь — что не удастся найти работу. Боялся злорадных взглядов. И жалостливых — тоже боялся. Боялся всегда, в любой момент, возможной ситуации, в которой придется кому-то бить морду. Знал, что не струсит, но, Господи, как не хотелось! Боялся той минуты, когда в очередном отделе кадров, взглянув в анкету, замечутся глазами и снова скажут, что, к сожалению...

Он никогда не думал, что это чувство — страх. Думал: просто не хочу, потому что противно, унижительно, обидно, в конце концов. Не хочу! Но «не хочу» на самом деле и было страхом, потным, скверным, с мелкой дрожью, которая всегда возникала, когда надвигался пьяный скандал, где последняя мразь может безнаказанно назвать тебя жидом, и у тебя нет другого выхода, как лезть в безобразную драку. И, главное, надо было все время бояться, что не совладаешь с собой, подожмешь хвост, скажешь не то, что думаешь, не то, что обязан сказать. Обязан, если ты не дерьмо! А ведь этот страх не исчезнет, будет с тобой и в Сибири, и на Севере. До последнего дня, до смерти...

До сих пор Максиму везло: судьба не ставила его всерьез в такие ситуации. Валерий Антохин? Это так, пустяки, семечки! Ну, а дальше как? Потом, когда придет старость, когда что-нибудь менять будет уже поздно? Кто тебя тогда защитит? Нет, не от Пузырева, и не от пьяного антисемита, и не от хулигана. От нее: привычной, повседневной, въевшейся в кровь боязни унижения?.. От чертовой духоты.

Туда!

На следующее же утро Максим отправился в ОВИР, захватив с собой вызов, неделю назад на всякий случай заготовленный Осей.

Конечно, такого сверкающего лакированного пола, как у Антохиных, такого мебельного финского гарнитура со «стенкой», такого бара (откройте дверцу, и внутри загорится лампочка «миньон», осветит ряд бутылок с исключительно иностранными наклейками — хоть сейчас взбивай коктейль), такой коллекции дефицитных новейших изданий — ничего этого в комнате Павла Ивановича не было. Вещи здесь стояли старые, разрозненные. Кресло, например, — дедово кресло с круглой резной спинкой темного дерева — они с матерью привезли в сорок пятом из Белоруссии. Мать рассказывала, что это кресло старше нее. Павел Иванович тоже помнил его с детства — до войны к деду ездили на лето каждый год, в семейном альбоме даже имелась фотография: двухгодовалый Павлик с завязанным горлом важно восседает в дедовом кресле, «читает» толстую книгу, уместив ее на коленях.

Большой письменный стол принадлежал отцу Павла Ивановича, а еще раньше — его отцу, инженеру-строителю. От деда-инженера, не дожившего до революции, остался и чернильный прибор с мраморной доской и двумя, сейчас пустыми, чернильницами; в одной Павел Иванович хранил кнопки, в другой — скрепки. А вот широкий диван, на котором спит Павел Иванович, купили недавно, всего три года назад. Выбирали вместе с матерью, еще поспорили из-за обивки — Павлу Ивановичу приглянулась красная, а мать настаивала на темно-зеленой: красная скоро надоеет, утомительно для глаз и вообще больше подходит для буддара... легкомысленной женщины. Купили серьезный зеленый диван. А кровать, на которой мать спала сама, — чуть ли не бабушкино приданое. Деревянные спинки выкрашены в белый цвет, и на них — сиреневые ирисы. Эту старую кровать вместе с таким же сиренево-белым туалетным столиком мать несколько раз порывалась продать в комиссионке или подарить тете Зине — «ни то ни се, сошло бы еще, будь у меня отдельная спальня, а так...» Павел Иванович продавать не дал, а теперь следил, чтобы покрывало всегда было чистым и выглаженным и хрустальные флаконы на туалете не пылились. Берег он и книги в старинных, с золотым тиснением переплетах: словарь Даля, энциклопедию Брокгауза и Ефрона, прижизненное собрание Салтыкова-

Шедрина, самого любимого писателя Павла Ивановича, а также дореволюционных Достоевского, Гоголя, Пушкина. А еще Бальзака. И Диккенса, которого без конца перечитывала мать. Но больше всего было стихов, мать всю жизнь любила стихи; из Пушкина, Ахматовой или Пастернака могла часами читать наизусть. В общем, бóльшая часть библиотеки собрана была еще родителями Павла Ивановича, чудом уцелела в блокаде и стояла теперь рядом с подписными изданиями и техническими книгами, приобретенными позже им самим.

Когда-то школьница Алла брала у Татьяны Васильевны классиков читать по программе. Теперь собственные классики в новеньких переплетах скучали за стеклом ее финского стеллажа, и раз в неделю Валерий чистил их пылесосом: «Почитаем, когда выйдем на пенсию, сейчас некогда, пускай стоят для будущих детей».

У Павла Ивановича пылесоса не было, так и не собрались купить. Как и при матери, раз в неделю он смахивал тряпкой пыль с книжных полок и тщательно протирал стекла двух фамильных портретов в дубовых рамах. Один портрет представлял собой увеличенную фотографию деда в белом халате и докторском колпаке, на другом маслом была изображена надменная дама с высокой прической, бабушка по материнской линии, урожденная Сенявина. Род Сенявиных — старинный, бабушка окончила Екатерининский институт и, как часто повторяла Татьяна Васильевна, «ни разу до самой смерти не позволила себе выйти к столу без корсета. И не сутулилась. Павлик, выпрямись!... У них в институте девочек каждый день заставляли по два часа выстаивать у стенки, прикасаясь только затылком и пятками, сохрани Бог опустить плечи или прислониться к стене...»

Про корсет и стояние у стенки мать вспоминала всякий раз, как Павел Иванович сутулился или, того хуже, садился за стол в мятой рубашке. И он безропотно вставал и шел переодеваться.

— Сделаться хамом очень легко, — шурилась мать, — а отучиться от этого невозможно.

И даже в самые мрачные дни, когда и есть-то бывало почти нечего, она упрямо стелила на стол крахмальную скатерть и клала на специальные подставки серебряные столовые приборы с бабушкиной монограммой «NS» — Наталья Сенявина.

— Это же никаких денег не хватит на прачечную! — сокрушалась тетя Зина. — Да еще и с крахмалом! Купили бы, Татьяна Васильевна, клееночку, я хорошенькую видела в «Гостином» третьего дня.

Не признавала мать никаких клеенок, и даже теперь, без нее, Павел Иванович продолжал обедать на скатерти, хотя стояние в очереди в прачечной опостылело ему до последней степени.

Над обеденным столом висела небольшая, окантованная фотография отца. Снят перед самой войной, в Ялте. Белая рубашка с отложным воротником, вьющиеся темные волосы зачесаны назад, темные глаза наивно смотрят в объектив. «Это был удивительно красивый человек, Павлик, все женщины обращали внимание. Он походил на итальянца, и, кажется, там в роду что-то было... Ты, к сожалению, лицом в меня. Вот — считалась дурнушкой, а как любил! Блестящий, великолепный инженер, милостью Божией. И при этом никакого честолюбия, тщеславия, карьера его не интересовала. Здесь ты, к несчастью, похож во всем».

На тумбочке рядом с диваном Павла Ивановича стоял старый радиоприемник «Телефункен». Каждый вечер лет так с четырнадцати слушал Павел Иванович перед сном музыку, ловил заграничные станции, а когда стал постарше — передачи по-английски. Мать одобряла: на английском не опасно, и опять же тренировка в языке. Сама она и английский и французский знала с детства, так что слушали обычно вместе.

Благодаря приемнику Павел Иванович полюбил и серьезную музыку, начал ходить с матерью в филармонию... Теперь-то не до концертов — кощунством казалось развлекаться, когда мать т а м... А вот в комнате своей, среди привычных, любимых вещей, расставленных ее руками, он всегда чувствовал себя надежно и уютно, особенно если за стеной не слышно было соседей. Можно прилечь на диван, включить радио, или читать, или просто думать, это ведь очень важно — оставшись одному, сосредоточиться, понять, что происходит вокруг и в тебе самом, что — главное, а что — пустяки, где ты был прав и должен стоять на своем, а где... И как жить.

Павел Иванович с детских лет был убежден, что его дом — самый лучший дом в мире, гордился, когда к нему приходили товарищи, мать встречала гостей радушно, оставляла обедать, и ребята потом говорили: «Как

у вас хорошо, богато». А какое там «богато»! Просто мать все умела делать красиво.

Однажды, когда Павел уже учился в институте, начались разговоры, что в Советский Союз приедет с визитом Эйзенхауэр. Визиты иностранцев, тем более американцев, не были тогда таким будничным событием, как сейчас. К Соединенным Штатам благодаря своему приемнику Павел Иванович относился с большим любопытством, поэтому решил, что будет уместно пригласить зарубежного гостя к себе. А что? Ничего смешного! Интересно же президенту посмотреть, как живут простые советские люди, интеллигенты. Не так чтоб уж слишком богатые, но и не бедные ведь! Ему наша комната, конечно, должна понравиться, посидим, попьем чаю из праздничных саксонских чашек, а потом вместе послушаем джаз.

— Ох, Павлик...— только и сказала мать, когда он воодушевленно поделился с ней своими заветными планами.— Ну, а как же ты собираешься довести до сведения генерала Айка, что согласен его принять?

В ответ он задумчиво сказал, что надо, наверное, заблаговременно послать письмо в Министерство иностранных дел, чтобы там учли приглашение и включили соответствующий пункт в программу мероприятий, намечаемых для высокого гостя.

— Дурачок ты,— покачала головой мать,— прямо дитя, а ведь студент уже... Идеалист. Трудно тебе будет.

В последнем она, к сожалению, не ошиблась. А Эйзенхауэр тогда так и не приехал.

Эту субботу Павел Иванович проводил дома. Сверхурочной работы в тресте не нашлось, да и чувствовал он себя в последнее время довольно паршиво, устал и жара замучила, решил отдохнуть. С утра сходил на рынок, купил все, что нужно, к завтрашнему дню для матери, потом не спеша прибрал в комнате, распахнул было окно, но со двора вместо прохлады хлынул раскаленный затхлый воздух, пахнувший химией, так что пришлось плотно закрыть обе рамы. Павел Иванович решил сегодня не выходить, разве что под вечер добрести до «Сайгона» (так нарекла молодежь кафетерий на углу Невского и Владимирского), чтобы выпить там кофе. Обычно он обедал в столовой на Фонтанке не-

подалеку от треста. Можно бы, конечно, просто сварить макароны, но для этого надо торчать на кухне, а там сегодня с самого утра истоиво хозяйничала Алла Антохина.

Павел Иванович очень хорошо помнил, как тетя Зина почти силком заставляла дочку выносить мусорное ведро или подметать пол в коридоре, а уж если, не дай Бог, наказывала вымыть раковину и ванну, хлопали двери, раздавался Аллин рев и крики: «Я тебе не Савраска! У меня уроки не сделаны!»

Так было до самого Аллиного замужества и отъезда тети Зины в деревню. Проводив мать на вокзал, Алла сразу, в тот же день, принялась делать в комнате перестановку, выбросила тети Зинин комод, кровать с никелированными шарами, Валерий узлами таскал во двор какие-то тряпки, выносил полузасохшие кактусы; потом, уже ночью, молодожены вымыли пол, и началась новая жизнь. Вот тут-то и появилась финская мебельровка, Алла же теперь, бывая дома, буквально не присаживалась: все время что-нибудь чистила, мыла, скребла, пекла, закатывала, обдавала кипятком и откидывала на дуршлаг. Вот и сегодня: сперва долго гудела стиральная машина, потом, позвякивая, по коридору проследовал Валерий с сеткой пустых бутылок и уже от входной двери крикнул жене, орудовавшей в ванной:

— Я после посуды за апельсинами постою!

Алла не ответила. Последнее время между супругами явно был разлад, но Аллино хозяйственное остервенение от этого почему-то удесятирилось.

Развесив на кухне белье, она, видимо, взялась варить обед — до Павла Ивановича доносилось раздраженное брнчание кастрюль.

Павел Иванович знал, что соседка не уймется теперь до вечера. В звоне посуды ему слышались злоба и упрек бездельникам, которые валяются по диванам, когда люди вкалывают, он даже вздрогнул, услышав, что в коридоре, у самой его двери, шаркает швабра. Он негромко включил приемник и, пошарив в эфире, нашел музыку. Это был Чайковский, Четвертая симфония.

...Когда-то очень давно, в школьные годы, они слушали ее вместе с матерью. Было это летом, в парке, кажется, на Елагином острове. Оркестранты сидели на открытой эстраде, Павел Иванович с матерью стояли на дорожке сбоку, и мать вдруг прошептала ему на ухо:

— Погляди, какой трогательный. Старенький. А контрабас — как попугай.

Павел Иванович сперва не понял: кто старенький? Какой попугай? Но всмотрелся и увидел: маленький старичок, покрасневшись от воодушевления, щипал струны, а над худым плечом его поднимался гриф контрабаса, и, казалось, там сидит нахохлившись большая заморская птица с крючковатым клювом. Пахло душистым табаком, листьями, рекой...

Музыка смолкла. Под дверью было тихо, потом раздалась удаляющиеся шаги, Павлу Ивановичу показалось: Алла идет на цыпочках.

Алла ошибалась, когда говорила мужу, что сосед не замечает их с Валерием, не считает за людей, а только за «со-своей-подметки-грязь». Павел Иванович, напротив, очень даже их замечал и всегда помнил об их присутствии в квартире. Вот и сейчас, слушая музыку, он никак не мог отвлечься от мысли, что Алла совсем рядом, и это мешало ему. Он опять, в который раз, задумался о ней. Что заставило эту молодую, красивую, образованную и вполне обеспеченную женщину гнуть спину, день за днем убивать на хозяйственные работы? Она ведь делает в десятки раз больше, чем требует того необходимость. Нет, никто не говорит, что нужно бездельничать, жить в грязи и кормиться по столовкам, особенно если у тебя семья. Никто этого не говорит, мать вон тоже всегда готовила обед, и в комнате был порядок, но делалось это как-то весело, между прочим, без надсады. Не считалось первостепенным. Есть в доме обед — хорошо, нет — не умрем, можно поджарить колбасы. Белье сдавалось в стирку, полы мыла уборщица из «Невских зорь», а иногда и тетя Зина («Татьяна Васильевна, хочу подзаработать»). По вечерам мать часто работала дома, сидела над рукописями, она до шестидесяти лет была редактором в большом издательстве. И все-таки оставалось время читать, поехать осенью в Павловск, а весной — в Петергоф или просто побродить по набережной; оставалось время для спокойной беседы, не о быте, нет, не о том, что нигде ничего не достать,— одни очереди, даже не о том, как неудачно женился сын сослуживицы, а о том, например, как трудно, почти невозможно сказать себе правду о себе самом, о том, что это вообще такое — правда, или, допустим, хорошо или плохо — быть честолюбивым. Мать могла вдруг надолго замолчать, задумавшись, засмот-

реться на воробьев, скачущих по заснеженной дорожке в парке, на ветку с набухшими почками, на облако за окном. И Павел Иванович понимал: это очень важно, это вот и есть та самая внутренняя жизнь, которая требует к себе внимания, уважения, требует труда и времени, да! — времени, и тратить на это время ничуть не жалко, а необходимо, во сто крат нужнее обыденной пустопорожней суеты. И, наверное, она, внутренняя-то жизнь, как раз и отличает человека от старательного муравья, волокущего еловую иголку, или от курицы, которая так трудолюбиво и сосредоточенно роется в пыли...

Стоит ли приносить все это в жертву ослепительному паркету, ежедневному пирогу, запасам варенья и даже консервированным («совсем как свежие!») огурчикам среди зимы? Стоит ли платить за огурчики такую цену?

Стукнула дверь, и Валерий протопал в кухню, громко, как это было у них заведено, перекликаясь с женой. Павел Иванович поневоле получил информацию, что апельсинов в магазине нет, но молочные бутылки сда ны, а винные сегодня не принимают — в пункте пересчет. Несколько минут Антохины возбужденно ругали безобразные порядки в службе приема стеклотары, потом Алла сказала, что надо снести макулатуру — она набрала целый мешок, и еще хорошо бы попасть в химчистку, ковер уже пора сдавать.

— Мы хотели, когда в отпуск... — возразил было Валерий.

— А чего откладывать? Время есть, — буркнула Алла.

Время есть... Для ковра есть время, для макулатуры, для очередного надраивания и без того блестящих кастрюль... А с чего я взял, что за свое образцовое ведение хозяйства они платят какую-то бешеную цену? Что, если я все время путаю причину и следствие? Они заняты делами, считал я, поэтому у них ни на что больше нет времени, его сожрали без остатка «совсем как свежие» огурчики. Все не так! Огурчики — следствие... Они сами находят себе дела, забивают время до отказа всей этой... шелухой. Ага... Тут что-то есть. «Белье в прачечную не отдаю, там рвут». У нее хватит денег купить новое, даже если разорвут, но деньги тратить жаль, а время — не жаль. Почему? Из скупости? Нет.

Алла не скупая. Переживания по поводу прачечной, сдачи бутылок, чистки ковров, доставания модных книг и — будь они неладны! — консервирования огурчиков ей нужны. Это... форма духовной жизни. Или — душевной? Пусть душевной. Потом появятся переживания по поводу покупки машины, гаража. Обстановки для новой кооперативной квартиры. Нет, они не накопители! Это на них наклепали журналисты, дело тут вовсе не в барахле. Дело в том, что им **необходимы** эти хлопоты и, на первый взгляд, бессмысленные телодвижения. На первый взгляд! Это все бессознательная попытка заполнить пустоту в неразвитой, темной душе, которой никто никогда не интересовался, никогда не занимался, в которую кое-как напиханы и тут же забыты пустопорожние, жестяные правила и ничем не подкрепленные декларации... И ведь так же по-деловому, торопливо домыв полы, Алла побежит на концерт и станет, наморща лобик, изучать программку, догадываться, что хотел сказать автор своим произведением. Или схватит перед сном дефицитного Булгакова, чтобы тут же отложить — спать хочется. Да и как же не хотеться, если за день столько переверорочено: во-первых, стирка, во-вторых, обед, в-третьих... в-четвертых... в-десятых... И только на самом последнем месте, когда ничего более важного не осталось, — Булгаков, на которого уже нет сил... А не записана ли эта судорожная, беспробудная деятельность в ее генетический код? Надо встать с петухами, подоить корову, накормить скотину, потом детей, и — в поле до заката. Изо дня в день, из поколения в поколение... Ни минуты без дела, — чтобы вот так, просто так, валяться на диване, решая мировые проблемы... А ведь получается, что правы-то — они, Алла с ее огурчиками и непрерывными уборками, они — работники, а те, кто на них не похож, кто живет иначе, — обычные лентяи. Они небось и в институте у себя вкалывают... А вот что стала бы делать такая Алла, если бы не тратила столько времени на быт? Если бы кто-то все за нее организовал, устроил, наладил? А нашла бы себе другое занятие! Принялась бы что-нибудь коллекционировать или... лечиться от болезни, тотчас возникшей от тоски и пустоты.

...Но ведь мать уничтожила бы меня за эти рассуждения: «Высокомерие! Пренебрежение к простым людям! Позор! Русская интеллигенция никогда себе не позволяла, напротив...» Все верно, мама, даже то, что

такая жизнь, как у них, у Антохиных, имеет право на существование ничем не меньшее, чем любая другая, чем моя, твоя... может быть, даже и большее, только мне... только я... Да, я знаю, ты сказала бы: «Любите ненавидящих вас» — а они ведь даже не ненавидящие, просто совсем другие. Инопланетяне... Или это я — не приспособленный к жизни... вырожденец?..

Раздался громкий крик:

— Надоело! Ты давал слово!

— Не хлопай дверью! И не обзывайся! — Валерий выскочил за женой в коридор. — Любимое дело — чуть что, клеить ярлыки. Выходит, раз ему так повезло, что он еврейчик, о нем уже и слова сказать нельзя?

— Ты почему-то всегда точно знаешь, кто еврей, а кто узбек. Не спутаешь.

— А ты бросаешься защищать! А сама говорила...

Переругиваясь, Антохины ушли, не иначе — ковер потащили в химчистку. В доме сразу стало тихо и хорошо, можно было даже выйти и поставить наконец чайник, но Павел Иванович еще несколько минут посидел на диване — а вдруг вернутся. Потом все-таки отправился на кухню, всю завешанную бельем. Нырять под веревки и задевая головой мокрые простыни, он зажег горелку. На столе Антохиных красовался новый предмет: большое эмалированное ведро с крышкой. Наверняка — для квашения капусты, солений или мочений... А все же дело обстоит не так-то просто... Это легче всего сказать — «нет у них внутренней жизни...». «Еврейчик»... С чего бы такие проблемы? У Аллы аж голос звенел, а Валерий, наоборот, бубнил, он всегда бубнит, когда злится. У нас с матерью почему-то никогда не заходил разговор на эту тему. С детства было известно: ругать евреев, антисемитом быть позорно.

Есть антисемитизм у нас сегодня или нет — этот вопрос был как-то вне сферы интересов Павла Ивановича. Наверное, есть, особенно бытовой, — вот, пожалуй-ста, возьмем хоть Валерия. Впрочем, евреями, с их обостренной, столетиями выработанной чувствительностью и комплексами, все эти проблемы явно преувеличиваются. Павел Иванович не раз слышал, будто еврейские школьники не могут и думать о поступлении в универ-

ситет, слышал, но не очень верил, не мог поверить — такая нелепость... Да... а Валерий-то хорош... Нет, это подонок. Скажите на милость, ариец выискался!

Раздался робкий звонок, и вслед за ним в дверь забарабанили, похоже, ногами, и Павел Иванович бросился отворять. На пороге он увидел худого, приземистого пьяного в рабочей спецовке.

— Х-хозяин,— с трудом произнес тот, протягивая Павлу Ивановичу нечто, завернутое в тряпку,— возьми ты его, ради Бога. За пятерку, на хрен, отдаю.

Павел Иванович растерянно попятился, и пьяный шагнул за ним в квартиру.

— Возьми, хозяин, а?— враждебно прогудел он и высвободил из-под тряпки новенький, блестящий микроскоп.— Новая машина, на всю жизнь. Бери, не пожалеешь!

— Нет у меня пятерки,— честно сказал Павел Иванович.

Секунду пьяный осуждающе глядел на него, потом махнул рукой:

— Бери за треху!

Но у Павла Ивановича и трешки лишней не было. Хуже того, не нашлось даже одеколona, так что пьяный совсем расстроился. Под конец ему отчего-то вдруг, видимо, стало жалко Павла Ивановича, и он сказал:

— Ни хрена! Ты... этого, не переживай, понял? А... Деньги... эта... тьфу... И растереть! А будут — заходи, я тут всегда. Сегодня, на хрен, отдежурю — сутки дома, а со вторника — в любое время. Соседний дом, понял? Любую машину тебе устрою, лучше этой. Эта, на хрен,— дерьмо, хоть и из нержавеющей стали. Там, знаешь, какие есть — во! С газовую плиту, гад буду! А хочешь — полотенце вафельное принесу? Целый, на хрен, р-рулон. Ну, будь здоров!

Павел Иванович запер за гостем дверь и побрел в свою комнату... А жить так больше нельзя, это не жизнь. Сегодня вот подслушивал соседские разговоры. Что будет завтра? «Жалкое прозябание»,— сказала бы мать. Надо по-другому, но как? Она бы знала — как... Но ведь не так же, как Антохины... А может, ты в глубине души им завидуешь, потому и злишься: зелен виноград? Может, и сам бы не прочь, чтобы сейчас тут

между стульев двигалась со шваброй крепконогая, ладненькая хозяйка — и... какие там еще, на хрен, духовные запросы? — наводила бы в доме порядок, вон — в углах — паутина! А ты бы сам... ну что? — пылесосил. Или переклеивал обои. Не нравится? Тогда женись на мясниковой дочке: «Ах, я так обожаю живопись! На Литейном в комиссионке продают картину, пейзаж с деревьями. Художник? Н-не знаю... Кажется... Мусье? Или Монпасье, короче — француз...»

...Если проникнуть в парк через калитку и пойти по аллее, то между стволами скоро покажется дом. Деревянный с белыми колоннами и портиком. Широкая, посыпанная песком дорожка ведет к подъезду. Залитая солнцем гостиная. Рояль у окна. Женщина в белом платье. Кажется, это место называлось... Смирновицы?.. Смердовицы?.. — так вроде говорила мать. То ли там было имение Сенявиных, не то — просто ездили к кому-то в гости, мать была совсем маленькой девочкой, не помнит точно. Парк из одних дубов, а вокруг — лес, настоящий дикий лес, с грибами, ягодами, чащобой. Взрослые пугали: там водится настоящий волк... Где это? Теперь не узнать.

...Женщина у рояля подняла голову, увидела Павла Ивановича, улыбнулась... Да... Идеалист. Это верно, вернее не скажешь. И фантазер.

Теперь усадьбы наверняка нет — сожгли. И парк вырубили.

Павлу Ивановичу нужно, чтобы вернулась мать. И чтобы все было, как раньше. Больше он сейчас ничего не хотел.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ВАЛЕРИЙ

А Валерий Антохин вовсе не считал себя антисемитом, хотя, конечно, у него было вполне сложившееся мнение по поводу типичных черт характера лиц этой национальности. Между прочим, право на свое мнение по тому или иному вопросу имеет всякий человек, а речь идет исключительно о т и п и ч н ы х, среднестатистических национальных чертах, вовсе не обязательных

для всех и каждого. Так Валерий и сказал Алле во время последней ссоры, когда она договорилась до того, что обвинила мужа в фашизме. Валерий тогда еще напомнил, как он всегда относился к Григорию Марковичу Гольдину, и добавил, что среди евреев встречаются на редкость симпатичные и толковые люди. Действительно: никаких отрицательных эмоций Григорий Маркович у Валерия, несмотря ни на что, не вызывал. А вот Лихтенштейн — вызывает.

Причины? Их более чем достаточно. Начиная с его самомнения, манеры вести себя с этакой барской небрежностью, точно этот еврейчик — по крайней мере наследный принц, и кончая... что ж, допустим, тут сугубо личные дела, но все-таки вряд ли кому-нибудь понравится, если его молодая жена на третий день после свадьбы покажет ему некоего долговязого пижона библейского вида и сообщит, что он, дескать, ее «первая, хотя и безответная любовь». Выходит, красавец пренебрег ее чувствами, и тогда она с горя осчастливила его, Валерия Антохина. Довольно смешно, не так ли? Нелепо и смешно. И, надо отдать Валерии должное, он никогда не опускался до того, чтобы всерьез ревновать Аллу к Максиму, даже теперь, когда та разыграла из себя борца за права малых народностей, всю демонстрировала свою симпатию к Лихтенштейну и сочувствие по поводу безобразной истории с «Червцом». Валерий считал, что в скандале Максим целиком виноват сам, нечего было разводить демагогию на собрании, а руководство обошлось с ним поразительно мягко: могли бы отдать под суд за историю с «первым образцом», так нет же, замяли, а ему, несмотря на скандал, всего-навсего предложили уволиться по собственному желанию. Почему-то с ними так всегда, другой бы сгорел, как свечка, а этот отправляется за рубеж. Решение Лихтенштейна поменять подданство, о котором мгновенно узнали в институте, а) доказало, что этому человеку плевать на всех, вплоть до государства, которое его вырастило, и б) подтверждало мнение Валерия насчет волка, которого, как ни корми... Короче, Лихтенштейн оказался, грубо говоря, — предателем. Предал из трусости, такие случаи известны.

Эти свои соображения Валерий спокойно и достаточно дружески изложил Алле, что вызвало новый всплеск благородного гнева. Ему дали понять, что он

мелкий завистник (?!), комплексант и, в общем-то, подонок, и Алла просто не может понять, что могло связывать ее с таким человеком. Конечно, Валерий был убежден, что ее поведение — блажь, женские фокусы, но, согласитесь, всякое терпение имеет пределы! Он чувствовал, что еще немного — и сойдет с резьбы: запьет или... ударит Аллу. Или, и это скорее всего, впадет в нервную депрессию. Такое скверное состояние было у него только однажды в жизни, на первом курсе, когда Валерий оказался один, без родителей и знакомых, в огромном городе, и несколько месяцев чувствовал себя так неуютно и одиноко, что чуть не сбежал домой, — самолюбие удержало.

В маленьком сибирском городке, райцентре, где было всего одно предприятие и командовал этим предприятием его отец, Валерия Антохина узнавал на улице каждый второй. Секретарь райкома здоровался с ним за руку. Здесь же, в институте, среди тысяч незнакомых людей, из которых ни один не проявлял нетерпеливого желания скорее познакомиться и подружиться с рядовым студентом Антохиным, Валерий растерялся. Набиваться на дружбу он не привык; слоняясь в перерывах между лекциями один по коридорам, осторожно поглядывал на шумных ленинградских ребят, прикидывая, отличаются ли они чем-нибудь от его одноклассников. И от него самого.

Вроде бы и одет Валерий был не хуже них — в импортный, дорогой костюм, и прическу носил такую же. Но вот не умел он так вольготно усестись на подоконник, закинув ногу на ногу, и громко острить, чтобы все проходящие оборачивались. Развязность и самоуверенность — вот чем они отличались, эти мальчишки! Поняв это, можно было бы, казалось, и успокоиться, сойтись с кем-то из скромных иногородних студентов, которых на курсе было достаточно, только никто их не видел и не слышал, но самолюбивый Валера Антохин привык, чтобы его видели и слышали. И, смилив свою гордость, он сделал попытку подружиться с теми, что всегда были на виду, с уверенными, шумными и раскованными.

Самыми заметными среди них были двое: Юра Аксельрод и Марат Соколин. Юра, высокий, спортивный, элегантный, чем-то, пожалуй, походил на Макса Лихтенштейна, только Максим — брюнет, а у Аксельрода

были длинные и — странно! — светлые волосы. Его приятель Соколин никак не мог претендовать на звание красавца — роста он был невысокого, не выше, чем Антохин, маленькие темные глаза смотрели из-под очков с постоянной насмешкой. Одевался Марат кое-как: в потертую куртку на молниях и брюки с пузырями, вечно ходил небритый, но стоило ему открыть рот и, не повышая голоса, сказать несколько слов, как все окружающие, глядя на него с обожанием, принимались хохотать, девушки аж визжали, приговаривая: «Ой, Соколин! Ну, ты даешь! Ой, не могу!» Похоже, каждая вторая уже успела втрескаться в остряка-самоучку, хотя не только красотой, но и особой галантностью тот не отличался.

И все-таки Валерий старался держаться поближе к этой компании, приходил после лекций в вестибюль под часы, где в окружении подлипал всегда околачивались Аксельрод с Соколиным, стоял там вместе со всеми, смеялся чужим остроумам, но участвовать в общем разговоре — как-то не получалось, робел.

Школьником Валерий часто развлекал ребят, копируя походку учителей или общих знакомых. Как-то под часами он, набравшись смелости, рискнул изобразить, как ходит преподавательница математики, которую за манеру подволакивать ногу весь институт называл «Кривая второго порядка». Никто не улыбнулся, а Марат посмотрел Валерию в глаза долгим, грустным взглядом и пожал плечами.

Валерий ушел, дав себе слово плюнуть на этих пижонов. Для чего, в конце концов, он поступал в институт — учиться или трепать с ними языком?

На следующий день после занятий, подходя к их любимому месту под часами, он нарочно ускорил шаг и отвернулся. И вдруг услышал громкий голос Аксельрода:

— Антохин! Ты куда это устремился? Валера, стой!

Валерий и не думал, что они знают его имя, до сих пор вся эта компания вела себя так, точно Антохина не существует в природе.

Он подошел.

Затянувшись сигаретой, Марат Соколин спросил:

— Хочешь новый анекдот?

Вся братия смотрела на Валерия, и он, краснея, пробормотал:

— А чего... Давай.

Соколин кивнул и деловито начал:

— Значит, так: повели слепых в баню...

Кто-то из девчонок захихикал, и Валерию тоже стало смешно.

— ...а поскольку они слепые,— продолжал Марат с хмурым видом,— то и повели их в женскую баню...

Все дружно захохотали, Валерий засмеялся тоже, испытывая радость, облегчение, даже любовь к этому небритому Соколину, к ребятам, сразу ставшим своими.

— ...Вот один слепой налил в шайку горячей воды да ка-ак плеснет сослепу на голую бабу. Та как заорет: «Ты что, мать твою! Ослеп?! Это ж кипяток!» А он: «Ну-у? А я думал: это... компот...»

Валерий хохотал так, что у него текли слезы. Он даже глаза закрыл. А когда открыл их, увидел вокруг серьезные лица, сочувственные взгляды и только потом услышал смех — свой собственный одинокий смех, громкий, визгливый, нелепый.

Сложив на груди руки, Соколин с любопытством смотрел на Валерия, будто экспонат в музее разглядывал. Потом повернулся к Аксельроду и лениво сказал:

— Вот тебе иллюстрация: конформизм в чистом виде.

Почему, вспоминая этот случай, Валерий Антохин до сих пор испытывает стыд, унижение и ярость? Ведь уже на втором курсе все изменилось: он съездил на целину, он получил повышенную стипендию, его избрали в факультетское бюро. К третьему курсу он уже чувствовал себя в институте ничуть не хуже, чем дома, в своем сибирском городке. И Соколин, кстати, оказался нормальным, контактным парнем, выступал с фельетонами в самодеятельности; Валерий часто сталкивался с ним, когда приходилось организовывать вечера, и Марат держался вполне дружелюбно. Похоже, он начисто забыл про случай под часами.

Валерий до сих пор не любил вспоминать те несчастные первые месяцы в институте, да и не было, слава Богу, повода вспоминать. И вот теперь, через столько лет, в своем собственном доме, со своей собственной женой, он вдруг опять почувствовал себя отверженным провинциальным мальчишкой, которому во что бы то ни

стало хотят доказать, что он — хуже всех. Это он-то... И, главное, хуже — к о г о?!

...А Юрку Аксельрода, между прочим, отчислили на втором курсе за академическую неуспеваемость...

ВСТРЕЧА

Всю ночь до рассвета слесарь Денисюк Анатолий шел к себе домой в Дачное.

После работы завалились с ребятами в угловой, взяли три «бомбы», полпалки «отдельной» и два батона булки. Потом сидели в садике на лавке, и вроде бы подходили менты, но, видно, обошлось — вот же он, Денисюк, жив-здоров, не битый, идет к себе домой. Приходится — пешком, трамваев нет, метро давно закрыто, да что метро! Хрен тебе, не пускают они, гады, в метро, чуть чего: «вы в нетрезвом виде», а заступишь, пригласят ментов — и с приветом.

Денисюк тихо брел по пустым светлым улицам, белая ночь стояла над Питером, под ногами путались клубки тополиного пуха.

На той стороне, возле перекрестка, где светофор, две собаки играли в домино. Тоже, видать, коротают ночь, бедолаги, некуда, на хрен, податься. Хорошо все-таки, когда есть свой угол, а то ведь вот сидят ребята, «козла» забивают, а что за «козел» вдвоем? И ведь никому-то от них вреда нету, а коснись что — к живодерам. И ни одна падла не заступится, кому дело до ничьей собаки? Никому. Вот гадство.

А у Денисюка угол был, комнатенка. Конечно, хреновая, но — в новом доме и, как ни крути, — своя. Пускай в коммуналке, но все равно, что в отдельной — соседей всего одна семья и люди как люди, а если чего и бывает... ну, так ведь у кого, если на то пошло, не бывает? Где ты видал, чтобы не поговорить, ты — ему, он — тебе? Да хоть и дадут разá — так тоже: заслужил — получи.

Нет, хоть задавись, не вспомнить, куда пошли из того садика и почему вот оказался он, Анатолий, поздно ночью один на скамейке в сквере на площади Стачек. Среди собак.

Зато днем, на работе, вообще получилось смешно, здорово получилось. С утра-то, конечно, на хрен, был

немного поддавши, самую чуть: помогал переносить столы, и Кашуба, золотой старик, наградил — сто грамм гидролизного. Настроение стало хорошее, и после обеда зашел на склад, а там бабы сидят, дурью маются, давай шутки разные шутить, а Денисюк, сам не знает с чего, вдруг возьми и скажи: я, говорит, бабы, сегодня без исподнего, мы с тещей одни трусы поперемен носим, сегодня ее очередь.

Чего выдумал, сам даже удивился — какая, на хрен, теща? А эти дуры обрадовались, закудахтали: врешь, говорят, не верим, докажи. Он им: и докажу, бабы, только давайте заспорим. Выйдет, как я сказал, — вы мне двести грамм чистого, а если вру — ящики вам со двора перетаскаю за так!

Заспорили. Тут эта Рюхина, самая у них старшая, бойкая такая стервь, как говорят, «баба с яйцами», орет:

— Ну, давай, доказывай, предъявляй свое хозяйство.

Денисюк ей:

— Больно умная. Сама гляди и убеждайся.

И, думаешь, побоялась? Подскочила, хохочет, рожка красная. Ну, пропало дело: трусы-то тут, хотя и рваные.

Расстегнула она пуговицу, другую, и вдруг как занервничает, аж дрожит, на верхней губе — пот, глаза шалые. Эх ты, едрена палка, баба-то, она ведь и до старости баба. Денисюк ей так и сказал:

— Ну, чего ты, на хрен? Проверяй давай! Не стесняйся!

Она как отпрыгнет и давай орать:

— Хулиган! Зараза! Мать твою так и растак! В гробу я тебя видала! Больно надо! Девки, да налейте вы ему спирту, пусть отваливает со своим дураком!

Вот умора... А не скажи — жалко ихнюю сестру, которые вот так, без мужика... Спирт, конечно, взял и пошел. К концу дня уже хорош был, а там зашли с ребятами...

...А здорово как на улице ночью, все такое, на хрен, чистое, спокойное, людей нет, никто тебя не толкнет, не обругает. И пух этот тополиный, вроде снега, точно зима. А тепло, хоть в реке купайся.

Хмель постепенно выходил, но настроение, против

обычного, не портилось — уж больно светло и тихо было на улице.

Когда Денисюк подошел к дому, был уже совсем как стеклышко и чувствовал себя отлично. Над городом начиналось утро.

В комнате своей сразу открыл окно. Запахло топелем.

Он стряхнул со стола крошки, вынес на кухню окурки, составил в угол пустые бутылки из-под пива — завтра снести, сдать. Спать совсем не хотелось, но часок покомарить все ж необходимо, в восемь — на работу, будешь, на хрен, ходить смурной, как все равно идиот.

И только Денисюк принялся разбирать постель, за спиной зашуршало. Денисюк обернулся.

Ну, мать твою!.. Гад, живой и целый, которого лично у магазина на бутылку сменял, из-за которого потом такой вышел базар! Ведь как приставал Кашуба: признайся, где животная тварь, говори! Но не такой дурак слесарь Денисюк Анатолий, не первый год на свете живет, все понимает: секретный — он секретный и есть, из сейфа; хоть червяк, хоть, на хрен, крокодил, тут дело такое — решеткой пахнет. Денисюка не расколешь! В милиции три раза был — и ни хрена. А тут на старости лет — и в тюрьгу идти из-за того, что по пьянке взял эту гнусь да снес к магазину? Еле допер, тяжелый, зараза, а тот ханыга, который бутылку дал, тоже был хорош, сам еле на ногах стоял. Поверил, что рулон полотенца, обрадовался, хрен собачий, схватил и к животу прижимает. Унес гада. А вот теперь — он здесь, торчит в окне, башкой машет, змей. Еще и в очках! Белая горячка, что ли, у меня? Сгинь, дьявол, провались!

Денисюк даже перекрестился, но червяк и бровью не повел, ввалился через подоконник, все свои метры в комнату затащил и — к столу, ставит, сука, на стол «маленькую» — где взял? Магазины сто лет как закрыты. Сидит, улыбается, козел змеиный.

Денисюк ему:

— Ты чего?

А он:

— Да так. Зашел вот к тебе, сказать, что ты все же сволочь, слесарь Денисюк Анатолий. Еще называешься ветеран труда.

— Ну, ты! Потихе! Знаешь: мы таких-то говорков сшибали хреном с бугорков.

— А мы таких рассказчиков... гребли на рынке с ящиков,— червяк отвечает. Как разумный. Сам берет со стола «Север», спички, закуривает.

Ну, что тут будешь делать? Денисюк достал стаканы, даже на кухню сходил, вымыл. Разлили.

Червяк: так, мол, и так. Ясное дело, я от твоего жлоба в тот же вечер уполз, поищет он свое полотенце. И, сам понимаешь, не в жлобе дело. И не во мне, мне — что. Я лично даже рад, что так получилось — неожиданная перемена в судьбе. Но парня ты зачем подставил? Максима? Хороший ведь парень.

— А... не русский он,— сказал Денисюк, подумав.

— Ну, а хоть пускай бы не русский. И что? Лучше тебя-то, пьяницы.

— Это ты брось, понял!— обиделся Денисюк.— На свои пью, это раз. А второе — кто я есть? Хозяин страны. Понял?

— Дурак ты, уши у тебя холодные. Хозя-я-ин! А он — кто? Шестерка? Он же сирота, всего — своими руками, а ты его — под вздох...

— Ладно. Насчет сироты, конечно... Я — чего? Я, допустим, как бы сказать... на хрен... а и поумнее меня ошибались, понял? Не плачь, выпей лучше, устроится твой Максим, парень он с головой, везде возьмут.

— Вот и видно, что чудило ты грешный. Правильно говорят: дурака драть — только... хрен тупить... Возьмут! Потом догонят и еще раз возьмут. У него — анкета, сам же тут разорядился. Уезжает он. Насовсем. В государство Израиль. Ясно тебе?

— Та-ак... Ну, дела... Ай да Максим Ильич, ну, мужик! Еще ты говоришь, они не хитрые. Ей-Богу, молодец! Они его — на хрен, а он — их. На хитрую-то жопу есть хрен с винтом, понял-нет? Устроится, лучше здешнего будет жить, попомни. Спасибо еще мне скажет.

— Ну ты и бутылка — «устроится». Тут родина его, а этот: «устроится»!

— Так я ж тебе объясняю — не русский он, еврейской нации, какая тут родина?

— А вот точно такая, как и у тебя. Он что, в Африке родился? Мать-отец из Америки приехали? Здешний он, всё у него тут... Вот ты, скажи, ты бы уехал? А?

— Я-то? Ясное дело! Тут-то чего хорошего? Заимел бы машину, каждый день, как фон-барон... Там, понял?— вкалывай, и все будешь иметь, а я чего-чего, а вкалывать могу, рабочий класс!.. А только пошел бы ты с этой границей! Я ее — знаешь как? Туда и сюда, понял? На хрен она мне, мне и здесь хорошо, рабочий — он и есть рабочий, отмантулил свое...

— Это ты — рабочий?! Какой ты рабочий, алкаш ты, работать давно разучился!

— А вот это, на хрен, брось! За такое можно и в рыло... Да мне — чего велят, я — безотказно, мастер — золотые руки, хотя бы Кашубу спроси Евдокима Никитича. Они-то сами гайку и ту завернуть не могу, чуть что: «Анатолий Егорович» да «Анатолий Егорович! Пож-жялусста, не откажите в любезности...»

— И — гидролизного?

— Чего это — «гидролизного»? Налют и ректификату, не думай. У нас не граница твоя — каждому, на хрен, по труду.

— Не смей! Квалифицированный слесарь, а чем занимаешься? Круглое катить, плоское тащить?

— Вот прилип, зараза! У нас — всякий труд почетный. Мне лично очень даже нравится. Кому не нравится — гуляй, а мне хорошо.

— Тебе?! Да ты хоть знаешь, что это такое — хорошо? Полвека отжил, а что видел? Было ли тебе хоть раз в жизни хорошо-то, единственный разочек?

— А хочешь знать, хотя бы и сегодня! Шел вот домой — и до того хорошо — чисто, тихо... Прямо как в деревне. И не лезь ты в душу, сука плоская, не то как...

— Сдалась мне твоя душа! Ничего в ней не осталось, кроме разве что перегара. Деревню вспомнил. И сидел бы там, чего не сиделось?

— Ага! Ты б еще спросил, чего меня мамка девкой не родила. Девятьсот сорок пятый год, понял? Подыхать там, что ли?.. Ну, а и остался, так что бы сейчас там делал? Деревни нет давно...

— Матка твоя, покойница, к слову сказать...

— Матка! Так она, дурья твоя башка, еще при царе родилась, привыкла — на земле... Ведь ишачили в поле с утра и до вечера, считалось — так и надо. Все — и матка, и батя, дед с бабкой — тоже... А там теперь и полей-то не осталось, одни кусты... Дома по бревну

порасташили... Раньше-то богатая была деревня, хлеба — от пуза, молока — залейся. Давно только, при барине еще. А и я помню — до войны бабка чуть чего: «Ох, чего счас-то, вот при барине, при Ляксандре Тимофеиче... И другие старухи заводят: «Ой, верно, ай, так — и церкву расширил, и школу построил, и ребятишкам деревенским на Рождество — елка с гостинцам». Да и батя мой, покойник, — тоже. Хвалили того барина. Это да.

— И куда же он подевался, благодетель-то, Ляксандр Тимофеевич?

— А кокнули. Когда усадьбу жгли. Батя вспоминал — они это, значит, приходят, а барин — на крыльцо: «Вам чего, мужички?» Ну... его и... У нас в избе долго еще гардероб стоял, я так лично его с рождения помню, красный такой, блестит... Мать как померла — все расташили, дом — на дрова... Соседи, хрен их... а может, из города кто.

— Да-а... А барин-то? За что его?

— Как — «за что»?! Барин он, кровосос... Да чего ты все пытаешь, гад заморский? Шпион ты или кто? То про за границу, то — барин антисоветский... У меня своя жизнь, понял? Какая есть, такая и есть, не жалуясь. Вон — комната двенадцать метров, санузел раздельный, работа... тоже...

— Ага. В шараге. А ведь не врешь, были у тебя золотые руки... как у бати-покойника... да ты его разве помнишь, батю-то?

— Опять завел. Да батю убили, мне восьми лет не было...

— Я к тому, что он, батя твой, все мог — и дом поставить, и печь сложить, и на земле... Да и ты, когда еще на заводе... А теперь — что? Теперь ты, брат, свои руки пропил, погляди — трясутся. А помнишь — еще в ФЗУ отличали, мог бы...

— Что — «мог»? Ну что — «мог», зараза хренова? Вспомнил!! Видал я твое ФЗУ... вместе с тем заводом... Гудит, как улей, родной завод, а мне-то... Плевал я, понял?

— Еще бы не понять. Обидели, как же! Бригадиром поставили, нахваливали, а ты уж и расчувствовался, бабе своей внушал: «Ценят, отмечают». Чуть на радостях пить не бросил, полтора месяца в рот не брал. А они: «Иди-ка ты, Денисюк, назад, на рабочее место, рупь в час, два в день, сто дней — сто рублей. Иди-иди,

у нас на бригадирскую должность получше тебя есть, грамотный, из техникума». Ну, ты и загудел. По-черному. Так загудел, что родная баба бросила, из дому ушла. Верно?

— А верно — не верно, какой теперь спрос... Ну, поставили горбатого Сашку, подлипалу, у него, и точно, ксива была, образо-о-ванный... Только им не это главное, им — чтобы начальству задницу получше вылизывал... И отвяжись. Пристал, как в ментовке, надоело. Живет человек спокойно, работает в этой... научной лаба... лабалатории, все уважают. Не каждому в начальники вылезать.

— Тебя? Уважают? Разуи глаза! Уважают его, главное дело. «Бобик, сидеть, Бобик, лапу! Бобик, служи!.. Ай, хорошо, ай, молодец, вот тебе косточка... то бишь — стопочка». Что, не так? Уважают... Ну, чего дрожишь, озяб или с похмелья? Пошел я, счастливо оставаться... уважаемый...

И пропал червяк. А Денисюк Анатолий чего-то вдруг до того, на хрен, расстроился — ну сил нет! Вроде и выпили, а ни в одном глазу, а где ее сейчас возьмешь, семь часов утра. Черт бы его взял, сволочь плоскую, с этими разговорами. Всю душу, подлюга, разворотил... Значит, уезжает Максим. Это надо! Сходить, что ли, к нему? А зачем? Выгонит, а то и морду набьет. И за дело... Жалко парня. И Рюхину жалко, дурищу старую... Главное: «Бобик, лапу дай»... Зарраза...

По коридору сосед к дверям протопал, на работу пошел, и Денисюк решил постучать к Марии, его бабе, у нее иногда бывало, оставалось от праздника.

Он постучался и вошел. Мария, в халате, растрепанная, злая, рылась в шкафу, вышвыривала на пол какие-то тряпки.

— Ну? Чего тебе? Всю ночь базлал, спать не давал!— сказала, не поворачиваясь.

— Мария, налей,— попросил Денисюк.

— Пошел ты... пьянь. Ходит тут с утра пораньше, подбирается. Нету!

Мария захлопнула шкаф, повернулась, руки — в бока.

— Чего пристал? Говорю: нету. Иди, иди, расселся тут. Не в кино.

Видно, что-то хотел сказать Денисюк Анатолий,

дернул шеей, завел глаза, потом вроде всхлипнул и боком повалился с табуретки на пол.

«Скорая» приехала быстро. И ругались: зачем к покойнику врачей вызываете, ему врач не нужен, ему — морг, милицию вызывайте.

Ну, не умора, на хрен? Весь день пронесило, берегла судьба Анатолия от ментов, а тут, напоследок, — прямо к ним в лапы.

«ВОСЬМЕРКА»

По вечерам Павел Иванович ходил гулять. Это была давняя, многолетняя традиция, заведенная еще матерью. Существовало несколько маршрутов: для морозной или ненастной погоды — «малый круг», несколько кварталов неподалеку от дома, продолжительность — пятнадцать минут. Весенняя прогулка предусматривала полуторачасовое путешествие по Фонтанке к Калинкину мосту, а оттуда — к Новой Голландии. Осенью хорошо было пройтись вдоль Летнего сада по малолюдной ветреной набережной, где за парапетом вздувается и опадает выпуклая черная Нева. Но самым длинным, любимым маршрутом, рассчитанным на хорошую летнюю погоду, была «восьмерка».

По Владимирскому проспекту Павел Иванович выходил на Невский и не спеша двигался по правой его стороне к Адмиралтейству — туда, где в это время как раз садилось солнце.

Шумный людный Невский привлекал Павла Ивановича с ранней юности. Казалось, самая интересная, самая главная жизнь происходит именно здесь, и только здесь может случиться встреча, которой суждено сыграть решающую роль в его судьбе. Потому что где же ей и случиться, этой встрече, если все сколько-нибудь стоящие люди сосредоточены тут, все очаровательные девушки вкраплены в эту сверкающую толпу?

Так чувствовал Павел Иванович в двадцать лет, и, в общем, это ощущение сохранилось у него до сих пор.

Сейчас стоял июнь. Невский по вечерам был просто ослепителен: иностранцы, одетые с небрежной элегантностью, молодые длинноногие соотечественники и соотечественницы в туго натянутых джинсах — все они чувствовали и вели себя здесь как дома: по-хозяйски толпились у дверей ресторанов, запросто останавлива-

ли такси, возбужденно переговаривались. Казалось, все тут знакомы между собой и в любой момент безо всякого труда могут сойтись и заговорить.

Обычно Павел Иванович двигался вместе с толпой, чувствуя себя равноправным участником этого праздничного шествия, шел не торопясь, одобрительно улыбался встречным молодым женщинам, в разговоры, правда, не вступал и знакомств не заводил, но отчетливо сознавал, что в любую минуту может это сделать.

Надо сказать, что в свои сорок с лишним лет Павел Иванович считал себя человеком, у которого самое главное еще впереди, а именно то, что принято называть «личной жизнью», которая у него по-настоящему еще и не начиналась. Так что в этом отношении он, и в самом деле, был на равных с джинсовыми юнцами, похожими на голенастых породистых щенков.

Время от времени судьба сталкивала его с разными женщинами, но все как-то не всерьез: возникнув, эти женщины очень скоро тихо и безболезненно исчезали — внезапно выходили замуж или просто вдруг переставали появляться и звонить. Никаких скандалов и объяснений ни разу не было, Бог миловал, и Павел Иванович, облегченно вздохнув, продолжал существовать вдвоем с матерью. С ней он привык обсуждать все свои проблемы, с ней обычно проводил отпуск: ездили на теплоходе по Волге, жили в Прибалтике у знакомой хозяйки, или (это уже в последние годы) отдыхали в семейном пансионате в Луге по путевкам, которые мать доставала за пятьдесят процентов на старой своей работе, в издательстве.

— Смотри, Павлик,— грозилась она иногда,— останешься один на старости лет. Сколько можно держаться за материн подол? Все ждешь Великую Любовь?

Павел Иванович отшучивался. Он прекрасно знал, что в глубине души мать довольна. И тем, что пока он «держится за подол» и — что ждет «Великую Любовь». Она сама всегда говорила: те, кто женится или выходит замуж просто так, чтобы не быть одинокими, делают страшную глупость.

— Я уверена, что если бы не встретила твоего отца, то всю жизнь была бы одна. Помнишь ту сказку? Ну, где каждый ищет свою половинку? Вот мы с отцом и были две половинки, а жить рядом с чужим человеком... Нет.

Итак, первая часть «восьмерки» — Невский. По многим причинам — самая любимая часть прогулок. Была. До совсем недавнего времени.

Как-то в конце мая, двигаясь в потоке людей, Павел Иванович вдруг ощутил беспокойство и раздражение: ему показалось, что он не понимает языка, на котором говорят вокруг. Невнятные, скользкие, быстрые фразы, едва взлетев, тут же рассыпались, точно бусы с лопнувшей нитки, слова стремительно и звонко отлетали в разные стороны. Он напрягся, пытаясь уловить, поймать смысл. И не смог. А прохожие обгоняли его, группами шли навстречу, и взгляды их, натываясь на Павла Ивановича, скользили мимо, не загораясь и не задерживаясь. Он неправильно подумал про них — «прохожие», прохожим здесь был он, это были хозяева, местные жители Невского, его аборигены, а он — мореплаватель, потерпевший кораблекрушение, случайно выброшенный сюда, на чужую землю, где его вовсе никто не ждал. Беспомощно он оглянулся по сторонам и поймал в витрине свое отражение: плохо одетый пожилой дядька, с залысинами, с гримасой испуга на очастром лице. Он растерянно стоял на тротуаре, а мимо него уверенно шагали красивые, взрослые, самостоятельные люди. И вдруг он понял: а ведь по возрасту большинство из них вполне могли быть его сыновьями и дочками.

С того вечера Павел Иванович всегда старался миновать оживленный участок Невского побыстрее и, свернув под арку Главного штаба, чувствовал облегчение. Дальше был сравнительно тихий участок — через площадь по набережной Мойки к Михайловскому саду...

Сейчас Павел Иванович был в отпуске. Три раза в неделю он ездил к матери в больницу, каждый приемный день: в четверг, субботу и воскресенье. Больница летом выглядела куда пристойнее — старые густые деревья в парке, на клумбах — веселенькие цветы, а к больным Павел Иванович уже притерпелся. Привык. И, смотря на них, не испытывал никаких чувств. Почти никаких.

Лечащий врач дал разрешение на индивидуальные прогулки с матерью. Это значило — вдвоем, без надзора дежурной сестры. Можно идти в любой конец парка, сидеть где хочешь и только к обеду вернуться.

Они часами бродили по аллеям от ворот до самого

дальнего конца парка, где за проволочной сеткой стояли ухоженные, с побеленными стволами старые яблони. Павел Иванович вел мать под руку, она осторожно переставляла ноги, обутые в растоптанные больничные шлепанцы. Несколько раз он привозил ей из города туфли, но к следующему дню они безвозвратно исчезали.

Мать молчала. Он задавал ей разные вопросы: «Кто я? Как меня зовут? Сколько тебе лет? Как ты себя чувствуешь?» Она не отвечала ни слова. Потом уставала, начинала тяжело дышать и поминутно останавливаться, и тогда Павел Иванович вел ее в беседку.

Беседка стояла на бугре в центре парка, отсюда, сверху, видна была вся территория: больничные корпуса, окруженные зеленью, и у каждого корпуса — свой загон, обнесенный невысоким, но глухим забором. В загонах ходили из угла в угол, беспорядочно бегали, сидели на траве, кричали, хохотали и плакали те, кто не имел права на свободные прогулки с родственниками, а может, и родственников уже не имел да, скорее всего, и не нуждался ни в них, ни в прогулках. В одном из таких загонов Павел Иванович часто видел высокого, очень худого человека с коротко остриженными седыми волосами. Часами тот стоял неподвижно, запрокинув к небу бледное серьезное лицо, на котором застыло выражение сосредоточенного ожидания. Чего он ждал? Зачем так напряженно всматривался в раскаленную синеву? В его чертах не было ничего тупого или бессмысленного, только тихая, терпеливая внимательная надежда.

Мать не обращала внимания на загоны и их обитателей. Отсюда, с холма, где взгляду не мешала серая бетонная стена, далеко были видны поля, травянистые берега длинного озера, деревня на той стороне шоссе, полуразрушенная колокольня церкви. Мать все время пристально смотрела туда. И молчала.

Павел Иванович спрашивал доктора, отчего это. Тот пожимал плечами: нам она отвечает, односложно, правда, но отвечает. И слушается. Тихая старушка, можно бы выписать, но у вас ведь там коммунальная квартира, какая-то история с жильцами... Кстати, тут звонили, справлялись... Одним словом, ищите обмен, тогда возьмете мать. Как у вас там? Продвигается?

В два часа, сдав мать дежурной сестре, Павел Ива-

нович шел к автобусу. Идти нужно было по тропинке мимо озера. В жаркие дни тут было много купающихся. Выкрики, плеск, солнце дробью бьет по воде. Жарко. Устал.

Он спешил домой, хотя спешить было бессмысленно. Незачем.

С утра начинались хлопоты по обмену — чтение объявлений «Ленсправки», беготня по адресам, бесконечная и бесполезная череда людей, приходящих смотреть его комнату. «Н-да, коммуналка, первый этаж, дом какой-то сомнительный, полуведомственный, не сегодня завтра выселят к черту на рога...» День проходил в суете, и только вечером, когда хоть немного спадала жара, можно было, бредя по улице, спокойно подумать или просто посмотреть по сторонам.

И когда, покинув шумный, ставший чужим Невский, Павел Иванович сворачивал на Мойку, на душе его сразу делалось тихо и радостно. Ничто, даже музыка, не действовало на него так, как вид этих старых, чуть сутуловатых, плотно прижавшихся друг к другу домов, кажущаяся неподвижной вода за чугунной решеткой, светлое и теплое небо.

Дойдя до Михайловского сада, Павел Иванович делал там привал на скамейке у пруда. Темнеющий сад уже принадлежал парочкам и собакам. Первые, как им положено, целовались, вторые беспрепятственно скакали по газонам, норовили залезть в воду, игнорируя яростные окрики хозяев. Днем и тех и других расшугали бы бдительные пенсионеры, но сейчас они уже сидели у своих телевизоров, и в саду царил дух свободы и беззакония. И все-таки активные защитники приличий и общественного порядка изредка появлялись и в это время. Вон идет задрипанный, не вполне твердо держащийся на ногах служащий. Остановился, чтобы сделать замечание слишком откровенно ведущим себя влюбленным: «Наглость какая!» Поплелся дальше и — нет, вы подумайте, до чего дошли: «Эй ты, носатый! Ты почему пустил кобеля на газон, да еще без намордника? В милицию захотел?»

Это никакой не пенсионер, это ровесник. Насчет пенсионеров Павел Иванович давно решил: они, пожалуй, явление больше социальное, чем возрастное. А что? Это же не кто-нибудь, это состарившиеся неумные комсомольцы двадцатых — тридцатых годов, бывшие «молодые хозяева страны», теперь оказавшиеся не

у дел и с тоской глядящие, как все, чему была отдана жизнь, портится, разрушается, предается, ни у кого — ничего святого, мы в наше время — никогда бы себе не позволили. Одним словом: «За что отдавали жизнь?» Да. Со стариками более или менее ясно, но откуда это полицейское рвение у сверстников? И тут Павел Иванович, сидя на своей скамейке и слушая крики насчет личных собак и общественных газонов, вдруг подумал, что — оттуда же, откуда Аллины огурчики и новое эмалированное ведро, а именно — из пустоты душевной, из нереализованного, никому не нужного гражданского чувства. Сублимация. И ему вдруг стало жалко раскричавшегося защитника государственных зеленых насаждений.

Он поднялся и медленно зашагал к выходу из сада, старательно отворачиваясь от скамеек, где самозабвенно обнимались молодые люди, годящиеся ему в сыновья и дочери. Он прозевал свое время, и теперь об этом глупо даже грустить.

Выйдя из сада, Павел Иванович медленно шел по каштановой аллее, ведущей от Инженерного замка к Манежной площади. Инженерный замок издавна нравился ему больше всех зданий в городе, и несчастный владелец чем-то был симпатичен. Несмотря на все, что о нем писали, Павел Иванович как-то по-родственному жалел своего курносого тезку.

У Елисеевского магазина он пересекал Невский, который к этому времени уже тускнел и начинал затихать, сменив толпу завсегдатаев на торопливых, случайных прохожих, тех, кто ни на других смотреть, ни, тем более, себя показывать не стремился.

Дальше предстояло пройти по прямой и пустынной улице Росси, через Чернышев мост, на Загородный.

Домой возвращаться сейчас — одно удовольствие: соседей нет, разъехались. Последнее время у них творилось что-то странное: Алла осунулась, ходила заплаканная, даже хозяйством перестала заниматься. На ее столе в кухне сутками копились невымытые чашки. Валерий с работы приходил поздно, и однажды, столкнувшись с ним в коридоре, Павел Иванович вдруг увидел, что сосед пьян.

— Здрас-с... — сказал он Павлу Ивановичу, вдруг покачнувшись, взялся за притолоку и тут же уронил на пол батон, который держал в руке.

— Порядок,— бормотал Валерий, нагибаясь за батоном,— полный порядок в войсках. Русский человек не повалявши не съест.

В этот момент в коридоре и появилась Алла. Подняв бровь, она усмехнулась и удовлетворенно кивнула:

— Напился. Молодец.

Тут Алла увидела Павла Ивановича и, повернувшись к нему, внезапно спросила, как здоровье матери. Павел Иванович холодно сказал «благодарю вас», она покраснела и шмыгнула в свою комнату.

Ночью за стеной кричали, Алла плакала; потом мимо комнаты Павла Ивановича протопали каблучки, и тотчас гулко захлопнулась дверь на лестницу. Появилась Алла только назавтра, поздно вечером, а через день собрала вещи и уехала к матери в деревню, о чем Павел Иванович узнал из громких переговоров в коридоре с подругой.

Вскоре уехал и Валерий. В день отъезда постучал к Павлу Ивановичу и, переминаясь с ноги на ногу, поскольку ни войти, ни сесть предложено не было, произнес:

— Вот... отбываю в отпуск. Через два часа самолет, так что... просьба: будет письмо, перешлите, пожалуйста,— Сочи, до востребования.

Вот и у них жизнь пошла наперекосяк. Почему? Все не просто... Что ж, судьба, как в романах Диккенса, видно, сама распорядилась. Впрочем, если по совести, наказывать надо было бы не их...

Он с еще большим рвением взялся за обмен, но ничего не получалось. А может, он просто не умел этим как следует заняться... А чем умел? Чем?..

...«Восьмерка» занимала часа полтора, о многом можно было за это время подумать, но в конце пути тяжелые, неприятные, грустные мысли кое-как утихали, настроение делалось ровным, дыхание легким.

А на каштанах белели «свечи», пахло вянущей, недавно скошенной травой. Пахло городским летом.

ПРОВОДЫ

Все дела кончены: возня с документами, маета на таможне, где громко причитала и норовила упасть в обморок древняя, совершенно библейская старуха. Ну, не вредная нация? Таможенники всего-навсего аккуратно вскрыли урну с прахом ее мужа, скончавшегося десять дней назад с выездной визой на руках. И зачем падать в обмороки? Подумаешь — исследовали пепел! А если там бриллианты или другие ценности, принадлежащие народу?

У Максима процедура досмотра прошла без инцидентов, а вечером того же дня состоялись проводы. Было шумно и даже натужно весело, если не считать слез Ирины Трофимовны и мрачных шуток Григория Марковича:

— Если б я знал, что Осюнчик организует тебе этот проклятый вызов, заблаговременно оторвал бы его глупую башку вот этими руками.

— Молчи,— всхлипнула Ирина Трофимовна,— сегодня последний вечер, не надо ничего портить. А тебе,— она повернула заплаканное лицо к Максиму,— тебе я желаю только одного: быть счастливым. Где угодно, с кем угодно, но — счастливым.

Гольдин хотел что-то возразить, но промолчал, отвернулся. Что уж теперь возражать, поздно. Было достаточно разговоров и чуть ли не полный разрыв. Еще бы: сумасшедший вздумал бросить Родину, которая его вырастила, все ему дала, а он, видите ли, оскорбился из-за дураков, подонков, сидящих в этом паршивом институте. Да когда они умели ценить настоящую работу и умных людей? Нет, ты скажи — когда? Взять и искалечить себе жизнь! Свет клином не сошелся на лаборатории Кашубы, работу найти можно всегда... Брось! Не желаю слушать! Что значит — «нечем дышать»?! Всем есть, а ему нету... При чем здесь, скажите пожалуйста, второй сорт?.. Все, к твоему сведению, зависит от тебя самого. Трудись, и будешь не то что первым сортом, а экстракласс! Ландау, он что, был-таки второй сорт? Ботвинник — второй сорт? А Зельдович, трижды Герой? ...А вообще-то отправляйся на все четыре стороны, но помни: будешь еще волосы рвать, чужая земля, она чужая и есть, там все будет не твое — и трава, и де-

ревья... Слыхали? Ему здесь плохо! А где хорошо? Евреям, заруби на носу, везде плохо. И всегда. Это такой народ, он иначе не может, тем только и жив, как ...как малина — ее ломают, она... Да что с тобой говорить... Не морочь ты мне голову! Это он мне будет рассказывать про историческую родину. Сам-то веришь в это? Выдумки и басни для таких лопоухих, как ты... Видеть тебя не желаю, уходи и, пока не одумаешься, не смей являться!

Максим ушел, но дня через три старики приехали к нему сами, тихие и грустные, и Григорий Маркович больше не обличал и не ругался, сказал: «Смотри, твое дело. Каждый знает, что для него лучше. Мы, в конце концов, свою жизнь прожили. Нам казалось, что хорошо...»

С тех пор никаких споров и обсуждений больше не было, на проводах Гольдин весь вечер пил водку, быстро опьянел, и Ирина Трофимовна увезла его домой.

Теперь от проводов остались только невытые рюмки на подоконнике, чужие рюмки, потому что подарены Гаврилову. Сам пускай и моет.

Все, что есть в этой комнате, кому-то подарено: тахта и стулья — соседям, подшивки старых журналов — их детям в макулатуру, книжный стеллаж и письменный стол еще позавчера увезены к Гольдиным. Остался торшер (завтра заберут), а также треснувшая кофейная чашка, какие-то кастрюльки в кухне. Граненый стакан.

Все кончено.

Даже письмо Алле в деревню Максим написал и отправил. Написать было нужно. Больше месяца тому назад, еще в июне, Алла пришла к нему среди ночи — приехала на такси уговаривать. Говорила правильные вещи, про родину, про друзей, про ностальгию.

— Ведь пойми,— убеждала она,— ты же там просто не сможешь! Ведь ты советский человек, советский! А капиталистический мир — это, как ни говори... Пускай и у нас полно недостатков, но, в конце концов, мы в них сами же и виноваты! Не кто-то, а — мы: плохо работаем, пьянка у нас, воровство... Нет, нам обижаться надо только на самих себя — страна тут ни при чем. И, согласись,— как бы мы ни жили, но мы знаем, что это — наша страна, а там ты будешь — кто? Я ничего не говорю, материально там, может, даже и лучше, и

в магазинах все есть, и — сервис, но ведь найти работу у них — тоже трудно, а потерять легче легкого, так что уверенности в завтрашнем дне фактически никакой. А главное, вся их идеология, весь образ мыслей — не для нас! Там, по сути дела, все сводится к деньгам. Вот ты, например, — сможешь ты спокойно смотреть, когда один — миллионер, а другой — под мостом валяется!

— У нас тоже иногда кое-кто кое-где валяется, — усмехнулся Максим, — помнится, мой приятель Денисюк...

— Перестань! Не до шуток. Ты же губишь себя! Это ведь необратимо! Конечно, я верю: сейчас тебе обидно, но пройдет время... А если ты вообразил, что все кругом — антисемиты, так это глупости! Разные люди бывают, много у нас еще и серости, и подлости... Но почему нужно обращать внимание на всякую... мразь? Вот некоторые не любят грузин, а я считаю — это очень талантливый и трудолюбивый народ, нельзя же судить обо всех по тем, кто торгует на рынке...

Максим молчал, а Алла все говорила, говорила... Она просила: утром, как только откроется контора, бежать вместе и брать документы назад. Пока не поздно.

А потом, через час, отчаявшись и отплакавшись, сказала:

— Я у тебя останусь. До утра.

Максим ничего не ответил, и тогда она сообщила ему, что уходит от мужа, потому что окончательно поняла, Валерий ей — чужой, она всегда любила, любит и всю жизнь будет любить только одного человека. Максима. Его это, разумеется, ни к чему не обязывает, но пусть он знает: стоит ему сказать одно слово, и она за ним — куда угодно.

Не сказал он этого слова.

В шесть часов Алла ушла. Глядя в окно, как она, вся съежившись, в легком платье в синих цветочках пересекает под дождем пустырь, Максим подумал, что ей, наверное, сейчас очень тошно, и виноват в этом он. Вот она остановилась, что-то ищет в сумочке. Вынула носовой платок...

В письме Максим просил у нее прощения.

Когда Алла получит письмо, Максим будет уже там.

Чего же он все-таки не успел?.. Заплачено. Отослано. Получено. Сказано... Как будто все. А то, что не

сделано, в последний день уже не сделаешь. Например, не поедешь на теплоходе по Волге, много лет мечтал. Не успеть и на речку Сестру за раками, ночью. Можно, конечно, попытаться, но рано утром — самолет, куда девать раков?.. Не побывать и на Байкале. На Сахалине. Также и в Средней Азии... Ничего, мечети и верблюдов он увидит, с верблюдами не все еще потеряно. А Север? Кольский полуостров? Полярный круг?.. Уходя, уходи. Уходи, понял?.. Колодцы, тропинки... А гору не хочешь? Высокая такая, наверху ворон. Забыл? А этой... пузырьщины, может, там и не будет, хотя... Впрочем, с того самого дня, как Максим отнес документы в ОВИР, он Василия Петровича больше не встречал. Зато выезд ему разрешили баснословно быстро — не иначе, поспособствовал добрый гений в сером костюме... Теперь-то думать больше не о чем, назад хода нет, отрезано... И если за столько лет никого из родственников найти не удалось, значит, уже не удастся. Все. У нас на свете только один родной, близкий человек — Люция Лихтенштейн в городе Иерусалиме, любимая тетьа, изобретение расторопного Оси. ...Ну, а сам ты кто? Как — «кто»? Мистер Ликтенстайн, так, во всяком случае, значится в паспорте.

Остаток ночи провел отвратительно, заснул на расвете да тут же и проснулся: в ванной шумела вода. Вот болван! Не хватало еще затопить напоследок нижнюю квартиру! Пойти закрыть. Максим сел на тахте, зажег торшер, но шум внезапно стих, скрипнула дверь, и в комнате... появился этот... плоскобрюхий. Башка замотана полотенцем, сам облачен в старый Максимов халат. В очках. Проследовал в угол и с удобством устроился там на полу, завернувшись спиралью.

— Сейчас очень неплохо бы чашечку кофе, да... пожалуй, именно крепкого черного ко-о-фе, — мечтательно произнес он басом и кивнул Максиму.

— А... а пива с воблой?

— Язвите. И напрасно, мой друг. Напрасно — ведь мое внезапное, так сказать, исчезновение принесло вам пользу, избавило от необходимости трудить свою совесть, занимаясь черт-те чем. Сами-то вы когда бы еще решились. Верно?

— Пожалуй. И что же?

— Эрго, все сложилось наилучшим образом. Во-первых, для вас: попадете туда, где, по вашему мнению,

нет таких, как я. А еще — для бедной России. Ну... Отдохнете друг от друга, то есть — вы от тех, кто на работу не принимает, нехорошие слова говорит, а Россия... Россия, соответственно, от вас. Так что скатертью дорожка, воздух будет чище. ...Молчите? И правильно. А чтоб уж совсем не терзались в предчувствии будущей ностальгии, и еще добавлю: катитесь на землю предков, Макс Эльевич!.. Да, да, именно Макс Эльевич, а то у вашего брата вечно: Самуил Гиршевич — Семен Григорьевич, Аарон Хаимович — Аркадий Ефимыч... Вот ведь: чужие вы здесь, Россию ненавидите, а так и норовите примазаться.

— Та-ак... Чужие. Ну, что ж, все, стало быть, путем, все верно... Ты что-то еще хотел сказать?

— Что ж... Валите отсюда, коли решили. ...Ну, а вдруг как и там, в какой-нибудь Америке или Австралии отыщется точно такой же... валерик? Они ведь повсюду водятся, как клопы. И, знаете, их тоже понять надо.

— Чтобы простить?

— Ох, ироничный вы народ! Прямо как в том анекдоте. Ну, помните, как еврея распяли на дверях при погроме? Приколотили гвоздями руки-ноги, висит он, голубчик, — все путем, а сосед его, значит, и спрашивает: «Что, Мойша, больно тебе?» А у того губы черные, еле шевелятся. «Да нет, — отвечает, — не очень. Только, когда смеюсь...» Нет, родной мой, прощение ваше нам, валерикам, без надобности, а вот понять — дело другое. В самом деле, представьте: живет... некто, икс, живет он себе, и все у него как-то не так... криво, не ладится, неудача за неудачей. Так-с... Кто же виноват? Сам он, что ли? Еще чего! Это уж, знаете, чересчур большое мужество надо иметь, чтобы признать такое. Нет, он не виноват, он — жертва. Но, если жертва имеется, где-то же должен быть и виновник, верно? Где? Кто? Может, судьба? Раньше все принято было на судьбу пенять. Можно, конечно, и на власть... да только боязно. А вот на соседа — сколько угодно, и уж если сосед какой-нибудь... чучмек, хохол или, еще лучше, жид — тут вообще полный порядок. Жид — он, конечно, больше всего подходит. Почему? Да полно вам отворачиваться — тоже вот не любите правды, а на других обижаетесь... Да потому, что тех — украинцев, казахов там, армян — тронешь, — а они — в поезд и тютю к себе домой. А еврейской морде куда деваться?

Русскому еврею? У которого тут и дом, и мама, и папа, и могила прадедушкина? Ему — куда?.. То-то... Так что можно безнаказанно покуражиться, от души. За все неудачи и собственные унижения. Мы здесь законные хозяева, а ты, пархатый, из милости живешь! Пусть ты хоть профессор, а я простой шкуродер с бойни, а захочу и... укажу на дверь!.. Согласны вы со мной, Максим Ильич?

— Закругляйся. Ни к чему все это. Решено. Кончено.

— Так и я потому, что решено. Только повторяю: валерики, они не в одной России живут, и у них там свои «чучмеки», «кацапы», «ниггеры», ну, а жида — само собой.

— Черт с ними, перебьюсь.

— О-о, вот это уже интересно. Там, значит, перебьетесь, а дома — ни в какую?.. Можете не объяснять, сам все понимаю, дайте кофе, сил больше нет.

Пока Максим готовил кофе, Червец осваивал квартиру — двигал зачем-то тахту, зажигал и гасил в комнате свет, заглянул в кухню: «Не надо ли помочь?», вернулся в комнату и крикнул оттуда, что решил пока что позавтракать лампочкой из торшера — надо же что-то кушать в этом негостеприимном доме! После чего громко захрустел, а покончив с лампой, принялся противно насвистывать. Получил наконец свой кофе, уселся на прежнее место и завел нуднейший разговор о поэзии — он, мол, не любит сложных стихов, известно же, что поэзия должна быть глуповатой, и это верно, очень даже верно, поймите!

Максим молча прихлебывал кофе, от которого в голове, вопреки ожиданию, полз какой-то туман, временами чудилось, будто никакого Червеца в комнате нет, Максим лежит на тахте, спит, хочет проснуться, но не может, а в незанавешенное окно давно уже светит солнце, пора вставать.

— Ну что? Успокоил я вас? Не мечетесь больше... Конец сомненьям?

Максим тряхнул головой, потер ладонями виски — все на местах, вот он, Червец, — развалился в углу, а за окном в самом деле светает, но никакого солнца, напротив — вот-вот пойдет дождь, вдалеке, за домами, безмолвно посверкивает прямая тонкая молния.

— А хотите, объясню, в чем закавыка? — задушевно

спросил Червец.— Почему на американского антисемита или на израильского фанатика, который обязательно станет кричать вам: «Чужой! Советский! Пошел вон!», вы особого внимания не обратите, поскольку «перебьетесь», а от бедного валерочки аж в глазах темно?

Максим молчал. Дождь уже шел, молнии сделались ближе и ярче, сухой, короткий гром сопровождал их с небольшим отрывом.

— А оттого, родной мой, оттого у вас темно в глазах, что обидно уж очень. Ведь тому дураку, ну — из Америки или Израиля, вы и в самом деле — чужой, пришлый. А Валерик — он свой. В чем и дело.

— Да отвяжись ты. Ну, чего пристал?— угрюмо произнес Максим, не шевельнув потемневшими губами.

— Ради правды. Исключительно ради нее... Максим Ильич. Свои они, и Валерик, и Пузырев тот же. Подлые, мерзкие... да свои. И ведь вы им — тоже свой, вот парадокс... А, что главное, та земля, с которой они вас гонят,— тоже ваша. Ваша. Не меньше ваша, чем их. Хоть в Антарктиду бегите, меньше русским вы от этого не станете... Нет! Вы уж не отворачивайтесь! Вы представьте только: живет человек в семье — вот отец, вот мать, вот братья, хорошие, там, похуже — не важно, братья. Живет это он себе, живет, и вдруг в один прекрасный день кто-то из братцев ему — хрясь: «Ты нам не родной, подкидыш ты. Погляди: мы же все блондины, ты один рыжий, из милости тебя держим, а теперь надоело, так что катился бы ты из нашего дома куда подальше — воздух будет чище!» Каково? И куда ему, бедолаге, катиться, если другого дома у него на всей земле нет? Куда идти? Рыжих искать?.. Вот и «чужие»... И —«Россию ненавидите». Какая тут ненависть, милый мой, тут любовь... неразделенная. Вот оно что.

— Убирайся отсюда со своими проповедями!

— Ишь ты! Забрало. Больно, да? Все. Молчу. ...Водки нет у тебя?.. Что, выпил всю? Эх, ты... А еще говорят — вы не пьете... Ладно, уйду. А все же на прощанье позволю тебе заметить: в России не одни пузыревы живут с валериками, слава Богу, не одни! Не то был бы полный, как говорится, завал, уж давно бы всем подряд анализ крови сделали и всех инородцев — за ворота. Мол, оставьте нам бедную Россию, мы уж тут как-нибудь сами! И что тогда? А тогда, извини за банальность, осталась бы страна без турка Жуковского, без

какого-то шотландского Лермонтова... да что там говорить!

...На этот раз сон навалился всерьез. Дождь начался и кончился, с улицы в открытое окно плыл туман, голос Червеца звучал все слабее, слабее...

Проснулся Максим с тяжелой головой — много выпил накануне. Открыл глаза, обвел взглядом комнату. На полу чашка из-под кофе, возле тахты стакан...

Начинался последний день.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Утро последнего дня было очень жарким и синим. (Т а м будет и жарче, и синее...)

Максим вдруг понял, что обязан сейчас поехать к Вере, надо проститься. Зачем? Неизвестно. Но — надо. Тем более, что делать ему, как выяснилось, просто нечего.

Кашуба вчера все-таки пришел. Сидел, помалкивал. Выпил коньяку. Когда Макс спросил, как дела у Веры, весь передернулся, буркнул несколько слов и вскоре стал прощаться. Паршивая и у него жизнь, не нам его судить. Да, дела... «Суицидная попытка в состоянии опьянения». Надо поехать.

Пока Максим собирался, пока выстаивал очередь за сливами да искал цветы, время перевалило за одиннадцать (до вылета двадцать часов с небольшим), и жара набрала полную мощность. В переполненном вагоне электрички нечем было дышать.

Больница оказалась черт-те где, за Гатчиной, и, узнав в справочном бюро на Невском, как туда добираться, он чуть было не отказался от своего намерения. Но впереди лежал бесконечный день, пустой и уже ненужный, в этом дне Максим был посторонним, как в своей разоренной квартире. Да и сливы, черт побери, куплены.

Поехал.

...Ничего, это еще не жара. Настоящей жары ты, брат, не видел. Ужо увидишь. На днях. Завтра будет голубой Дунай — сказка Венского леса. Потом — Средиземное море. Сейчас это всего лишь ярко-синее продолговатое не очень большое пятно на карте, а через несколько дней можно будет запросто войти в него по пояс и поплыть... в сторону Африки... Будут бедуины

и ночные бары. Экзотические красотки. И когда-нибудь — непременно Париж. Монмартр, кафе, вдруг — Боже мой, какая встреча! Евдоким Никитич, сколько лет, сколько зим? Ах, конгресс? Вот совпадение. Представьте, я — тоже. Послали. Не посмотрели на пятый пункт. Да, да, делаю доклад...

За пыльными окнами плыли пустыри, тянулись пригороды и дачные поселки с обязательными кустами желтой акации у станционных построек. Возле дверей приземистого здания с надписью «Раймаг» мужик в темной от пота майке пил, запрокинув голову, прямо из бутылки. Рядом нетерпеливо переминались еще двое. Поодаль, в затылок друг другу, стояли три одинаковых трактора.

Белый грязный петух преследовал пеструю курицу. И настиг.

В маленьком круглом пруду яростно плескались мальчишки.

Желтая собачонка гналась за автобусом, тяжело ковыляющим по раздолбанному проселку. Собачонка свирепо разевала пасть, но лая слышно не было.

Старая женщина с отечными, в синих венах ногами брела вдоль насыпи с двумя полными сетками. В одной из сеток блестел громадный арбуз.

Оказалось, что от Гатчины до больницы — еще километров двадцать. На плавающей привокзальной площади Максим сел в такси.

...Восемнадцать часов осталось, это — две трети суток. В большом парке Максим легко отыскал нужный ему корпус и вошел наконец в прохладный, пахнущий дезинфекцией, коридор. Дверь с табличкой «7 отд.» оказалась запертой изнутри, и он нажал черную кнопку звонка.

Потом позвонил снова. Послышалось шарканье, скрежет ключа, и на пороге появилась немолодая медсестра с узкими раскосыми глазами на скуластом лице. Белая крахмальная шапочка на ее голове напоминала рогатую немецкую каску времен первой мировой войны.

— К кому? — хмуро спросила сестра.

— Кашуба Вера Евдокимовна.

— Нельзя, — отрезала она, — в день — одно свидание, а у ней уже были. Отец. А вы кто ей будете?

— Да так... Знакомый.

— Знакомый... — сестра сверлила Максима глаза-

ми.— Нельзя. Если родственники, тогда еще... Или муж,— во взгляде светилось любопытство.— А сейчас вообще обед. Потом «тихий час».

Наверное, надо было сунуть ей рубль. Раньше Максим так бы и поступил. Или начал бы говорить комплименты и охмурил. Или сообщил: представьте себе, приехал к родной сестре на полчаса из Байконура, завтра — в полет. Но сейчас у него, как это часто случалось в последнее время, одеревенели мысли.

— Передайте,— понуро произнес он, протягивая сестре кулек со сливами и цветы.— Всего доброго.

Сестра явно не ожидала такого оборота, готова была к длинному диалогу,— ее будут умолять, она, торжествуя, отказывать, а потом, кто знает... Она растерялась.

— От кого хоть? Молодой человек! Что сказать? От кого передача? Кто приходил?

— Знакомый. Передавал привет,— повторил Максим.

Нельзя так нельзя...

Жара за эти несколько минут ухитрилась сделаться еще злее. Не спасала даже тень старых деревьев.

Возле корпуса пахло щами и тухлой рыбой. Двое рослых парней со слепыми лицами подкатили к дверям тележку, на которой тошнотворно дымился большой алюминиевый бак. Максим побрел по аллее к выходу. На клумбах улыбались веселые цветочки — «анютины глазки». Интересно, что было здесь раньше? Похоже, барская усадьба,— главный корпус с колоннами напоминает господский дом. А теперь вот — клиника для душевнобольных. Бедлам. Психушка.

Аллея поднималась на холм, где в круглой беседке сидела какая-то пара. Мирная картина, прямо девятнадцатый век: старинный парк, беседка, поля кругом, вон озеро, а за ним — деревня. И даже церковь. Правда, без креста... Остается еще семнадцать часов тридцать пять минут... Что он там рассматривает?

Высокий человек с седыми волосами неподвижно стоял в небольшом загончике, обнесенном низеньким дощатым забором. Голова его была запрокинута, взгляд устремлен в небо. Максим тоже поднял голову. Над парком важно проплывал большой бумажный «змей», слегка покачиваясь в неподвижном воздухе. Длинный и широкий, как полотнище, хвост его почти доставал до верхушек деревьев. «Змей» скрылся за главным корпу-

сом. Высокий человек продолжал, не отрываясь, глядеть в вышину.

...А ведь еще месяц этой пузыревской вакханалии — и загремел бы сюда, как миленький, очень свободно. Выяснилось, что вы не титан духа, рэб Лихтенштейн, так что не в куске хлеба тут дело, можно было бы, в конце концов, устроиться по протекции гольдинского дружка Андрея Соловьева в Трамвайное управление, а там, глядишь, нашлось бы что-нибудь попримичнее. Нет, не в куске дело, просто — осознанная необходимость. Гора. Кто желает ее строить и укреплять — на здоровье. Еще — валерики. А у нас вот кишка оказалась тонка. Достаточно. Поигрались, — и будя, кислород кончился.

Про кислород Максим сказал вслух, услышал собственный голос, вздрогнул и поднял голову. Он стоял около беседки лицом к лицу с худым мужчиной, держащим под руку старуху в больничном халате. Сквозь старомодные круглые очки мужчина смотрел на Максима с тем неопределенным выражением, какое бывает у очень застенчивых людей при встрече с малознакомыми: готов улыбнуться или, наоборот, тотчас сделать равнодушное лицо и пройти мимо.

Максим улыбнулся первым. Он сразу узнал этого чудака — именно к нему в квартиру забрался как-то ночью проклятый Червец. Было это зимой, очень давно. Максим тогда еще героически трудился на поприще дворника, посильно возводил гору, был умнее всех...

— Здравствуйте, — с внезапной сердечностью сказал Максим и пожал растерянную руку, — тесен мир, вот где встретились.

— Очень рад. Я вот тут... — (А он ведь и в самом деле был почему-то рад, даже покраснел).

— Ваня! — вдруг громко и отчетливо позвала старуха, до тех пор стоявшая тихо и безразлично. — Иван Николаевич!

Она неотрывно смотрела на Максима, и подбородок ее дрожал.

— Господи... Ваня...

— Что, мама, что? Что ты хочешь сказать? — Павел Иванович обнял мать за плечи, но она его не слышала. Не сводя глаз с Максима, твердила: «Ваня, Ваня, вот

ты где, Ваня», — и по щекам бежали слезы, и не только подбородок, все ее слабое тело дрожало.

— Ваня, ведь это чудо, — вдруг совершенно осмысленно сказала старуха Максиму и вытерла слезы, но тут, откуда ни возьмись, возникла давешняя сестра — потомок Чингисхана в немецкой каске — и, яростно ругая Павла Ивановича — «не привели к обеду, бегай за каждым, скажу Юрию Петровичу, запретит, безобразие, она у вас возбуждена», — железной хваткой взяла старуху под руку и повлекла по дорожке к корпусу.

Старуха не сопротивлялась, послушно семеняла рядом, продолжая время от времени слабо повторять:

— Ваня! Как же так? Ваня! Иван Николаевич?..

Павел Иванович с Максимом молча шагали к автобусной остановке. Солнце зашло за большое темное облако, сделалось прохладно, вдали опять бормотал гром. Оставалось шестнадцать часов сорок восемь минут... У озера торопливо одевались и собирали свои вещи купальщики.

— Не понимаю, что это с мамой сегодня, — сказал Павел Иванович, и у него дернулась щека, — целый год ни одного слова... Иваном Николаевичем звали моего отца...

Максим не отвечал, он все еще видел перед собой эту старуху, слышал ее голос.

Подошел пустой автобус, и они сели. В открытые окна дуло, летела пыль.

Зеленые крупные яблоки висели в садах вдоль дороги.

Приземистая собачонка, вроде той, что лаяла давеча на автобус, моталась на цепи возле будки. «Местная порода, — подумал Павел Иванович, — вон еще одна, такая же, лежит на боку в пыли у обочины. Какой-нибудь низкорослый, но боевой красавец нахал развел здесь целое племя».

Максим собачонки не видел, он смотрел на «змея». Это был тот же воздушный «змей», что пролетал над больничным парком. Сейчас он двигался вдоль шоссе вровень с автобусом, далеко распутив по ветру свой белый хвост.

Рядом взволнованно и сбивчиво говорил Павел Иванович:

— ...столько горя. Война, оккупация, сперва — брат, потом — отец... И вот теперь — эта больница...

— Да, конечно, я понимаю,— рассеянно сказал Максим, не отрывая взгляда от «змея», который вдруг сделал в воздухе большую петлю и стал стремительно уходить вверх. Павел Иванович сразу замолчал.

Когда они подъехали к станции, погода совсем испортилась, стемнело, вот-вот должен был хлынуть дождь. Павел Иванович сказал, что ему нужно тут задержаться — есть дело в Гатчине, и, простившись с ним, Максим сел в первый вагон.

Павел Иванович направился к последнему, ругая себя за болтливость и назойливость: полез изливаться к незнакомому, в общем, человеку, парень симпатичный и вроде бы действительно чем-то похож на отца... (Какой, однако же, странный «змей», висит в воздухе совершенно неподвижно, как приклеенный, будто бы не «змей», а этот... червяк из страшных снов... Да, парень похож. На молодого отца с той фотографии, которую переслали уже после войны, отец снят в белом полужубке около какого-то орудия. Надо найти в альбоме, посмотреть...)

Чувство одиночества и неприкаянности налетело и ударило с неожиданной силой. Кончено. Матери, прежней матери, нет больше, не будет никогда. Напрасно он откладывал, копил самые важные свои мысли, серьезные разговоры до того дня, когда она вернется домой. Она не вернется. Даже... даже если сегодня, сейчас же забрать ее отсюда, даже если произойдет чудо и он выменяет на свою комнату отдельную квартиру! Кончено...

И никто не вернется — ни дед, грустно и укоризненно глядящий с портрета, с которого Павел так старательно стирает пыль... Ни Генка, младший брат... сейчас он был бы уже взрослым человеком... Ни отец... Павел Иванович плохо помнил их всех, особенно отца с Генкой, и только в больном меркнушем сознании матери жили они, не меняясь, не старея, такие же, как когда-то. Они оставались живыми для нее, такими же реальными, как он, Павел... Но она никогда больше не расскажет ему о них... В груди жгло. Опять... Павел Иванович вдруг вспомнил, что похожее ощущение заставило его проснуться сегодня на рассвете. Скрипнула дверь, приоткрылась, и в комнату, огибая стол, вполз белый плоский червяк. Вполз и решительно двинулся

к окну, точно на полу раскатывали ковровую дорожку. Странно — в полумраке Павлу Ивановичу показалось, будто голова червяка обмотана махровым полотенцем. Но вот она нырнула под плинтус. Червяк уползал, укорачивался и наконец исчез совсем. И от этого почему-то тоскливо и болезненно сжалось сердце. Вот как сейчас. Ударил грохот. И еще раз! А сразу за ним — огонь! Огонь везде, но больше всего — в груди, в верхней ее части. Это пожар. Бомба попала в дом! Сейчас Павел поднимется и выбежит на улицу, а там... Там — воронка, в ней — никого, нигде — никого. Он один.

Как душно в вагоне... И тоска, такая тоска...

...Шестнадцать часов до вылета. Дождь шел уже вовсю. В последний раз бежали за окнами блестящие зеленые пригороды.

Мелькнули две березы с натянутым между ними гамаком. Мокрая девочка с загорелыми ногами взлетала вверх, подставив лицо дождю.

Взлетела.

Навсегда.

ЭПИЛОГ

Последний круг над аэродромом. Над Киевским шоссе с крошечными автомобилями и автобусами, с невидимыми людьми, едущими в них, чтобы через пятнадцать минут оказаться в городе. А вот и он — город: белые кубики новостроек, блестящий купол Исаакия. И сразу — плоская, неживая равнина Финского залива, а дальше — ворсистая и белесая облачность. Все.

Дамы и господа в салоне молчали. Сидели, послушно пристегнув ремни, и испуганно привыкали к надписи на табло «No smoking». «Не курить» — это уже не для них было написано.

Хотелось курить.

Стюардесса, сияя, сообщила, что самолет набрал высоту восемь тысяч метров.

Стекло иллюминатора покрылось инеем — белыми блестящими звездами (идеальная кристаллическая структура). Потом звезды исчезли, и среди ослепительной жесткой синевы Максим увидел гору. Он впервые

видел ее вблизи, огромную, угрюмую, комковатую, всей своей глухой, темной массой придавившую землю.

Толстый ворон, сидя на самой вершине, лениво ковырял клювом перья. Заметив самолет, нехотя взмахнул крыльями, поднялся и вяло полетел. Он летел совсем рядом, так что Максим мог разглядеть грозный клюв и блестящее, точно стальное, оперение. Приблизившись к иллюминатору вплотную, ворон скосил глаз, скверно ухмыльнулся, подмигнул, начал отставать. И вскоре вовсе исчез из вида.

А поверхность горы стала вдруг как будто истончаться. Контуры земного ландшафта под ней, сперва слабо наметившись, с каждой секундой проступали все уверенней и четче.

Максим видел теперь лес, знакомый, простодушный лес, тот, что в Смердовицах за рекой,— воробей вспорхнул с ольхи и улетел, а ветка все качается, на матовой изнанке одного из листьев отчетливо видна круглая дырка — гусеница проела. Песчаный пригорок, поросший вереском. Дятел в красных подштанниках сосредоточенно долбит сосновый ствол...

— Ladies and gentlemen, our plane...

...Босая девочка в синих тренировочных штанах, торчащих из-под короткого ситцевого платья, склонив к плечу белобрысую голову, доплетает косичку. Она стоит у калитки в конце пустой деревенской улицы. Улица упирается в волжский обрыв, под которым медленно плывет вдоль берега береза с бессильно раскинутыми, еще зелеными ветками и перепутанными, вывороченными корнями. Высокий был в этом году паводок, держался до середины лета, многим деревьям подмыло корни. Девочка не смотрит на березу — громкая музыка доносится с середины реки, с нарядного, трехпалубного, белого парохода. Девочка доплела косу и завязала на конце розовый бант.

...Возле здания аэропорта Ирина Трофимовна Гольдина никак не может найти в сумочке валидол, роняет на асфальт ключи, мелочь и плоскую синюю пудреницу. Рядом беспомощно суетится Григорий Маркович, наклоняется поднять ключи и с хрустом наступает на пудреницу.

...Профессор Кашуба, сидя за столом в своем рабочем кабинете, поминутно вытирает с башенной лысины пот. В руке его пляшет телефонная трубка.

— В местных командировках... Да,— уговаривает

он трубку.— Именно. Именно, все... Да, с моего ведома... И Гаврилов тоже, и он... А в чем, собственно, дело, Василий Петрович? Кажется, трудовая дисциплина в м о е й лаборатории п о к а еще вне вашей компетенции, и прошу иметь в виду, что в условиях развитой научно-технической революции, когда принципы единоначалия и демократического централизма поставлены во главу угла, все мы, как никогда, в неоплатном долгу...

...Молча, не чокаясь, пьют находящиеся в «местных командировках» и неоплатном долгу сотрудники лаборатории. Все они сидят в аэропортовском буфете, и Лыков, вынув из вишневого сверхэлегантного портфеля бутылку, разливает водку («Русскую»— 4 руб. 42 коп.). Буфетчица за стойкой делает вид, будто никакого безобразия не происходит.

...В воде медленной речки, такой медленной, будто она и вовсе не движется, двое мальчишек в по пояс мокрых, кое-как закатанных штанах застыли с удочками, уставясь на неподвижные поплавки. На лоб одного из мальчишек села синяя стрекоза...

Молодая женщина в нарядном городском платье идет босиком по проселочной дороге. Маленькие, почти детские следы глубоко впечатываются в горячую, мягкую пыль. В одной руке женщины — туфли, в другой — сумочка. По обе стороны дороги — пшеничное поле.

Дорога не спеша взбирается на небольшой пригорок, где в темно-зеленой тени старых кладбищенских деревьев среди разросшихся кустов сирени и шиповника застенчиво белет деревенская церковь.

Пусто на кладбище. Искусственные венки выгорают на солнце. Женщина входит в ворота. Отряхнув ступни от пыли, она надевает туфли. Потом достает из сумки ситцевый платок и повязывает на голову, туго затянув узел под подбородком.

Внимательно посмотрев по сторонам, женщина приближается ко входу в церковь. Здесь она останавливается, оглядывается еще раз, потом решительно, хотя и неумело, крестится.

И, склонив голову, скрывается внутри...

...Гора рассеялась полностью. Ветер относит вправо последние клочья, похожие на паровозный дым. И совсем ясно и отчетливо видит Максим худого человека в старомодных очках на загорелом, очень усталом лице. Человек сидит на диване в почему-то знакомой темноватой комнате. Что он делает? Смотрите, пожалуйста: изучает семейный альбом. У него, у счастливица... да! счастливица! — мать. Конечно, больная, но — ж и в а я, ее наверняка можно вылечить... У счастливица все как положено: прабабушка, прадедушка. Дедушка в докторском халате со стетоскопом на груди. Шестнадцатилетняя бабушка в пелерине институтки. Еще какой-то родственник — с усиками, не иначе — белый офицер. Уж не погромщик ли?.. Человек нетерпеливо листает альбом, усатый погромщик ему, похоже, до фени. Нашел. Вынул какой-то снимок, поднес к глазам. Черт близорукий, мало ему очков, все загородил, не поймешь, кто у него там, на карточке! Зато видно, как со страницы открытого альбома изумленно таращит темные глаза кругломордый младенец в капоре.

...Павел Иванович рассматривает фотографию отца, последнюю его фотографию, — уже после войны переслали однополчане. Отец в белом полушубке стоит возле пушки. На обороте — рукой матери: «Январь 1942 г.» Вчерашний парень, в самом деле, поразительно похож: тот же разрез глаз, и губы. И прямой нос с едва заметной горбинкой.

Павел Иванович встает и подходит к отцовской фотокарточке, висящей на стене. Пожалуй, и тут что-то есть... Выражение, овал лица. Но особенно — выражение. Прямо неправдоподобное сходство, как это он сразу не заметил? Вот бы показать ему. Он же тут работает, рядом. Непременно надо показать...

Младенец в капоре с грустным удивлением смотрит из альбома на старшего брата.

Младенца звали Геннадием. Генкой. Он очень громко кричал по ночам, а днем спал. Он погиб в восьмимесячном возрасте под бомбежкой, в самом начале войны, в Минске, откуда Павел с матерью так и не успели эвакуироваться, вернулись к деду, в село.

Павел Иванович плохо помнит тот день, помнит только, как они выскочили на улицу, мать тащила его за руку, а баба Лиза, соседка, несла орущего брата. Помнит, что они потеряли друг друга в толпе, был гро-

хот, пыль, воронка, мать упала... Бабу Лизу так потом и не нашли. И Генку не нашли.

Ночью, как раз накануне, Павлику приснился страшный сон: огромная, белая и плоская змея заползла в комнату. Он пытался закричать, но не мог, и проснулся от взрыва. Кругом грохотало, в окно виднелось зарево. Вопил Генка, а мать укачивала его, взяв на руки.

Брата, конечно, искали. И тогда, когда мать пришла в себя после бомбежки, и потом, уже после войны. Искали через милицию, по радио. «Смирнов Геннадий Иванович, год рождения 1940, уроженец Ленинграда. Русский».

Павел Иванович осторожно кладет отцовскую карточку на место и закрывает альбом...

А Максим видит парк и в глубине его — серое здание. Окна в этом здании забраны густыми металлическими сетками, а на первом этаже еще замазаны до половины белой краской. И все же, если взглядеться как следует, можно рассмотреть старуху, неподвижно сидящую на краю узкой железной койки. Старуха о чем-то усердно думает, покачивая седой нечесаной головой.

— Ваня? — негромко спрашивает она. — Ты, значит, жив? Жив, Иван Николаевич?

Самолет летит на высоте девять тысяч пятьсот метров...

...Душно. Наверняка опять будет гроза. Павел Иванович расстегивает воротник рубашки, вытирает лоб. И вдруг на полу рядом с диваном видит выпавшую из альбома фотографию. Видит и наклоняется поднять.

На старой этой потемневшей фотографии — солдатский обелиск со звездой, а вокруг — поле.

...Самолет на мгновение сверкнул над полем и исчез. Ветра нет. Неподвижна трава, поднявшаяся чуть ли не до половины обелиска. Неподвижны серые метелки, и клевер, и лиловая путаница «мышинного горошка».

А земля здесь мягкая, сухая и теплая. Соленые песчинки липнут к губам Максима, скрипят на зубах, забиваются под ногти. И никак не оторвать лица, груди, ладоней, не выпрямить скрюченных пальцев, вцепившихся в гибкие прочные стебли.

— Ladies and gentlemen, our plane has just of the border of the Soviet Union.¹

...Двое санитаров с трудом удерживают худую высокую старуху. Голова ее запрокинута, седые волосы рассыпались по спине. С нечеловеческой силой старуха рвется к дверям и, не замолкая ни на секунду, пронзительно кричит. Она кричит так громко, что слышно во всех этажах серого кирпичного здания с густыми сетками на окнах:

— Павел! Гена!— кричит старуха.— Павел! Гена! Дети мои!..

1979—1987

¹ Дамы и господа, наш самолет пересек границу Советского Союза (англ.).

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------|-----|
| КУРЗАЛ | 3 |
| ДОЛГ | 57 |
| ЖАРА НА СЕВЕРЕ | 117 |
| ЧЕРВЕЦ | 227 |

Нина Семеновна Катерли

КУРЗАЛ

Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редакторы *Е. Б. Спрукт, Е. Ф. Шарасва*
Корректоры *Е. Д. Шнитникова, Е. А. Омеляненко*

ИБ № 7586

Сдано в набор 30.11.89. Подписано к печати 03.07.90. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ.
л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,88. Тираж 50 000 экз. Заказ № 420. Цена 1 р. 60 к.
Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленин-
градское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ле-
нинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор»
имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград,
П-136, Чкаловский пр., 15.